

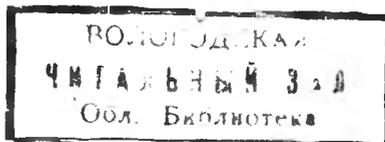
ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

1941/10/1
ВТОРАЯ
КНИГА

ФЕВРАЛЬ



ОГИЗ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА

1941



Исполнилось 60 лет со дня рождения верного соратника Ленина и Сталина, одного из активнейших строителей Коммунистической партии, виднейшего организатора вооруженных сил Советского Государства и выдающегося полководца Красной Армии —
КЛИМЕНТА ЕФРЕМОВИЧА ВОРОШИЛОВА

Неопубликованные произведения А. М. Горького

В литературном наследстве А. М. Горького имеется значительное количество художественных произведений, неопубликованных при жизни писателя. Произведения только драматургического жанра составили целый том, публикуемый в текущем году Институтом мировой литературы им. А. М. Горького (М. Горький. «Архив», т. II. Пьесы и сценарии).

Часть этих произведений оставалась в черновых заметках, в отдельных набросках, в предварительных планах.

Известно, что в 1926 году Горький решил переделать для кино «На дне». С этой целью он начал перерабатывать пьесу и написал к ней несколько сцен, которые должны были показать жизнь героев «На дне» до того, как они попали в костылевский подвал. Известно, что в 1932 г. Горький написал черновой вариант сценария о правонарушителях, преступниках, работа над которым, как и над сценарием по пьесе «На дне», не была доведена до конца.

Сохранилось не мало и законченных вещей. Многие из них до настоящего времени не были известны. Таковы, не появившиеся на экране, сценарии «Пропагандист», «Степан Разин», «Ход коня» и др. А между тем и «Степан Разин» и «Ход коня» являются законченными произведениями, свидетельствующими о широком тематическом и жанровом диапазоне Горького.

Произведения, печатаемые в настоящем номере журнала «Октябрь», в порядке предварительной публикации института, как вообще большая часть неопубликованных пьес и сценариев, написаны в пооктябрьские годы. В них, как во всем творчестве Горького, центральное место занимает ЧЕЛОВЕК, его борьба за свободный творческий труд — являющийся основой человеческой жизни.

Разнообразные по темам, различные по жанрам произведения эти расширяют и обогащают наше представление о Горьком, о его драматургическом творчестве, о его творчестве для кино.

«Степан Разин» важен тем, что это почти единственное произведение Горького на конкретную историческую тему. В сценарии «Ход коня» Горький взял авантюрно-детективную тему, показал судьбу человека, попадающего в среду профессиональных воров, преступников.

«Яковом Богомолыме» (пьеса условно названа редакцией по имени главного действующего лица) Горький раскрыл роль творческого созидательного труда в жизни человека. Пьеса эта создавалась во время напряженной работы над «Жизнью Клима Самгина». Образ инжепера-гидролога Богомолова (и силу и слабость которого видел Горький) резко противопоставлен и в идейном и в психологическом плане образу Клима Самгина.

Все три произведения печатаются по черновым рукописям, хранящимся в «Архиве» А. М. Горького. «Яков Богомол» — по единственной сохранившейся рукописи, «Ход коня» и «Степан Разин» — по последним рукописным редакциям.

Публикация произведена обычно: зачеркнутые слова помещены под чертой на соответствующей странице, зачеркнутое в зачеркнутом — в ломаных скобках, вставленное редакцией — в прямых скобках. Слова, дописанные редак-

цией и не вызывающие сомнений, печатаются безоговорочно, вызывающие сомнение — с вопросительным знаком, рядом, в прямых скобках. Неразобранные слова помечены буквами «нрзб». Позднейшие вставки в тексте не оговорены.

В отличие от рукописей, написанных по смешанной орфографии, публикация сделана по новой орфографии. Пунктуация уточнена.

В журнале «Октябрь» произведения А. М. Горького печатаются в основном без вариантов. Подробные тексты публикуются во II томе «Архива» М. Горького, Гослитиздат, 1941 г.

Сценарий «Степан Разин» был написан А. М. Горьким в конце 1921 года, что приблизительно можно установить по письму его к Горону — представителю французской кинофирмы, для которой Горький должен был написать два сценария. Мысль о произведении на тему, связанную со Степаном Разиным, возникла у Горького еще в 1909—1910 гг. Об этом свидетельствует список книг о Степане Разине, относящийся к тому времени. Сценарий был написан во время пребывания Алексея Максимовича в Берлине, незадолго перед поездкой в Шварцвальд, куда он приехал в декабре 1921 года. В рукописи сценарий, кроме названия, помещенного на титульном листе, имеет еще титул «Казацкий бунт в XVII столетии».

Сохранились два варианта сценария, на основании которых, так же как и на основании письма Горького к Горону, можно восстановить почти весь процесс авторской работы.

Написав сценарий, Горький отправил его на просмотр Горону. После его замечаний сценарий был несколько изменен. Наиболее существенными изменениями были следующие: вставлен пролог «Бояре и народ», раскрывающий общую картину взаимоотношений боярской Москвы и казачьего Дона; вставлен эпилог (три последних сцены), в котором один из персонажей сценария Борис запеваёт песню про Степана Разина; выделена роль Бориса — поводыря слепцов, которого в письме к Горону Горький назвал «стражем добрых чувств Разина». Но и в таком виде сценарий не был поставлен.

Посылая Горону второй вариант сценария, Горький сопроводил его следующим письмом:

«Господину С. Горон

Просмотрев, согласно Вашим любезным указаниям, сценарий, я сделал все, что нашел возможным.

Прибавил вводную картину нравов пограничных городов.

Ввел новое лицо: песенника Бориса, который проходит почти сквозь весь сценарий, являясь как бы стражем добрых чувств Разина, затем уходит от него и, впоследствии, — заключительная картина — славословий Разина.

Везде, где это можно было сделать, не нарушая истины, я смягчил характер Разина. Подчеркнул фигуру матери, которая, конечно, знала роль казаков в эпоху «смуты» 1606—13 г., знала и то, что Михаил Романов был выбран на царство под давлением казачества.

Но все это Вы увидите сами. Я прошу Вас прислать мне немецкий перевод сценария, ибо имею основания думать, что перевод не точен.

Например: причины убийства Домны совершенно ясны — она убита своим мужем, который все время следил за нею. «Подчеркнуть красоту персиянок» я, конечно, не могу, это естественная задача режиссера.

«Отметить особенности и отдельные черты Разина» — это дело костюмера и гримера. Костюмы запорожцев можно взять с картины Репина «Запорожцы». Я ввел в группу запорожцев одноглазого бандуриста.

«Драматический эпизод под Симбирском» психологически невозможен.

Думаю, что я совершенно кончил эту работу и прошу Вас уплатить деньги.

У меня возобновился туберкулезный процесс в легких, и я должен немедленно ехать на юг, в Шварцвальд лечиться

Всего доброго».

* *
*

Сценарий «Ход коня» написан примерно в 1926—1927 гг. Документальных указаний на замысел и время написания нет. Основанием датировки служит бумага, чернила, почерк.

Сохранились две редакции сценария, черновая и окончательная. Оригиналом окончательной редакции служит рукопись на 63 страницах большого формата.

Никаких более точных указаний не сохранилось. Текст публикуется по окончательной редакции, отличающейся от первой некоторыми изменениями в сюжете сценария, слегка измененными характеристиками персонажей и большим количеством языковых исправлений. Изменена фамилия героя. В первой редакции Яков Сорокин носил фамилию Тралина.

* *
*

Название пьесы Яков Богомолов дано редакцией по имени первого действующего лица, проставленного А. М. Горьким в перечне персонажей пьесы.

Среди архивных материалов никаких указаний на эту пьесу нет.

Пьеса не была закончена. Рукопись — черновая — содержит три полных действия и часть четвертого.

Рукопись на 51 стр. большого формата бумаги, кроме того три вставки на отдельных листках. На одной из них короткие стихи, по содержанию связанные с текстом, — это песенка дяди Жана. Повидимому, Горький хотел включить ее в пьесу при доработке. Песенка печатается отдельно вслед за текстом пьесы.

Судя по почерку, бумаге и чернилам, А. М. Горький работал над пьесой в 1926—1928 годах.

Кроме перечня лиц, действующих в пьесе, сохранился в рукописи еще один перечень — неосуществленный. Этот последний, судя по почерку, был написан А. М. Горьким несколькими годами раньше. Следовательно, замысел пьесы также относится к более раннему времени. При публикации этот неосуществленный перечень дается особо, вслед за основным, осуществленным в пьесе.

Фамилия Никона Букуева, хозяина дома, где происходят все события пьесы, была использована А. М. Горьким в набросках другой начатой им пьесы (см. «Ефграф Букуев» и «Христофор Букуев»), без всякого, впрочем, сходства между этими «однофамильцами».

Публикация сделана точно по рукописи, за исключением места, где горничная Дуняша ошибочно дважды названа Наташей. Редакция исправила это, не оговаривая в тексте. Кроме того редакцией внесено в квадратных скобках несколько ремарок, указывающих появление на сцене и уход действующих лиц.

Степан Разин

НАРОДНЫЙ БУНТ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 1666—1668 годов

БОЯРЕ И НАРОД

I

Пограничный донским степям московский городок, окруженный земляным валом и частоколом. Башня из толстых бревен, под нею ворота города. На башне — стрелец, с мушкетом и секирой. К городскому валу прижались ветхие хижины и землянки бедных слобожан.

II

Раннее утро. Идут и едут в город крестьяне, везут битую и живую птицу, овощи, рыбу, мешки зерна, гонят гусей, баранов. Хромой мужик, на деревянной ноге, ведет коня.

III

Идет молодой, красивый парень, за спиной у него связка деревянных дудок и свирелей; сзади, за пояс кафтана, зацеплена клюка, — палка, с загнутым концом, — за клюку держится старик-слепец, с гуслями на груди, он тоже держит в руке палку, а за нее ухватился второй слепец, и так, цепью, держась за палки, идут четверо слепых.

IV

Базар у стены города. В кругу телег идет торговля. Телеги являются защитой от возможного нападения степных разбойников и азовских татар. Стрельцы на башне пристально смотрят в степь.

V

Из ворот города выходит воевода, человек средних лет, за ним — гости его, лвое бояр, приказные люди, холопы и пя-

теро стрельцов. Воевода с похмелья, сердит, один из бояр еще не проснулся, пьян. Вслед за ними едет пустая телега.

VI

Со степи подъезжает верхом Степан Разин и еще двое казаков, у них к седлам приторочены тюки звериных — заячьих шкур.

VII

На земле сидят, в кружок, четверо слепцов, один из них играет на гуслях, все поют. Парень, стоя в кругу, подыгрывает на дудке. Слепцов окружает толпа крестьян и горожан. Подъехал Разин и, не слезая с коня, слушает песню.

Песня слепых:

Было это в годы смутные, лютые,
Опрокинулась на Русь сила вражия,
польская,
Пошатнулося грозное царство Иваново,
Московское,
Поляк церкви жгет, народ на смерть бьет,
Города зорит, красных девок полонит.
Да как встал тут удалой донской казак,
Да как вылетел орел Залуцкой атаман,
Говорит он, орел, молодым казакам:
Ой-ли, братцы казаки, удалой народ,
Собирайтесь-ко вы всею силою,
Встанем дружно за царство Московское
Да за веру святую христианскую,
За московский народ, родню братию...

VIII

Воевода приказывает холопам своим:
— Отбирай, что лучше, мне на прокорм!

Идет к слепцам. Его холопы хватают с

Степан Разин

НАРОДНЫЙ БУНТ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 1666—1668 годов

БОЯРЕ И НАРОД

I

Пограничный донским степям московский городок, окруженный земляным валом и частоколом. Башня из толстых бревен, под нею ворота города. На башне — стрелец, с мушкетом и секирой. К городскому валу прижались ветхие хижины и землянки бедных слобожан.

II

Раннее утро. Идут и едут в город крестьяне, везут битую и живую птицу, овощи, рыбу, мешки зерна, гонят гусей, баранов. Хромой мужик, на деревянной ноге, ведет коня.

III

Идет молодой, красивый парень, за спиной у него связка деревянных дудок и свирелей; сзади, за пояс кафтана, зацеплена клюка, — палка, с загнутым концом, — за клюку держится старик-слепец, с гуслями на груди, он тоже держит в руке палку, а за нее ухватился второй слепец, и так, цепью, держась за палки, идут четверо слепых.

IV

Базар у стены города. В кругу телег идет торговля. Телеги являются защитой от возможного нападения степных разбойников и азовских татар. Стрельцы на башне пристально смотрят в степь.

V

Из ворот города выходит воевода, человек средних лет, за ним — гости его, двое бояр, приказные люди, холопы и пя-

теро стрельцов. Воевода с похмелья, сердит, один из бояр еще не проспался, пьян. Вслед за ними едет пустая телега.

VI

Со степи подъезжает верхом Степан Разин и еще двое казаков, у них к седлам приторочены тюки звериных — заячьих шкур.

VII

На земле сидят, в кружок, четверо слепцов, один из них играет на гуслях, все поют. Парень, стоя в кругу, подыгрывает на дудке. Слепцов окружает толпа крестьян и горожан. Подъехал Разин и, не слезая с коня, слушает песню.

Песня слепых:

Было это в годы смутные, лютые,
Опрокинулась на Русь сила вражия,
польская,
Пошатнулося грозное царство Иваново,
Московское,
Поляк церкви жгет, народ на смерть бьет,
Города зорит, красных девок полонит.
Да как встал тут удалой донской казак,
Да как вылетел орел Залуцкой атаман,
Говорит он, орел, молодым казакам:
Ой-ли, братцы казаки, удалой народ,
Собирайтесь-ко вы всею силою,
Встанем дружно за царство Московское
Да за веру святую христианскую,
За московский народ, родну братию...

VIII

Воевода приказывает холопам своим:
— Отбирай, что лучше, мне на прокорм!

Идет к слепцам. Его холопы хватают с

телег крестьян товары, бросая их в телегу воеводы, гонят в город баранов, гусей. Крестьяне, привычные к таким поборам, относятся ко грабежу в большинстве — спокойно, но некоторые спорят. Их бьют... Кто-то из них сопротивляется.

IX

Воевода подходит к слепым, слушает. Разин, привстав на стременах, угрюмо смотрит на грабеж и драку. Толпа разбегается от слепых, они поют, и парень поет с ними:

Встали казаки всею силою,
Выгнали поляков из русской земли.
Посадили на царство Московское
Молодого Михайлу Романова...

X

Воевода возмущен; грозит парню посохом; кричит:

— Врете! Это нами, боярами, посажен царь на Москве. А казаки — воры.

Указывает посохом на Разина:

— Вот он, рожа какая разбойная!

Разин тихо отъезжает в сторону, оглядываясь. Воевода, растолкав ногами слепцов, хватая поводья их за ворот.

— Ты — кто, как звать?

— Борис.

— Ты — поводья слепым! Бездельник. Вот я тебя в холопы возьму.

— Не хочю.

— Я, боярин, хочу, а ты не хочешь? Эй, свяжите его, да — в город...

Холопы воеводы бросаются на Бориса, вяжут, он сопротивляется.

XI

На базаре разгорается драка, ее особенно разжигают двое казаков, наезжая лошадьми на холопов и стрельцов, сбивая их с ног. Ободренные защитой крестьяне сопротивляются дружнее, а некоторые, пахлестывая лошадей, едут в степь. Разин, привстав на стременах, наблюдает, как вяжут Бориса.

XII

Пьяный боярин облапил крестьянку, тащит ее к воротам, она отбивается. Слепые смяты в драке, гусли растоптаны ногами. Боярин и воевода хохочут, глядя, как слепцы ползают по земле. Холопы, чтоб угодить воеводе, направляют слепцов в лужи грязи. Хохот усиливается. Стрельцы,

помогая пьяному боярину, тащат молодую бабу в город, молодой и старый крестьянин пытаются отбить ее, молодой особенно силен, легко разбрасывает стрельцов, сбивает с ног боярина. Холопы, связавшие Бориса, бросаются на помощь своим.

XIII

Разин свистит, вложив пальцы в рот. К нему подбегают казаки. Он указывает на связанного Бориса. Казаки режут веревки, один из них сажает Бориса на коня сзади себя и скачет в степь.

XIV

Молодого крестьянина одолели, отбросили прочь. Разин тихо едет в степь, оглядываясь из-под руки назад.

XV

Воевода, заметив похищение Бориса, бьет холопов посохом, указывает им в степь. Они выпрягают крестьянских лошадей, гонятся.

XVI

Холопы воеводы догнали Разина, он остановил коня, вынул саблю:

— Что надо?

— Отдай мужика нашего.

— Возьмите.

— Нам не догнать. Мы за него тебя схватим.

— Я вашему воеводе не холоп.

— Воротись, казак, а то нам худо будет.

— Так вам и надо...

Наезжают на него, хотят схватить лошадь за повод. Разин взмахивает саблей, — испугались, отъехали.

XVII

Разин догнал казаков и Бориса, едут вместе. Разин разговаривает с Борисом, ласково усмехаясь.

XVIII

Холопы, глядя вслед казакам, советуются, потом, пахлестав лошадей, скачут в степь, кричат, машут руками.

XIX

Разин остановился, ждет. Подъехали холопы, сняли шапки:

Мы хотим с тобой в степь, в казаки.

— Давно бы так. Кто там бежит еще?
— Мужик...

XX

В степи сидят шестеро людей. Борис горячо рассказывает Разину, как трудно жить в Московском царстве. Холопы сочувственно подтверждают его речь. Подходит молодой мужик в изорванном платье, избитый, тяжело падает на землю. Разин спрашивает:

— Что, в казаки идешь?

— Жену украли.

Разин угрюмо смотрит на него, говорит:

— Эх, посадил Дон царя в Москве, на свою да на ваши головы...

XXI

Городская башня. Воевода смотрит в степь из-под ладони, ругается. Сзади него почтительно стоят холопы, стрельцы.

МОСКВА И КАЗАКИ

в 1666 году

I

Черкасск, казацкий городок.

Праздничный летний день. Улица, ведущая к площади, полна народом; зажиточное казачество смотрит из окон хат, сидит у ворот, по улице на площадь идут группы девиц и молодежь, бегут дети.

II

Московские скоморохи.

На площади бродячие актеры, изгнанные московской церковью, играют на дудках, домрах, балалайках, бьют в бубны, пляшут. Их окружает казацкая голытьба, беглые московские холопы и крестьяне. Среди скоморохов — Борис, он¹ играет на дудке, потом пляшет. Толпа ведет себя весело; большое оживление, смех. Некоторые из молодых казаков тоже удаю пляшут.

III

Корнило Яковлев,

крестный отец Степана Разина и старшина города, важно, в сопровождении старых, богатых казаков выходит на площадь, казаки грубо батогами расталкивают толпу голытьбы. Московские бег-

лецы снимают шапки перед казацкой знатью, некоторые разбегаются от нее. Казацкая молодежь уступает дорогу старшине не очень почтительно. Остановясь пред толпою вокруг скоморохов, Корнило Яковлев говорит, указывая на московских людей батогом:

— Сметает московский ветер к нам, на Дон, хлам этот, негодный, буйный народ... а Москва жалуется на нас: воровства, разбоя с Дона много идет. А воры-то не наши, они из Москвы же сбежали.

IV

Степан Разин

подходит к Яковлеву, не торопясь, снимает шапку:

Яковлев. Здорово, крестник. Шумят больно дружки твои.

Разин. В животах у них пусто.

Яковлев. Не в башках ли?

V

Постепенно Разина и Яковлева окружают молодые казаки и беглые москвитяне.

VI

Разин. Ты позволь мне с ними на Азовское море сплыть, турок пограбить. Жить нечем нам, хоть в холопы в Москву итти! А турки грабят нас, покоя нет от них.

Яковлев. И думать не смей турка обижать, Москва в мире с ним, а у нас дружба с Москвой.

Разин. А что нам Москва? Мы вольные люди. Москва нас не поит, не кормит, а кровь нашу досыта пьет...

VII

Около Разина собирается все больше молодежи. Спор между Яковлевым и Разиным разгорается. Молодежь лезет на стариков, кричит:

— На Азов! На турка итти хотим! Холопы московские. Кровью нашей торгуете! На Азов!

VIII

«Бояре с Москвы едут!»

Скачет по улице верхом Фролка Разин, кричит, махая шапкой. Смятение. Московские¹ люди пугливо разбегаются, прыгают

¹ весело

¹ беглецы

через плетни, прячутся во дворах. Яковлев и старики, оправляясь, солидно идут встречу гостям, Разин кричит вслед бегущим:

— Чего испугались? Дон гостей своих Москве не выдает!

IX

По улице едут верхами двое бояр, старик и помоложе, тот, которого видели в первой картине, их сопровождает дьяк, они окружены отрядом конников москвичей и казаков. Яковлев и старики встречают гостей почтительно, многие из казаков сняли шапки. Разин и его группа не снимают. Разин кричит брату:

— Чего шапку сдернул? Пред иконой, что ли?

Старики сердито смотрят на него, Фролка, усмехаясь, хочет покрыть голову, но — не смеет. Разин сдернул его с лошади за ногу, молодежь хохочет.

X

Боярин, указывая рукою на Разина:

— Что за человек?

Яковлев. Крестник мой, Разин, Степан...

Боярин. Дерзок, нечестлив...

Московский отряд спешивается, казаки разводят москвичей по городу на постой. Разин говорит молодежи:

— Сыщики¹ приехали, беглых москвитян хватать! Ребята — помни: Дон гостей не выдает!

ССОРА

I

Вечер. Московские стрельцы гуляют по улице, заигрывая с казачками. Молодые казаки враждебно наблюдают за ними. Беглецов из московских не видно.

II

Степан Разин и его мать сидят у ворот хаты;² мать — мрачная старуха, в черном, с падагом в руках. Она угрюмо, смотрит вдаль, сын рассказывает ей о том, как московский князь Юрий Доргогоцкий повел его старшего брата, начальника казачьего отряда в московских войсках.

¹ из Москвы

² около них — Борис, москвич, с дудкой в руках.

III

Московские стрельцы вешают на дереве казака¹.

IV

Мать Разина говорит, пристукивая палкой по земле и с ненавистью глядя на гуляющих стрельцов:

— Помни, Степан,² — мы, казаки, Москву от Польши оборонили, мы царя дали москвичам, а Москва губит нас, проглотит она, зверь, вольный Дон!

V

В саду Яковлева сидят за столами московские гости и богатые казаки, едят, пьют ниво, мед. Бабы-казачки поют, славят гостей.

VI

Приводят московских скоморохов, с ними — Борис, они играют, пляшут, старший боярин, присмотревшись к ним, встает, указывает рукою на Бориса:

— Этого я знаю, это наш, рязанский разбойник, Бориска! Ты, атаман, выдай мне его!

VII

Казаки хватают Бориса; возня, драка, остальные скоморохи разбегаются.

VIII

Скоморох, с бубном в руках, бежит по улице мимо Разина; Разин, вскочив, хватает его за плечо.

— Что? Куда? Стой!

— Москва хватает наших!

Разин, вложив два пальца в рот, свистит; со всей улицы к нему бегут молодые казаки, он объясняет им: бояре хватают в плен беглых москвитян. Общий крик молодежи:

— Отнять!

Мать Разина, размахивая палкой, кричит:

— Не поддавайтесь Москве!

IX

Разин, во главе толпы казаков, идет по улице; беглые москвитяне вырывают

¹ Мать угрожает?

² погубит нас Москва, сожрет, проглотит весь вольный Дон

колья из плетней, богатырского роста человек размахивает оглоблей, казаки обнажили шашки, вооружились ножами. За голую идет мать Разина, угрожая палкой.

X

Яковлев и богатые казаки, встретив толпу, уговаривают ее не буйнить, Разин кричит им:

— Мы, казаки, царя Москве дали! Мы за Москву головы кладем, а она и живьем людей отнимает у нас! Дон гостей своих не выдает.

Мать Разина, пробившись сквозь толпу, грозит Яковлеву палкой:

— Холоп московский!

XI

Толпа лезет в сад Яковлева, ломая плетень, опрокидывая столы, некоторые хватают со столов пиво, меды и жадно пьют. Болре испуганы, старший говорит Яковлеву:

— Отдай схваченного. А я в Москве скажу, как вы разбойников укрываете!

XII

Яковлев схватил Разина за ворот, пытается встряхнуть его, кричит:

— Что делаешь, бунтарь?

Разин стоит неподвижно, отвечая:

— Свободу Дона берегу, а ты ее продаешь!

— Гляди, Степка, будешь повешен, как брата твоего повесили!

XIII

Мать Разина бьет палкой по рукам Яковлева:

— Пусти сына, холоп!

Яковлев. Ведьма ты, кума! Пропадет сын твой...

XIV

Ведут Бориса, толпа вырывает его из рук стражи и уходит со свистом, криками, песнями. Сзади всех идут Разин и его мать. В стороне плетется пьяный Фролка, хватаясь за плетни.

СОВЕЩАЮТСЯ

I

На берегу реки сидят и лежат молодые казаки и беглые москвичи. Трое москвитян

II

Идет Степан Разин, рядом с ним -- мать, она что-то говорит ему, указывая палкой в степь.

III

«Степан идет!»

Черноярец предупреждает казаков, — все зашевелились, некоторые встали на ноги. Борис перестал играть, сунул дудку за пояс. Все кланяются матери Разина. Она шевелит губами и качает головой, как бы считая людей.

IV

Разин говорит:

— Старшие наши заласканы Москвой, а Москва грабит Дон, да и своих людей грабит, вон сколько народа бежит к нам из Москвы! Турок не велят нам трогать, а турки нападают на казаков в степи, лошадей паших воруют...

V

Мать Разина машет палкой на него, яростно кричит, трясется:

— Мы, казаки, царя Москве дали, мы поляков прогнали. А Москва сына моего убила... Сына старшего...

VI

Разин продолжает:

— Пойдемте, братцы, поищем счастья на Волге.

Шумное одобрение; крики:

— Идем! Будь нам атаманом. Черноярца — эсаулом! Веди нас, Степан!

Разин, сняв шапку, кланяется, мать тоже удовлетворенно кивает головой.

VII

Черноярец, стоя рядом с Разиным, говорит:

— Оружия мало у нас, так мы хутора пограбим, на хуторах военного снаряда много!

VII

Все оживленно шумят, возятся, смеются. Двое молодых начали бороться, обняв друг друга. Борис подходит к Разину:

— И меня возьми!

IX

Разин ласково кладет ему руку на плечо.

— И тебя возьмем! Ты нам песни будешь петь. Ну-ко, на радостях, заводи песню...

X

Борис запеваает, толпа торжественно поет. Песня становится все более грозной и буйной. Мать Разина оперлась на палку, слушает, плачет. Разин смотрит на людей считающим взглядом. Чернойрец что-то рассказывает ему.

НАПАДЕНИЕ НА ХУТОР

I

Лунная ночь. Берег реки. Кустарник. Толпа казаков и вооруженной московской гольтыбы усаживается в четыре большие лодки. Блещет оружие, мелькают в воздухе мокрые весла.¹ Посадкой распоряжается Разин, рядом с ним — мать.

II

Из кустов вылезает Фролка, решительно чешет голову; мать спрашивает его:

— Что?

— Не поеду я...

Она молча отстраняет его палкой. Фролка кланяется брату:

— Прощай, Степан...

Разин смотрит на него, как на пустое место. Фрол скрылся в кустах. Разин опускается на колени перед матерью, она крестит его, говорит:

— Бедных не обижай. Коли богу правда дорога — он тебе поможет. Правда — наша, правда — казацкая — помни! Правда — у свободного народа, у холопей нет правды, помни!

Разин прижимает руки ее к своему лицу и долго держит их так. Старуха строго смотрит в небо, шевеля губами, говорит:

— Ну, иди!

Разин кланяется в ноги ей, встает, встряхивая головой, смотрит на реку, там уже люди ждут его, держа весла наготове.

III

«Молись!»

Разин снял шапку, крестится, люди в лодках дружно делают то же. Мать крестит их, кланяется.

IV

Лодки отплывают. На корме задней стоит Разин без шапки, смотрит на берег, там, у воды, стоит мать, опираясь на палку. Сзади ее, в кустах, лицо Фролки, он чешет затылок, нерешительный, сожалеющий.

V

Мать задумчиво, тихонько идет, за нею осторожно крадется Фролка. Остановилась, угрюмо смотрит¹: в сумраке пред нею возникает видение — сын ее висит на дереве. Отшатнувшись, она крестит видение взмахами палки, шепчет что-то; Фрол испуганно бежит прочь от нее.

VI

Казацкий хутор в степи, на берегу реки. Постройки обнесены земляным валом со стороны реки, со степи их полукольцом окружает частокол. На берегу — лодки. По вершине вала ходит часовой с пичалью.

VII

В сумраке утра из-за частокола крадутся к валу и ползут по земле казаки Разина. Один из них всполз на вал, бросился сзади на часового, свалил его. Тотчас к постройкам бросается человек сорок разбойников.

VIII

Драка с хуторянами, бьются не столько оружием, сколько кулаками. Нападающих значительно больше, по пять и шесть человек на хуторянина, драка кончается быстро, хуторяне связаны. Начинается грабеж, из домов выносят кучи платья, много оружия, мешки муки, выкатывают бочки пороха, грузят их в пустые лодки

¹ На одной лодке ставят парус

¹ пред собою

хуторян. Борис несет бандуру, инструмент вроде гитары, и пытается играть на нем.

IX

По реке быстро плывут лодки Разина, люди на них радостно машут шапками, кричат.

X

Полеом скачет казак-хуторянин в Черкасск с вестью о нападении разбойников. Разин, выхватив пицаль у одного из своих, припадает на колено, стреляет; казак — упал, но — скачет еще один и дальше первого. Разин бросает ружье, с досадой грозит кулаком, кричит своим.

XI

«Садись в лодки!»

Люди, увлеченные грабежом, не слушают атамана. Двое тащат к реке бабу, она бьется в их руках. Разин вырывает ее, она упала, а он, схватив казаков за волосы, бьет их голова о голову, оба мертво валяются с пог. Борис, видя это, сначала испугался, потом — хохочет. Баба, красивая, дородная, сидя на земле, смотрит на него со страхом и удивлением, он поднимает ее за руку.

— Ты... как зовут?

— Домна.

— Хошь со мной... Ну?

— Ух, властен ты, ух, силен.

— Иди, одень казацкое платье... я тебя возьму...

XII

Ласково отталкивает ее, она бежит к постройкам, Борис — за нею. Разин изпод руки смотрит вдаль, в степь. В лодках — возня, укладывают награбленное. Люди, ушибленные Разиным, пришли в себя, один — ползет к берегу, другой — идет, качаясь на ногах, держась за голову.

XIII

Бежит Домна в казацком жупане, в шапке, за ней, смеясь, Борис. Разин, тоже усмехаясь, ведет ее к лодке. Один из хуторян, связанный, лежа на земле, поднимает вслед им голову и смотрит, оскалив зубы.

XIV

Люди в лодках встречают Разина и Домну смехом, криками, махают шапками и

отталкиваются веслами от берега, — поплыли, поют; Борис, неловко прыгнув, упал в воду. Разин на носу передней лодки, рядом с Домной, хохочет, обняв женщину, глядя, как вытаскивают из реки Бориса.

СТАНОВИЩЕ РАЗИНА

I

По холмам, на берегу реки беспорядочно разбросаны шалаши: из ветвей, из парусов на веслах и баграх, некоторые накрыты кошмами, кафтанами и всякой рухлядью. Кое-где вырыты землянки. Становище окружено цепью телег, связками фашинника — это защитный вал. Торчат часовые с пицальями и копьями, поглядывая вдаль. Внутри стана — пестрое собрание нескольких сотен людей. Играют в кости, пляшут, борются, тянутся на палках, пробуя силу, некоторые чинят одежду, один стрижет людей, надевая на головы им горшок, и овечьими ножницами отрезая пряди волос, непокрытые горшком. Над кострами висят котлы, кашевары варят обед. Жизнь течет медленно, движения людей ленивы. Покручивая усы, по становищу ходит есаул Разина Иван Черноярец, за ним Фролка Разин, пьяный, размахивая рукою, поет, налезает на людей. Его ведет под руку казак, это тот хуторянин, который ненавистно смотрел вслед Разину, когда Разин уводил Домну. Борис следит за казаком.

II

У реки, под кустами раkitника, лежит вверх лицом Степан Разин, голова его на коленях Домны, одетой в богатый казацкий кафтан. Она поет, расчесывая гребнем волосы Разина, Борис вторит ей на дудке.

Разин встал на ноги, смотрит за реку, в степь, Домна стоит на коленях, глядя в лицо его.

Разин. Люди едут верхами. Много народу накопилось у меня, скучает народ. Пора перекинуться на Волгу, там погулять.

Борис, перестав играть, задумчиво смотрит на Разина, — вздыхая, говорит:

— Людей ты, не жалея, бьешь.

Разин нахмурился:

— Нет, людей я жалею. Я для людей, может, душу мою погублю... Ты не понимаешь этого, птица. Уйди-ко...

Борис медленно уходит.

Возвращается, робко подходит, Разин смотрит на него грозно.

— Ну?

— Забыл я, тут человек один ходит, все подглядывает за Домной, боюсь я.

— Чего?

— Не знаю.

— Иди прочь...

III

Домна прижимается к Разину, он отводит ее локтем, кладет руку на голову ей, нахмурился.

— Одна ты баба во всем стане. Нехорошо мне отличаться перед товарищами, нехорошо. А — мила ты мне. Как быть-то?

Домна. Не знаю. Ничего я не знаю, одно только: любить тебя надо мне.

— Есть у тебя кто-нибудь родные?

— Кроме тебя — никого.

IV

«Запорожцы пришли!»

Бежит казак, махая шапкой, кричит. Разин идет встречу ему. Домна остается, сняла шапку, поправляет волосы, лицо у нее грустное. Смотрит в небо, крестится.

V

«Добро пожаловать!»

Пред Разиным человек двадцать чубатых казаков с Днепра, они увешаны оружием, среди них двое стариков, один — кривой. Разин, усмехаясь, говорит с ними, они стоят, сняв шапки.

VI

Послы с Урала.

Среди становища пред Разиным стоят трое бородатых уральских казаков, один из них читает грамоту:

«Собирайся, атаман Разин, к нам на Урал реку, возьми город, людей побей, засядем в городе, укрепимся, а потом пойдем дружно в Персию, промышлять удачи».

VII

«Казакский круг» — совещание всех людей Разина; он среди круга на бочке, толпа буйно кричит:

— На Волгу!

Общее волнение, машут шапками,

оружием, бьют в бубны, тулумбасы, топая ногами. Домна любитесь Разиным, за нею наблюдает казак, который гулял с Фролкой. Вокруг днепровских и уральских казаков группы донцов¹. В одной группе запорожец, играя на бандуре, поет о том, как, назад тому 50 лет, казаки били московских бояр. В другой группе — одноглазый старый запорожец рассказывает:

— Был я молодой — били мы тогда бояр московских, царя посадили им из Польши, —² и в Москве были хозяевами казаки.

VIII

«Пойман шпион московский!»

Ведут человека, уличенного в шпионстве, его выдал товарищ, пришедший с ним из Царицына, молодой горбун. Указывая на шпиона рукою, горбун уличает его пред Разиным. Шпион падает на колени.

IX

Разин.

— Горбатого — не трогать, а этого зарыть живьем в землю.

X

Шпиона зарыли в песок по шею и швыряют в голову его издали камнями, палками. Горбун тоже старается убить товарища.

XI

К Разину подводят людей из Царицына города; у одного из них вырезан язык, у другого отрублена правая рука, у третьего выжжены глаза. Их сопровождает старый, седой поп, он говорит Разину:

— Гляди, казак, как бояре увечат людей. Оклеветали, ограбили...

— Кто эти люди?

— Слепой — кузнец, немой — дьякон, а безрукий — писец.

— За что их?

— Правду любили, правду искали... Про тебя, казак, слух идет, что ты справедлив, — жалуюсь тебе на воеводу и бояр царицынских.

XII

Разин вскочил на телегу и говорит толпе:

¹ и москвичей

² гуляли [?]

— Стонет земля наша от неправды...
Буйное волнение толпы.

XIII

Сборы в путь. Казаки рушат свои шалаши, вытаскивая из земли весла, багры, бердыши, снимая кафтаны, паруса, грузят на телеги имущество, ставят лодки на колеса. У бочки с выбитым днищем толпится народ, пьют ковшами вино по очереди, выпив, идут работать.

XIV

Разин и Домна на берегу реки. Следя за ними, из кустов выглядывает казак. Разин стоит, обняв Домну за плечи.

— Большое дело затеваю, Домна!

Казак, выскочив из кустов, бьет женщину ножом в спину, она, взмахнув руками, падает. Казак бросается на Разина, тот, отскочив, подставил ему ногу, казак упал. Разин верхом на нем.

— За что убил?

— Жена моя.

XV

«Встань!»

Выврав нож из рук казака, Разин отбросил его в сторону, встал и толкнул убийцу ногою. Казак встал. Смотрят друг на друга.

Разин. Надо бы убить тебя, да — не хочу. Может это на мою удачу сделала ты. Мила она сердцу, а — мешала мне. Ступай! Пусть грех твой чирьем на душу сядет тебе. Иди прочь, собака!

XVI

Наклона голову, казак уходит. Разин, проводив его угрюмым взглядом, опускается над трупом; стоя на коленях, складывает руки женщине на ее груди, сломил две ветки и кладет их крестом на грудь ее. Идет прочь, не оглядываясь.

Встречу ему — Борис.

— Где Домна?

Разин молча указывает рукой.

Борис:

— Убил!?

— Не я, а — вон — идет.

— Я же говорил тебе.

Разин отмахнулся от него рукою, уходит. Борис стоит над трупом женщины.

Разин остановился, смотрит на него. Зовет к себе, берет за руку.

— Все там будем. А куда жив — живи.

Уводит Бориса. Борис, идя, оглядывается назад.

XVII

Ночь. Шайка Разина перебирается степью на Волгу. Едут телеги, груженные припасами, оружием.¹ Люди и лошади тянут лодки, поставленные на колеса.

НА ВОЛГЕ

I

Берегом идут толпы бурлаков, они тащат суда на бичеве.

По реке идет караван судов, среди них: казенные, государевы суда, судно патриарха. На судах — московские стрельцы, на патриаршем — монахи, тоже вооруженные бердышами и пищалями.

II

«Сарынь на кичку!»

Боевой крик разбойников. Лодки Разина преграждают каравану путь — у Разина более тысячи людей. Караван останавливается, суда сбиваются в беспорядочную кучу. Разин кричит в рупор из березовой коры:

«Стрельцы! Я, атаман Разин, не трону вас, вы свободны, идите, куда хотите; я хочу расправиться с начальством вашим!»

III

На берегу люди Разина останавливают безоружных бурлаков, бьют их, закрепляют бичеву за деревья, камни, это и останавливает суда.

IV

С берега и с лодок люди Разина навоят нищали на суда, другие лодки подчаливаются к бортам, хватаясь за них баграми, забрасывая на борта воровочные трапы с крючьями на концах. Лезут на палубы. Испуганные стрельцы, не защищаясь, бросают оружие, сдаются на милость разбойников.

¹ ты ее?

¹ одеждой

V

На патриаршем судне разбойникам сопротивляются монахи, отталкивают лодки их шестью, стараются криками воодушевить к сопротивлению людей других судов.

VI

Разин вскакивает на палубу, бросается на монаха, руководящего обороной судна, бьется с ним, ранит, монахи сдаются. Разин велит повесить на мачте раненого монаха и еще двоих; разбойники с хохотом вешают монахов.

VII

На других судах бросают в воду судовых хозяев, приказчиков, начальников, стрельцов. Фролка Разин сцепился с каким-то огромным купцом и вместе с ним падает за борт.

VIII

Берег. Стоя на камне, Разин говорит толпе бурлаков и стрельцов:

— Кто пойдет со мною, будет вольным человеком.

Толпа присоединяется к шайке Разина, кричит, машет шапками.

IX

К Разину подводят старика монаха,¹ он смотрит на Разина молча, строго. Его привел Фролка, мокрый и смешной.

Разин. Что, старик?

Фролка. Он — немой!

Старик властно указывает рукой в небо. Подошел Борис, со страхом смотрит на старика.

X

Разин — усмехается.

— Ничего не вижу там и оттуда ничего не видно.

Старик указывает рукою в землю.

XI

Разин. Прогоните его. Не троньте. Иди, старик...

Фролка падает на колени пред монахом, Разин отталкивает брата ногою.

— Не вайайся зря, свинья! Иди, старик, а то...

Монах, не торопясь, отходит. Обернулся, вновь указывает в небо. Разин смотрит туда и махает рукою. Монах медленно уходит. Борис говорит Разину:

— Я пойду с ним.

— На что?

— Молиться буду за тебя.

— А ты лучше песни пой.

Усмехаясь, обнял Бориса, уводит его.

XII

Ночь. На реке горит ограбленное судно. Разбойники на берегу пьют, едят. Костры пылают.¹ Разин, сидя на камне, задумчиво чертит концом сабли песок. С ним Борис, он говорит:

— Много ты людей бьешь...

Разин пристально смотрит на него, отвечает:

— Не толкнешь людей, так они никуда не пойдут. А уже коли они пошли, — остановить их трудно. Что, птица, тебе тяжело со мной? погоди, скоро будет легче...

Оба задумчиво молчат, глядя на горящее судно.

В ПЕРСИИ

I

Город Фарабат на берегу моря. Летний дворец шаха, причудливая постройка восточного стиля. В море стоят казачьи суда, к берегу едет лодка с послами Разина.

II

Жители города: старики, женщины и дети бегут, увозя имущество на мулах и ослах, на верблюдах. Молодые персияне вооружаются, готовясь отразить нападение. Сильное смятение.

III

Послы Разина у Менеды-хана: «Мы никого не тронем, мы будем у вас все покупать. Мы бежали от московского царя, наш атаман послал людей в Испагань к шаху вашему просить, чтоб шах дал нам земли, мы хотим жить с вами дружно».

Менеды-хан разрешает казакам войти в город.

¹ он — немой

¹ На дереве висит удушенный человек

Базар в Фарабате. Картина оживленной торговли. Казаки выменивают награбленное ими на оружие. Ряд комических эпизодов взаимного непонимания: казак, указывая на свою голову, просит шапку, а его хотят обрить, хохот казаков. Персиянин предлагает казаку серебряный пояс, казак, думая, что это подарок ему, обнимает перса, целует и, надев пояс, уходит. Перс — кричит:

— Грабеж!

Указывая на рот свой, казак просит хлеба, персы с любопытством щупают его зубы пальцами, — казак сердится, толкает их. В группе персиян играет на бандуре одноглазый бандурист, персы внимательно рассматривают его инструмент. В толпе ходит Борис, восхищаясь яркостью костюмов, невиданной красотой города. Пытается выразить персам свой восторг. Они его не понимают и, так как он одет плохо, в лохмотьях, дают ему мелкие монеты, думая, что он просит милостыню. Борис, осмотрев деньги, бросает их на землю. Становится на углу, вынув дудку из кармана, играет, — это еще более убеждает персиян, что пред ними нищий. Они бросают деньги к его ногам. Оскорбленный милостыней художник, перестав играть, грустно оглядывается, прячет дудку в карман. Идет куда-то, унылый, всем чужой.

V

Идет Разин с Черноярцем, Фролкой и еще группой сотников. Видно, что под кафтанами у них — кольчуги. Разин влезает на возвышение, откуда его всем хорошо видно, Фролка и Черноярец остаются с ним, сотники идут в толпу. Казаки, заметив Разина, толкают друг друга, перемигиваются, готовят сабли.

VI

Разин свистит, сунув пальцы в рот, сбросил с плеч кафтан, обнажил саблю, кидается на персиян, рубит их. Борис в ужасе хочет остановить его, падает, отброшенный Разиным.

VII

Избиение персиян казаками. Грабеж лавок и домов. Разин, поспевая всюду, руководит грабежом, кричит:

— Бери больше оружия, ребята!

Ведут пленных. Одноглазый старый запорожец считает их, отмечая десятки ножом на палке. Ведут раненного в свалке Борса.

IX

Ведут старика Менеды-хана с дочерью и сыном. Разин срывает чадру с головы девушки, брат ее бросается на Разина. Разин, схватив его за горло, взмахнул саблей — Менеды-хан падает к ногам Разина.

— Не убивай, дадим богатый выкуп!

X

Девушка тоже бросилась к ногам Разина, умоляюще подняв руки. Он медленно опускает саблю, отталкивает ее брата, поднимает девуцу с земли.

XI

«Э т у — м н е!»

Властно приказывает отвести персиянку на его судно.

Фролка, приплясывая, ведет ее, казаки расступаются пред нею, Разин провожает ее взглядом, нахмурясь.

XII

Менеды-хан простирает руки вслед дочери. На земле бьется его сын, казаки вяжут его куском ткани, как куклу, смеются. Разин вкладывает саблю в ножны, оглядывая вереницу пленных. Город горит. На улице трупы убитых персиян.

ПЕРСИДСКАЯ КНЯЖНА

I

Шатер на судне Разина, устроенный из персидских тканей и ковров. В шатре на коврах и подушках полулежит персидская княжна и упорно смотрит на Разина. Задумчиво любуясь ею, он сидит рядом.

II

Судно Разина, у бортов сидят и гребут пленные персияне. На носу группа товарищей Разина и Фролка; все они богато одеты в персидское платье. Пьют из серебряных чаш и кубков, часто, усмехаясь, погля-

Идут в сторону атаманова шатра; один из них играет на бандуре и поет, товарищи его хохочут. С ними Борис, сильно пьяный, пытается играть на дудке, не может. Плачет. Думает дудку о колесо.

III

«Хорошо мне с тобою, да — немая ты, и я — немой».

Красота персиянки усыпляет волю Разина, улыбаясь, он мечтает о тихой, спокойной жизни с нею, он гладит волосы ее, грустно и ласково улыбаясь; она жметесь к нему, целует его руки и, неотрывно глядя в глаза его высасывающим взглядом, что-то говорит, отвечая на его слова.

IV

Песня, хохот на носу судна все буйнее, люди издеваются над увлечением атамана. Певец встал на ноги и поет, обратясь в сторону шатра.

V

Лицо Разина грозно нахмурено, он пристал, слушая песню, схватился за саблю, княжна ласкается к нему.

Они смеются надо мной?...¹ Они смеются... Подожди!

Оттолкнул ее, идет.

VI

«Что поёшь?»

Разин стоит пред певцом, тот, смущенно улыбаясь, молчит. Фролка, пьяный, указывает в сторону шатра, все казаки хохочут, певец тоже усмехнулся. Борис, стоя на коленях, качаясь, взмахивая руками, кричит:

— Не хочу я с тобой жить, отпусти меня!

VII

Ударом сабли Разин разбивает бандуру и затем сбрасывает певца за борт. Грозно смотрит на товарищей, Фролка ползет прочь, все испуганы. Борис встал на ноги, тоже хочет кинуться за борт. Разин схватил его за плечо, ведет за собой.

¹ Не понимаешь ты...

VIII

Разин около княжны, сидит, схватив голову руками, она смотрит в лицо ему, положив локти на колени.

— Куда ты меня зовешь, девушка? И тихой жизни? Это — не для меня. Я затеял большое дело, я хочу освободить людей от Москвы, от царя, а ты...

У входа в шатер спит Борис.

IX

Женщина, победно улыбаясь, обнимает его, Разин вскакивает на ноги, безумно оглядывается и, схватив княжну за руки, жадно целует ее.

X

«Нет! Прощай!»

Разин бросает княжну за борт и с ужасом на лице смотрит на реку, провожая взглядом уходящее тело.

XI

Между тканями шатра изумленные, испуганные лица казаков, постепенно они окружают атамана, глядя на него с восторгом, машут шапками, кричат. Пьяный Фролка бросает в реку подушки, пляшет. Разин смотрит на всех угрюмо и властным движением руки прогоняет их прочь. Остается один, смотрит вдаль и, нахмурясь, что-то шепчет. Проснулся Борис, разглядывает Разина, потом дергает его за полу, Разин угрюмо смотрит на него:

— Уйти от меня хочешь? Жалко мне тебя, чистая душа. Поёшь ты хорошо. Ну — иди! Не по дороге тебе со мной.

XII

— Эй, к берегу!
Гребут к берегу.

XIII

На берегу стоит Борис, плачет, машет шапкой.

XIV

На корме Разин хмуро смотрит на берег, потом, с досадой сорвав шапку, бросает ее в воду.

РАЗИН В АСТРАХАНИ

I

Воевода Прозоровский.

Богато, по-восточному украшенные хоромы астраханского воеводы. Прозоровский сидит за столом, окруженный боярами, подьячими, боярскими детьми. Тут же¹ капитан Видерос, начальник отряда немцев-рейтаров, и² Бутлер, капитан первого русского морского судна «Орел».

II

Послы Разина.

Входят пятеро казаков, они великолепно одеты, богато вооружены, их сопровождают астраханские стрельцы и отряд немцев под командой Штрауса, помощника Видероса. Казаки говорят воеводе:

— Мы просим государя на Москве, чтоб он простил нам всё сделанное нами и приказал пропустить нас домой, на Дон. А острова, завоеванные нами саблей у персиян, отдаем ему, государю.

Общее ликование астраханцев. Воевода встает и отвечает казакам обещанием хлопотать за них в Москве. В стороне Видерос и Штраус тревожно совещаются о чем-то.

III

Пир на палубе судна «Орел».

Палуба уставлена столами, Прозоровский и Разин сидят рядом, их окружают знатные астраханцы, казацкие сотники, тут же, за отдельным столом, Видерос, Штраус, Бутлер, немцы-рейтары. Матросы на судне — все немцы, так же как и плотники; судно строил Бутлер.

IV

Воевода, выпивший, требует, чтоб Разин отдал ему богатую персидскую шубу со своих плеч.

Разин. Жадны вы, бояре! Сколько уж подарили казаки вам, а вы все больше просите!

Воевода. Не скупись, атаман! Мы сила, и хорошо, и худо можем сделать для тебя в Москве.

Разин. Грабите вы нас. Ну, бери шубу, только б не вышло из-за нее шуму...

Снимает шубу, отдает ее воеводе. Казаки раздражены жадностью Прозоровского и не скрывают это. Все пьяны. Пляски, пение, толкотня. Некоторые из казаков вызывают на единоборство немцев, матросов и плотников. Отношение к немцам явно враждебное. Чтоб не раздражать казаков, немецкие матросы позволяют одолевать себя в борьбе.

Один из матросов, могучий парень, поддается даже совершенно пьяному Фролке. Это вызывает смех большинства казаков, но некоторые поняли, что немцы боролись с ними несерьезно, и смотрят на матросов подозрительно, сердито. Разин, шутя, предлагает воеводе бороться с ним. Тот отказывается, испуган. Казаки смеются.

V

Казаки гуляют.

Торговая площадь пред астраханским кремлем. Ходят группы казаков, одетые в шелка и бархат, в шапках, украшенных драгоценными камнями. Идет Разин, тоже великолепно одетый, бросая в народ горстями из мешка на поясе серебряные деньги. Казаки ведут себя буйно, хватают женщин, целуют их.

VI

Бутлер, во главе плотников, подносит Разину бочонок водки. Разин и казаки тут же на улице пьют, угощая немцев и народ. Народ восхищается простотой Разина.

VII

«Чего мне нельзя, того и другим нельзя».

К Разину подводят казака, уличенного в обиде чужой жены. Тут же и эта женщина в разорванном платье. Разин, нахмуясь, выслушивает жалобу горожан. Обнажил саблю и убивает казака. Горожане, восхищенные его справедливостью, кланяются ему, шумно благодарят. Он оделяет их деньгами и, толкнув ногою убитого, идет дальше. Немцы, стоя в стороне, совещаются о чем-то. Горожане братаются с казаками и вместе с ними грабят лавку.

VIII

На лужайке, у городской стены, сидит Разин, его окружают дети, он, смеясь,

¹ немец

² Штраус, его товарищ

взлетит из сласти из полы своего кафтана. В другой группе детей одноглазый зашпорец играет на бандуре.

IX

Разин показывает детям саблю свою, не обижая ее. Надевает на голову одного из них свою шапку, хохочет. Дети не боятся его, шунуют шитье кафтана, пояс. Видно, что Разину все это приятно. Свистит, подбегает казаки, он приказывает им плясать. Пляшут, дети в восторге, Разин хлопает ладонями.

X

Капитан Видерос у Разина.

— Воевода прислал тебе приказание, чтобы ты лишних из города вывел под страхом гнева царева.

Разин, схватясь за саблю:

— Не смей грозить мне! Не боюсь я ни воеводы, ни царя! Я вольный человек!

Видерос уходит.

XI

«Будет бунт!»

Совещание немцев, матросов, плотников и рейтаров.

Штраус. Мы — в ловушке. Казаки ненавидят нас. Собирайте пожитки, бежим в Персию.

Видерос. Нечестно бежать, надо защищаться.

Спор.

XII

Ночь. Немцы, человек двадцать, садятся в лодки, прощаясь с Бутлером и Видеросом. Уезжают. Бутлер, Видерос идут в город.

XIII

Шпионы.

Пред Прозоровским двое нищих, он приказывает вытатать их, нищих поднимают «на дыбу», бьют плетью, они сознаются:

— Мы обещали Разину поджечь город, когда казаки пойдут на приступ.

XIV

Астраханская крепость.

Кирпичная стена в три метра шириною, на стене — зубцы, между ними — пушки.

По углам стены двухъярусные башни с колоколами, в колокола бьют во время боя для возбуждения бойцов. Прозоровский обходит стену, наблюдая, как ворота ее заваливают кирпичом и бревнами. Горожане с пищалями, топорами, копьями и бердышами. Работают неохотно. Бутлер и Видерос, сопровождая воеводу, советуют ему сжечь слободу под городом, чтоб не дать защиты казакам.

XV

«Поборитесь за государя!»

Крестный ход вокруг крепости, митрополит увещает горожан честно защищать город. Воевода тоже говорит речь. Горожане, сняв шапки, слушают молча, глядя в землю.

XVI

Казаки Разина идут на приступ, везут пушки, тащат штурмовые лестницы, связки фашинника. Впереди — Разин, в кольчуге, с обнаженной саблей.

БОИ

I

Казаки лезут на стены, не встречая сопротивления. Пушки стреляют через их головы.

II

Астраханцы избивают пушкарей, бояр и всех, кто пытается защищать город. Воеводу Прозоровского ударили копьём в грудь. Один из холопов, схватив воеводу, уносит его.

III

В церкви, на полу, лежит воевода, вбегает митрополит, бросается на грудь его, потом — причащает. Вбегают женщины с детьми, кувцы, бояре, дяки, спасаясь от смерти. Врата церкви закрыты железной решеткой, около нее встает один стрелец, Фрол Дура, с ножом в руке.

IV

На паперть церкви лезут казаки, Дура бьется с ними, его одолевают не скоро, он ловок и силен. Казаки стреляют в церковь сквозь решетку. Убили ребенка на руках матери. Врываются в церковь. Резня.

Прозоровского вытащили из церкви и бросили на землю, у колокольни. Выводят раненых, выволакивают трупы, издеваясь над ними.

VI

Разин смотрит на Прозоровского, поднимает его с земли за руку, ведет на колокольню, там говорит ему что-то, воевода отрицательно качает головою. Разин сбрасывает его с колокольни. Спустился на землю и приказывает перебить всех пленных.

VII

Капитан Видерос с небольшой группой своих людей защищается против казаков. Разин смотрит на бой, поощряя нападающих, но люди Видероса, увидав Разина, сами убивают своего капитана. Разин велит перебить их.

VIII

На городской стене висят люди, они подвешены за ребра, некоторые — за одну руку, иные — за ноги, вниз головой. По земле ползут раненые, их добивают.

IX

Казачьи и городские женщины избивают боярских жен и детей. Красивых боярыш и боярышен казаки тащат в плен.

X

— Много приказных людей и бояр спряталось, вели их отыскать и убить, а то придет из Москвы помощь им, станут они вредны нам.

Перед Разиным толпа вооруженных горожан, он отвечает:

— Когда уйду из Астрахани — делайте, что хотите!

Привели жену Прозоровского, с нею дети, одному 8 лет, другому 15. Разин велит повесить старшего на городской стене вниз головой. Вешают. Мать ползает по земле у ног Разина, он отталкивает ее ногою.

Закрыв глаза, вздрогнул: пред ним возник образ матери: опираясь на палку, она стоит на берегу реки, смотрит вдаль.

«Вот так я сожгу все дела в Москве, у царя!»

В огромный костер бросают связки бумага, Разин ногою и саблей поджигывает их в огонь. Казаки бешено пляшут вокруг костра, горожане тоже. Ползет на коленях жена Прозоровского, умоляет Разина пощадить детей, он приказывает:

— ¹ Высечь и отдать ей. Прочь, баба!

XII

Горожане принимают присягу на верность Разину.

«Стоять за атамана верой и правдой, служить ему честно, изменников истреблять».

Все подняли руки. На земле, у ног Разина, сидит Фролка, изумленно глядя на брата и людей.

НАЧАЛО КОНЦА

I

Казаки Разина осаждают Симбирск, бросают в город через стену зажженные поленья, снопы соломы, пучки пакли.

II

К Разину приходят толпы мордвы, чуваш, черемис. Некоторые вооружены только луком и стрелами, иные — топорами на длинных рукоятках, некоторые — просто дубинами с корнем на концах. Разин принимает их, говорит им речь, указывая на стены города.

III

Ночь. Стеной идут московские войска, они обучены по-европейски, их ведет князь Юрий ² Борятинский.

IV

Утро. По реке быстро едет лодка, в ней — Разин, гребет Фрол. Разин задумчиво сидит на руле. Он мысленно видит персидскую княжну в шатре, в тот момент, когда она молча смотрела в лицо его. Снял шапку, наклонил голову. Потом вспомнил Бориса, в минуты, когда тот, со

¹ Старшего сбросить со стены, младшего

² Долгорукий

слезами, стоя на берегу, прощался с ним. Разин отирает шапкой лицо. Кричит брату:

— Гребь скорей!

V

Пещера отшельника на берегу реки. Отшельник, маленький, седой старичок, молится, стоя на камне. К нему идет Разин, старик не замечает его. Разин с минуты наблюдает за ним.

VI

— Довольно, старик! Я пришел рассказать тебе жизнь мою. Может быть, есть бог, ты умрешь скоро, так вот, — выслушай меня и Расскажи богу.

Разин стаскивает отшельника за полу и, усадив его на камень, рассказывает жизнь свою; волнуясь, то загорается гневом, то печально разводит руками, говорит:

— Может, я многих людей зря погубил, ну все-таки: мой грех — не царский грех, не против всех!

VII

¹ Встал, обнажил ² голову.

³ — Вот, отец, я тебе все рассказал. Коли есть бог — скажи ему: на земле и праведное дело без греха не сделать! Это уж не наша, людская, вина.

Старик властно говорит:

— Встань на колени, проси прощенья!

Разин отрицательно мотнул головой:

— Ни пред кем не вставал и пред тобой не встану. Я — не каяться пришел, а рассказать. Прощай. Скажи спасибо, что я тебе голову не срубил!

VIII

Разин во главе своих казаков дерется с московскими войсками. Иностранцы — мордва и чувашь — разбиты москвичами, бегут, смяли Разина и казаков. Разин получил удар саблей по голове, ему прострелили ногу. Падает.

IX

Паника. Крестьяне и мордва спасаются от преследования москвичей, увлекают за собою казаков.

¹ Кончил говорить.

² Саблю

³ А теперь я убью тебя, чтоб бог скорей узнал обо мне от тебя!

Рубит старика.

X

Четверо казаков несут бегом раненого Разина.

XI

Казаки бросаются в лодки и поспешно плывут вниз по течению реки. Разин, опираясь на копьё, командует посадкой, голова у него завязана.

XII

Князь Борятинский перед толпою пленных.

— Что, бунтовщики? Попались?

Кричит, топая ногами:

— Утопить их. Вешать! Посадить на колья. Плоты построить, на плотках—виселицы, и пускать по реке, на поучение холопам.

XIII

Расправа князя Борятинского.

По реке плывут плоты, на них устроены виселицы, на виселицах — трупы казаков и крестьян. На плотках тоже изрубленные трупы. Некоторые посажены на колья.

КОНЕЦ СТЕПАНА РАЗИНА

I

Отряд казаков во главе с Корнилом Яковлевым везет в Москву Разина, скованного цепями, с ним Фролка.

II

Толпы народа встречают Разина враждебно, издеваются над ним. Он смотрит на людей равнодушно. Фролка испуганно жметя к брату.

III

Большая телега запряжена четверкой лошадей, на телеге устроена виселица глаголем. С Разина срывают богатое платье, одевают его в нищенские лохмотья. Привязывают цепью за шею к перекладине виселицы, руки и ноги прикрепляют цепями к телеге.

IV

Фролке надели цепь на шею и приковали другой конец ее к задку телеги. Теле-

га тронулась. Разин стоит неподвижно. Фролка бежит¹, вытянув шею, руки его скручены за спиной. Толпа враждебно воет, казаки отгоняют ее.

V

Д о п р о с.

Бояре допрашивают Разина.

— Не о чем говорить мне с вами, все знают, кто я таков и что делал. Одолели вы меня — ваше счастье, я бы одолел вас — тоже не пощадил бы.

VI

П ы т к а.

Разина подвесили за руки на дыбу, ноги его у щиколоток связаны, между ног всунуто бревно, палач стоит на бревне. Разин переносит пытку молча. Бояре изумлены его терпением. Велят бить его плетями по спине. Разин молчит. Прижигают избитое тело раскаленным железом. Молчит, сжав зубы.

VII

Пытают Фролку, он неистово кричит; просит прощенья. Бояре смеются, смеется палач.

VIII

Разин говорит презрительно:

— Молчи, баба! Разве это больно? Испытал счастье свободной жизни, — умеи терпеть и несчастье, дурак!

Бояре в ужасе пред его жестокостью и стойкостью.

IX

Разин в тюрьме, прикованный цепью за шею и за руки к стене. Дремлет. Во тьме пред ним возникает светлое пятно, и Разин видит мать: она стоит на берегу реки с палкой в руке и смотрит вдаль.

X

Красная площадь в Москве. Вокруг Лобного места толпы народа. Бояре верхами на конях, стрельцы, иноземные рейтары.

¹ за нею

XI

Везут Разина, он прикован к столбу на телеге и возвышается над толпою. Толпа — орет, волнуется. Фрол, замученный пыткой, лежит у его ног.

XII

Разин на Лобном месте, смотрит, усмехаясь, на стены Кремля, на толпу народа и бояр. Бояре грозят ему кулаками, саблями.

XIII

Палачи укладывают Разина на плаху, он смеется.

XIV

Разина четвертуют, отрубая ему поочередно руки, ноги, голову.

XV

П р о ш л и г о д а.

В лесу, на поляне, группа разнообразно вооруженных людей, разбойники. Среди них — старик с гуслями поет о Разине.

Жил да был справедливый
козак,

Жил Степан Разин, Тимофеев
сын.

Он бояр казнил, бедный люд
любил...

XVI

Разбойники благодарят старика за песню. Атаман их дает ему денег, спрашивает:

— Как тебя звать, дед?

— Борис.

XVII

В избе, тесно набитой взрослыми и детьми, за столом сидит дед Борис, играя на гуслях, поет:

Кто людям послужил, тот и богу
послужил,

А грехи его тяжелые — не нам
судить.

Тут и кончена песня про Разина,
Про удалого Степана Тимофеева.

Ход коня

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.

Старый, грязный дом в три этажа; нижний этаж занят мастерскими столяров, слесарей; над одной дверью вывеска¹ «Резчик по металлу». В открытых окнах двух этажей проветриваются подушки, одеяла, на подоконниках — посуда, бутылки; на одном — железное ведро. Кое-где стекла выбиты и рамы заклеены бумагой.

2.

Мастерская гравера, он работает за столом, у окна². Это человек средних лет, с опухшим лицом алкоголика, с тупым взглядом. В дверь с улицы входит человек с костью, в солдатской шинели; он тащит за руку Якова Сорокина, мальчика лет 10—12. Яков, сопротивляясь, упирается, хромой дает ему подзатыльник, мальчик летит к столу, гравер встречает его ударом в лоб, мальчик сбит с ног, оглушен, сидит на полу, оглядываясь. Взрослые — хохочут, разговаривая друг с другом; гравер достает из-под стола бутылку водки. Яков подвигается к двери, намереваясь бежать, хромой успел схватить его за волосы, поставил на ноги, толкнул к резчику, тот сжал Якова коленями и пальцем стучит по лбу его. Яков смотрит на него исподлобья, с ненавистью.

3.

Яков шлифует медную доску; подает ее хозяину; тот, взглянув на доску, кричит на него, дает пинка ногой; Яков увернул-

¹ «Гравер»

² режет медную доску

ся от удара, высовывает в спину хозяина язык, грозит кулаком, снова садится на пол, шлифует.

4.

Вечер. Грязный двор, заваленный всякой рухлядью, разбитыми ящиками и бочками, деревом. На телеге без колес — мальчишка одних лет с Яковым, он держит в руке бичевку, к ее другому концу привязана за ногу птица — галка или ворона, — она прыгает по земле, хочет лететь, мальчишка дергает веревку, птица падает.

5.

Яков Сорокин, сердито нахмурясь, сидит на подоконнике, свесив ноги на двор. Соскочил, подошел к телеге, закатывая рукава рубахи, угрожает, запрещая мучить птицу. Мальчишка, подтянув птицу на колени себе, дразнит Якова. Ссора, драка. Яков отбил птицу, подбежал к окну, вскочил на подоконник, избитый мальчишка не успел догнать его.

6.

Маленькая грязная комната, во середине ее — стол, у стены — кровать, в углу, на полу, спит Яков. Открылась дверь со двора, вошел гравер, зажигает лампу, он — не трезв. По комнате начинает летать что-то; гравер — испуган, размахивает руками, защищая голову, прячется в угол, разбудил Якова; тот, вскочив, тоже сначала испугался, но, быстро сообразив, в чем дело, подошел к окну, открыл его, — птица улетела. Гравер бросается на ученика, хочет бить его; Яков ловко избегает ударов, опрокинул стол под ноги хозяина, выскочил в окно.

7.

Утро. Кладбище. В группе деревьев — маленький, в одно окно, домик сторожа, рядом с ним — полуразрушенная часовня-склеп, видны ступени, ведущие вниз к двери склепа. У стены склепа спит на траве Яков. Немного дальше к деревянному кресту привязана коза.

8.

Из двери сторожки вышел кладбищенский сторож, чистенький старичок с одним глазом, перекрестился, глядя в небо, идет в склеп. Затем из сторожки выходит худенький, болезненный мальчик, он вынес жестяной ящик из-под бисквитов, гладко обструганное полено — вал. Садится на могилу, достал из ящичка молоток и гвоздь, делает гвоздем дырки на валу и забивает в дырки деревянные колышки. Он очень углублен в свою работу. Из склепа вышел сторож, в руках у него — череп человека. Он сел рядом с мальчиком, внуком своим, достал из жестяного ящичка щипцы, снимает с зубов черепа золотые коронки, выдергивает зубы. Дед и внук работают, не обращая внимания друг на друга. Сняв коронки, старик взвесил их на ладони, показал внуку, тот взглянул на добычу ископа, без любопытства. Старик перекрестил череп, поклонился ему, пошел в склеп.

9.

Яков проснулся; озирается мигая. Сорвал пучок травы, вытер ею лицо, руки, встал, потянулся, расправляя мускулы, пошел, не заметив внука сторожа, который, перестав работать, изумленно смотрит вслед ему.

10.

Молодая женщина, стоя на коленях у могилы, — молится. Над могилой простенький памятник, — камень и крест на нем. Кончив молиться, женщина положила к подножию креста цветы и ушла, отирая глаза, лицо платком. Скрытый за другим памятником стоит Яков. Идет к могиле, где молилась дама, смотрит на цветы, не трогая их. Видит в камне памятника овальную рамку и, за стеклом, фотографию кудрявого мальчика лет 5—6, в матроске, с голой шеей. Он долго, задум-

чиво рассматривает портрет, держа руки за спиной, затем, присев, плюет на стекло и сначала протирает его травой, затем рукавом рубахи. Издали за ним наблюдает внук сторожа. Яков протер стекло, сел на могилу, взял один из цветов и, закрыл глаза, проводит цветком по лицу своему, но глазам. Внук сторожа скрылся.

11.

Поспешно, но осторожно, крадется между могил сторож, за ним следует внук. Сторож подкрался к Якову, схватил его за плечо:

— Ты чего тут делаешь?

Яков пытается вырваться, старик опрокинул его, прижал к земле, хочет ударить, внук схватил его за руку, кричит:

— Дедушка, не бей!

12.

Яков оживленно рассказывает сторожу о гравере, представляет его походку, его опухшее лицо, историю с птицей; внук сторожа, слушая, улыбается, смеется¹, очень увлечен рассказом; старик слушает нахмуясь, смотрит на Якова недружелюбно, обнял внука, прижал его к себе. Яков кончил, внук сторожа говорит:

— Дедушка, пускай он живет с нами!

Старик взял Якова за подбородок, смотрит в лицо ему.

— Боек ты, мальчишка! Есть хочешь?

13.

У двери сторожки. Яков ест хлеб, слушая, как внук сторожа объясняет ему свою работу, показывая жестяной ящик, вал, бичевки.

— Вал будет внутри ящичка, а нитки я натяну сверху, и это будут струны, колышки вала станут задевать за них, они заиграют, вот и будет музыка. — Говоря, мальчик кашляет, задыхается. Яков перестал есть, сунул остаток хлеба в карман, вздохнул. Из двери сторожки вышел сторож с метлою, дал ее Якову, ведет его в склеп.

14.

Внутри склепа. Свет падает сверху сквозь разрушенный потолок. На полу —

¹ он

мусор, куски извести, кирпича; в углу — лезвие, доски, коса, тачка; в другом углу, на куске могильного памятника, два черепа. Сторож ввел Якова, приказывает ему вычистить склеп, ушел. Яков принимается работать, увидел черепа, испугался, бросил лопату, бежит к двери, остановился, смотрит в угол; затем тихо подошел к черепам, рассматривает их, поднял один к лицу, смотрит во впадины глаз; поставил на место; работает.

15.

Внук сторожа натянул бичевки на эшип, вертит вал, прислушивается, — музыки нет. Он огорченно отодвигает ящик, закашлялся, прилег. Яков, стоя на ступенях склепа, с корзиной мусора в руках, видит неудачу изобретателя музыкального ящика, усмехается, идет за угол склепа, высыпал мусор к стене, бросил корзину, задумчиво почесывает пальцем бровь.

16.

Улица. Магазины детских игрушек, на створках его дверей развешены жестяные трубы, куклы, кони. Яков стоит перед окном магазина. В магазин идет толстая дама с двумя детьми; когда она входит в дверь, Яков, за ее спиною, быстро срывает с двери жестяную трубу и стремительно бежит прочь.

17.

Кладбище. Яков показывает внуку сторожа трубу, тот обрадованно схватил ее, жует. — Труба не играет. Яков взял трубу из его рук, тоже пробует играть, смотрит в нее на свет, — в трубе нет пиццики. Яков указывает на это мальчику, ругается:

— Жулики! Обманывают...

Бросил трубу на землю, растоптал ее ногою; внук сторожа сожалеет об этом, поднял трубу, почти плачет; Яков утешает его:

— Я тебе другую достану, хорошую...

— Упрямый!

18.

У входа в цирк на дневное представление. Облою кассы в толпе людей — Яков. Маленький одетый мальчик, стоя рядом с Яковым, укладывает в кошелек сдачу,

полученную из кассы, в руках девочки — билеты. Яков выхватил кошелек из рук мальчика, бежит; мальчик закричал, бросился за ним, его останавливает, схватив за плечо, молодой парень с бесцветным лицом — впоследствии это Трубочист, — кричит:

— Ага, попался, ворнишка!

Мальчик вырывается, объясняя, что он — не вор, а обокраден, его окружают люди. Тем временем Яков исчез.

19.

Внук сторожа сидит в тачке под деревьями, перед ним торжествующий Яков, он выкладывает из-за пазухи своей на колени мальчика пряники, конфеты, большую жестяную трубу, ящичек, на поверхности которого кавалер и дама, Яков вращает ручку с бока ящичка, кавалер и дама подпрыгивают, вертятся, Яков хохочет. Мальчик — изумлен, он жует пряники и одновременно дует в трубу, у него блуждающее лицо, он не знает за что взяться и, кашляя, тоже смеется.

20.

Идет сторож с косою на плече. Подошел; дети не замечают его. Яков показывает кошелек, хвастается:

— У меня еще есть деньги!

— Ты — нашел?

— Я — украл!

Сторож вырвал кошелек из его рук.

— Значит — ворнишка? Я так и думал!

Схватил Якова за волосы, — внук кричит испуганно и гневно:

— Не тронь его!

Старик оттолкнул Якова, присел на могилу, спрятал кошелек в карман себе, закурил трубку и, покуривая, сумрачно смотрит на Якова. Яков — сконфужен, искоса наблюдает за сторожем. Внук сторожа увлечен игрушками, забыл о Якове. Яков тихонько отходит прочь.

21.

Мастерская гравера. Входит сторож кладбища. Разговаривает с гравером.

22.

Гравер стоит у ворот кладбища.

23.

Внук сторожа спит в тачке под деревьями. Сторож вывел Якова из склепа, дает ему медную монету, толкает в затылок.

— Беги, купи мне табаку.

24.

Яков стремительно выбегает из ворот кладбища, гравер подставил ему ногу, схватил упавшего мальчика, поставил на ноги, смотрит в лицо ему, озлобленно встряхивая. Яков дрожит от испуга и злобы.

25.

По улице идет гравер, держа Якова за руку, дергая его. Яков смотрит волчком на встречающих людей, которые или смеются над ним, или угрожают ему.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

1.

Битва из-за птицы. В воротах дома, где живет гравер, прячутся трое мальчишек, один из них — тот, у которого Яков отнял птицу. Спешно идет Яков с корзиной покупок, мальчишки бросились на него, — драка. Корзина на земле, из нее вывалились огурцы, колбаса, хлеб, бутылка. Дерущиеся топчут все это. Со двора, из мастерских, выбежали люди, они любят дракой, подзадоривают драчунов. Выскочил гравер, свирепо растолкал зрителей, схватил Якова, понес его на двор, обезумевший мальчик бьется в его руках, кусает гравера.

2.

На дворе под водосточной трубой стоит чан с водой, гравер окунает Якова с головой в воду раз, два, три. Зрители и мальчишки неистово хохочут. Гравер гонит Якова в мастерскую.

3.

Яков, освещенный огнем фонаря, стоит в воротах дома, в руках его — веревка. Пошатываясь, идет гравер. Яков быстро захлестывает веревку за столб фонаря и, держа другой ее конец в руках, прячется в воротах. Когда гравер поравнялся с фонарем, веревка натянулась в полуаршине над землей, гравер запнулся за нее, упал.

4.

Яков, бросив веревку, подбежал к окну на дворе, влез в него, закрыл окно.

5.

Гравер, стоя на коленях, рассматривает веревку, отвязал ее, идет во двор, подо-

шел к окну, стучит в стекло. Дверь рядом с окном открылась, — на пороге — сонный Яков, почесывается. Гравер хлещет его веревкой, вталкивает в комнату.

6.

День. В мастерскую гравера входит Кротов, организатор и глава шайки воров, человек лет 50-ти, лысый, с шишкой на голове, с неподвижным лицом и глубоко запавшими глазами. Он подает граверу кусок картона с надписью:

П. Кротов.

Продает и покупает поддержанную мебель.

Садится, разговаривает с гравером. Гравер зовет Якова, тот, подбегая, запнулся за что-то, едва не упал; гравер взмахнул рукой, хочет ударить; Кротов удерживает его руку; гравер возмущенно жалуется на Якова; Кротов, слушая, присматривается к мальчику.

7.

Через несколько дней. Из двери мастерской гравера осторожно выглядывает Яков, видит на тумбе противоположной стороны улицы одного из своих врагов, враг, вложив пальцы в рот, свистит, Яков бросился бежать; со двора выскакивают еще двое мальчишек, гонятся за Яковым.

8.

Яков сидит на стуле у двери в небольшой, прилично обставленной комнате. Рядом с ним, на столе, газета, пара женских перчаток и деревянный нож для разрезывания бумаги. Якову скучно, он дремлет. Встряхнулся, зевнул. Взял со стола мерчатки, рассмотрел их, надел. Взял нож, встал и, размахивая ножом, начал наносить удары невидимому врагу; нападает, отступает, защищается. За его спиной приоткрылась дверь, в щели видно лицо Кротова.

9.

Вошел Кротов, держа руки в карманах. Смущенный Яков, бросив нож на стол, берет со стола пакет, заказ Кротова, спрятав другую руку за спину; Кротов выдернул его руку, спрашивает:

— Украл перчатки, да?

Перепуганный Яков быстро снимает пер-

чатки. объясняется, просит прощения, **Кротов** смотрит на него молча, подавляющим взглядом. Входит **Усатов**, низколобый человек с широким лицом, одна щека у него обрита, другая намылена; размахивая бритвой, он грозно наступая на **Якова**.

— Вор? Я ему отрежу уши...

Яков, взвизгнув, отскакивает в угол комнаты, загораживается стулом.

10.

Входит, — очень быстро, — скромно одетая женщина с печальным и строгим лицом, **Яков** узнал ее: это она молилась на кладбище; он бросается к ней, кричит:

— Я — не воровал! Я — играл!

Женщина обняла его, прижала к себе, упрекает **Кротова** и своего мужа. **Усатов** — хохочет. **Кротов** гладит **Якова** по голове, говорит, не улыбаясь:

— Я пошутил... Не бойся, мальчик...

11.

Яков за чайным столом в другой, тоже прилично обставленной комнате. Чай разливает жена **Усатова**. За столом ее муж и **Кротов**. **Яков** грызет орехи, говорит женщине:

— Я вас видел на кладбище, вы молились над могилой...

Усатов криво усмехается, **Кротов** исподлобья взглянул на женщину, она спрашивает **Якова**:

— А ты что делал на кладбище?

Яков оживленно рассказывает. **Кротов**, послушав, перебивает его речь.

— Значит, — ты будешь служить у меня. Завтра я поговорю с твоим хозяином. Теперь — иди! Возьми орехов.

Яков ссыпает орехи с тарелки в карманы себе. Жена **Усатова**, вздохнув, смотрит на него, у нее слезы в глазах; **Кротов**, толкнув **Усатова** локтем, подмигнул ему на жену, **Усатов** — нахмурился.

12.

Через несколько дней. Прилично одетый, чисто вымытый **Яков** стоит перед женою **Усатова**; она остригает ему ногти. Входит **Усатов**.

— А волосы почему не остригла?

— Жалко.

— Но ведь я приказал остричь? Приказал, да?

— Я остригу.

Он берет жену за подбородок и говорит в лицо ей:

— Кислая морда.

Яков вздрогнул, женщина прищемила ему ножницами палец; сунув палец в рот, **Яков** смотрит на **Усатова** сердито. Тот хохочет, уходит. Проводив его недружелюбным взглядом, **Яков** заглядывает в лицо женщины. Она, опустив глаза, снова начинает стричь ногти **Якова**.

13.

Кладбище. Идет **Яков** рядом с женою **Усатова**, в руках его пакет, видно, что это игрушки. Остановился, указывает ей вдале, она идет дальше. Старик сторож стоит, опираясь на косу, у ног его — корзина скошенной травы. Женщина разговаривает с ним, он отвечает неохотно, не глядя на нее.

— У вас, кажется, был внук? Где он?

Старик бьет черенком косы в землю:

— Тут. Там.

Женщина склоняет голову. Сторож начал ожесточенно косить.

14.

Ночь. Маленькая комната, ярко освещенная луною. У стены, на диване, спит **Яков**. Видит сон.

В тачке сидит внук сторожа, играя на жестяной трубе, но вместо головы у него голый череп¹ и лицо **Кротова**, затем оно превращается в один из тех черепов, которые **Яков** видел в склепе.

Яков проснулся, испуганно соскочил с дивана, оглядывается. Прислушался, подошел к двери, встал на колени, смотрит в скважину замка.

15.

В соседней комнате у стены стоит жена **Усатова**, **Усатов** сидит на постели, курит, в руках у него — бумаги. Он говорит:

— Вот документы. Мальчишка — твой сын. Мы его сделаем рыжим и покрасим на роже веснушек, а ты следи, чтоб он не смывал их. И чтоб не болтал. Поняла? Без себя никуда не пускай его.

Лицо женщины резко изменилось, она угрожающе подняла руку, говорит:

— Это — последний раз! Я больше не могу!

Муж встал, схватил ее за горло, стукнул головой о стену, насмешливо искривив лицо, спрашивает:

— Не можешь?

¹ взрослого человека

16.

Яков вскочил на ноги, сжал кулак, стучит в дверь, — дверь открылась, на пороге — Усатов:

— Что такое?

— Я боюсь.

— Чего?

— Не знаю. Боюсь.

Подозрительно осмотрев его, Усатов толкнул Якова в комнату, закрыл дверь.

17.

Яков стоит среди комнаты, плачет.

18.

Жена Усатова сидит у стола, схватившись руками за голову, что-то шепчет. Прислушивается; встала, идет к двери в комнату Якова.

19.

Яков бросается встречу женщине, борочет, обнимая ее ноги:

— Зачем он вас бьет? Я его зарежу ножом!

Женщина успокаивает его, укладывает на диван, садится, гладит голову мальчика; он взял ее руку, положил щеку свою на ладонь ей и — быстро заснул.

20.

Ночь. На углу двух улиц прижался к вывеске молодой человек — Трубочист, в руках у него коробка спичек, в зубах — незакуренная папироса. Он зорко смотрит по сторонам, прислушивается. Видно, что он в состоянии сильного нервного напряжения.

У окна стоит, глядя на улицу, жена Усатова. Он, сидя на полу, сверлит пол коловоротом. Рядом с ним лежит дождевой зонт, ручная пила, связка отмычек; работу его освещает лампа, накрытая абажуром. Яков разматывает клубок веревок, — веревочную лестницу, и оживленно, с интересом следит за работой Усатова.

21.

Магазин ювелира. В углу, пред иконой, горит лампадка. С потолка сыплется штукатурка. Затем на потолке является круглое отверстие, в него всунут зонт; зонт раскрылся, куски штукатурки падают в него, как в чашу.

22.

Усатов выпиливает в полу квадратное отверстие, Яков стоит и смотрит на его

работу с живым интересом. Женщина неподвижно, спиной к ним стоит у окна.

23.

Наполненный мусором зонт полускладывается и исчезает, поднятый наверх. В отверстие сброшена веревочная лестница. Спускается Яков, натянул лестницу, оглянулся, закрыл глаза. Спустился Усатов, вынул из кармана маленький фонарь, осветил витрины, сунул фонарь в руки Якова, начинает работать, Яков светит ему. Он немножко трусит, пугливо оглядывается, но в высшей степени заинтересован. Хватает с пола и прячет в карманы вещи, которые падают из рук работающего Усатова. Он берет вещи без футляров.

24.

Трубочист, на улице, вздрогнул, насторожился. Вдали, по середине улицы идет полицейский. На скамье у ворот спит дворник; полицейский подошел, разбудил его, сел рядом.

25.

Трубочист, стоя за углом, зажег спичку, закурил папиросу, делает ею крест в воздухе.

26.

Жена Усатова подходит к отверстию в полу, говорит, наклонясь над ним. Через несколько секунд из отверстия высывается голова Усатова, он с трудом протискивает свое тело, лицо его искажено злостью, подошел к окну, оттолкнул женщину, присмотрелся, ожесточенно плюнул, зажег спичку, секунду подержал ее пред окном, бросил. Его жена торопливо помогает Якову выбраться из-под пола.

27.

Трубочист быстро идет по улице, ударом локтя выбивает стекло в окне какого-то магазина, быстро перелезает через ворота.

28.

Полицейский и дворник бегут на шум, за угол, где Трубочист разбил стекло; полицейский на бегу свистит.

29.

Из дома, где помещается магазин ювелира, выходит, пошатываясь, Усатов под руку с женою, за ними следует Яков. Они

имеют вид людей, которые сильно запоздали в гостях.

30.

Позевывая, идет на свое место дворник.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

1.

На террасе маленькой дачи Кротов и Усатов играют в шахматы; рядом с ними, на столе, бутылки вина, стаканы.

Кротов. Шах королеве.

Усатов. Ловко ты конем ходишь.

Усатов пьет вино; Кротов, укладывая фигуры, говорит:

— Кстати о бабах: не нравится мне дружба твоей жены с Яшкой.

— Я за ними слежу.

Усмехается, продолжает:

— Мальчишка не дурак. Нахватал там, в магазине, кое-чего и прячет от меня.

Кротов оглянулся на дверь в комнаты.

— Испортит она его.

2.

Кустарник на берегу реки, разбитая лодка, на корме ее сидит жена Усатова, печально смотрит вдаль, по течению реки; встала, медленно пошла берегом; что-то шепчет, ломает пальцы свои, качает головою, у нее лицо человека душевнобольного.

3.

Яков сидит на земле, в кустах; вырыл из-под корней, из песка сардиночную коробку, достал из нее комок бумаги, развернул, надел на палец кольцо с камнем, любит. Затем вынул еще кольцо и брошь. За его спиною — жена Усатова, у нее испуганное лицо.

— Что это? Откуда у тебя это?

Яков объясняет, что подобрал вещи на полу магазина:

— Это — для вас. Он украл много, а вам ничего не дал.

Стоя на коленях, подает ей вещи, улыбается.

Подняв его, женщина гладит голову Якова, убеждает:

— Я тебе не первый раз говорю: беги от этих людей, они погубят тебя, у них впереди — тюрьма, и ты попадешь в тюрьму.

Яков слушает ее с явной скукой, притаптыкает песок ногою, лицо у него упрямое.

— У меня есть знакомая монахиня, я

дам тебе записку к ней, и она тебя спрячет. Монастырь — недалеко.

Яков, глядя на нее снизу вверх, говорит:

— Я хочу жить с вами. Я вас очень люблю.

Прижимается к ней.

4.

Маленькая комната на чердаке дачи; у стены, на койке, спит Яков. Осторожно входит Усатов в туфлях, берет платье Якова, обыскивает карманы, вынул перочинный ножик, свисток и несколько монет, пересчитал их, положил обратно в карман. Из другого кармана вынул маленькую бумажку, развернул, пробует прочитать, его лицо исказилось, зажал бумажку в кулак. Взмахнул им, быстро ушел.

Полуодетый Кротов сидит на постели, пред ним — Усатов, с запиской в руках; читает:

«... Мальчик хороший, доброе сердце, живет среди преступных людей...»

Кротов пожимает плечами.

— Вот видишь? Сегодня она пишет монахине, завтра напишет полиции.

Усатов мрачно спрашивает:

— Что же делать?

— Сядь. Слушай.

Усатов сел, Кротов, наклонясь к нему, говорит что-то.

6.

Раннее утро. Усатов с женою,¹ в купальных халатах, идут к реке. Он — ласков и весел, она смотрит на него удивленно, недоверчиво. Говоря, Усатов оглядывается.

7.

Он стоит по грудь в воде. Жена, попробовав ногою температуру воды, сбросила халат, перекрестилась, идет в воду. Муж протянул ей руку, она взяла ее нерешительно, заходит глубже, Усатов отстал на шаг, ударил ее кулаком по голове, она упала, скрылась под водою; муж, оглядываясь по сторонам, не дает ей поднять голову над водою. Она исчезла. Усатов быстро выходит на берег, лицо у него искаженное, идет к даче.

8.

Прислуга, деревенская девушка, вносит на террасу дачи самовар. На террасе — Кротов, глядя на часы, он говорит:

¹ оба

— Господа встали?
— Барин еще спит, а барыня. должно быть, ушла купаться.
— Разбуди барина. Скажи — я уезжаю.

Приходит Яков, кланяется. Кротов по-
дает ему руку.

— Купался?

— Нет.

— Сбегай к реке, позови хозяйку.

Кротов подошел к столу, наливает чай себе, смотрит вслед Якову нахмурился. Вышел Усатов, закуривает папиросу, руки у него дрожат; Кротов строго замечает:

— Руки пляшут. Следи за собой.

Усатов сунул руки в карманы брюк, папироску выплюнул на пол. Кротов наливает ему чаю.

9.

Бежит Яков, обеспокоен, кричит:

— Ее там нет, только халат и туфли.

Усатов вскочил, изображает тревогу, но — неумело; Кротов, наблюдая за испуганным Яковом, морщится, успокаивает Усатова; Яков снова бежит к реке. Оба следуют за ним; Кротов по пути строго говорит с Усатовым.

10.

На реке — лодки, в одной из них — Усатов, люди в лодках щупают дно реки баграми, две лодки волокут сеть. На берегу — дачники, крестьяне, дети, — немного. Стоит Кротов, держа Якова за руку; лицо мальчика уныло, в слезах.

11.

На даче. Полицейский чиновник — ставной пристав — допрашивает прислугу Усатова. Усатов лежит на диване, Кротов около него; Яков сидит на подоконнике, смотрит на реку. Полицейский кончил допрос, встал, подошел к дивану, сочувственно говорит:

— Обыкновенное летнее несчастье. Божья воля.

Кротов встал, протянул ему руку, другою рукой вынул бумажник, говорит:

— Я должен ехать в город, а мой друг убит несчастьем, знакомых у нас здесь нет. Я прошу вас, заплатите рыбакам за поиски утопшей и вообще возьмите на себя необходимые хлопоты, не беспокоя его, по возможности, — пожалуйста.

Дает деньги. Чиновник очень доволен, расшаркивается.

— Рад служить. Приложу все усилия... Уходит.

12.

Кротов в шляпе, с палкой, на террасе говорит Усатову с улыбкой:

— Видишь, как все просто?

— А мальчишка?

— Я пришлю за ним Трубочиста.

Оба сошли с террасы.

13.

Яков, сидя на подоконнике, слышал их беседу; удивлен. Встал, сует руку в карманы брюк, вынул ножик, монеты, свисток, — испуган.

14.

Яков у себя в комнате ищет записку жены Усатова в постели, под кроватью, в углах комнаты. Выворачивает карманы брюк, сидя на полу. Что-то вспоминает, шепчет.

15.

Яков быстро идет берегом реки, озабочен, оглядывается, ускоряет шаг.

16.

Вечер. Усатов и Трубочист сидят у стола. Усатов зажег спичку, зажигает на огне ее записку жены.

— Он, наверное, убежал в монастырь. Так или иначе — ты его поймай. Если он сломит себе башку, об этом никто не будет жалеть, — понял?

Трубочист утвердительно кивает головою, закуривает папиросу.

17.

Двор монастыря. В церковь идут монахини. К одной из них подходит Яков, спрашивает:

— Которая здесь Клавдия?

Не останавливаясь, монахиня отвечает:

— Клавдия ушла в мир с кружкой, за сбором подаяния.

Яков — не понял, идет за монахиней, заглядывая в лицо ей.

— А куда ушла?

— По городам.

Яков остановился, уныло опустил голову, кусает губы.

Маленькая станция железной дороги. Подошел поезд. Из одного вагона, со стороны, противоположной перрону, выскочил Трубочист с маленьким чемоданом в руках, быстро идет поперек путей к лесу. Его видит стрелочник, стоящий у стрелки.

19.

Яков сидит у стены монастыря, ест хлеб; около него — собака; он дает ей куски.

20.

В лесу, на пне сидит Трубочист, перед ним на земле раскрытый несессер; Трубочист выбирает из него различные мелкие вещи, раскладывает их по карманам. Забрасывает несессер хвостом, травой, идет, отмечая ножом деревья.

21.

Станция. На перроне жандарм, сторож, стрелочник чистит свой рожок. Из вокзала вышел телеграфист, подал жандарму телеграмму; жандарм прочитал, спрашивает сторожа:

— Ты не заметил — сошел на станции молодой человек без усов, в сером костюме, клетчатой фуражке?

Стрелочник говорит, указывая на лес:

— Я видел его, он туда побежал...

22.

У стены кладбища на траве спит Яков, у ног его сидит собака. Вдоль стены идет Трубочист, подошел к Якову, удивленно осматривает его, толкнул ногою, смеется. Яков, проснувшись, тоже улыбаясь, смотрит на него. Встал. Трубочист приглашает его идти в лес, показывает иудреницу, ручное зеркало в серебряной оправе. Яков обрадован встречей, рассматривает зеркало, повертывая его в руках.

23.

К воротам монастыря подъезжает бричка, лошадью правит жандарм, переодетый в штатское, в бричке — стрелочник. Луч света, отраженный зеркалом в руках Якова, ослепляет жандарма, он смотрит по направлению луча, говорит что-то стрелочнику, тот привстал в бричке, утвердительно кивает головою. Оба¹ сошли на землю, запутали вожжи за дерево, идут в лес.

¹ вылезли из брички

У опушки леса Трубочист, рассказывая, как он украл несессер, показывает Якову разные вещи, вынимая их из карманов. Из-за деревьев на него бросился жандарм. Трубочист подкатился под ноги нападающего, тот упал, Трубочист бежит в лес. Стрелочник схватил Якова, мальчик пробует вырваться, стрелочник бьет его.

25.

Яков перед следователем, человеком с бородою, в очках. Следователь спрашивает строго:

— Значит, ты не хочешь сказать, кто ты?

Яков говорит:

— Не знаю.

— Так. А кто твой товарищ?

— Не знаю.

— Ну, будешь сидеть в тюрьме, пока не узнаешь.

Следователь собирает бумаги, укладывая их в портфель. Яков стоит, упрямо сжав губы, смотрит исподлобья.

26.

Яков в маленькой камере тюрьмы, сидит на нарах, свистит. Открылась дверь, надзиратель грозит ему пальцем.

— Не смей свистеть!

27.

Тюремный двор; час прогулки арестантов. Рослый арестант, прижав Якова к стене, держит его за уши:

— Ты кто?

— Не скажу.

Арестант приподнимает его за уши с земли. Яков схватился за руки арестанта и бьет его ногами в живот. Арестант выпустил его, — другие арестанты хохочут. Один из них, старик, гладит Якова по голове.

— Молодец, мальчуган!

Арестант хочет ударить Якова, но старик и другие защищают его. Свалка. Двое надзирателей разгоняют дерущихся.

28.

Яков сидит на ступенях крыльца тюрьмы рядом со старым арестантом, старик что-то рассказывает, Яков слушает с напряженным вниманием.

Эпизод первый

1.

На крыше дома у трубы сидит Трубочист, он в саже, у ног его — атрибуты ремесла: помело, длинная веревка с тряпками и грузом — гирей — на конце ее. Он завтракает колбасой и хлебом, наблюдая, что делается в одной из комнат противоположного дома. Он видит: среди комнаты, у круглого стола стоит, покачиваясь, полутьяный, очень возбужденный человек средних лет, с измятым лицом кутилы. Вытаскивая из карманов пиджака и брюк пачки денег, он бросает их на стол, пред девушкой лет двадцати, красивой, скромно одетой; она, сидя, смотрит на него снизу вверх с тревогой и печалью, сдвигает деньги в кучу, не считая их, поднимает падающие на пол. Ее отец смеется. Входит, потягиваясь, заспанный юноша лет 18, в руках — книга, увидал деньги, бросил книгу, удивленно свистнул, подбежал к столу и, столкнув девушку со стула, сел на ее место, быстро считает деньги. Девушка отошла к окну, лицо у нее огорченное, она кусает губы, готова заплакать. Отец подошел к ней, обнял за плечи, Трубочист слышит его слова:

— Баста! Больше ты не служишь в цирке. Квартиру переменим. Завтра же ищи другую, — слышишь? Спрячь деньги.

Сын, считая деньги, прячет небольшую пачку их в карман себе, сестра видит это, укоризненно качает головою, брат смотрит на нее угрожающе. Девушка уложила деньги в одну пачку, завернула их в полотенце, прячет в верхний ящик комода. Отец поставил на стол бутылку вина, три стакана; сын, приплясывая, щелкает пальцами.

2.

Магазин торговца старой мебелью и различными предметами домашнего обихода: лампы, детские коляски, дешевые картины в рамах. В кожаном кресле, закрывшись газетой, сидит человек, у двери в магазин дремлет мальчик лет двенадцати. Человек опускает газету, это — Кротов. Он мало изменился, его лицо все так же неподвижно, он отрастил седую бородку клином, стал еще более лыс, но все так же барски важен и медлителен в движениях. В дверь с улицы входит, погладив

мальчика по голове, Яков Сорокин, одет щеголем, резкое, нервное лицо, похож на молодого актера. Садится близко к старику, тихо говорят. Затем Яков ставит пред Кротовым шахматный столик, закуривает. Кротов, расставляя фигуры, говорит:

— Если хочешь научиться играть хорошо, — помни: самое главное — ход коня!

Играют.

3.

Входит Трубочист, одетый скромно, как приказчик. Дает мальчику деньги, посылает его куда-то, снабдив подзатыльником. Присаживается к играющим, рассказывает, они, перестав играть, внимательно слушают. Кротов говорит:

— Это надо сделать сегодня же ночью, Яков.

4.

Ночь. Комната, где считали деньги. Окно открыто в сад. Извне, из сада, появляется голова, затем влезает человек, уверенно идет к стене, наклонился над комодом, быстро подался в сторону, присел между комодом и диваном за спинку кресла. Открылась дверь слева, на пороге — девушка — Елена — со свечой в руках, в длинной ночной рубашке. Свеча погасла. Девушка идет к окну, закрывает его, ушла к себе, притворив дверь. Яков Сорокин снова у комода, затем идет к окну, открыл его, исчез, — в тот же момент снова выбегает Елена, бросается к окну, смотрит вниз, оглянулась, видит, что ящик комода открыт, высунулась в окно, выпрямилась, отскочила, стоит неподвижно, изумленная до ужаса, шепчет:

— Николай... Это — Николай!

5.

Комната наполнена жильцами дома, среди них бородатый дворник, он недоверчиво спрашивает взволнованную Елену:

— Откуда же у вас деньги? За квартиру не платите...

Она кричит:

— Я сказала: отец выиграл в карты.

Все относятся к ее словам недоверчиво, смотрят на нее подозрительно. Она кричит:

— Вы не верите? Да, выиграл... много.

Дворник, усмехаясь, качает головою.

Утро. В комнате дворник, полицейские, человек с сонным лицом и сыщик, пожилой, бритый, в темных очках, расспрашивает Елену. Ее отец сидит на диване, согнувшись, схватив голову руками. Николай говорит с дворником, тот, усмехаясь, качает головою. Елена через плечо сыщика смотрит на брата. Николай спрашивает сыщика:

— Ну, что, Шерлок Холмс?

— Меня зовут Степан Иванович. Очень странно. Прислуга ваша — в больнице говорят? Гм... Очень странно. Похоже на симуляцию, знаете. Пока — до свидания.

Уходит вместе с дворником и полицейским. Николай, стоя среди комнаты, потирает лоб, смотрит на дверь в комнату сестры. Отец валится на диван вниз лицом. Сын подошел к нему, сел на диван, крепко сжав руки. Отец вскочил, бормочет в ужасе:

— Я — погиб. Меня — под суд! Там были казенные деньги, полторы тысячи... Сегодня, сейчас я должен был внести их в кассу...

Снова упал на диван. Николай быстро идет в комнату сестры.

7.

Когда он вошел к сестре — Елена плакала. Швырнув платок на пол, она бросилась на брата и гневно шепчет в лицо ему:

— Это ты, ты украл! Я видела, я узнала тебя, когда ты бежал по саду, — негодяй!

Николай, пораженный, отступает от нее, потом яростно схватил ее руки, тоже шепчет:

— Лжешь! Я всю ночь был с отцом. Мы играли. Лжешь! Ты — не ошибаешься, а именно лжешь! Сыщик — прав: это симуляция кражи, деньги у тебя, комедия! Деньги украл твой приятель, какой-нибудь циркач, да! Говори, сознавайся!

Он, в ярости, ломает ей руки, затискивает в угол, к стене; девушка, изумленная обвинением, не в силах говорить, брат бросает ее на постель, она упала на пол, стоит на коленях, защищая лицо, голову от его ударов.

8.

Отец поднял голову, прислушался, вскочил, бежит в комнату дочери.

Николай встречает отца бешеным криком:

— Она говорит — я украл деньги. Отец, это она украла. Кто мог знать? Сыщик прав...

Отец схватил Елену за волосы, приподнял ее, хочет ударить. Елена, умоляя, говорит:

— Я — ошиблась, простите, но — как вы можете думать...

Николай, удержав руку отца:

— Подожди, она скажет, она сознается...

Но отец, разъяренно толкая Елену к двери, кричит:

— Вон, прочь, воровка...

Елена хватает его за руки:

— Как вы можете...

Ее вышвырнули за дверь.

10.

Отец сидит в комнате Елены, убито глядя пред собою. Николай ходит по комнате, говоря.

— Я буду следить за ней, я найду виноватого. У нее, наверное, есть сердечный дружок, и это он...

Отец качает головою:

— Все равно, я погиб...

Николай подходит к нему, положил руку на плечо его...

11.

Глухой угол городского сада на берегу пруда или реки. На скамье сидит Елена, тупо глядя в воду. Достала из сумочки блокнот, карандаш, пишет.

12.

Идет молодой художник Кронидов, веселый человек, он нетрезв, пошатывается, лицо у него блаженное; поет, размахивая шляпой. Увидал Елену, остановился, театрально кланяется ей.

— Привет, маркиза!

Елена смотрит на него как сквозь сон. Кронидов снова кланяется, сел рядом:

— Я вас знаю: вы — кассирша из цирка. — Елена отодвигается от него. Он протягивает ей руку:

— Здравствуйтесь. Вы — кассирша. Это — истина, потому что я пьян. Истина — в вине.

Елена встала, хочет уйти, но, остановившись, говорит:

— Вы, кажется, добрый...

— Я? — Очень.

— Сделайте мне милость: отнесите эту записку по адресу.

Кронидов взял записку, читает:

— «Вы страшно ошиблись, я не виновата, прощайте. Елена».

Кронидов утвердительно кивает головой:

— Верно. Он, свинья, ошибся. Пойду и вздую его. Набью морду. Потому что я вас безумно люблю...

Елена протягивает руки:

— Нет, бить никого не надо, дайте записку.

Кронидов спрятал бумажку в карман.

— ¹ Подлецов надо бить! Иду! —² Елена поняла, что он — пьян, растерялась. Уговаривает его отдать ей записку:

— Она вовлечет вас в тяжелую историю.

Кронидов идет, отрицательно качая головой:

— Вся жизнь — тяжелая история. Свинья, обидевшая вас...

— Вы пьяны!

— Ба! Я этого не скрываю.

Идет, размахивая шляпой, Елена следует за ним...

13.

Касса цирка. В окошечке измученное лицо Елены. Подошел Яков Сорокин, покупает билет, узнал Елену, отошел прочь, издали наблюдает за нею. Заметил, что этим же занят еще один человек, это Николай, брат Елены. Мимо Якова идет подросток — хулиган Окунь, человечек с нахальным лицом³. Яков остановил его, отвел в сторону.

14.

Началось представление, пред кассой пусто. К окошечку подходит Николай, озлобленно сообщает сестре, что отец арестован за растрату казенных денег. Елена в отчаянии выбегает из кассы, бросается к нему:

— Николай, — пойми...

Он отталкивает ее.*

— Я все понял: украсть деньги могла только ты.

Окунь, наблюдавший за Николаем, подходит к окошку кассы, стучит. Елена возвращается, хочет продать ему билет, но

Окунь уже отбежал от кассы, идет вслед за Николаем, который вышел на улицу.

15.

У входа в цирк, во время антракта: Окунь рассказывает Якову о своих наблюдениях.

16.

Против цирка, на улице стоит Николай.

17.

Ночь. По улице медленно идет Елена. — в отдалении, по другой стороне улицы — Николай, за ним следуют человек пять подростков во главе с Окунем. Догнали Николая, окружают, ссора, драка.

18.

Поспешно идет Яков Сорокин, — вдали шагает точно сомнамбула Елена.

19.

Избитый Николай лежит на панели, приподнимает голову, хулиганы бегут прочь от него.

20.

Окунь с товарищами догнали Елену, окружили, она прижалась к стене дома, отмахивается от них. Подбежал Яков, разогнал мальчишек, снял шляпу, говорит:

— Вы напрасно ходите одна, в этом квартале живут плохие ребята.

У него почтительные манеры и вид, внушающий доверие. Елена благодарит его, идет, он следует за нею, заговаривает.

21.

Схватившись за столб фонаря, почти падая, Елена говорит:

— Оставьте меня.

Она рыдает. Яков отступил от нее шага на два, оглянувшись, решительно подошел, взял ее под руку, ведет, говоря:

— Я не сделаю вам ничего дурного. Я тоже человек не из счастливых.¹ Судьба столкнула меня и вас...

Елена идет безвольно, не слушая его.

22.

Номер дешевых меблированных комнат. Елена² убито сидит посредине ее на стуле.

¹ Бить — надо!

² С трудом встал

³ в рваном костюме

¹ Вероятно

² безвольно

Бросившись на колени, рыдает, облокотясь на стул.

23.

Ночной кабак. В углу, за столом — Яков, он мрачен, нервно барабанит пальцами по столу. Наливает вина в стакан, жадно пьет, встал, бросил на стол деньги, уходит.

24.

Рассвет. По улице, мимо грязного дома с вывеской «Меблированные комнаты Лонгетт», идет Яков, смотрит в окна дома.

25.

Яков спит на скамье городского сада, дремлет. Пред ним возникает картина: жена Усатова и он идут берегом реки.

Эпизод второй

1.

Большая, богато обставленная комната. У окна в кресле дама средних лет. Кронштейн художник, пишет портрет ее, оживленно рассказывает что-то; дама улыбается, говорит:

— Вы очень веселый человек.

— Пока — это единственное мое достоинство.

Оба — вздрогнули, смотрят в камин; туда упал груз Трубочиста: гиря и ком тряпок; из каминя летит сажа. Дама возмущена, вскочила, звонит: вошла очень злободневная, щеголевато одетая горничная, дама указывает ей на камин, горничная вынимает плечами, это еще более раздражает хозяйку, она строго упрекает горничную, обращается к художнику:

— Прервем сеанс минут на пять.

Художник кланяется ей, кладет палитру и кисти на стол; дама величественно уходит. Горничная у каминя, художник подходит к ней:

— Вы не верите, что я вас безумно люблю?

Горничная лукаво смеется:

— Вы третий говорите мне это.

Художник комически ужаснулся, — он вообще ведет себя комически, ребячливо.

— Только — третий? Вам должны были сказать это три тысячи человек!

Смеясь, горничная идет к двери, художник следует за нею, заглядывая в лицо ее.

— Я безумно люблю вас: я хочу написать ваш портрет...

2.

Возвращается горничная, за нею — Трубочист и художник, шутливо говорит с ним. Трубочист сметает сажу из каминя на железный лист, незаметно осматривая комнату; художник в стороне беседует с горничной, жестикулируя, прижав руку к сердцу, очень смешит девушку. Внимание Трубочиста особенно привлекает витрина со старинными табакерками и драгоценностями. Вздохнув, он говорит:

— Готово.

Идет к двери. Горничная провожает его. Художник, глядя вслед ей, задумчиво чешет затылок.

3.

Елена у себя, в номере меблированных комнат, сидит, шьет, лицо ее спокойно, но печально, глаза окружены тенью. На столе — самовар и два прибора. Стук в дверь. — «Войдите!» — Входит Трубочист. Елена — удивлена неприятно. Трубочист сел, закуривает папиросу, говорит:

— Где Яков? Богатейшее дело сегодня у него!

Рассказывает. Елена, слушая его невнимательно, достала из шкафа третий чайный прибор, хочет наливать чай, рука ее вдруг опустилась, Елена смотрит на Трубочиста с изумлением, оглядывается, говорит негромко:

— Вы — шутите?

Трубочист, усмехаясь, подмигивает ей:

— Не притворяйтесь, я все знаю! Я ведь у них, в шайке, наводчик. На вашу квартиру тоже я навел, деньги выкрал у вас Яков.

Елена — испугана, не верит, села, говорит:

— Нет. Вы лжете!

Трубочист смеется, подмигивая, дует в лицо ей дымом папиросы, говоря:

— Я не знал, что вы в доле с Яковым, вместе с ним работаете. Вы непохожи на наших девчонок...

Елена смотрит на него с ужасом, у нее безумное лицо. Вскочила, схватила его за плечи, встряхивает:

— Вы лжете, лжете, лжете!

Трубочист смотрит на нее растерянно, он чувствует искренность ее ужаса, понял, что она не знала истинной профессии Якова, отстранил ее, встал; его лицо становится человечней, ему жалко девушку, но еще более жалко себя, он смотрит на нее сочувственно, с испугом; бормочет, разводя руками:

— Я — не знал. Я думал, вы тоже...

Опустился на стул, качая головой:

— Ну, это мне даром не пройдет! Послушайте, — вы не говорите Якову о том, что я рассказал вам, не губите меня! Если они узнают, что я их выдал вам — эх!..

Он схватился руками за голову, умоляюще смотрит на Елену, девушка стоит пред ним молча, охваченная ужасом, затем вдруг бросилась прочь, торопливо надевает шляпу, хватая различные вещи, бросает их¹.

4.

Дверь отворилась, на пороге — Яков; он, очевидно, слышал восклицание Трубочиста; сжав зубы, сурово нахмурясь, он идет на Трубочиста, тот встал, отступает, вытянув руки вперед; Елена смотрит на Якова со страхом, но, когда он, ударив Трубочиста по рукам, берет его за ворот, выталкивает за дверь и на секунды исчезает вместе с ним в коридоре, — на лице Елены является надежда, девушка перекрестилась, закрыла глаза.

5.

В коридоре Яков встряхивает Трубочиста, шепчет ему:

— Идиот! Жди меня в пивной. Кротову — ни слова! Прочь!

6.

Яков входит в комнату Елены, запирает дверь, бросил шляпу в угол, смотрит на Елену, в лице его нервная дрожь, улыбка — болезненная гримаса. Елена смотрит на него умоляюще, шепчет:

— Он шутил? Он лгал?

Яков взял со стола стакан чая, залпом выпил его, сел, решительно качнул головой, вызывающе смотрит на девушку.

— Он сказал вам, что я вор? Это правда. Что выигрыш вашего отца украл я? И это правда.

Елена бессильно опустилась на кровать, смотрит на него — со страхом, но² как бы сквозь сон.

Яков тяжело встает, подвигается к ней:

— Это — судьба. Я знаю, что брат ваш подозревает в краже вас.

Елена опустила голову:

— Вы погубили меня.

Встает, хочет идти, Яков взял ее за руку, пожимает плечами, усмехаясь, потерая лоб:

— Это — судьба. Это такая дьяволица...

Елена вырывает свою руку. Яков, удерживая ее, говорит:

— Куда вы пойдете? Сядьте... послушайте...

Елена безвольно садится, она смотрит на Якова точно на привидение и, как будто, ждет, когда он исчезнет.

7.

Пивная в подвале. В углу, за столиком сидят Трубочист и хулиган — Окунь. Трубочист — няя, он что-то рассказывает, пристукивая кулаком по столу, угрожая. Окунь слушает жадно и взволнованно.

8.

В стороне, за столиком брат Елены присматривается к хулигану, сам он тоже в отрепанном костюме и похож на хулигана.

9.

Окунь помогает Трубочисту встать, ведет его к двери. Николай тоже встал, платит деньги. Окунь заметил его. Трубочист протестует, не хочет идти, отталкивает Окуня, тот уговаривает его, искоса следя за Николаем. Оттолкнув Окуня, Трубочист возвращается к своему столу, слушит кулаком, требует пива. Окунь, махнув рукою, выходит из пивной, Николай тотчас следует за ним.

10.

Окунь быстро идет по улице, Николай догнал его, пошел рядом, спрашивает:

— Несколько недель тому назад ты с товарищами напал на меня, избил, за что?

— За то, что ты дурак.

Окунь опускает руку в карман, Николай хочет ударить его, Окунь присел, и, когда Николай пошатнулся, бьет его в грудь ножом. Николай упал, Окунь быстро обыскивает его карманы, встал, бежит.

¹ идет к двери

² без отвращения и

11.

Солдно обставленная комната, у стола — Бротов в халате, пред ним Окунь, жестикулируя, рассказывает, дает Кротову бумагу, взятые у Николая. Кротов надел шапку, рассматривает, хмурясь. Встал; дает Окуню денег, строго говорит что-то, прощается к двери.

12.

Бротов идет в соседнюю комнату, будит человека, спящего в ней на диване. Тот испуганно вскочил, протирает глаза, вопросительно смотрит. Это — Усатов, но с бородою, очень постаревший, измятый. Расхаживая по комнате, Кротов приказывает ему что-то, Усатов угрюмо смотрит на него, морщится, ворчит, начинает неохотно одеваться. Кротов остановился пред ним:

— Торопись, если тебе шкура твоя дорога...

13.

Елена сидит, слушая рассказ Якова, как дитя сказку, с великим напряжением. Отирает глаза платком, рука у нее дрожит; она смотрит на Якова с состраданием. Яков кончил, встал, встряхнулся.

— Вот — моя жизнь. Я — не оправдываюсь. Мне надоело все это. А что делать? Путь один: идти в сыщики. Не хочу, не могу. Все-таки теперь, после встречи с вами, я хочу попробовать жить иначе, если вы не оставите меня. Вас я люблю, мне жалко вас, я виноват пред вами. Знаю, что значит быть женою вора. Я говорил вам о ней...

Елена неподвижна, молчит. Он положил руку на плечо ей, — Елена сняла ее, встала, ходит по комнате.

Яков отошел прочь, наклонился, поднял шляпу, хочет уйти.

— Скажите мне что-нибудь.

Елена остановилась против него.

— Я — не знаю, что сказать? Я ничего не понимаю. Мне страшно...

Яков угрюмо посмотрел на нее, опустил голову.

— Мне тоже страшно. Тут какая-то чертовщина: я обокрал вас и полюбил. Мне нужно идти. Подумайте обо всем этом.

Протягивает ей руку. Елена нерешительно дает ему свою. Он заглянул в глаза ей:

— Подумайте!

Ушел.

14.

Елена — одна, в смятении, порывается вслед ему, остановилась у двери, не знает, что ей делать.

15.

На улице, под фонарем, стоят, пошатываясь, двое пьяных, один из них — Трубочист, другой — Усатов. Трубочист кричит, Усатов зажимает ему рот ладонью, зажал голову Трубочиста подмышку себе, идет, увлекая пьяного.

16.

Идет, не спеша¹, задумчиво Яков. Завернул за угол улицы.

17.

На панели, у стены дома, лежит человек, Яков наклонился над ним, быстро выпрямился, оглядывается, шагнул дальше, поскользнулся, бежит, оглядываясь.

18.

Яков под фонарем, приподняв ногу, осматривает ботинок, потом шаркает подошвой по земле, лицо у него искаженное. Закрыв глаза, видит Трубочиста: тот пятится от него, протянув руки, Яков встряхнулся, поправил шляпу на голове, твердо идет дальше.

19.

Яков у Кротова. Кротов — в смокинге, в руках перчатки; он подает Якову газету, отмечая на ней что-то пальцем, говорит:

— Однофамилец твоей девицы, — не родственник ли?

Яков читает, мнет газету, смотрит на Кротова.

— Это ее брат? Кто его?

Кротов, пожав плечами, дает Якову какой-то документ.

— Он служил в полиции.

Яков вскочил, разъяренно взмахивает рукою.

— Откуда у тебя это?

Кротов, надевая перчатку на левую руку, спокойно говорит:

— Случайность. Окунь нашел на улице. Яков оглушенно сел.

— И Трубочист убит...

— Да, и Трубочист. Этот, вероятно, в драке.

Кротов идет к двери, Яков смотрит вслед ему, комкая газету. Остался один,

¹ Яков с маленьким чемоданом в руке, с тростью в другой, имея вид человека, возвращающегося с вокзала, после поездки за город

смотрит вокруг угрюмо, опустил голову. Вынул из кармана кастет, посмотрел на него, бросил на диван. Подошел к окну, прислонился лбом к стене.

20.

Яков перед зеркалом наклеивает небольшую бородку, усы, одевает солидный костюм, берет маленький чемодан, трость, пальто перебросил на руку, уходит.

Эпизод третий

1.

Студия художника Кронидова. Он и его приятель, актер, скучают. Актер лежит на диване, художник у окна с гитарой в руках. За окном лунная ночь. Художник подошел к дивану, замахивается гитарой.

— Придумай что-нибудь забавное, а то — ублю!

— У меня после вчерашнего кутежа всё еще в голове лошади топают. Думать я не могу, хоть застрели.

Художник бросил на него гитару, подошел к зеркалу, расписал себе лицо, сделал на правом виске огнестрельную рану. Актер, глядя на него, морщится, говорит:

— Глупо и противно.

Художник убеждает его в чем-то, актер оживился, хохочет. Художник расписывает лицо его так же, как себе, оба смеются, затем, одеваясь приблизительно похоже и надев одинаково широкополые шляпы, смеясь, уходят.

2.

По улице идет не снесша бородатый старик, встречу ему торжественным шагом, в ногу идут две странные фигуры; поравнялись; старик, взглянув на них, вскрикнул и бросился прочь. Они, не ускоряя шаг, скрылись за углом.

3.

Держась за столб фонаря, стоит старик, без шляпы, отирая пот с лица.

4.

Идет Яков Сорокин с работы, удачно сделанной им. Улица — пустынная, освещена редкими фонарями, дома приблизи-

тельно однообразны. У крыльца одного из домов лежит человек, Яков на секунду остановился, оглянулся, потом, наклонясь над лежащим, быстро выпрямился, поспешно идет дальше. Но через два десятка шагов он снова видит тот же труп; прислонился к стене, сузил палку в карман, поставил чемодан на панель, сняв шляпу, отирает лицо платком. Видит, что по другой стороне улицы, поспешно, неверной походкой, напоминающей ходы шахматного коня, идет, согнувшись, сунув руки в карманы, кто-то в широкополой шляпе, похожий на лежащего пред Яковом. Яков — остолбенел, затем, схватив чемодан, шатаясь, идет дальше. Человек, лежавший на земле, приподнял голову, смотрит вслед ему, вскочил, быстро перебегает через улицу, это — художник Кронидов. Актер, опередив Якова, тоже перебежал на ту сторону, по которой идет Яков, лег на панель; Яков, не доходя до него, остановился, оглядывается и снова видит человека в широкополой шляпе, обгоняющего его по другой стороне улицы. Яков прирос к земле; у него возникла фантастическая мысль.

— Я — не иду, а стою на одном месте. Все идет, а я остановился навсегда. Я — погиб.

Он топает ногами, — бег на месте. Он в ужасе. Бросил чемодан, палку, пальто, сорвался с места, стремительно бежит.

5.

Актер и художник сошлись под фонарем, стирают грим с лиц друг друга.

— Кажется, мы свели с ума этого труса. Смеясь, смотрят вдоль улицы.

6.

Площадь; по середине ее монумент в квадратной железной решетке. Яков подбегает к ней, хватается, идет по одной стороне, по другой и, обойдя все четыре стороны квадрата, воображает себя запертым в железную клетку. Опустился на землю, лицом к решетке.

7.

Актер и художник наблюдают за Яковом, стоя на углу улицы. В руках художника — чемодан, палка и пальто Якова. Художник обеспокоен; он говорит:

— Боюсь, что мы переиграли...

8.

Художник подходит к Якову.

— Что вы тут делаете? Вам дурно?

Яков мрачно смотрит на него.

— Я — конь. Шахматный конь. Меня заперли в железную клетку.

Обеспокоенный художник поднимает, ставит на ноги Якова, указывает на площадку.

— Где же клетка? Вы немножко выпили? Это ваши вещи?

Яков ошалеело смотрит вокруг, потом — на художника, берет из его рук чемодан, пальто, палку, спрашивает:

— Это вы шли по улице?

— Да. Я — шел, а вы — бежали.

— Вы видели тех? Там — трое, лежат?

— Ночью люди лежат у себя в постелях. До свидания.

Художник идет прочь.

9.

Художник и актер идут по улице, смеясь, вспоминая свою проделку. Под ноги художника попадает футляр, художник наклонился, поднял его, в футляре — брошь. Они рассматривают находку.

— Наверное потерял тот. Но теперь его не догонишь.

— Будет объявление в газете о потере.

Идут дальше, распевая, пританцовывая, дурачась.

10.

Яков Сорокин медленно идет по улице, боязливо смотрит вперед. На повороте улицы остановился, заглядывает за угол. Уже — утро, на улице появляются люди, и это еще более усиливает страх вора.

11.

Комната Елены. Елена — одета, в шляпе, на стуле лежит узел с ее вещами. Она стоит у стола, читает записку:

«Мне очень жалко вас, но я не могу, я уйду, не ищите меня, прошу вас. И не губите себя, бросьте воровать¹, умоляю».

Заклепывает записку в конверт, положила на стол, идет к двери, остановилась, отшатнулась, спрашивает:

— Кто там?

Не решается открыть дверь. Перекрылась, отперла — перед нею Яков, у него деревянное лицо человека сильно пьяного или испуганного до безумия; неподвижные глаза. Он оттолкнул Елену, запер дверь, бросил на пол палку, пальто, поставил к ногам Елены чемодан, опустился на стул:

— Вот. Здесь — много. Это — последний раз. И — прочь отсюда! Здесь какая-то чертовщина.

Облокотился на стол, положил голову на руки, шляпа с головы его упала на пол. Елена кладет на стол конверт, взяла свой узел, идет к двери. Яков поднял голову.

— А где ваш брат?

Елена остановилась, смотрит на него с испугом.

— Что вы сказали?

Яков бормочет, качая головой.

— Ход коня. Трубочиста тоже убили. В драке? Врет Кротов...

Елена бросается к нему, схватила его за плечи, встряхивает.

— Что вы говорите, что?

Он тяжело валится на пол, обнимая ее ноги.

— Помогите... дайте мне воды, вина...

12.

Комната первой картины второго эпизода. Перед взломанной и опустошенной витриной дама, с которой художник Кронидов писал портрет, сыщик, солидно одетый человек лет сорока, бритый; в руках у него лупа и темные очки. Он спрашивает:

— Итак, вы думаете, что это дело горничной?

— И — художника Кронидова. Он так интересовался этими вещами.

Сыщик усмехаясь:

— Это мог быть интерес художника, а не вора.

— Но — он беден. И, мне кажется, он ухаживал за горничной. Они ведь небрежливый, эти художники...

Сыщик пожимает плечами.

13.

Небгатый ресторан. За столом художник Кронидов и актер. Они кончили обедать, пьют кофе, коньяк. Между столиками идет солидно одетый человек с острой бородкой, закрученными усами, в темном пиджаке. Это — тот сыщик, который был на месте кражи. Заметив художника, он

¹ ведь вы хороший, вы можете работать

¹ остановившиеся

сидится за стол близко к нему. Художник, дурачась, обращает на себя общее внимание. Актер, вынув из кармана маленькое зеркало, рассматривает свою щеку. Кронидов отнял зеркало, пытается навести зайчиков на лица соседей, ему удалось навести луч на лицо сыщика, тот — ослеплен, вздрогнул, уронил из руки стакан, Кронидов — смущенно вскочил со стула, подошел к нему, извиняется.

14.

Все трое за одним столом. Кронидов и актер оживленно рассказывают сыщику о своей ночной забаве, художник показывает ему брошь.

— Мы дали объявление в газету о находке.

Сыщик, рассматривая брошь, спрашивает:

— Человек этот — среднего роста, резкое лицо, бритый...

— С бородкой.

— Гм. Бородка стоит дешево. Я за свою замлатил пять рублей...¹ Хотите помочь мне, господа? Я знаю, где живет девушка, за которой ухаживает интересный мне молодой человек, очень ловкий. Поймать его — просто, но — этого мало. Вы не согласитесь повторить вашу шутку? Кронидов — соглашается, актер — тоже.

15.

Художник, сыщик и горничная в доме, где была кража. Сыщик что-то говорит горничной, она слушает его внимательно. Входит хозяйка, горничная, не вставая, смотрит на нее с гневом, закусив губы. Кронидов, сухо поклонясь, отвернулся. Дама смотрит на всех в лорнет, говорит что-то сыщику, тот отвечает:

— Извините, но это дело полиции. Через пять минут я к вашим услугам.

Дама, сердито взглянув на всех, уходит. Художник грозит кулаком вслед ей, горничная гневно заплакала, сыщик, улыбаясь, успокаивает ее, Кронидов — гладит по голове.

Эпизод четвертый

1.

Комната Елены. Яков лежит на постели, закрыв глаза. У стола доктор пишет рецепт, дает его Елене, она платит гонорар, доктор уходит. Елена подошла к Яко-

¹ Судя по дерзости работы, я знаю, кто работал...

ву, он — неподвижен. Накинув платок на голову, Елена уходит с рецептом в руках. Яков Сорокин тотчас открыл глаза, встал, подошел к двери, запер ее, сел к столу, взял конверт, разорвал, читает. Смотрит в потолок, как бы вспоминая что-то, у него лицо больного человека. Затем он начинает углубленно передвигать невидимые фигуры шахмат. Иногда, вскинув голову, прислушивается, оглядывается, руки у него дрожат, движения их — неверны.

2.

Коридор меблированных комнат. Слуга несет два чемодана, за ним идет горничная обворованной дамы. Приоткрылась дверь, из нее дико смотрит Яков.

3.

Яков с часами в руках стоит среди комнаты, потирая лоб. Вдруг что-то решил, идет к двери.

4.

Горничная у себя в комнате разбирает вещи из чемодана. Стук в дверь: «Войдите!» Входит Яков, напряженно улыбается, подмигивает; девушка испугана, удивлена.

— Что вам нужно? Кто вы?

Яков подошел близко к ней, подмигивает, улыбается, говорит:

— Он — здесь, напротив вас, играет в шахматы.

— Этот — вор — да?

Яков утвердительно кивнул головой.

— Вы тоже сыщик? Ой, как интересно! Идите скорее, у подъезда извозчик, скажите ему, что вор — здесь...

Яков засмеялся, обнял ее, поцеловал, быстро ушел. Девушка возмущена, кричит:

— Дурак, негодяй.

5.

Яков без шляпы, ¹ старческими шагами вышел на подъезд, идет по улице странной походкой; через каждые два шага вперед он делает шаг налево, снова два шага и — шаг направо. Извозчик и прохожие смотрят на него усмехаясь, как на пьяного.

6.

Горничная в конторе меблированных комнат говорит по телефону, она очень встревожена.

¹ с криво наклеенной бородкой,

7.

Из двери аптеки выходит Елена, видит толпу мальчишек, которые сопровождают Якова, забегая вперед, заглядывая в лицо ему. Яков молча, с неподвижным лицом прыгает на них ходами шахматного коня, руки он держит, как ноги лошади, вставшей на дыбы, кулаки его сжаты. Елена подбегает к нему, он, молча, прыжком сбил ее с ног.

8.

Из подъезда меблированных комнат выбежала горничная, прыгает в экипаж извозчика.

— Куда сейчас пошел молодой человек без шляпы?

— Пьяный?

Извозчик показывает, куда пошел Яков, она толкает его в спину.

— Поезжай!

9.

Прыгая все быстрее, увлекая за собою толпу зрителей, Яков на площади, он ржет, как лошадь, стремясь к решетке мону-мента, Елена растерянно, с ужасом на лице, пытается остановить его, это невозможно, он отталкивает ее руками, грудью. Публика хохочет, забавляясь этой сценой.

10.

Едет автомобиль, догнал извозчика, в экипаже которого горничная, остановился, горничная переходит в автомобиль, где сидят сыщик и художник, указывает вперед, едут.

11.

Яков Сорокин достиг решетки мону-мента, уцепился за него, топает ногами. Елена пробует увести его с собою, он ее толкает, толкает, снова сбил на землю. Бегают люди из толпы, она тоже, как безумная, вырывается из рук их.

12.

Подъехал автомобиль, из него выскакивают сыщик, художник, горничная; Елена вырвалась из рук людей, державших ее, бросается к сыщику:

— Вы — доктор, да? Доктор?

Художник присматривается к Елене, вспоминая что-то; сыщик говорит ей:

— Я арестую вас. Подержите ее, дорогой Кронидов.

Идет к Якову, расталкивая людей.

13.

Кронидов, держа Елену за руку, подозрительно, недоверчиво смотрит на нее:

— Что вы тут делаете, кассирша?

Елена, увлекая его за собой к решетке:

— Поймите, он — болен! О, господи — поймите же — это несчастный человек!

Горничная кричит в лицо ей:

— Не притворяйся, не поверим! Мы знаем, кто вы оба, — воры!

14.

У решетки все четверо. Сыщик положил руку на плечо Якова.

— Ну, Сорокин...

Яков прыгает в сторону, на Елену; кричит:

— Я — конь. Шах королеве!

Сыщик схватил его, борьба; Якова свалили на землю, подбежал полицейский, разгоняет публику, Елена стоит, закрыла лицо руками, художник смотрит на нее сумрачно, но сочувственно. Полицейский, извозчик и еще какие-то люди усаживают Якова в автомобиль, он отбивается.

15.

К художнику подошел сыщик с письмом Елены в руках, спрашивает ее.

— Это вы писали?

— Да. Вы понимаете, что он сошел с ума? Понимаете?

Сыщик пожимает плечами:

— Кажется, это на ваше счастье...

Елена страстно, с великим отчаянием говорит ему:

— Он принес украденное ко мне, всё у меня под диваном. Но ведь он сошел с ума!

Горничная спрашивает художника:

— Она — притворяется, да?

Кронидов молча отмахнулся от нее. Все четверо идут с площади на улицу. Сыщик ведет Елену под руку, ласково говоря с нею, Кронидов и горничная идут сзади. Художник опечален, горничная смотрит на него искоса, недовольно.

16.

На углу улицы остановился, закуривая, Кротов, увидав идущих по площади к нему, неторопливо входит в дверь магазина.

17.

Появляется Окунь, издали наблюдает за сыщиком и Еленой, видит, как они садятся в экипаж извозчика, быстро идет вслед за ним.

18.

Дом умалишенных. По широкому коридору больные идут в столовую, целая процессия. Сзади всех озабоченно — ходами

коня — прыгает Яков Сорокин. Он долго не может попасть в дверь.

19.

Студия художника Бронидова, он работает. Ему позирует Елена в костюме монахини. У нее исстрадавшееся лицо, огромные, испуганные глаза. Художник говорит:

— Я сыграл в вашей жизни печальную роль, хотя считаю себя веселым человеком.

Елена тихо улыбается, отвечая ему:

— Вы дали мне хорошую мысль — надеть этот костюм для вашей картины. Я решила не снимать его всю жизнь. Я боюсь людей.

[Яков Богомолов]

[ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА]

Яков Сергеевич Богомолов.	Борис Ладыгин, молодой человек со средствами.
Ольга Борисовна, его жена.	Верочка Трефилова, родственница Букеева.
Никон Букеев, землевладелец, похож на актера, бритый, ленивый.	Дуняша, горничная.
Нина Аркадьевна, вдова инженера.	Стукачев, лакей.
Ониль Жан.	

[НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ]

Яков Сергеевич.	Верочка Трефилова.
Полина Ивановна.	Ольга Васильевна Мосолова.
Нина Аркадьевна, ее мать.	Букеев.
Жан, отец.	Дуняша.
Никон Пастухов.	Нянька.
Борис Ладыгин.	Стукачев, лакей.

[I ДЕЙСТВИЕ]

Хутор Букеева. Большая комната — часть задней стены ее вся из стекол, выходит на террасу, тоже застекленную. В правой стене две двери, в комнаты Якова и Ольги, в левой — комнаты Букеева. В правом углу — фонарь; он, обрезав террасу, выходит в сад. В нем стоят широкие тахты, низенькие столики для кофе и табака, — небрежная претензия на восточный стиль. На стенах большой комнаты много картин, этюдов, разные полочки на них статуэтки, вазы, фарфор и другие образцы различных горных пород: всего много, но все размещено безвкусно, неумело. Мебель разнообразна, не дачной, плетеной. Комната служит столовой. — посреди ее большой овальный стол. В левом углу письменный стол.

Утро, только что взошло солнце. Сквозь стекла террасы видны рыжие холмы на горизонте, тополя и кипарисы в саду. На террасе сидит в плетеном кресле Верочка Трефилова, закутана в серую шаль. Она встает, смотрит сквозь стекла, выхватывает к ним лицо и ладони, уходит

влево по террасе. Затем в двери террасы является Богомолов, отпирает дверь, торкается в дверь столовой. Он одет элегантно, легко и красиво движется, у него остренькая бородка, большие глаза задумчивы и насмешливы. Разговаривая, он всегда смотрит прямо в лицо собеседника. Но на всем, что он делает, есть налет какого-то комизма, или чего-то детского.

Из правой двери выходит Верочка, отпирает дверь.

Богомолов. Спасибо. Уже встали или еще не ложились?

Верочка. Не ложилась.

Богомолов. Бессонница? (Снимая перчатки.)

Верочка. Жалко было спать в такую ночь. А Ольга Борисовна осталась в городе?

Богомолов. Да, она с Букеевым и компанией.

Верочка. А вы — верхом, один?

Богомолов. Один.

Верочка. Я видела вас в степи.

Богомоллов. Да?

Верочка. Я всю ночь сидела на террасе.

Богомоллов. Не холодно? После полуночи дул ветер. А что — нельзя сварить кофе?

Верочка. Я сейчас сварю. (Быстро уходит.)

Богомоллов. Позвольте, зачем же вы? Вероятно Дуняша уже встала?

Верочка (невидимая). Ничего.

Богомоллов (смотрит вслед ей, насвистывая, озабоченно думает вслух). Очень милая девушка... Утром очень хорошо встретить такую... сама точно утро. (Ходит, разглядывая картины, напевает.)

(Стукачев входит.)

Стукачев (кланяясь). Доброе утро.

Богомоллов. Стукачев? Что вы?

Стукачев. Намерен комнаты убирать.

Богомоллов. Намерение вполне достойное своей цели. Желаю успеха. Вы — женаты?

Стукачев. Не имею счастья, но вскорости хочу.

Богомоллов. Все, не имеющие счастья, жаждают такового. Я вам мешаю?

Стукачев. Помилуйте.

Богомоллов. Милую. (Уходит на террасу.)

Богомоллов. Вы стихов не пишете?

Стукачев (ухмыляясь). Зачем же с?

Богомоллов. Ясно, что не пишете, те, которые пишут, не спрашивают — зачем.

Стукачев. У нас повар был — он писал. Смеялись над ним.

Богомоллов. Смеялись?

Стукачев. Весьма. Даже до свирепости доводили его. А Никон Васильевич однажды ударили его по затылку палкой...

Верочка (вносит кофе). Вы слышите — едут!

Богомоллов. Благодарю вас, милый человек... Но — глаза у вас покраснели от бессонной ночи и лицо бледное...

Верочка. Умоюсь — пройдет. (Уходит воспешно, по пути заглядывая в зеркало.)

Стукачев (осторожно). Они плакали, вот отчего глаза у них... Я иду через кухню, а они стоят у окна и — плачут.

Богомоллов. Девушки часто плачут беспричинно.

Стукачев. Скука, главная вещь. Пойду встречу...

Богомоллов (помешивая кофе, напевает).

Сегодня и завтра...

(На террасу шумно входят Ольга, Нина, Букеев, Ладыгин, дядя Жан.)

Ладыгин (Нине). Мы, спортсмены, на все смотрим с чисто физической точки зрения...

Букеев. Седьмой час, а уже начинается жара.

Ольга. Это вы воображаете.

Букеев. Не люблю юг...

Нина. А кого вы любите?

Дядя Жан. Не скажет. Но я знаю, кого.

Букеев. Ты все знаешь, кроме того, что должен знать.

Дядя Жан. Не сердись, Юпитер.

Ольга (мужу). Давно дома?

Богомоллов. Несколько приятных минут.

Ольга. Что ты делал?

Богомоллов. Здесь? Беседовал со Стукачевым — решительно умный человек. А теперь пью кофе. Хочешь?

Ольга. Молока. Никон Васильевич, скажите, чтоб дали холодного молока.

(Букеев уходит в дверь направо.)

Ладыгин. Холодное молоко — вчерашнее. Выпейте парного.

Ольга. Это противно. Стукачев, позвоните Дуняшу ко мне. (Идет в свою комнату.)

Нина (Богомоллову). Почему вы сбежали от нас, ученый?

Богомоллов. Камо бегу от лица твоего?

Нина. Борис Петрович, ученый перешел со мной на ты!

Ладыгин. Поздравляю вас.

Дядя Жан. Это он по рассеянности, не больше.

Ладыгин (Жану). Вы — купаться? — Я тоже...

Нина. Мы утомляем вас своим легкомыслием? Да?

Богомоллов. Внимание дамы не может утомлять.

Ладыгин. Ого! А если ей за сорок?

Нина. Бухнул! Идите в море и не мешайте нам. Я страшно люблю беседовать с Яковом Сергеевичем, ни за что не поймешь, шутит он или серьезно говорит.

Дядя Жан. Вот жизнь, она тоже...

Ладыгин. Идемте, философия не дается вам.

Нина. Знаете, — ваша супруга зверски кокетничает с Букеевым.

Богомоллов. Да? Зверски?

Нина. О! Страшно!

Богомоллов. Это кому — Букееву страшно?

Ольга (выходя). Я очень извиняюсь, но мне лень передеваться, — ничего? Я напьюсь молока и лягу спать. А ты?

Богомоллов. Пойду купаться.

Ольга. Ну, а что ж твоя вода?

Богомоллов. Вода будет, найду.

Ольга. Вот, — смотрите: он только что убил три года жизни на то, чтобы бороться с сыростью, — осушал болота в Рязанской губернии, а теперь лет пять будет разводить сырость здесь.

Богомоллов. Подожди, когда Букеев построят курорт...

Ольга. Мне вовсе не интересно, что и где намерен строить Букеев...

Нина. Однако вы с ним так кокетничаете, что у него даже уши становятся синими.

Ольга. Уши у него, как у пуделя, без хрящей... точно блинчики. Но — кокетничать я люблю.

Нина. Яков Сергеевич, это плохо — кокетничать?

Богомоллов. Это — хорошо или дурно, глядя по тому, насколько умело кокетничает женщина. Если она проявляет свое обаяние в формах изящных, если каждое слово, движение, взгляд дают мне, мужчине, ощущение таинственной силы ее пола — это прекрасно. В такие минуты весь напрягаешься, точно солдат на параде перед любимым вождем, чувствуешь себя готовым на подвиг...

Нина. Господи! Целая лекция...

Ольга. Вы думаете, он действительно может чувствовать что-нибудь подобное? С. нет, он обо всем интересно говорит, но — чувствовать, это не его специальность.

Богомоллов. Хорошо она рекомендует меня?

Нина. Не верю! Слова рождаются чувствами. Продолжайте, Яков Сергеевич, она может идти спать.

Ольга. Ты что же, водопроводчик, не предлагаешь мне кофе? Сам — пьет, а...

Богомоллов. Но ведь ты хочешь молока.

Ольга. Эгонист...

Букеев (входя). Прислуга еще дрыхнет. Я там всех распек и Анну Васильевну тоже. Хозяин давно на ногах, мало того — ночь не спал...

Нина. В трудах великих...

Букеев. А вы думаете, легко сделать жизнь приятной?

Нина. Ой, как печально сказано.

(Дуныша вносит молоко.)

Богомоллов. Никон Васильевич, мне сегодня нужно бы побеседовать с вами...

Букеев. О делах? Успеем. Время есть, мы с вами, батенька, много наделаем разного...

Богомоллов. Есть один сложный вопрос.

Букеев (махая рукою). Их — сотни, сложных вопросов. Вы лучше с дядей Жаном поговорите, — если дело идет о земле и воде.

Богомоллов. Хорошо.

Нина (Букееву). Вы устали?

Букеев. Да. Лет пятнадцать назад тому.

Нина. Что с вами?

Букеев. Да вот — устал...

Нина. Отчего?

Букеев (идя на террасу, всматривается в даль). Не знаю.

Ольга (мужу). О чем мечтаешь?

Богомоллов. Так, ни о чем...

Ольга. Почему ты ушел от нас?..

Богомоллов. А меня этот заинтересовал... студент — удивительный пессимист.

Ольга. Расскажи мне о нем.

Богомоллов. А спать когда будешь?

Ольга. Я не хочу спать.

Богомоллов (барабанив пальцами). О студенте немного скажешь. Меня заинтересовало его невежество и удивительная самонадеянность.

Ольга. Ты найдешь здесь воду?

Богомоллов. Конечно.

Ольга. Скоро?

Богомоллов. Думаю — да!

Ольга. И все здесь оживет, да?

Богомоллов. Разумеется. В этом цель моих работ.

Ольга. Будут парки, сады...

Богомоллов. Бесплодной почвы — нет, и Сахару можно сделать плодородной, если работать упорно, с любовью. Земля — как человек, требует внимания, любви, и чем бескорыстнее любовь, тем богаче дары ее. Ты посмотри: когда человек чувствует, что его любят, — как расцветает его душа в свете любви! Влюбленные и любящие всегда талантливы, ярки. Если ты полюбишь даже бездарного человека, и он сумеет почувствовать твою любовь...

Ольга (усмехаясь). Не попробовать ли мне полюбить бездарного, а?

Богомоллов (глядя ее плечо). Ты уж однажды сделала это, полюбив меня.

Ольга (вздыхнув). Ох, ты, к сожалению, не бездарен.

Богомоллов (смеясь). Как ты сказала это...

Ольга (вздыхнув). Ты наивен, как дитя, — но ты даровитый человек.

Богомоллов. И это тебя огорчает...
Ольга (серьезно). Может быть.

Богомоллов. Не понимаю...

Ольга. Очень жаль. Послушай, — ты видишь, что этот Букеев относится к тебе снисходительно.

Богомоллов. Вижу.

Ольга. Тебя это не шокирует?

Богомоллов. Да ко мне почти все так относятся... и ты, и даже этот Ладыгин.

Ольга. Он бездарен, не правда ли? (Улыбаясь смотрит на мужа.)

Богомоллов (убежденно). О, да! Чрезмерно!

Верочка (входит). Здравствуйте!

Ольга. Здравствуйте, Верочка. Почему бледная такая?

Верочка. Пришел машинист с артезианского колодца, просит вас.

Богомоллов. Иду. Вероятно, бурлящие отказались работать, — ужасно кормят их! (Вере.) Вы не знаете, где дядя Жан?

Верочка. Пошел в оранжерею. (Хочет идти.)

Ольга. Почему вы такая усталая, бледная, Верочка?

Верочка. Не знаю.

Ольга. Посидите со мной, мне скучно.

Верочка. На террасе Никон Васильевич с Ниной Аркадьевной.

Ольга (хмурясь). Вам не хочется посидеть со мной?

Верочка. Нет, почему же? (Присела.)

Ольга. У вас такой вид, как будто вы влюбились в Ладыгина.

Верочка (патаяно усмеаясь). Именно в Ладыгина?

Ольга. А в кого же еще можно влюбиться здесь?

Букеев (идет с террасы). Ольга Борисовна, как мы проводим сей день, его же сотвори господь? Возрадуемся и возвеселимся снова. Да?

Ольга. Откуда вы знаете столько перковных слов?

Букеев. А у меня служил в сторожах расстриженный дякон, пьяница и лентяй, я очень любил беседовать с ним.

Нина. Около вас всегда удивительно забавные люди.

(Верочка встает, уходит. Ольга задумчиво смотрит вслед ей.)

Букеев. Н-ну, где же они?

Нина. А дядя Жан?

Букеев. Да, — он, конечно... (Ольге.) Вы знаете, — он был моим репетитором, готовил меня в политехнику. Мне

тогда было 22 года. — О чем вы задумались?

Ольга. Я слушаю.

Букеев. Но мы гораздо усерднее изучали кафешианты, чем науку. Потом он поехал со мной за границу, и вот уже двадцать четыре года мы надоедаем друг другу. Он тоже лентяй.

Нина. Разве вы — лентяй?

Букеев. Конечно. Я человек ленивый, жирный и лирический.

Нина. Вы клевете на себя.

Букеев. Я люблю печаль. Но и печаль у меня тоже масляная какая-то, жирная.

Ольга (оглядываясь). Какие у вас неинтересные картины.

Букеев. Я ничего не понимаю в живописи.

Ольга. Зачем же покупаете это?

Букеев. Пристают. Жан говорит: богатый человек должен поощрять искусство. Я и поощряю.

Нина. Расскажите еще что-нибудь про себя.

Букеев. Да я же про себя и говорю. Больше ни о чем не умею.

(Жан [входит] на террасу с букетом цветов. Увидев Нину, прячет букет за спиной, исчезает и входит уже без букета.)

Нина. Нет, вы что-нибудь интимное... Жан. Для интимных бесед природой предназначены вечера и ночи, утром же свободные люди наслаждаются природой, а трудолюбивые трудом. Почему вы сидите здесь, а не на берегу, не в саду? Шли бы на воздух, там земля пахнет пряником, море шелковое, жаворонки поют «Коль славен».

Нина. А где Ладыгин?

Жан. Лежит голый на песке и дремлет. Выкупался, проделал гимнастику...

Букеев. Он просто живет.

Нина. Как и следует.

Жан. Совершенно верно.

Ольга. А кто вам мешает просто жить?

Букеев. Не знаю. Вероятно — лень. Ольга. Мне кажется, вы немножко кокетничаете.

Букеев. В моем возрасте этим не занимаются.

Нина. Уж будто бы!

Жан. А где наш высокоученый?

Ольга. К нему там кто-то пришел жаловаться, что рабочих плохо кормят, они не хотят работать.

Букеев (сконфужен). Не может быть. Жан, как же это, а? Второй раз...

Жан. Сию минуту распорядюсь, чтоб им нажарили котлет деволай и прочего соответственно.

Букеев (Ольге). Вы так сказали... вас интересуют рабочие?

Ольга. Нисколько.

Нина. Но вы говорили так сердито.

Ольга. Разве? Извиняюсь. Мне спать хочется. (Встала, идет к двери в свою комнату, остановилась и проходит в фонарь.)

Нина (тихо.) Капризная женщина. И не очень воспитана.

(Букеев молчит, исподлобья наблюдая за Ольгой.)

Вы замечаете, что Ладыгина волнует ее?

Букеев. Это неправда. (Встал.)

Нина. Она пошла смотреть на него...

Букеев. Пойдемте, погуляем.

Нина. О, с удовольствием.

(Уходят через террасу. Ольга в фонаре, курит и тихонько напевает. Входят Жан и Богомоллов.)

Жан. Дорогой мой, я тоже — идеалист, уверяю вас! Я понимаю все это: рабочий вопрос, социальная справедливость и прочее... Конечно же, о господи! Мы наделали законов для наших знакомых, а сами обходим законы стороной, — чтобы не задевать их, знаете.

Богомоллов. Тем более, уж если вы понимаете это.

Жан. Да — понимаю же! Но — все-таки необходимо иногда приказывать людям. Или — так, или — до свидания!

Богомоллов. Приказывать я не умею, могу только советовать или убеждать.

Жан. Всего убедительнее — страхи. Государство держится страхами, — это факт! Вы рассуждаете, как социалист, как человек преждевременный. Жизнь — поверьте мне — очень запутанная штука, кто в этом виноват — неизвестно. В поисках виноватого хватают богатого, но — ведь, это только потому, что он виднее.

Богомоллов. Забавно вы говорите.

Жан. А, боже мой! Я знаю жизнь, и она меня знает!

Богомоллов. И многое у вас очень метко...

Жан. Так вот, дорогой мой, вы не беспокойтесь, — все устроится, все будет но-хорошему... Мы, идеалисты, понимаем друг друга с двух слов. Сейчас я распорядюсь насчет улучшения харчей.

Богомоллов. К завтраму я составлю смету.

Жан. Да вы не торопитесь...

(Богомоллов, допивая остывший кофе, хмурится, бормочет что-то.)

Ольга. Ты что говоришь?

Богомоллов (заглядывая в фонарь). Я думал, здесь никого нет.

Ольга. Твоя привычка разговаривать с самим собой когда-нибудь поставит тебя в неловкое положение.

Богомоллов. Ты думаешь? Впрочем — возможно. Ты что не спишь?

Ольга. Мечтаю.

Богомоллов. О чем?

Ольга. О тебе.

Богомоллов. О? Разве?

Ольга. Удивительный у меня муж. Чорт возьми, думаю я... с восторгом. Я целую ночь где-то кутила и вообще веду себя веселой вдовой, а он — спокоен. Он так уверен в моей любви... Спасибо ему.

(Богомоллов, опершись на угол стола, задумчиво слушает, покручивая бородку.)

Он унвался мечтами, она шампанским и все шло благополучно, — так началась бы я рассказ, если бы умела писать.

Богомоллов. Попробуй.

Ольга (выходя из фонаря, подходит к нему, кладет руку на плечо). А что бы ты сказал, если бы я полюбила другого?

Богомоллов (серьезно, вздумчиво). Что бы я сказал? Не знаю. Никогда не думал об этом.

Ольга. Подумай.

Богомоллов. Зачем же? Разве — ?

Ольга. Все может быть.

Богомоллов. Ты шутишь, Оля.

Ольга. Да.

Богомоллов. Шутишь, я уверен. Хотя...

Ольга. Что — хотя?

Богомоллов. Не умею сказать.

Ольга. Если сказано — хотя, так значит, ты не очень уверен... Не очень! Ну... это хорошо. Спасибо. Поцелуй меня.

Богомоллов. За что же спасибо?

Ольга. Пойми. (Уходит, смеясь.)

Богомоллов (вслед ей). Желая тебе хорошенько отдохнуть, а то у тебя, кажется, нервы не в порядке.

Ольга. О, конечно, нервы... (Уходит.)

(Дуняша и Верочка.)

Верочка. Ольга Борисовна легла спать? Вот ей цветы от Николая Васильевича. Подайте, — Дуняша.

Богомоллов (трет лоб). Мне пужно о чем-то спросить вас... забыл!

Верочка. Жалею. (Идет в угол к письменному столу.)

Богомоллов (за ней). Да! О чем вы плакали утром?

Верочка. Я? Как вы знаете?

Богомоллов. Мне Стукачев сказал.

Верочка. Не все ли вам равно?

Богомоллов. О, боже мой. Вот не ожидал, что вы так ответите.

Верочка. А чего вы ожидали?

Богомоллов. Не знаю. Меня это поразило. Такое прекрасное утро. все так ярко, празднично, вы такая юная, красивая, так ласково встретили меня, и вдруг является лакей и говорит с улыбкой дурака: а она плачет! Ужасно нелепо.

Верочка (усмехаясь). Никто, кроме вас, не заметил бы этой нелепости.

Богомоллов. А меня, представьте, целое утро угнетают эти ненужные слезы.

Верочка (тронута). Какой вы добрый, милый.

Богомоллов. Добрый? Нет, не думаю. Просто мне всегда хочется видеть людей спокойными, весело деятельными.

Верочка (села, смотрит на него, облокотилась о стол). Да, это я понимаю...

Богомоллов. Мне всегда хочется видеть всех счастливыми, а — главное, уверенными в себе. Это органическая погрешность у меня. О чем же вы плакали?

Верочка. Глупые девичьи слезы.

Богомоллов. Вам полюбить хочется. да?

Верочка (вспыхнув, шутливо). Какой вопрос!

Богомоллов. Послушайте — любите! Не ждите с этим, это самое лучшее в жизни, поверьте мне. Только любя, мы живем. Вот — полюбите Ладыгина.

Верочка (почти истерически смеется). О, господи... вы... удивительный! Вы такой чудак...

Богомоллов. Нет, серьезно! Вы не смущайтесь предрассудками, не думайте о последствиях. Последствия любви всегда одни и те же — новый человек! Я говорю не о ребенке, а о людях, которые любят, ведь, это чувство обновляет душу, делает людей иными, лучше, красивее... Вы понимаете...

Верочка (вставая). Уйдите от меня! Оставьте Ладыгина для...

Богомоллов (испуган). Почему?

Верочка (быстро уходя на террасу). Извините... я не могу...

Богомоллов (недоумевая). Почему?

Ладыгин (входит с террасы). Что это — завтрак еще не готов? А мне зверски есть хочется. Вы чего такой?

(Богомоллов, не отвечая, уходит.)

Ладыгин (ворчит). Невежа...

II ДЕЙСТВИЕ

Лунная ночь. В саду, под группой деревьев стол, на нем большая чаша для крошона, бокалы. Плетеная мебель. В нишах кустарника удобные скамьи. У стола Букеев и Жан. Оба выпивши. Букеев возбужден. Жан настроен лирически.

Жан. Да-а, Ольга Борисовна женщина, достойная героических усилий. Ты прекрасно выбрал, Никон!

Букеев. Я — выбрал? Это черт выбирает для нас. Если бы ты знал, как я хочу ее!.. эх!

Жан. Это, брат, видимо, последняя твоя женщина. Последняя женщина, как сороковой медведь для охотника — опаснейшее приключение! Держись твердо!

Букеев. Это не приключение, а — быть или не быть.

Жан. Я понимаю. Хотя я и скептик, но сердце у меня есть, и я, брат, умею чувствовать и дружбу и любовь.

Букеев. Что же делать с этим дураком?

Жан. Не торопись. Придумаем.

Букеев. Иногда мне убить хочется его.

Жан. Ну-ну, зачем так грубо? Можно найти другой прием. Ты вот что пойми: красивая женщина или распутна, или глупа, таков закон природы. Ольга Борисовна не глупа, значит, она должна быть...

Букеев. Заврался ты...

Жан. Друг мой, я — скептик, я не могу иначе. Для скептиков, как известно, нет ничего святого.

(Стукачев несет кофе.)

Давай выпьем кофею. Стукачев, притаци-ка еще финшампань — живо. И земляники. Это, знаешь, специально для дам. (Смеясь.) Мы подольем сюда бутылочку, и — дамам будет весело, а когда дама весела...

Букеев (ухмыляется). Ты — жулик.

Жан. Таковыми же создал господь и всех прочих людей. Я, брат, скептик, я знаю: все мы притворяшки. Один притворяется умным, другой честным и т. д. По натуре своей и тот не честен, и этот не умен, но — привыкли играть роли и. — ничего! — иногда играют довольно удачно. Да. Добро, честь и прочие марципаны — все это, брат, — литература и

уже литературы — это, так называемые, навязчивые представления.

Букеев. Чорт знает, что ты говоришь — ерунду какую-то.

Жан. Нисколько... Есть даже книга такая «О навязчивых представлениях», ученый психиатр написал. Ты, брат, прочитай. Это, знаешь, вроде сумасшествия.

Букеев. Не слут.

Жан. Придут. Немнуемо.

Букеев. Замечал ты в глазах у нее тревожное такое?

Жан. Как же! Я все замечаю.

Букеев. Тревога и печаль. Я люблю печаль, это самое человеческое настроение.

Жан. Ну, знаешь, быки и собаки тоже иногда очень печально смотрят в небеса...

Букеев. Перестань. Отчего она печальна?

Жан. С таким болваном, как ее супруг... Тсс! Он и еще кто-то.

Букеев. Вера.

Жан. Вера? Гм... Уйдем!

Букеев. Зачем это?

Жан. Или сюда... Послушаем, что он говорит... Ну, скорее...

Букеев. Глухо...

Жан. Напить бы его до чортиков, а? (Скрываются в кустах.)

(Богомоллов и Верочка.)

Богомоллов. Нигде я не видал таких бездельников, как здесь, и сам никогда не чувствовал себя таким бездельником. Здесь никого нет? Огонь, вино... Сядемте? А где же люди?

Верочка. Ваша жена с Ладыгиным и Ниной Аркадьевной катаются на лодке.

Богомоллов. Знаете, — я впервые на юге, и мне кажется, что люди здесь точно ленивые, сытые пчелы, висят в воздухе, тихо кружатся над каким-то невидимым цветком.

Верочка. Невидимый цветок? Но как хорошо сказали вы это!

Богомоллов. И сам я тоже повис в воздухе над ним.

Верочка. Но — что же это? Какой цветок?

Богомоллов. Может быть — любовь или мечта о чем-то недостижимом.

Верочка. Как странно, что вы романтик.

Богомоллов. Почему странно? Все люди романтики. У меня есть приятель, он называет себя реальным политиком и убежден, что через 25 лет — в России будет нечто вроде земного рая. Это тоже романтизм.

Верочка. Вы так много работаете — целые дни!

Богомоллов. Я люблю работать, работа повышает уважение к себе самому и — знаете: земля должна быть ограничена трудом людей, как драгоценный камень. Я думаю, что те, кто говорят о муках творчества, — неправы, надо говорить о радостях творчества.

Верочка. Ольга Борисовна так же думает?

Богомоллов. Ольга? (Помолчав.) Она из тех людей, для которых то, что они понимают, становится неинтересным.

Верочка. А — вы...

Богомоллов. Что?

Верочка. Нет, я не то хотела спросить.

Богомоллов (смеясь). Вы хотели спросить — поняла ли она меня?

Верочка (смущенно). Я не имею права... так не спрашивают...

Богомоллов. Почему же? Обо всем можно и должно спрашивать... (Очень сердечно и просто.) Послушайте, — вы к ней относитесь несправедливо, и это потому, что вы немножко увлекаетесь мной. Правда?

(Верочка смущена, молчит.)

Правда?

Верочка. Не знаю... может быть...

Богомоллов. Милая девушка, — мной нельзя увлекаться, я совершенно не годюсь для романа, — уверяю вас.

Верочка. Не говорите так... грубо...

Богомоллов. Это не грубо.

Верочка. Неловко так...

Богомоллов. Жена говорит про меня, что я хладнокровный болтун — это верно, вы знаете? У меня в мозгу неустойчиво во все стороны двигаются какие-то колесики. (Показывает руками.) И так, и так, и эдак. Я люблю думать обо всех людях, о судьбе каждого, мне хочется для всех чего-то хорошего... каждому по желанию его и — больше желания. Вероятно, я мог бы изменить жене, если б это понадобилось для кого-то другого, — если б я почувствовал, что могу дать счастье человеку.

Верочка. Вы сами — счастливы?

Богомоллов. Да. (Подумав, решительно кивает головой.) Да. Я очень люблю все — всю жизнь. И людей, конечно. Люди кажутся мне дельными, даже когда у них седые бороды. В сущности, все они удивительно интересны. Неинтересных людей нет.

Верочка (негромко, грубовато). Вы

знаете, что здесь вас считают каким-то блаженным?

Богомоллов. Это — везде! Везде. Вы посмотрите, как относятся ко мне рабоче: я, очевидно, кажусь им ребенком. Сергееч, говорят они, ты не беспокойся, мы тебя не обидим, — все будет хорошо! Они положительно боятся обидеть меня. Это — трогательно.

Верочка. Я знаю людей, которые не боятся этого.

Богомоллов. О, конечно, есть и такие. Мы все очень небрежно относимся друг к другу. Мы совершенно не умеем любоваться человеком, а — что на земле значительнее его, прекраснее, что более сложно и загадочно, чем он?

Верочка. Боже мой, боже!

Богомоллов. Что с вами?

Верочка. Ничего... Не обращайтесь внимания. (Вдруг с неожиданной силой, страстно.) Послушайте, вы — я не понимаю вас... Я восхищаюсь вашими словами, но — мне жалко вас до тоски, до отчаяния. Как можете вы — такой ясный, добрый и мягкий, как вы можете быть слепым? Вы говорите, что человеком надо любоваться — вы не смеете не видеть, как унижают вас...

Богомоллов (усмехаясь). Меня? Кто?

Верочка. Все! Жан — издевается над вами, мой дядя, ах, господи! он же хочет отбить у вас Ольгу Борисовну — неужели вы не видите этого?

Богомоллов. Чудак!

Верочка. Ольга Борисовна — я хорошо делаю, говоря это, но, ведь, все видит ее отношения с Ладыгиным.

Богомоллов (ласково). Довольно, Верочка. Есть вещи, которые не надо видеть — вы понимаете? То, чего вы не видите — не существует. Нас мучает то, что мы слишком пристально рассматриваем.

Верочка. Но — поймите! — вы не смеете, не имеете права позволять, чтобы вас унижали.

Богомоллов. А если я не чувствую унижения...

Верочка. Тогда вы действительно...

Богомоллов. Дурак?

Верочка. О, господи... нет, это невозможно... это — кошмар... (Вскочила, быстро идет прочь.)

Богомоллов (пожимает плечами, борочет). Психологическая девушка... (Пьет крошон, морщится.) Яд... азотная кислота какая-то... (Вытирает рот влатьком.) Да...

Жан (из кустов, рожа сияет, едва удерживается от смеха). Яков Сергееч,

дорогой... (Смеется.) с кем вы беседуете?

Богомоллов. Сейчас здесь Вера Павлова была.

Жан. Слышал ее голос...

Богомоллов. Философствует девушка, знаете.

Жан (смеясь). Это она... философствует?

Богомоллов. И я тоже, конечно...

Жан. Ах вы... дорогой мой! Давайте, глотнем за идеализм...

Богомоллов. Я уже глотнул и кажется, съел себе пищевод...

Жан. Ну, я оди! Сейчас наши придут, лодка уже у берега.

Богомоллов. На море, вероятно, сыро.

Жан. Даже реки обладают этим недостатком, не говоря о болотах.

Богомоллов (смеется). Остроумны вы...

Жан. А Ладыгини неугомонны, демонстрируя дамам свои мускулы.

Богомоллов. Человеку свойственно хвастаться лучшим, что есть у него.

Жан. Bravo!

Букеев (медленно идет). Жан, — ужинать надо здесь, распорядись.

Жан. Могу.

Букеев (садясь). Жарко.

Богомоллов. Да? А по-моему — прохладно.

Букеев. Нет, жарко. Я замечаю — вы не очень любите общество дам?

Богомоллов. Да их здесь только две.

Букеев (тяжело смотрит). А вам сколько надо?..

Богомоллов (смеясь). Самое большее — одну.

Букеев. Нет, серьезно — вас не интересуют женщины?

Богомоллов. Я — женат, как видите...

Букеев. Да. А я, вот, часто думаю: что такое женщина?

Богомоллов (неохотно). Поскольку можно исчерпать понятие словами... (сразу увлекается) это стержень нашей жизни, ось бытия, вокруг женщины вращаются все солнца и звезды нашей поэзии, все лучшее наше — для нее, от нее — все племена и народы, для нее посеяны на земле все цветы, ее ради созданы искусства, и ради ее пребудет вовеки все прекрасное. Она несет с собой невидимый цветок, над которым кружится весь мир, жаждущий счастья.

Букеев (вздыхнув). Хорошо вы говорите, великий вы красноречивый... Вот бы мне немножко этого дара.

Богомоллов. Для женщин?
Букеев (кивнув головой). Конечно.
Богомоллов. Почему вы не женились?
Букеев (махнув рукой). Пробовал. На третий год — развелся!

Богомоллов. Она ушла?
Букеев. Выгнал. Хотите вынуть?
Богомоллов. Нет. Спасибо.
Букеев (ворчливо?). Благочестивый вы человек: не пьете, не курите. И в карты наверняка не играете?

Богомоллов. Не играю.
Букеев. Скучно?
Богомоллов. Нет, ничего, живу.
Букеев. А я вот пью, курю, играю и вообще — развлекаюсь всячески, но — скучно мне.

Богомоллов. Попробуйте работать.
Букеев. Непривычен.
Богомоллов. Положение безвыходное.
Букеев (в упор смотрит на Богомоллова). Посмотрим. Может, и нет еще.

(Смех и голоса. Ладыгин, Ольга, Нина.)

Богомоллов. Приехали. (Идет встречу.)

(Букеев, тяжело подняв руку, показывает ему кулак.)

Стукачев и Дуняша накрывают на стол.)
Букеев. Шампанское похолоднее.

Стукачев. Слушаю.
Букеев (вставая). Бояван ты, Стукачев.

Стукачев. Почему же-с?
Букеев. Не твоё дело.

Стукачев. Обидно-с, ежели без дела ругаете!

Букеев. Мне нужно кого-нибудь обругать...

Стукачев. Дуяшу бы, она моложе меня...

Букеев. Ну, молчи... (Уходит.)
Стукачев. Пьян.

Дуяша. За что это меня ругать надо?

Стукачев. А меня за что?
Дуяша. Вы долгие моего служите здесь.

Стукачев. Те...

(Жан и Ольга входят.)

Дядя Жан. Ну, вы, живее! Марш отсюда... Устали, благодатная? Присядьте, прошу.

(Стукачев и Дуяша уходят.)

Ольга. Мне надо переодеться...
Жан. Минуточку! Позвольте сказать десять слов от души...

Ольга (разглядывая его). Да? Что такое?

Жан. Послушайте, божественная! Я — романтик.

Ольга. Серьезно?
Жан. Вполне! Я... мне тягостно видеть страдания людей, а если мучается близкий человек, — я совершенно впадаю в отчаяние. И вот, будучи душевно предан Нико-ну, я умоляю вас: обратите на него внимание, приласкайте ребенка! Он страдает с Тамбова...

Ольга. Откуда?
Жан. С Тамбова, с первого дня знакомства с вами...

Ольга. Вы много выпил?
Жан. Обыкновенно... Позвольте, — вы, кажется, это прописчески спросили?

Ольга. Нет, серьезно...

Жан. Несравненная, будьте великодушны...

Богомоллов (входит). Вот она где.
Ольга. Ты меня пскал?

Богомоллов. Я не видел, как ты сошла на берег.

Жан (уныло). Как богиня!
Ольга. Слышал — как?

Богомоллов. Устала?
Ольга. Нет. Ты что делал?

Богомоллов. Закончил схему водоносного горизонта, потом гулял с Верочкой, беседовал.

Жан (смеется). Извините, — смешное вспомнил!

(Ладыгин, Нина; Жан идет встречу им.)

Ладыгин. Скоро ужипать! Я голоден.
Нина. Это у вас хроническое.

Ладыгин. Я человек здоровый...

(Подшел Букеев, угрюмый.)

Ольга. О чем же вы беседовали?
Богомоллов. Знаешь, — она милая девушка.

Ольга. Да?

Богомоллов. Очень. Только — она нетактична, на мой взгляд... Например, она сказала, что надо мной здесь немножко издеваются, считают меня чудачком...

Ольга. Вот как?
Богомоллов. Да.

Ладыгин. Позвольте, — мой брат, офицер гвардии, дрался на дуэли трижды...

Богомоллов. Я ей советовал влюбиться в Ладыгина, а она сказала, что он очень ухаживает за тобой.

Ольга. Вы и обо мне беседуете?
Богомоллов. Она обо всем говорит довольно решительно.

Ольга. А ты, по обыкновению, очень откровенно, да?

Богомоллов. Ты сердилась?

Ольга. Полно, — какие у меня причины сердиться! Ну, а еще о ком сплетничала она?

Ладыгин (Ольге). Посмотрите, до чего Букеев мрачен сегодня. Это даже нелюбезно. Ах, извиняюсь, я помешал вам?

Богомоллов. Нет, ничего...

Ладыгин. Сейчас будем ужинать. Букеев пробирал за что-то Верочку — чудил, чудил над ней! В сущности, он очень скучный человек... Вы знаете — Нина Аркадьевна думает, что я трус. Я — оскорблен. Спортсмен не может быть трусом. У меня брат, гвардейский офицер... (Заметив что его не слушают.) Я, кажется, лишний?

Ольга. Вы уже спрашивали об этом.

Ладыгин. Да? Забыл. А хорошо здесь! Море, холмы, за холмами стена. Нужно бы еще лес — это идеально... Ужасно утомляет ожидание.

Богомоллов. А вы чего ждете?

Ладыгин. Ужина. Я часа два работал веслами...

(Букеев подходит.)

Богомоллов (жене). Между прочим я сказал ей, что здесь люди точно пчелы, кружатся над каким-то цветком, невидимым для них.

Ольга. Ты умеешь сказать...

Ладыгин. А что это за цветок?

Букеев (угрюмо). Я слышал краем уха вашу беседу, мне показалось, что вы объясняетесь Вере в любви...

(Богомоллов смеется.)

У вас странная манера говорить со всеми обо всем.

Ольга. Это выговор тебе, — ты понимаешь?

Букеев. Что вы, Ольга Борисовна. Просто я так... сказал... Ведь в самом деле для Якова Сергеевича как будто нет запретных вопросов. Он... удивительный. Веру этот разговор расстроил... ну... вот я и говорю. Она, ведь, очень нервная...

Ладыгин. Заставьте ее делать гимнастику, плавать, и — все пройдет!

Жан. Господа! Посмотрите, как красиво рыбаки развели костер на берегу и — посмотрите! Великолепие.

(Все нехотя идут.)

Жан (удерживает Букеева). Ника, я перекинулся с ней парочкой слов насчет тебя. Конечно, она и так, и эдак и — ничего особенного не сказала, но — поверь моему опыту! Терпение, дружище!

Букеев (уходя, махая рукой). Ты пьян, брат!

Жан (пожимая плечами). Я двадцать лет пьян... Странно!

Нина. Куда они пошли?

Жан. На берег.

Нина. Опять? Я так устала. Почему Никон Васильевич не в духе?

(Вера осматривает стол, накрытый для ужина.)

Жан. Все ваша сестра виновата.

Нина (оглядываясь). Неужели он серьезно увлекается ею? Это было бы ужасно.

Жан. Да, не очень весело. А вот вы рискуете проворонить кусок.

Нина. Фу, как грубо! Что с вами?

Жан. Я, Нина Аркадьевна, — циник! Уверяю вас. И я — огорчен! Чорт бы взял водопроводчика и супругу его, — вот что я говорю! Если случится...

Нина (тревожно). Вы думаете, что у него серьезно, да?

Жан. Последняя женщина, — вот что я думаю! А вы...

Нина. Пожалуйста, оставьте меня в покое! Что за тон у вас?

Жан. Я сказал — я циник и — конечно!

Нина. Но — как же Ладыгин?

Жан. Уж не знаю как. Это меня не интересует... Нисколько!

Нина. Так откройте ему глаза.

Жан. Не угодно ли вам взять на себя это приятное дельце.

Нина. И возьму!

Жан. И возьмите!

Нина. Жанчик, вы знаете, как я отношусь к вам, — вы не должны допускать...

Жан. Эх, что там! Если б моя воля, я завтра же подстроил бы ей такую пакость, что — слоны ахнут!

Нина. Я говорю вам — вы не должны.

Жан. Оставьте. Знаю я, что должен и чего не должен. Воспитывать человека чуть не 30 лет, а тут вдруг является ге- цингия из Чухломы... и — пожалуйста!

Верочка (глядя к морю). Дядя Жан, ужин готов.

Жан. Прекрасно. Идемте, позовем их. (Верочка садится на скамью за кустами.)

Идут Ольга и Ладыгин.)

Ладыгин. Я не понимаю этого.

Ольга. Чего вы не понимаете?

Ладыгин. Я вас люблю, я страстно желаю вас, а вы капризничаете.

Ольга (смеясь). Вы называете это — каприз, и только.

Ладыгин. Ну, да, а — как же?

рю Вас, что я вообще очень нравлюсь женщинам — они меня любят, а тут вдруг...

Ольга. А вы умеете любить, да?

Ладыгин. Господи, — какой странный вопрос. Я не мальчишка, не старик.

Ольга (смеется). Вы очень просто понимаете любовь, удивительно просто!

Ладыгин. Я же не... этот, не... как это?

Ольга. Не — кто?

Ладыгин. Ну, вы знаете! Я забыл слово... имя.

Ольга. Робинзон Крузо?

Ладыгин. Нет, — причем тут Робинзон Крузо, если дело идет о женщине. Другое.

Ольга. Вильгельм Телль?

Ладыгин. Это — сказка. Ну — все равно.

Ольга. Гамлет? Ловелас?

Ладыгин. Я — честный человек, а Ловелас, кажется, был негодяй.

Ольга. Кто же?

Ладыгин. Вы смеетесь надо мной — за что? За то, что я вас искренне люблю. Поверьте, я люблю вас, не как других любил — честное слово.

Ольга. Бросьте это. Ваша любовь — на две недели скучных будних дней — не более. В вашей любви не будет праздника...

Ладыгин. Ну, уж извините! Вы не можете знать...

Ольга. Вы — почти дитя, хотя и красивый мужчина. Вы очень — извините! сильное животное, но мало человек, очень мало!

Ладыгин. Человек — прежде всего — физика... (Делает попытку обнять ее.)

Ольга. Ну, это грубо, и я больше не стану говорить с вами. (Почти с тоской.) Как скучно здесь! Хоть бы кто-нибудь пел, хотя бы немножко музыки... Все живут точно во сне...

Ладыгин. Вот — идут все эти! Ольга Борисовна, дайте мне возможность поговорить с вами после ужина... Умоляю вас!

Ольга. Я подумаю.

Ладыгин. Умоляю.

Ольга. Тшше!

Букеев (пристально смотрит на Ольгу). Хорошо сейчас рыбак сказал: ежели, говорит, все от ума делать, так это тоже глупость будет! Вы согласны?

Ольга. Не знаю, право.

Ладыгин. Я — совершенно согласен. Не люблю умных людей.

Букеев. Вам не холодно?

Ольга. Немножко...

Ладыгин. У меня дядя математикой занимается и все о теории вероятностей говорит — нестерпимо скучно.

Букеев. Даме холодно — скажите, чтоб ей принесли плед или шаль.

Ольга. Платок у меня в комнате, Дуняша знает.

(Ладыгин, недовольный, уходит, насвистывая.)

Букеев. Надоел он вам?

Ольга. Почему?

(Букеев молча целует ей руку.)

Ольга. Что это значит?

Букеев. Так. Это не обижает вас, надеюсь.

Ольга. Нет. Но — удивляет.

Букеев. Не удивляйтесь. У меня душа наполнена чувством благодарности к вам.

Ольга. За что?

Букеев. За то, что вы есть, вот такая неотразимо властная, такая красавица, за то, что я имею счастье знать вас. (Торопливо и тяжело бормочет). Благодарю вас.

(Ольга смотрит на него.)

Букеев (усмехаясь). Там, на берегу

¹ Простите меня — когда я увидел вас, я подумал: вот бы с такой дамой затеять роман. [А потом] И еще недавно, сегодня, [говорил и] думал о вас, как о всякой... но вот вижу, стоите вы там на берегу, так задумчиво и — не умею сказать, — что случилось, но понял, что я вас люблю на горе мое и — вообще простите...

Ольга. Я завтра уеду.

Букеев. Прошу вас — не делайте этого [Ни слова].

Ольга. Но я же не могу...

Букеев. Ни слова больше не скажу вам, ничем не напомню, только подождите, не уезжайте... хоть несколько дней!

Ольга. Ах, боже мой... как это неожиданно [и]...

Букеев. И неприятно? Нет, неприятно не будет. Давеча ваш муж удивительно сказал о женщине, что она носит с собой [какой то] невидимый цветок, и весь мир хочет видеть его... Тридцать лет я искал этот цветок, искал в грязи, по шантанам и кабакам, по гостинным разных женщин — вот — нашел! Ничего не прошу у вас, ничего, только дайте любоваться вами...

Ольга. Я думаю, лучше мне уехать.

вы стояли, задумчивая такая, в сторонке от всех, и уж не знаю почему — но очень тронуло меня это.

Ольга. Что именно?

Букеев. Да вот — в стороне что от людей... вы стоите.

Ольга. Вы ошибаетесь, если думаете, что я избегаю людей. Особенно я люблю веселых людей.

Букеев. Жаль, что я не умею быть веселым!

Ольга. Что же вам мешает?

Букеев. Да так... не знаю что...

Ольга. Вы богатый, независимый человек.

Букеев. Независимых людей нет, я думаю.

Ольга. Вот как? Почему?

Букеев. Ну... например: если чего-нибудь хочешь, так уж зависишь от предмета своих желаний.

Ольга. Желайте возможного.

Букеев. Все кажется возможным, а полное счастье не достижимо.

Ольга. Удовлетворитесь неполным.

Букеев. Обидно. Человек жаден.

(Ладыгин несет шаль, за ним Жан.)

Жан. Давно пора ужинать.

Ладыгин. Да! Пора! Извольте.

Ольга. Спасибо.

Жан. Но все разбрелся, а Яков Сергеевич на ступеньках террасы, рассказы-

Букеев. Нет, ради бога, не надо.

Ольга. Слушайте! Я должна сказать вам, что... предупредить вас.

Букеев. Да, да, я знаю — вы любите Ладыгина. Ну, что ж...

Ольга. Я не... я не сказала этого! Понимаете?

Букеев. Ему?

Ольга. Вам.

Букеев. Ну, что ж...

Ольга. Он очень ухаживает за мной [мне], меня это забавляет, но я должна предупредить вас: он [глупый] неумный, очень грубый человек.

Букеев. Ну... Какое мне дело до него. (Повеселев.) Вы его не любите?

Ольга. Нет, лучше я уеду...

Букеев. Бойтесь его?

Ольга. За вас боюсь, поймите вы.

Букеев (бодро). Ну, за меня не бойтесь... Спасибо вам!

Ольга. Ах... за что?

Букеев. Так уж... есть за что! Хотя за то, что вот явились вы, и все вокруг кажется мне серьезнее, красивее... И чего-то даже стыдно...

рает Верочке, Нине Аркадьевне о каких-то чудесах науки, — не рассказ, а мед и перец! Удивительный муж у вас, Ольга Борисовна! Его даже камни могут слушать.

Ладыгин. Был такой проповедник, который тоже... Аминь, ему грянули камни в ответ.

Жан. Это было в хрестоматии.

Ладыгин. Не знаю, может быть. Позвольте, хрестоматия это сборник стихов, книга?

Жан. То — книга, а то — остров в Тихом океане.

Ладыгин. Никогда не слышал. Будемте ужинать, а?

Букеев. Жан — зови! (Предлагая Ольге руку.) Позвольте?

Ольга. Спасибо.

Ладыгин. Аминь! ему грянули камни в ответ. Это очень хорошо сказано. А вообще я не люблю стихов, — ужасно трудно читать их! Занятые не на месте, и слова переставлены нелепо. А вам, Ольга Борисовна, нравятся стихи?

Ольга. Хорошие — да. (Взволнованно [?]) Как хочется музыки послушать!

Букеев. Можно послать в город, там есть старичок один.

Ольга. Нет, не беспокойте старичка. Ваша племянница — не играет?

Букеев. Верочка? Не знаю... Она у меня недавно живет, еще года нет...

Ольга. Спрота?

Букеев. Да. Сестра моя умерла, Вера осталась с вочимом, а он такой авантюрист, гуляка...

Ладыгин. Вот авантюристов я люблю, интересные люди!

Жан. Прошу за стол!

(Идут Нина, Верочка, Богомолов.)

Богомолов. Каждый из нас чувствует себя творцом или рабом некой «истины», и каждый стремится укрепить ее в жизни. — вбить свой гвоздь в мозг ближнего. Это глубоко отвратительное стремление...

Букеев. Ваш супруг неутомим.

Ладыгин. Какая-то думающая машина.

Ольга (оглядываясь на него). Вы очень откровенны.

Букеев. Н-да...

Ладыгин. Впловат! Это я нечаянно сказал...

Ольга. Яков!

Богомолов. Да?

Ольга. Сядь рядом со мной.

Богомолов. Прекрасно!

Жан. Усаживайтесь, спиборы!

III ДЕЙСТВИЕ

Комната первого действия. Пасмурный вечер. Сквозь стекла террасы видно, как под ветром качаются тополя. В углу налево Богомоллов и Верочка играют в шахматы. За большим столом Ладыгини раскладывает пасьянс. В фонаре на тахте полулежит Ольга с книгой.

Верочка. Так я возьму у вас коня.

Богомоллов. А я — так!

Верочка. И так возьму.

Богомоллов. Да? Гм... Что же мне делать?

Верочка. Вы сегодня играете очень рассеянно...

Ладыгини. Рассеянность — признак влюбленности.

(Ольга смотрит на него через книгу.)

Верочка. Шах королеве.

Богомоллов. Уже? Что такое? Действительно, я играю, как теленок.

Ладыгини. Сравненьце не лестное, но...

Ольга. О чем вы гадаете?

Ладыгини. Конечно, о том, любит ли она меня.

Ольга. Она — купчиха?

Ладыгини. Почему?

Ольга. Мне так кажется.

Ладыгини. Вы сегодня злая. (Смотрит на часы.)

Ольга. Я не бываю доброй.

Верочка. Вы проиграли. Шах королю... Видите.

Богомоллов. Вижу. Странно.

Ладыгини. Ужасно медленно тянется этот день...

Богомоллов (встал). Вот надпись для часов:

Мы временем владеть не можем,
Минуты счастья не умножим,
Но если день наполнен горем,
Работой ход часов ускорим.

Верочка. Это чье?

Богомоллов. Мое. Сам сочинил.

Ольга. Когда?

Богомоллов. Не помню.

Ольга. Я впервые слышу.

Верочка. Вы пишете стихи?

Богомоллов. Писал. И все почему-то грустные. Потом — стало стыдно — бросил.

Верочка. Чего же стыдно?

Богомоллов. Не умею сказать. Так как-то, знаете... взрослый человек, с бородой, гидротехник и вдруг — пишет стихи! Да еще лирические.

Ладыгини. Да, это — нелепо! Борода и стихи...

Верочка. Очень многие поэты носили бороды...

Ольга (иронически). Да — что вы?

Ладыгини. Вообще борода — нелепость... (Мешает карты.)

(Верочка, собрав шахматы, уходит на террасу.)

Когда дяди Жана нет дома — здесь скучно, как в монастыре.

Ольга. Вы очень любезны.

Ладыгини. Я — откровенен. Не умею кривить душой.

Богомоллов (Ольге). Он — прав. Здесь скучно. По-моему, источником скуки является владыка здешних мест, — в нем неиссякаемый запас эдакой каменной скуки.

Ольга. Ты сплетничаешь.

Богомоллов. Что это за книга?

Ольга (смотрит на титул). Поль Адап.

Богомоллов (целует руку ее). Пойду схожу на работы.

Ольга. Скоро вернешься?

Богомоллов. Скоро... Утром эти звери опять сломали бур... И кто-то украл ремни. (Уходит.)

Ладыгини (оглянувшись, не видит Верочку, прошел в фонарь, садится на тахту, обнимает Ольгу). Пойдем к тебе.

Ольга. Нельзя.

Ладыгини. Почему? Пойдем!

Ольга. Перестаньте! Я не хочу...

Ладыгини. Как ты меня мучаешь, это ужас, ты невероятно капризна. Ну, поцелуй меня крепко.

Ольга. Здесь не место.

Ладыгини. Тогда — пойдем к тебе.

Ольга. Я же сказала...

Ладыгини. Но, чорт возьми... Вы издеваетесь надо мной, что ли?.. Я не могу так... Если я люблю, то — надо меня любить. Ты так ласкова с мужем, — это неприятно волнует меня.

Ольга. Неужели?

Ладыгини. Конечно! Надо, моя милая, ясно знать, на какую лошадь ставишь, как говорят англичане.

Ольга. Это они в подобных случаях так говорят?

(Верочка идет с террасы.)

Ольга (усмехаясь). Вы — удивительный! Не думала я, что существуют такие упрощенные люди.

Ладыгин (обнимает ее). Во всех случаях!

(Верочка, садясь у стола, двигает стул, открывает ящик.)

Ладыгин (вскочил на ноги, выглянул и, смущенно улыбаясь, идет на террасу, говоря). Ах, вы здесь?..

(Ольга встает, выходит в комнату, молча смотрит на Веру, та встала и тоже смотрит в лицо Ольге. Немая сцена.)

Ольга. Вы хотите сказать мне что-то? Верочка. Нет.

Ольга (после паузы). Но, может быть, скажете?

Верочка. Нет. (Идет к двери налево.)

Ольга. Желаете остаться немой судьей?

Верочка (горячо). Я ничего не желаю... я никого не хочу осуждать...

Ольга (иронически). Благодарю вас!

Верочка. Но — разве это любовь?

Ольга. Ага, все-таки вы заговорили...

(Верочка быстро уходит.)

Ольга (постояв несколько секунд, закрывает лицо руками, потом бормочет). Боже мой — что я делаю?.. Боже мой...

Жан. Вот мы и приехали! Вы — одна здесь, божественная? (Садится.) Устал! Никон зол, точно голодный волк. Ветер. В городе пылица. Что с вами, богиня? А? Вы бледенькая и опрокинутая — что такое?

Ольга. Ничего. Нервы. Пойду отдохну.

Жан (протягивает руку). Минуточку, минутку. Позвольте мне еще раз побеседовать с вами.

Ольга. Бесполезно.

Жан. Милости прошу, а не жертвы! Присядьте.

Ольга. Благодарю вас (ходит).

Жан. Ольга Борисовна, я — циник!

Ольга. Кажется, вы недавно называли себя романтиком?

Жан. Обмолвился. Нет, я — циник! Я смотрю на вещи просто: вы — красавица и заслуживаете божеских почестей. Вам необходимо вставить себя в раму, достойную вашей красоты. Жить с волеем...

Ольга. Я прошу вас...

Жан. Нисколько не хочу обижать Якова Сергеевича. Но я вижу, что вы ему ненужны, — ему вообще ничего и никого не нужно. Это человек преждевременный, отвлеченнейший мечтатель, поэт и тому подобное. Да здравствует! Но — при чем здесь вы? Не понимаю!

Ольга. И что же дальше?

Жан. Дальше — Никон.

Ольга. Вы знаете, как называется ваша профессия?

Жан. Знаю — приживал, паразит.

Ольга. Нет, хуже.

Жан. Знаю — сводник.

Ольга. И — все-таки?

Жан. И все-таки! Я циник, но я по-своему люблю Никона и желаю ему счастья. Счастье — это вы. Все — вам, все — для вас. Жизнь — ну, жизнь пустяки, но — состоянье — это уже не пустяки, а около шести миллионов! Ольга Борисовна — дело стоит так: лично мне невыгодно, чтобы эта комбинация осуществилась, ибо я знаю, войдя в дом Никона, вы меня — фюнт.

Ольга. Извините, но мне кажется, что вы или пьяны, или с ума сходите!

Жан. Да — почему? Речь идет о деле, и повторяю вам — невыгодном для меня. Но — в дружбе я — рыцарь, да-с, рыцарь, не менее того... Ольга Борисовна, пред вами — всё, сзади вас — одни словесные бубенчики и пустота!

Ольга. Не смейте говорить так.

Жан (стряхнул). Не буду. Не стану. Фу... Ведь экая вы... женщина! Понять нельзя какая. Но, — клянусь! — действительная женщина.

Ольга. Послушайте... это Букеев просил вас говорить со мной?

Жан. Ни-ни! Ничего похожего! Я — сам, за свой страх, из чувства рыцарской дружбы, ей-богу! Знаю, что есть риск получить пощечину, но — иду на вы!

Ольга. Что вы за люди все? Вы Букеев, Ладыгин? Не понимаю.

Жан. И не надо, не понимайте! Мы сами ни черта не понимаем, ей-богу. Живем вплоть до смерти, а для чего? Необъяснимо. (Серьезно.) Послушайте, Никон несчастный парень. Он только однажды искренно любил, но возлюбленная оказалась с премией, — у нее был туберкулез, и она умерла в Давосе. Он — хороший парень... А что касается Нины Аркадьевны, то это не более как шутка, знаете, от скуки... Ну, например, один купец московский, говорят, слопенка у себя в комнате держал. Ах, да что там! Ольга Борисовна, подумайте... Я уйду, топаят на лестнице... Ольга Борисовна — прошу вас! Это очень серьезно!

(Входит с террасы Нина.)

Нина. Какой противный ветер. (Откашляет их.) Вы ссорились?

Жан. Мы?

Нина. У вас такой взерошенный вид!

Жан. Это — вдохновение посетило меня. Я рассказал Ольге Борисовне историю, хрр-аму, которую видел в синемаатографе.

(Ольга уходит к себе.)

Нина. В чем дело?

Жан. А что?

Нина. Отчего она такая?

Жан. Мамочка, я ей сейчас наговорил столько, что — знаете, — удивительно, как она на ногах устояла! Разоблачил, так сказать! И о Ладыгине и — вообще! Говорю — лучше вы, сударыня, того — цюрюк, цюрюк! То есть — пожалуйста назад. Авантюристок, говорю...

Нина. Врете!

Жан. Я. Когда это?

Нина. Всегда! Вы меня надуть хотите, сударь!

Жан. Господи! Я — вас?

Нина. Смотрите, друг мой! Я вашу дипломатию понимаю...

Жан. Ах, как вы несправедливы ко мне!

Нина. Я насквозь вижу вас.

Жан. Гм!

Нина. Да, да! Вы из тех, кто всегда идет за победителем...

Жан. Таковы все люди.

Нина. Но — еще неизвестно, кто здесь победит...

(Верочка входит с ключами.)

Верочка. [прзб]. Там покупки из города привезены, будьте любезны принять.

Жан. Никон просит к ужину оленью вогу...

Верочка. Хорошо.

Нина. А где Никон Васильевич?

Верочка. У себя.

Жан (уходя). Какой сегодня нервный день.

Нина. Верочка!

Верочка. Да?

Нина. Присядьте на минуту. Я хочу спросить вас — вы ничего не замечаете?

(Верочка молчит, играя ключами.)

Нина (наклонясь к ней). Не правда ли, эта Ольга Борисовна охотится за Никоном Васильевичем?

Верочка (удивленно). Нет!

Нина (взволнованно). Однако — это так. Вы — девушка, человек неопытный, вам непонятны наши женские хитрости.

Верочка. Да... я ничего не понимаю...

Нина. Но вы должны понять, что эта авантюристка угрожает вашим интересам...

Верочка. Мне? Моим интересам?..

Нина. Да, конечно! Ведь если она встретится в доверие Никона Васильевича, заберет его в руки, тогда ваше будущее...

Верочка. Какое мне дело до этого?

Нина. Но — как же? Вы девушка... вам нужно выйти замуж, для этого необходимо приданое...

Верочка. Нина Аркадьевна, мне ничего не нужно. Мне нужно уйти отсюда... Вы говорите, кто-то за кем-то охотится. Здесь все охотятся друг за другом, а — жизни нет.

Нина. Вы, конечно, понимаете, что я говорю вполне бескорыстно...

Верочка. Только Яков Сергеевич — один он...

Нина. Ах, он глуп.

Верочка. Нет, не правда! Он — слепой, потому что честный.

Нина. Поверьте мне, это — дурак и болтун.

Верочка (возмущенно). Это прекрасный человек.

Нина. Вы увлекаетесь им, — да?

Верочка. Да!

Нина. О, боже мой! Но, милая моя, это смешно!

Верочка. Пусть будет смешно...

Букеев (входит). Что — смешно?

(Верочка поспешно уходит.)

Что такое? Чего она убежала?

(Жан на террасе прячется за дверь.)

Нина. Я с ней беседовала о Якове Сергеевиче.

Букеев. Да. Ну, так что же?

Нина. Мне кажется, она увлекается немножко...

Букеев (кивая на дверь Богомолова). Им?

Нина. Да.

Букеев. Гм... (Задумался.) А — он?

Нина. Что?

Букеев. Он тоже увлекается Верой?

Нина. Вам это интересно?

Букеев. Нет... но...

Нина. Но?

Букеев. Все-таки — племянница, родственница...

Нина. Это ли интересует вас?

Букеев. А что ж еще?

Нина. Может быть, нечто другое? Или — некто другой?

Букеев. Ну... кто — другой?

Жан (с террасы, озабоченно). Вы не видели ученого, а?

Букеев. Нет.

Жан. В какую щель земли провалился он?

И п н а (подозрительно). Зачем вам его? Жан. Там пришли с работ.

И п н а. Вы где были сейчас?

Жан. Я? Везде! Ника, падо бы, дорогой мой, решиш вопрос о плотине для пруда, и о [1 нрзб], а? Наш водопроводчик очень беспокоится...

И п н а. Вы будете говорить о делах?

Жан. Немножко...

И п н а. Тогда я уйду...

Букеев. Чего же тут решать? Пусть строит.

Жан (дождавшись ухода Нины). Во время я пришел?

Букеев. Что?

Жан. Она, кажется, начала кислый разговор?

Букеев. Похоже. Скучная женщина. Да, так пускай строит... что ж...

Жан. Ничего не пужно строить. — к чему тебе вся эта канитель с водой, если ты решил продать именно? Ведь у тебя цель — удержать здесь его жену, и только для этого затеял ты орошение и всю чепуху?

Букеев. Ну, не совсем для этого. С водой за именно дороже дадут.

Жан. На кой тебе чорт — деньги!

Букеев. Денег мне не нужно, это верно.

Жан. Вот видишь! Уговаривайся с нею и махай за границу...

Букеев (расхаживая). С ней так нельзя... нельзя, брат!

Жан. Отчего? Почему?

Букеев. Ты не понимаешь. Я, брат, серьезно влюбился... кажется...

Жан. Когда ж ты влюблялся несерьезно?

Букеев. Ты сам говорил, что последняя женщина, как сороковой медведь...

Жан. Мало ли что я говорю! А ты — не верь. Я, брат, не хуже водопроводчика могу говорить на все темы, потому что я человек вдохновенный и фантастический. Водопроводчик говорит, что жизнь есть непрерывное движение и все мы несчастны, потому что не чувствуем этого, а все стараемся остановить движение, уцепившись за что-нибудь, укрепив себя...

Букеев (задумчиво). Опоздал я укрепиться.

Жан (не слушая его). Это он верно говорит. Пускай все движется, дело и мысли. Я не знаю, что сделаю завтра, но сегодня я хочу хорошо пожить...

(Ладыгин и Богомоллов с террасы.)

Ладыгин. Ну и ветер!

Жан. Стремление, движение...

Богомоллов (с досадой). Дядя Жан, когда же привезут бетонные трубы?

Жан. Едут трубы!

Богомоллов. Послушайте, — это не годится! Мы тратим бесполезно такую массу времени и денег... Никон Васильевич — вы бы распорядились поостроже.

Букеев (кивая на Жана). Это вот все он...

Богомоллов. За два месяца с линком мы ничего не сделали... Если на днях не будет труб, я должен буду прекратить бурение...

Жан. Беспокойный вы человек, Яков Сергеевич!

Богомоллов. Да вы поймите — скоро пойдет вода.

Жан. И прекрасно.

Богомоллов. Вы шутите?

Букеев. Ты бы, Жан, того... в самом деле...

Ладыгин. Хорошо бы чаю выпить!

Жан. Сейчас распоряжусь...

Богомоллов (смеясь, Букееву). Если смотреть со стороны, так вся эта затея — чужое дело для вас...

Букеев. Н-да... Чужое дело? Вот вы, батенька, обо всем думаете... и говорите... А вот — скажите мне: что значит — моя жизнь? То есть не моя, Букеева, жизнь, а вообще когда человек, — вы например, — говорите: моя жизнь!

Богомоллов. Позвольте — не понимаю.

Букеев (слегка раздражаясь). Ну — как не понять? Я говорю: моя жизнь, а — что в ней мое? Вот у меня имущество, о нем заботиться надо, а мне — лень. Или — племянница — о ней тоже надо заботиться, а я не умею... (Раздраженно). Вообще, что в моей жизни — мое? Ничего нет, кроме забот!

Ладыгин (смеется). Курьез! Да вы раздайте имение нищим...

Букеев. Я говорю серьезно!

Ладыгин. И я тоже.

Букеев (Богомоллову). Ну-с? Как же?

Богомоллов. Вы сегодня дурно построены. А вот когда эта огромная ваша земля будет орошена, когда везде вокруг насадят сады, парки, возникнет образцовый курорт, первый в России, и, когда весной все зацветет, заиграет на солнце, появятся в аллеях и около куртин цветов женщины, дети, — тогда вы скажете: это мною сделано...

Букеев. И — только? Ну-у... Это будет через двадцать пять лет. А я хочу сейчас чего-нибудь... для себя, для одного себя, вот этого, такого вот.

Ладыгин. Очень верно! Что вы скажете. философ?

Богомолов. Ничего не скажу. Но — если вы серьезно говорите, — это несчастие.

Букеев. То-то вот и есть, что серьезно.

Богомолов (убежденно). Тогда — вы несчастный человек. Для счастья необходимо чувствовать радость труда, творчества.

Букеев. Мужик трудится всю жизнь, а радости — не видать в нем.

Богомолов. Потому что — его труд изурядован, подневолен и ничтожен по результатам. Он съедает всю свою работу, и это не дает ему возможности чувствовать себя исторической личностью, человеком, украшающим землю для радости будущего.

Букеев. Радости будущего! Какое мне дело до них?

Ладыгин. Совершенно верно! Мы люди сегодняшнего дня, и — только!

Букеев (упрямо встряхивает головой). Нет, батенька, ваша философия — не для всех. Вот бог — для всех. Но в бога мы не верим... то есть не то что не верим, а забываем о нем. И получается у нас не жизнь, а так себе что-то... И лучше не философствовать...

Ладыгин. Да. Это никого не приводит к добру. У меня был роман с курортной, она тоже занималась спортом, по — такая странная! — ужасно любила рассуждать.

Богомолов (смеясь). Как вы рассказываете!

Ладыгин. Это — правда, уверяю вас! Бывало в самые неподходящие моменты она вдруг спрашивает: а почему ты меня любишь? Я говорю ей: потому что ты женщина...

Букеев. Да. конечно. (Усмехаясь.)

Ладыгин. Но ей этого мало: есть, говорит, много женщин и мужчин, но почему ты любишь меня, а я — тебя и т. д.? Ужас! Я потерпел эту философию месяца три и написал ей: Прощай, Ирочка! В любви не философствуют, а кто занимается этим, тот — глуп! Страшно обиделась!

Богомолов (хохочет). Да — неужели!

Ладыгин. Уверяю вас! Книжки ужасно портят их...

Букеев (усмехаясь). Простой ты человек, Борис, очень я люблю тебя за это. В Харькове был жеребец — Гамалькар, багется, — двести тысяч за него запла-

тили. Издох, Оп, я думаю, был похож на тебя...

Ладыгин. Ну, брат — сравнил!

(Богомолов смеется.)

Ладыгин (вдруг). Я считаю ваш смех неуместным.

Богомолов. Почему же?

Ладыгин. Так. Мне он не нравится.

Богомолов. Очень жаль, но иначе смеяться я не могу.

Ладыгин. Я прошу вас не смеяться.

Богомолов. Никогда?

Ладыгин. Прошу...

Букеев. Полно, Борис! Ты с ума сошел...

Ладыгин. Нет, позволь...

Ольга (являясь в двери комнаты). Что за крик?

Букеев. Спорят.

Ольга. Яков! Ты споришь?

Богомолов. Нет.

Ольга (Букееву). Вы?

Букеев. Вот он...

Ольга. С кем же?

Богомолов. Сам с собой, очевидно.

Ольга. Не понимаю.

Ладыгин. Видите ли, я...

Ольга. Да?

Ладыгин. Я не допускаю, когда надо мной издеваются. (Встает, уходит.)

Ольга (пахмурилась, удивленно). Что такое?

Богомолов. Никон Васильевич сравнил его с жеребцом.

Букеев. Ну... не стоит говорить об этом. Я его сейчас успокою... Чудак тоже... ([Уходит.])

Ольга. Что было здесь?

Богомолов. Да — ничего! Я говорю: Букеев уподобил его жеребцу, что было так неожиданно, я засмеялся, а он рассердился на меня и заговорил со мной эдаким, знаешь, дуэльным тоном...

Ольга, (подавляя тревогу). И — только...

Богомолов. И только!

Ольга. Он такой спокойный.

Богомолов. Как бык.

Ольга (после паузы). Яков, мне нужно поговорить с тобой сегодня.

Богомолов. Чудесно. Поговорим.

Ольга (глядит его волосы). Ты свободен вечером?

Богомолов. Да я весь день свободен. Здесь не работают. Вообще, здесь... странно! Я думаю, и ты тоже чувствуешь это. Тебе неудобно здесь?

Ольга. Нет, ничего. Хотя.. я, может быть, уеду...

Богомоллов. Что стесняет тебя, скажи?

Ольга. А как ты думаешь?

Богомоллов. Букеев?

Ольга. Почему?

Богомоллов. Он смотрит на тебя, как жаждущий на источник свежей воды... Какой неуклюжий человек, какой ненужный. Богат, богатство — сила, а в его руках оно — ничто! Ничего не делает, ничего не любит. И даже, кажется, себя не умеет любить.

Дуняша (входит). Пожалуйте к чаю...

Ольга. Мне не хочется идти туда...

Богомоллов. Попроши, чтобы тебе прислали.

Ольга. А ты идешь?

Богомоллов. Хочешь, — останусь с тобой...

Ольга. Дуняша — принесите нам сюда.

Дуняша. Слушаю...

Богомоллов. Вот и поговорим — да? Давно я не беседовал с тобой...

Ольга. Да. Ты не очень пишешь этого.

Богомоллов. Здесь не хочется серьезно говорить. — честное слово. Это — шуточная жизнь, ее делает дядя Жан, шутник. (Остановился.) Знаешь, что нужно, Ольга? Нужно, чтоб люди поняли, как они одиноки во вселенной, — только тогда их воля устремится к познанию друг друга и свяжет их единым чувством близости. Только сознавая трагизм бытия, глубоко чувствуя его тайны, мы все обернемся друг ко другу, ибо тогда нам станет понятно, что для человека нет и не может быть ничего ближе и дороже человека. Человек делает бессмертными мертвые вещи, может быть он, со временем...

Ольга. Господи! Как ты прав, когда сказал, что здесь, в этом доме, не место серьезной мысли.

Богомоллов. Мы поставлены в мире так оскорбительно, так пронично, что нам надо отвернуться от этой проничи.

Ольга. Кто понимает ее?

(Дуняша вносит поднос с чаем.)

Ольга. Люди — неразумны.

Богомоллов. О, это неправда!

Ольга. Ты слеп, люди — неразумны.

Богомоллов. Это так кажется, потому что разум каждого обращен на самого себя и мелкое, а не — в мир и на великое его...

Ольга. Во мне живет неразумная сила. Я хочу бунтовать. Мне трудно. Мне всегда чего-то нехватает. Я не могу, не умею жить...

Богомоллов. Странно ты говоришь. Ольга, это ново для меня.

Ольга. Разве ты меня знаешь? Ты — тоже непонятен мне. Ты вызываешь у меня желание спорить с тобой, не соглашаться. Я хочу стащить тебя на землю, чтоб ты был ближе ко мне... ах, я не знаю, чего хочу!

Богомоллов (смотрит на нее). Может быть, ты...

Ольга. Влюбилась, да? Это ты хотел спросить, да? Нет, я не влюблена, по... слушай Яков, я изменила тебе.

Богомоллов. Нет. Не верю...

Ольга. Да.

Богомоллов. Здесь?

Ольга. Это все равно...

Богомоллов. Наверное — не здесь...

Ольга. Почему?

Богомоллов. Ну — с кем же здесь? (Ходит, опустя голову.)

Ольга. Что ты молчишь?

(Богомоллов взглянул на нее молча.)

Говори же...

Богомоллов (тихо). Что же я скажу тебе, друг мой, что? Я не знаю, что сказать?

Ольга. Разве тебе не больно?

Богомоллов (пожимая плечами). Ты хочешь, чтоб я кричал? (Трет лоб.) Как, должно быть, это неудобно и противно — отдаваться двоим... наверное один из них возбуждает брезгливость...

Ольга (почти кричит). Что ты говоришь?

Богомоллов. Тебе неприятно? Извини... с тобой я привык говорить обо всем, что думаю. И вот, неожиданно, я вспомнил жалобы проститутток.

Ольга (вскочив). Противный головастик, у тебя нет души, у тебя только мозг, бессердечное насекомое...

Богомоллов. Что ты? Друг мой — что ты...

Ольга. Уйди прочь!

Богомоллов. Неужели ты думаешь, что я хотел оскорбить тебя? Пойми, что это невозможно. Я столько пережил с тобой хорошего, я так благодарен тебе за это и — ведь я тебя люблю! За что ты сердилась? (С улыбкой.) Это я должен сердиться, — ведь ты изменила мне, если это не выдумка!

Ольга. Нет! Это правда! (В отчаянии.) Боже мой, я ничего не понимаю!

Богомоллов. Ну, хорошо, это правда. ты изменила мне, коварная женщина.

Ольга. Как ты можешь шутить, как ты смеешь?

Богомоллов. Успокойся, Ольга, не кричи... В чем дело?

Ольга. Но — разве это не оскорбляет тебя?

Богомоллов. Не будем говорить обо мне... (Подходит. Положил руку на плечо ей.) Ольга, — ведь это не серьезно, да? Ведь если бы ты полюбила кого-то... то вела бы себя иначе? не так ли? Забудем же об этом, Ольга, если это ошибка...

Ольга. А если это моя месть тебе?

Богомоллов. За что?

Ольга. За то, что ты далеко от меня...

Богомоллов. И ты решила уйти еще дальше? Нет, — я думаю — это не так. Я, ведь, знаю — ты меня любишь, я это чувствую...

Ольга. Как трудно с тобой! Ты точно издеваешься.

Богомоллов. Ольга, я понимаю, что быть красивой женщиной это иногда большое несчастье. Она — сокровище, отовсюду к ней тянутся завистливые, жадные и часто грязные руки, все хочет обладать ею... я понимаю, как легко потерять себя в этой давящей атмосфере вождельцев.

Ольга (в тоске). Кто говорит со мной? Человек, имеющий право любить меня, умная книга или какая-то непонятная мне идея? Я с ума сойду!

Богомоллов. Послушай же, дитя мое! Ведь я не виню тебя ни в чем...

Ольга. Обвини! Оскорби!

Богомоллов. Не будем говорить глупостей... Ты ошибаешься, думая, что я не страдаю. Нет, по-моему — я оскорблен — не тобой, а — пошлостью события, прости меня — случилось пошлое. Это не страшно, но мучительно, именно потому, что пошло...

Ольга. О, боже мой...

Богомоллов. Ты знаешь — я люблю любить, люблю самое чувство любви и умею любоваться им — ты это знаешь. Помнишь?

Ольга. Да. Это было...

Богомоллов. Это всегда со мной. На всю жизнь женщина — ты, останешься для меня владычицей мира, существом, от которого все племена и народы, силы, побеждающие смерть и уничтожение. Тебя ради возникло на земле все прекрасное, от тебя вся поэзия жизни, все для тебя — преступления и подвиги, — все! Любовью к тебе насыщена жизнь, и пусть теперь формы любви несовершенны, грубы, но настанет время, когда это лучшее чувство наше насытится религиозным созна-

нием, и мы будем любить, обожая друг друга...

Ольга (сквозь зубы). Проклятый сказочник...

Богомоллов. Если на земле возможно счастье, оно настанет тогда, когда мы пойдем величие женщины.

Ольга. Живет в тебе какой-то тихий дьявол... Я не знаю — можно верить твоим словам?

Богомоллов. Надо верить, Ольга! Из всех иллюзий жизни вера самая лучшая.

Ольга. Всегда, за всем, что ты говоришь, я чувствую глубоко скрытую иронию. Во что ты веришь?

Богомоллов. В тебя. Верь и ты в свое назначение — одарять мир любовью, лаской, счастьем... Что есть лучше этого? Что?

Ольга. Я не знаю.

Богомоллов. Мы все очень бедные люди, друг мой, и нам необходимо делиться друг с другом всем, что мы имеем... (Обнимает ее.) Ну, успокойся немножко?

Ольга. Да. Ты заговорил меня... Ты точно с ребенком говоришь со мной.

Богомоллов. Я тебя люблю.

Ольга. Я чувствую, что тебе жалко меня... О, господи! Где же любовь?

Богомоллов. Перестань!

Ольга. Почему, почему ты не спросишь, зачем я сделала это?

Богомоллов. Если хочешь — скажи.

Ольга. А тебе — безразлично?

Богомоллов. Не могу же я просить тебя — покайся!

Ольга. Если б ты любил...

Богомоллов. Ну, хорошо, — я сам стану рассказывать о тебе. Ты хотела попробовать, не разбудит ли любовник страсть мужа, да?

Ольга. Если бы так?

Богомоллов. Ну. — тогда это поступок отчаяния, который вызван моей небрежностью к тебе.

Ольга. Знаешь — ты... тебя все считают самым важным человеком...

Богомоллов. Проще говоря — дураком. Милая, давай прекратим это... ведь ты не Верочка, которая так любит психологические разговоры...

Ольга. И с которой ты кокетничалась... Она тебе нравится?

Богомоллов. Мне все люди интересны, но я люблю только одного человека — тебя. Может быть, я непонятно люблю, но — лучше не умею. Вот я с наслаждением смотрю, как ты внутренне растешь,

и не хочу мешать росту самого прекрасного на земле, что я знаю. Мы помирились?

(Ольга молча смотрит на него.)

Богомоллов. Да?

Ольга (обнимая). Ты умеешь успо-

коить душу... да, ты умеешь это... Но твоя любовь? Нет, я не чувствую ее... не чувствую!

Богомоллов. Что же мне делать? Побить тебя, как бьют мужики баб... хочешь? (Крепко обнимает ее.)

IV ДЕЙСТВИЕ

Та же комната. Поздний вечер. В фойере горит лампа, над столом — люстра. Верочка в углу за столом пишет. Нина в кресле. Ладыгин ходит, хмурый.

Нина. Я вхожу, а у них пещная сцена. Ах, извините!

Ладыгин. Целоваться в проходной комнате, это — пошлость!

Нина. Он несколько не смутился, представьте!

Ладыгин. Дурак... А она?

Нина. Что?

Ладыгин. Она смутилась?

Нина. У нее было счастливое лицо.

Ладыгин. Не понимаю.

Нина. Чего же не понимать? Когда женщине ласкает любимый человек, она счастлива.

Ладыгин. Гм. Предоставьте мне судить об этом...

Нина. То есть. Что вы хотите сказать?

Ладыгин. Ничего.

Нина (Верочке). Ах, Веруня, я забыла, что вы здесь... Вы так тихо скрипите, точно мышка. Вам неприятен этот разговор?

Верочка. Почему? Мне безразлично.

Нина. Вы, ведь, немножко увлекаетесь Богомолловым.

Верочка. Вы уверены в этом?

Нина. Ах, деточка, это так заметно.

Ладыгин. Я, например, ничего не замечал.

Нина. То — вы, а то мы, женщины. Мы искреннее мужчин и всегда сразу выдаем себя...

(Ладыгин вынул револьвер из кармана, играет им.)

Нина. Ай, что это у вас! Спрячьте, спрячьте, — видеть не могу...

Ладыгин. В нем один патрон...

Нина. Все равно! Я вас прошу...

Ладыгин. Извольте! Но это очень смешно...

Нина. Пускай будет смешно! Я не выношу этих глупых вещей. Вот так на моих глазах один кадет, дальний род-

ственник мой, играл револьвером, да в ладонь себе — бац!

Ладыгин. В ладонь? Это надо уметь!

Нина. В ладонь левой руки! У него потом пальцы не сгибались от этого. Вы знаете, Борис, сегодня утром я имела курьезную беседу с Богомолловым. Я сказала ему, что он очень интересный, и я скоро, кажется, влюблюсь в него.

Ладыгин. Есть во что!

Нина. Вы слушайте! Он почти испугался, во всяком случае был очень смущен и вдруг говорит мне, что совершенно не способен на роль любовника.

Ладыгин (усмехаясь). Так и сказал?

Нина. Ну, да.

Ладыгин. Вот болван.

Нина. И вслед затем начал хвалить вас.

Ладыгин. Меня? Он?

Нина. И как еще! Вы и простой, несложный человек, у вас честное лицо.

Ладыгин (хохочет). Нет — серьезное? Честное лицо — а?

Нина. Как странно вы смеетесь.

Ладыгин. Нет... знаете... это — трюк! Я — несложный... чорт его возьми!

Жан (входит). Как приятно — здесь смеются. Вера Павловна, — вас просит Никон. Вы знаете — сегодня у нас будет музыка, придет из города этот... ну, известный, как его?

Нина. Затея Ольги Борисовны, конечно?

Жан. Не могу знать...

Нина. Ну, вы-то знаете...

Ладыгин. Дядя Жан, я сегодня стрелял по бутылкам на пятьдесят шагов и попал из семнадцати тринадцать раз.

Жан. Поздравляю. Хоть в цирк! (Садится.)

(Дуняша входит, что-то говорит Нине.)

Нина. Хорошо, идите, я сейчас. Господа, Никон Васильевич просит валерьяновых капелек.

Ладыгин (хохочет). Он?

Жан. Вероятно для Веры.

Нина (уходя). Ну, конечно, для нее.
Жан. Н-да-а. Начинаем плакать.
Ладыгин. Глупости. Надо переменить мысли, как говорят французы.
Жан. Это водопроводчик вызывает слезы.
Ладыгин. Удивляюсь, как его терпит Букеев.
Жан. На то есть своя причина.
Ладыгин. Ольга?
Жан. Что это вы так фамильярно?
Ладыгин. Мое дело.
Жан. Неужели можно поздравить, а?

(Ладыгин молча усмехается)

Жан. Вот как. Значит, иногда и спорт полезен.

Ладыгин. Спорт, батенька, всегда полезен, этим вы не шутите.

(Никон входит хмурый, молча оглядывается.)

Жан. Кого ищешь?

Букеев. Никого не ищу. (Кивая на дверь Богомолова.) Он дома?

Жан. Гулять ушел.

Ладыгин. С женой?

Жан. Да. В саду сидят вероятно.
(Ладыгин идет на террасу, смотрит в сад.)
Букеев (глядя вслед Ладыгину). Верра нервничает.

Жан. Что с ней?

Букеев. Замуж пора.

Жан. Нина Аркадьевна говорит...

Букеев. Знаю, что она говорит... Я брат, тоже, кажется, уеду куда-нибудь...

Жан. А как же Ольга Борисовна?

Букеев. Так же. С ней ничего не выйдет.

Жан. Да ты сначала попробуй. Вот Ладыгин — он не дремлет! Сейчас похва-стался мне успехом у нее...

ПЕСЕНКА ДЯДИ ЖАНА

Жап помногу нил и ел,

Только это и умел.

Он так вкусно ел да нил,

Что до смерти счастлив был.

Есть такая песенка:

Борис Иванович, это не про вас поется.

Ладыгин. Очень рад, если про меня.

Дедушкин валенок

(Р а с с к а з ы)

За то, что я много пишу о природе, один критик когда-то давно назвал меня бесчеловечным писателем. После разъяснений Горького пора бы с этим покончить, но нет, время от времени там или тут заходит речь о моей бесчеловечности, и я пользуюсь всяким случаем, чтобы снять с себя это обвинение, основанное на недоразумении. Вот и сейчас, предлагая читателю несколько новых детских рассказов, я хочу предпослать им свои соображения о природе без человека, о человеке без природы и о человеке в природе...

Рассказы о природе для детей у нас бывают чисто натуралистические или, как их принято теперь называть, «познавательные». Вот эти-то рассказы, на мой взгляд, и являются в чистом виде «бесчеловечными». Но я не могу назвать ни одного рассказа, написанного о природе без отношения к человеку, чтобы его можно было признать за художественное произведение.

Другие рассказы, например Андерсена, наоборот, говорят только о человеке, а природа в них играет роль чисто служебную, роль пейзажа, или символа, — в этой природе зайцы ходят в штанах и еловые шишки беседуют с человеком. На этом пути изображения природы для человека, или, если по существу говорить, изображения человека без природы, создается много высоко художественных произведений.

Зачинателем рассказов третьего рода, в которых природа дается в единстве с человеком, я считаю Льва Толстого и своими рассказами стремлюсь продолжить его дело. Но я это стал понимать только после того, как меня называли «бесчеловечным», то-есть понимать, как продолжателя дела Толстого. До тех пор я шел не от Толстого, а от себя самого, потому что я просто не могу понимать природу без человека и человека понимать без природы. В этом и состоит особенность моего дарования, и я был счастлив, когда открыл для себя, что зачинателем изображения природы в единстве с человеком был Лев Толстой.

О ЧЕМ ШЕПЧУТСЯ РАКИ

Удивляюсь на раков, — до чего много, кажется, напутано у них лишнего: сколько ног, какие усы, какие клешни, и ходит хвостом наперед, и хвост называется шейкой. Но всего более дивило меня в детстве, что когда раков соберут в ведро, то они между собой начинают шептаться. Вот шепчутся, вот шепчутся, а о чем — не поймешь.

И когда скажут: «раки перешепталась», это значит — они умерли, и вся их рачья жизнь в шепот ушла.

В нашей речке Вертушинке раньше, в мое время, раков было больше, чем рыбы. И вот однажды бабушка Домна Ивановна, со внучкой своей Зиночкой собрались к нам на Вертушинку за раками. Бабушка со внучкой пришли к нам вечером, отдохнули немного, и на реку. Там они расставили свои рачьи сеточки. Рачьи сачки у нас все делают сами: загибается ивовый прутик кружком, кружок обтягивается сеткой от старого невода, на сетку кладется кусочек мяса или чего-нибудь еще, а луч-

ше всего кусочек жареной и духовитой для раков лягушки. Сетки опускают на дно. Учуяв запах жареной лягушки, раки вылезают из береговых печур, ползут на сетки. Время от времени сачки за веревки вытаскивают кверху, снимают раков и опять опускают.

Простая это штука. Всю ночь бабушка со внучкой вытаскивали раков, наловили целую большую корзину и утром собрались назад, за десять верст, к себе в деревню. Солнышко взошло, бабушка со внучкой идут, распарились, разморились. Им уж теперь не до раков, только бы добраться домой.

— Не перешептались бы раки, — сказала бабушка.

Зиночка прислушалась: раки в корзине шептались за спиной бабушки.

— О чем они шепчутся? — спросила Зиночка.

— Перед смертью, внученька, друг с другом прощаются.

А раки в это время совсем не шептались. Они только терлись друг о друга шершавыми костяными бочками, клешнями, усиками, шейками, и от этого казалось, будто от них шопот идет. Не умирать раки собирались, а жить хотели. Каждый рак все свои ножки пускал в дело, чтобы хоть где-нибудь найти дырочку, и дырочка нашлась в корзинке, как раз

чтобы самому крупному раку пролезть. Один рак вылез крупный, за ним более мелкие шутя выбрались, и пошло, и пошло: из корзинки — на бабушкину кацавейку, с кацавейки — на юбку, с юбки — на дорожку, с дорожки в траву, а из травы — рукой водать речка.

Солнце палит и палит. Бабушка с внучкой идут и идут, а раки ползут и ползут. Вот подходят Дigna Ивановна и Зиночка к деревне. Вдруг бабушка остановилась, слушает, что в корзинке у раков делается, и ничего не слышит. А что корзинка-то легкая стала — ей и невдомек: не спавши ночь до того уходилась старуха, что и плеч не чует.

— Раки-то, внученька, — сказала бабушка. — должно быть, перешептались.

— Померли? — спросила девочка.

— Уснули, — ответила бабушка, — не шепчутся больше.

Пришли к избе, сняла бабушка корзинку, подняла тряпку:

— Батюшки родимые, да где же раки-то?

Зиночка заглянула — корзинка пустая.

Поглядела бабушка на внучку и только руками развела:

— Вот они, раки-то, — сказала она, — шептались! Я думала — они это друг с другом перед смертью, а они это с нами, дураками, прощались.

ХРОМКА

Плыву на лодочке, а за мной по воде плывет Хромка — моя подсадная охотничья утка. Эта утка вышла из диких уток, а теперь она служит мне, человеку, и своим утиным криком подманивает в мой охотничий шалаш диких селезней.

Куда я ни поплыву, всюду за мной плывет Хромка, займется чем-нибудь в заводи, скроюсь я за поворотом от нее, крикну: «Хромка!», и она бросит все и подлетает опять к моей лодочке. И опять — куда я, туда и она.

Горе нам было с этой Хромкой. Когда вывелись утята, мы первое время держали их в кухне. Это пронюхала крыса, прогрызла дырку в углу и ворвалась. На утиный крик мы прибежали как раз в то время, когда крыса тащила утенка за лапку в свою дырку. Утенок застрял, крыса убежала, дырку забили, но только лапка у нашего утенка осталась сломанная.

Много трудов положили мы, чтобы вы-

лечить лапку: связывали, биятовали, примачивали, присыпали — ничего не помогло, утенок остался хромым навсегда.

Горе хромому в мире всяких зверюшек и птиц: у них что-то вроде закона — больных не лечить, слабого не жалеть, а убивать. Свои же утки, свои же куры, индюшки, гуси — все поровят тюкнуть Хромку. Особенно страшны были гуси. И что ему, кажется, великану, такая бездельница, утенок, — нет! и гусь с высоты своей поровит обрушиться на каплюшку и сплюснуть, как паровой молот.

Какой умишко может быть у маленького хромого утенка? Но все-таки и он, своей головенкой, величиной в лесной орех, сообразил, что единственное спасение его в человеке.

И нам по-человечески было жалко его: эти беспощадные птицы всех пород хотят лишиться его жизни, а чем он виноват, если крыса вывернула ему лапку.

И мы по-человечески полюбили маленькую Хромку.

Мы взяли ее под защиту, и она стала ходить за нами, и только за нами. И когда выросла она большая, нам не нужно было ей, как другим уткам, подстригать крылья. Другие утки — дикари, считали дикую природу своей родиной и всегда стремились улететь. Хромке некуда было

улетать от нас: дом человека стал ее домом. Так Хромка в люди вышла.

Вот почему теперь, когда я плыву на лодочке своей на утиную охоту, моя уточка сама плывет за мной. Отстанет, снимается с воды и подлетает. Займется рыбкой в заводи, заверну я за кусты, скроюсь, и только крикну: «Хромка!», вижу — летит моя птица ко мне.

ФИЛИН

Ночью злой хищник филин охотится, днем прячется. Говорят, будто днем он плохо видит и оттого прячется. А по моему, если бы он и хорошо видел, все равно ему днем нельзя было бы никуда показаться, до того своими ночными разбоями нажил он себе много врагов.

Однажды я шел опушкой леса. Моя небольшая охотничья собачка, породю спаниэль, а по прозвищу Сват, что-то причуяла в большой куче хвороста. Долго с лаем бегала она вокруг кучи, не решаясь подлезть под нее.

— Брось! — приказал я, — это еж.

Так у меня собачка приучена: скажу «еж» — и Сват бросает.

Но в этот раз Сват не послушался и с ожесточением бросился на кучу и ухитрился подлезть под нее.

«Наверно еж», — подумал я.

И вдруг с другой стороны кучи, под которую подлез Сват, из-под нее выбегает на свет филин, ушастый, и огромных размеров, и с огромными кошачьими глазами.

Филин на свету — это огромное событие в птичьем мире. Бывало в детстве приходилось попадать в темную комнату, — чего, чего там ни покажется в темных углах, и больше всего я боялся чорта. Конечно, это глупости, и никакого чорта нет для человека. Но у птиц, по моему, чорт есть, — это их ночной разбойник филин. И когда филин выскочил из-под кучи, то это было для птиц все равно, как если бы у нас на свету чорт показался.

Единственная ворона была, пролетела, когда филин, согнувшись, в ужасе перебежал из-под кучи под ближайшую елку. Ворона увидела разбойника, села на вершину этой елки и крикнула совсем особенным голосом:

— Кра!

До чего это удивительно у ворон! Сколько слов нужно человеку, а у них одно только «кра», и на все случаи, и в каждом случае это словечко, всего только

в три буквы, благодаря разным оттенкам звука означает совсем другое. В этом случае воронье «кра» означало, как если бы мы в ужасе крикнули:

— Чо-р-р-р-рт!

Страшное слово прежде всего услышали ближайšie вороны и, услышав, повторили, и более отдаленные, услышав, тоже повторили, и так в один миг несметная стая, целая туча ворон, с криком: «Чорт!» прилетела и облепила высокую елку с верхнего сучка и до нижнего.

Услышав переполох в вороньем мире, тоже со всех сторон прилетели галки черные с белыми глазами, сойки бурые с голубыми крыльями, ярко-желтые, почти золотые, иволги. Места всем не хватило на елке, много соседних деревьев покрылось птицами, и все новые и новые прибывали: синички, гаечки, москочки, трясогузки, пеночки, зорянки и разные подкрапивнички.

В это время Сват, не понимая, что филин давно уже выскочил из-под кучи и прошмыгнул под елку, все там орал и копался под кучей. Вороны и все другие птицы глядели на кучу, все они ждали Свата, чтобы он выскочил и выгнал филина из-под елки. Но Сват все возился, и нетерпеливые вороны кричали ему свое:

— Кра!

В этом случае это значило просто:

— Дурак!

И наконец, когда Сват причуял свежий след и вылетел из-под кучи и, быстро разобравшись в следах, направился к елке, все вороны в один общий голос опять крикнули по-нашему:

— Кра!

А по-ихнему это значило:

— Правильно!

И когда филин выбежал из-под елки и стал на крыло, опять вороны крикнули:

— Кра!

И это теперь значило:

— Брать!

Все вороны поднялись с дерева, вслед

за воронами все галки, сойки, иволги, дрозды, вертишейки, трясогузки, щеглы, синички, гаечки, московочки, и все эти птицы помчались темной тучей за филином и все орало одно только:

— Брат, брат, брат!

Я забыл сказать, что когда филин становился на крыло, Сват успел-таки вцепиться зубами в хвост, но филин рванулся, и Сват остался с филиповыми перьями и пухом в зубах. Озленный неудачей, он помчался полем за филином и первое время бежал не отставая от птиц.

ВЕРХОПЛАВКА

На воде дрожит золотая сеть солнечных зайчиков. Темносиние стрекозы в тростниках и елочках хвоща. И у каждой стрекозы есть своя хвощевая елочка или тростинка: слетит и на нее непременно возвращается.

Очумелые вороны вывели птенцов и теперь сидят, отдыхают.

Листик самый маленький на паутинке спустился к реке и вот крутится, вот-то крутится.

Так я еду тихо вниз по реке на своей лодочке, а лодочка у меня чуть потяжелела этого листика, сложена из пятидесяти лвух палочек и обтянута парусиной. Весло к ней одно, длинная палка, и на концах по лопаточке. Каждую лопаточку окунаешь попеременно с той и другой стороны. Такая легкая лодочка, что не нужно никакого усилия: тронул воду лопаточкой, и лодка плывет, и до того неслышно плывет, что рыбки ничуть не боятся. Чего, чего

— Правильно, правильно! — кричали ему некоторые вороны.

И так вся туча птиц скоро скрылась на горизонте, и Сват тоже исчез за перелеском. Чем все кончилось, не знаю, Сват вернулся ко мне только через час с филиновым пухом во рту. И ничего не могу сказать: тот ли это пух у него оставался, который взял он, когда филин на крыло становился, или же птицы доконали филина, и Сват помогал им в расправе со злодеем... Что не видал, то не видал, а врать не хочу.

только не увидишь, когда тихо едешь на такой лодочке по реке!

Вот грач, перелетая над рекой, капнул в воду, и эта известково-белая капля, тукнув по воде, сразу же привлекла внимание мелких рыбок-верхоплавков. В один миг вокруг грачиной капли собрался из верхоплавков настоящий базар. Заметив это сборище, крупный хищник, рыба шелеспер, подплыл и — хват! — своим хвостом по воде с такою силой, что оглушенные верхоплавки перевернулись вверх животами. Они бы через минуту ожили, но шелеспер не дурак какой-нибудь: он знает, что не так-то часто случается, что грач капнет и столько дурочек соберется вокруг одной капли: хвать одну, хвать другую, — много поел, а какие успели убраться, впрямь будут жить, как ученые, и если сверху им капнет что-нибудь хорошее, будут глядеть в оба, не пришлось бы им снизу чего-нибудь скверного.

ЭТАЖИ ЛЕСА

У птиц и зверков в лесу есть свои этажи: мышки живут в корнях, в самом низу. разные птички, вроде соловья, вьют свои гнездышки прямо на земле, дрозды — еще повыше, на кустарниках, дупляные птицы, дятлы, синички, совы, — еще повыше, на разной высоте по стволу дерева, и на самом верху селятся хищники: стриба и орлы.

Мне пришлось однажды наблюдать в лесу, что у них, зверушек и птиц, с этажами не как у нас в небоскребах: у нас все можно с кем-нибудь перемениться этажами, у них каждая порода живет непременно в своем этаже.

Однажды на охоте мы пришли к полянке с погибшими березами. Это часто бывает, что березы дорастут до какого-то возраста и засохнут. Другое дерево, засох-

нув, роляет на землю кору, и оттого непокрытая древесина скоро гниет и все дерево падает. У березы же кора не падает, эта смолистая белая снаружи кора — береста — бывает непроницаемым футляром для дерева, и умершее дерево долго стоит, как живое. Даже когда и сгниет дерево и древесина превратится в труху, отяжеленную влагой, с виду белая береза стоит, как живая. Но стоит, однако, хорошенько толкнуть такое дерево, как вдруг оно разломится все на тяжелые куски и упадет. Валить такие деревья — занятие очень веселое, но и опасное: куском дерева, если не увернешься, можно здорово хватить себя по голове. Но все-таки мы, охотники, не очень боимся, и когда попадаем к таким березам, то друг перед другом начинаем их рушить.

Так пришли мы к полянке с такими березами и обрушили довольно высокую березу. Падая, в воздухе она разломилась на несколько кусков, и в одном из них было дупло с гнездом гаечки. Маленькие птенчики при падении дерева не пострадал, только вместе со своим гнездышком вывалились из дупла. Голые птенцы, покрытые перышками, раскрывали широкие красные рты и, принимая нас за родителей, пищали и просили у нас червячка. Мы раскопали землю, нашли червяков, дали им перекусить. Они ели, глотали и опять пищали.

Очень скоро прилетели родители: гаечки-синички с белыми пухлыми щечками и с червячками во ртах, сели на рядом стоящих деревьях.

— Здравствуйте, дорогие, — сказали мы им, — вышло несчастье: мы этого не хотели.

Гаечки ничего не могли нам ответить, но, самое главное, не могли понять, что такое случилось, куда делось дерево, куда исчезли их дети.

Нас они несколько не боялись, порхали с ветки на ветку в большой тревоге.

— Да вот же они! — показывали мы им на гнездо на земле. — Вот они, при-

слушайтесь, как они пищат, как зовут вас.

Гаечки ничего не слушали, суетились, беспокоились и не хотели спускаться вниз и выйти за пределы своего этажа.

— А может быть, — сказали мы друг другу, — они нас боятся? Давай, спрячемся.

И спрятались.

Нет! Птенцы пищали, родители пищали, порхали, но вниз не спускались.

Мы догадались тогда, что у птичек не как у нас в небоскребах, они не могут перемениться этажами: им теперь просто кажется, что весь этаж с их птенцами исчез.

— Ой-ой-ой, — сказал мой спутник, — ну какие же дурачки! Жалко и смешно: такие славные, и с крылышками, а опять ничего не хотят.

Тогда мы взяли тот большой кусок, в котором находилось гнездо, сломали верх соседней березы и поставили на него наш кусок с гнездом как раз на такую высоту, на какой находился разрушенный этаж.

Нам недолго пришлось ждать в засаде: через несколько минут счастливые родители встретили своих птенчиков.

МЕДВЕДЬ

Многие думают, будто пойдя только в лес, где много медведей, и так они вот и набросятся и съедят тебя, и останутся от козлика ножки да рожки. Такая это неправда!

Медведи, как и всякий зверь, ходят по лесу с великой осторожностью и, зачуяв человека, так удирают от него, что не только всего зверя, а не увидишь даже и мелькнувшего хвостика.

Однажды на севере мне указали место, где очень много медведей; это место было в верховьях реки Коды, впадающей в Пинегу. Убивать медведя мне вовсе не хотелось и охотиться за ним было не время: охотятся зимой, я же пришел на Коду ранней весной, когда медведи уже вышли из берлог.

Мне очень хотелось застать медведя за едой, где-нибудь на полянке, или за рыбной ловлей на берегу реки, или на отдыхе. Имея на всякий случай оружие, я старался ходить по лесу так же осторожно, как звери, затаивался возле теплых следов, не раз мне казалось даже, будто пахло медведем... Но самого медведя, сколько я ни ходил, встретить мне в тот раз так и не удалось.

Случилось, наконец, терпенье мое кончилось, и время пришло мне уезжать. Я направился к тому месту, где была у меня спрятана лодка и продовольствие. Вдруг вижу: большая еловая лапка передо мной дрогнула и закачалась сама.

«Зверушка какая-нибудь», — подумал я.

Забрав свои мешки, сел я в лодку и поплыл. А как раз против места, где я сел в лодку, на том берегу, очень крутом и высоком, в маленькой избушке жил один промысловый охотник. Через какой-нибудь час или два этот охотник поехал на своей лодке вниз по Коде, нагнал меня и застал в той избушке на полпути, где все обычно останавливаются.

Он-то вот и рассказал мне, что со своего берега видел медведя, как он вымахнул из тайги как раз против того места, откуда я вышел к своей лодке. Тут-то вот я и вспомнил о том, как при полном безветрии закачались впереди меня еловые лапки.

Досадно мне стало на себя, что я подумел медведя. Но охотник мне еще рассказал, что медведь не только ускользнул

от моего глаза, но еще и надо мной посмеялся. Он, оказывается, очень недалеко от меня отбежал, спрятался за выворотень и оттуда, стоя на задних лапах, наблюдал меня, и как я вышел из леса, и как сел в лодку и поплыл. А после, когда я для него закрылся, влез на дерево и долго следил за мной, как я спускаюсь по Коди.

— Так долго, — сказал охотник, —

что мне надоело смотреть, и я ушел чай пить в избушку.

Досадно мне было, что медведь надо мной посмеялся. Но еще досадней бывает, когда болтуны разные пугают детей лесными зверями и так представляют их, что покажись будто бы только в лес без оружия, и они оставят от тебя только рожки да ножки.

ЛУЧЕНЬЕ РЫБЫ

В конце сентября вода в Кубре стала прозрачная, и теперь все видно на всей глубине. Видно, как лилия взялась расти и тонким стеблем своим потянулась вверх. Стебель, — как зеленая веревка: ни одного листика, а как дошла доверху, на воде раскинула листы, как блюда. Теперь эти листы пожелтели.

— Видала ли, Зиночка, — спросил я, — как рыба спит?

— Не видала, — ответила Зиночка.

— Не видала? Ну, вот вечером сегодня я тебе покажу. И может быть, еще сегодня мы с тобой свежей рыбки попробуем. Тебе хочется?

— Судачка бы...

— Посчастливится — попробуем с тобой судачка.

Мы с Зиночкой идем в сарай, там изпод всякого хлама я достаю железное приспособление для лучения рыбы и рассказываю, для чего нужна эта коза: положат дрова на козу и поставят на носу лодки, зажгут дрова, и коза тогда как подсвечник. Широко, от берега до берега, осветится наша Кубря, и глубоко будет видно, до самого дна.

— Это, — сказал я, — называется у рыбаков ездить с лучом, или просто лучить. На что только луч ни ляжет, все ночью станет красиво.

— Что же красивого?

— Все красиво: тростники стоят, как золотые.

— А еще что?

— Выizu, в глубине под этими тростниками, леса водяных трав.

— А еще?

— Еще в воде у песчаного берега все дно, и камешки разные на дне, и ракушки, и даже следы на песке, извилистые тропинки, по которым ракушки ходят.

— Как же ходят ракушки?

— Не как мы, конечно. Мы выходим из дома, а ракушка идет — и весь дом с ней.

— А еще что красиво?

— Еще сам человек у воды с острогой.

— Что это за острога?

— Длинная палка, на ней грабли, и каждый зубчик в граблях с зазубринкой. Человек от огня весь красный. Это красиво.

— А еще что?

— Смотрит человек в воду, держит острогу наготове. Вот он увидел: в воде рыба стоит. Человек быстро двинул острогой, ударил в рыбу, вынимает, и на зубцах бьется сверкающая в лучах большая рыба.

Вечером мы с Зиночкой вытащили двух судачков, и дома я ее угостил свежей рыбой.

КУРИЦА НА СТОЛБАХ

Весной соседи подарили нам четыре гусиных яйца, и мы подложили их в гнездо нашей черной курицы, прозванной Пиковой Дамой. Прошли положенные для высиживания дни, и Пиковая Дама вывела четырех желтеньких гуськов. Они пинали, пошвыстывали совсем по-иному, чем цыплята, но Пиковая Дама, важная, нахотленная, не хотела ничего замечать и относилась к гуськам с той же материнской заботливостью, как и к цыплятам.

Прошла весна, настало лето, везде позеленели одуванчики. Молодые гуськи, ес-

ли шеи вытянут, становятся чуть ли не выше матери, но все еще ходят за ней. Бывает, однако, мать раскапывает лапками землю и зовет гуськов, а они занимаются одуванчиками, тупают их носами и пускают пушинки по ветру. Тогда Пиковая Дама начинает поглядывать в их сторону, как нам кажется, с некоторой долей подозрения. Бывает, часами, распушенная, с квохтаньем, копает она, а им хоть бы что: только пошвыстывают и поклевывают зеленую травку. Бывает, собака захочет пройти куда-нибудь мимо

нее, — куда тут! Кинется на собаку и прогонит. А после и поглядит на гуськов, бывает, задумчиво поглядит...

Мы стали следить за курицей и ждать такого события, после которого, наконец, она догадается, что дети ее вовсе даже на кур непохожи и не стоит из-за них, рискуя жизнью, бросаться на собак.

И вот однажды у нас на дворе событие это случилось. Пришел насыщенный ароматом цветов солнечный июньский день. Вдруг солнце померкло, и петух закричал.

— Квох, квох, — ответила петуху курица, — заывая своих гусят под навес.

— Батюшки, туча-то какая находит! — закричали хозяйки и бросились спасать развешенное белье.

Грянул гром, сверкнула молния.

— Квох, квох! — наставляла курица Пиковая Дама. И молодые гуси, подняв высоко шеи свои, как четыре столба, пошли за курицей под навес. Удивительно нам было смотреть, как по приказанию курицы четыре порядочных, высоких, как сама курица, гусенка сложились в маленькие штучки, подлезли под наседку, и

она, распушив перья, распластав крылья над ними, укрыла их и угрела своим материнским теплом.

Но гроза была недолгая. Туча пролилась, ушла, и солнце снова засияло над нашим маленьким садом. Когда с крыш перестало литься и запели разные птички, это услышали гусята под курицей, и им, молодым, конечно захотелось на волю.

— На волю, на волю! — засвистели они.

— Квох, квох! — ответила курица.

И это значило:

— Посидите немного, еще очень свежо.

— Вот еще, — свистели гусята, — на волю, на волю!

И вдруг поднялись на ногах, и подняли шеи, и курица поднялась, как на четырех столбах, и закачалась в воздухе, высоко над землей.

Вот с этого разу все и кончилось у Пиковой Дамы с гусями: она стала ходить отдельно, гуси отдельно. Видно тут только она все поняла, и во второй раз ей уже не захотелось попасть на столбы.

ДЕДУШКИН ВАЛЕНОК

Хорошо помню — дед Михай в своих валенках проходил лет десять. А сколько лет в них он до меня ходил — сказать не могу. Поглядит, бывало, себе на ноги и скажет:

— Валенки опять проходились, надо подшить.

И принесет с базара кусок войлока, вырежет из него подошву, подошьет, — и опять валенки идут, как повенские.

Так много лет прошло, и стал я думать, что на свете все имеет конец, все умирает, и только одни дедушкины валенки вечные.

Случилось, у деда началась сильная ломота в ногах. Никогда дед у нас не хворал, а тут стал жаловаться, позвал даже фельдшера.

— Это у тебя от холодной воды, — сказал фельдшер, — тебе надо бросить рыбу ловить.

— Я только и живу рыбой, — ответил дед, — ногу в воде мне нельзя не мочить.

— Нельзя не мочить, — посоветовал фельдшер, — надевай, когда в воду лезешь, валенки!

Этот совет вышел деду на пользу: ломота в ногах прошла. Но только дед после этого избаловался, в реку стал лазить только в валенках и, конечно, тер их бес-

пощадно о придонные камешки. Сильно подались оттого валенки, и не только в подошвах, а и выше, на месте изгиба подошвы показались трещинки.

«Верно, это правда, — подумал я, — что всему на свете конец бывает, не могут и валенки деду служить без конца: валенкам приходит конец».

Люди стали деду указывать на валенки:

— Пора, дед, валенкам твоим дать покой, пора их отдать воронам на гнезда.

Но тут-то было! Дед Михай, чтобы снег в трещинки не забивался, окунул валенки в воду — и на мороз. Конечно, на морозе вода в трещинках замерзла, и лед заделал трещинки. А дед после того валенки еще раз окунул в воду, и весь валенок от этого покрылся льдом. Вот какие валенки после того стали теплые и прочные: мне самому в дедушкиных валенках приходилось незамерзающее болото зимой переходить, — и хоть бы что!..

И я опять вернулся к той мысли, что, пожалуй, дедушкиным валенкам никогда и не будет конца.

Но случилось однажды — дед наш захворал. Пришлось ему по нужде выйти, надел в сених валенки, а когда вернулся, забыл их снять в сених и оставить на холоду. Так в обледенелых валенках и залез на горячую печку.

Не то, конечно, беда, что вода от растаявших валенок с печки натекла в ведро с молоком, — это что! А вот беда, что галенки бессмертные в этот раз кончились. Да иначе и быть не могло. Если налить в бутылку воды и поставить на мороз, — вода превратится в лед, льду будет тесно, и бутылку он разорвет. Так и этот лед в трещинах валенка, конечно, шерсть везде разрыхлил и порвал, и когда все растаяло, все стало трухой.

Наш упрямый дед, как только поправился, попробовал валенки еще раз заморозить и походил даже немного, но вскоре весна пришла, валенки в сенцах растаяли и вдруг расползлись.

— Верно, правда, — сказал дед всердцах, — пришла пора отдыхать в вороньих гнездах.

И всердцах швырнул валенок с высокого берега в репейники, где я в то время ловил щеглов и разных птичек.

— Почему же валенки только воронам? — сказал я. — Всякая птичка весной тащит в гнездо шерстинку, пушинку, соломинку.

Я спросил об этом деда как раз в то время, как он замахнулся было вторым валенком.

— Всяким птичкам, — согласился

дед, — нужна шерсть на гнездо, и зверкам всяким, мышкам, белочкам, всем это нужно, для всех полезная вещь.

И тут вспомнил дед про нашего охотника, что давно ему охотник напоминал о валенках, что пора их отдать ему на пыжи. И второй валенок не стал дед швырять, и велел мне отнести этот валенок охотнику.

Тут вскоре началась птичья пора. Вниз к реке на репейники полетели всякие весенние птички, и, поклевывая головки репейников, обратили свое внимание на валенок. Каждая птичка его заметила, и, когда пришла пора вить гнезда, с утра до ночи стали птички разбирать на клочки дедушкин валенок. За одну какую-то неделю весь валенок по клочку растащили птички на гнезда, устроились, сели на яйца и высиживали, а самцы пели. На тепле валенка вывелись и выросли птички и, когда стало холодно, тучами улетели в теплые края.

Весной они опять вернутся, и многие в дуплах своих, в старых гнездах найдут спящие остатки дедушкина валенка. Те же гнездышки, что на земле были сделаны и на кустах тоже, не пропадут, с кустов все лягут на землю, а на земле их мышки найдут и растащат остатки валенка на свои подземные гнезда.

Кули

Р о м а н

I

Муну, охе, Муну, о, Мунду! — звала Гэджри с веранды. Хижина, приземистая, крытая соломой, стояла на круче холма, шагах в ста от деревни. Зоркие глаза женщины всматривались в золотистую полосу пыли над тропинкой, которая вилась среди высохшего кустарника, там, за плоскими деревенскими кровлями, под беспощадными лучами мглистого солнца Кангры. Но никого не было видно.

— Муну, охе, Муну, о, Мунду! Куда ты пропал! Куда тебя занесло, звезда несчастья! Иди домой! Дядя твой скоро уходит, и тебе тоже пора собираться в город! — продолжала она звать сильным голосом. Ее взгляд устремился вверх манговой рощи к серебряной черте реки Биз и стал гневно обшаривать чащу папоротников, диких трав и кустов, зеленевших по берегам реки на фоне невысоких красноватых холмов.

— Муну, охе, Мунду! — Теперь она вопила вне себя от раздражения. — Где ты? Куда ты пропал, сирота проклятый! Иди домой и убирайся навсегда!

Пронзительное сопрано разнеслось по долине, слова дошли до Муну со всем их зловещим смыслом.

Он слышал, но не отозвался. Он только вышел из тени дерева, под которым сидел, и увидел, как вдали красное платье исчезло за дверью хижины. Он пас скотину на берегу реки Биз и только-что начал играть, а буйволы и коровы вошли в болото и улеглись на неглубоком дне, пережевывая жвачку и наслаждаясь скудной свежестью воды, хоть немного смягченной вестерпимый зной утреннего солнца.

— Тебя твоя тетя зовет, — сказал Джей Сингх, сын местного землевладельца, чистый и опрятно одетый мальчик, и толкнул локтем голого Муну. — Разве ты не слышишь? Видно, тебя не учили вежли-

вости, дикарь! Его тетя охрипла от крика, а он и не думает отвечать! — Джей Сингх и Муну оспаривали друг у друга главенство над Бишамом, Бишамбаром и другими деревенскими мальчиками. Джей знал, что Муну сегодня уходит в город, и хотел как можно скорее избавиться от него.

— Постой, не уходи, — просительно сказал толстяк Бишам, — тетка просто хочет за чем-нибудь послать тебя.

— Я ведь только сказал — пусть идет домой, — стал оправдываться Джей Сингх, — его тетка такая грубая, она и пас заругает, зачем мы не пускаем его. А ему надо уходить со своим дядей в город.

— Ты, правда, уходишь в город? — огорченно спросил маленький Бишамбар.

— Да, пынче же утром, — ответил Муну, и у него тоскливо засосало в животе.

— Но ведь тебе только четырнадцать лет! И ты еще только в пятом классе! — воскликнул Бишамбар.

— Тетя хочет, чтобы я начал зарабатывать, — сказал Муну, — она говорит, что ей пора уже иметь собственного сына. А дядя говорит — я большой и должен сам себя кормить. Он устроил мне место в доме бабу¹, который служит в банке, в Шам-Нагаре.

— В Шам-Нагаре, верно, очень весело, — заметил Джей Сингх. Он уже завидовал удаче Муну, которому предстояло жить в городе, где люди отлично ели, отлично одевались и где к их услугам были отличные игрушки.

Муну только улыбнулся на его слова,

¹ Это слово, присоединенное к имени, равнозначно английскому «сэр» или русскому «господин»; в более узком смысле относится к индийским клеркам, владеющим английским языком.

по улыбке эта как бы говорила: «Не будь сегодня последний день, я бы так съездил тебя по зубам, что у тебя пропала бы охота командовать».

Несмотря на свою молодость, Муну отлично понимал, кто виновник всех его несчастий.

Разве не отец Джей Сингха, помещик, отобрал те пять акров земли, которые принадлежали его отцу, когда тот в год скудных дождей и плохого урожая не смог внести процентов по закладной под арендную плату? Муну знал и то, что отец его постепенно угас от горя и обиды и оставил без всяких средств к существованию жену с грудным ребенком и подростка-брата. Образ матери, размалывающей зерно между шершавыми жерновами, которые она, с помощью деревянной ручки, вертела все кругом и кругом, кругом и кругом, то правой, то левой рукой день и ночь, — навсегда запал ему в душу. И лицо ее, в тот день, когда она лежала на земле, мертвая, с застывшим выражением ужаса и печали, неизгладимо врезалось ему в память — лицо, полное трагического достоинства и безропотной покорности.

— Скажи, ты сюда больше никогда не вернешься? — приставал к нему Джей Сингх.

— Нет, никогда, никогда, — ответил Муну, горькое чувство подсказало ему этот ответ, хотя он и рад был бы подразнить Джей Сингха. Правда, тетка постоянно бранила его, поминутно посылала куда-нибудь, приказывая сделать то одно, то другое, а била чаще, чем он свою скотину, но ему вовсе не хотелось уходить в город. Но крайней мере теперь не хотелось.

Конечно, грезил и он обо всех чудесах, о которых так увлекательно рассказывали их односельчане, побывавшие в городе, о важных господах — лалах¹, бабу и сахибах², живших по ту сторону черных вод, об их шелковых одеждах и лакомых кушаньях. Особенно же его занимали машины, о которых он читал в хрестоматии для четвертого класса. Но он предпочел бы уйти в город тогда, когда сдаст здесь все экзамены, чтобы потом самому научиться делать машины.

¹ Лала — в Северной Индии обычно приставка к имени клерка или купца, выражающая уважение. Употребляется и самостоятельно.

² Сахиб — в Индии слово «сахиб» означает примерно то же, что русское «господин».

А пока — хорошо было и здесь, с товарищами, с мальчиками его возраста, наворовав плодов во время утренних скитаний со стадом, поесть их потом в сырой благовоинной тени бананов.

В каждое время года можно было найти какие-нибудь плоды. Весной с веток падали зрелые желтые манго, и их легко было спрятать в траве и в сене. Все лето в изобилии сыпались на землю пунцовые и бледнорозовые ямсы и продолговатые ягоды шелковицы, и дети складывали их на широкие банановые листья. А зимой они воровали сахарный тростник и пронесли под самым носом у мирно дремавшего сторожа, который принимал его за простые палки.

А потом играли в «можень поймай меня только в воздухе, но не на земле и не на дереве», и то залезали на деревья, то соскакивали на землю. Муну лазил замечательно. Слово обезьяна, взбирался он по стволу, карабкался на четвереньках по толстым сучьям, раскачиваясь, закидывал тело на более тонкие ветви, как на трапецию, и отважно нырял в пустоту, чтобы опасным прыжком перебраться с одного дерева на другое.

Здесь дул прохладный ветер, изгонявший из тела усталость и смягчавший раскаленный зной, — ветер снегов, — вот он успел уже подняться и сейчас, пока Муну сидит тут, уставившись на акации, а вокруг — трещат в зарослях цикады, квакают лягушки в болотах и трясинах, поют птицы, трепещут бабочки над полевыми цветами и жужжат пчелы, собирая медоносную пыльцу.

Сердце мальчика Муну билось в лад со всей этой щедрой природой. Хорошо, если бы желанные машины сами явились сюда к нему, и он мог бы не отрываться от песчаных берегов тихой заводи, где привык играть. Но...

— Муну, охе, Муну, о, Мунду, — снова донесся до него голос тетки.

Он встал.

Все мальчики, даже Джей Сингх, поднялись.

Он собрал свое стадо.

Мальчики тоже созвали своих буйволов и коров. Поджарые, костлявые, большерогие животные вылезли из воды, разбрызгивая грязь, роняя хлопья пены, и, под градом ударов и брани, которыми их осыпали на обратном пути маленькие пастухи, безмолвно и уныло поплелись домой, на этот раз — чуть быстрее, чем обычно.

— Ну, шагай живей, шагай живей, сын суки, — гремел дядя Дайя Рам, чапраси¹ имперского банка Индии.

На чапраси был алый, суконный, обширный гадуном мундир и аккуратно шовязанный тюрбан; он молодежато маршировал крупным солдатским шагом по круговой горной дороге, — проложенной ангрези саркаром², и сам как бы перевоплощался в ангрези саркара, когда величаво и гневно простирали руку, приглашая своего племянника Муну погоропиться.

Мальчик только-что присел, чтобы дать отдых сбитым и измученным босым ногам. Солнце яростно жгло, и он весь вымок от пота в тяжелой бумажной куртке дяди, которая закрывала его всего точно плащ. Бурая пыль от лениво плетущихся повозок, стоявшая над спиралями дороги, набилась ему в ноздри. Его оливковое лицо пылало, темнокарие глаза покраснели от резкого света. Ему казалось, будто вся кровь его молодого гибкого тела испарилась вместе с потом и все в нем высохло.

— Шагай живей, иначе я опоздаю в банк! — снова загредел Дайя Рам. Не могло, конечно, быть и речи об опаздывании, так как чапраси на этот день был отпущен, но ему хотелось поразить племянника и встречных прохожих важностью своей должности у ангрези саркара.

Слезы выступили на глазах Муну, когда он взглянул на свои измученные ноги, и его охватило чувство острой жалости к себе.

— У меня ноги болят, — всхлипнул он в ответ на окрики дяди.

— Идем, идем, — раздраженно продолжал Дайя Рам. — Я достану тебе башмаки из твоего первого жалованья, — добавил он снисходительнее.

— Да не могу я итти, — сказал Муну, услышав скрип тормозов и увидев, что впереди, там, где дорога, спускаясь, делала поворот на высоте семисот футов над бурлящей Биз, остановилась повозка, — возчик подвезет меня, если вы попросите.

— Нет, нет, он потребует денег, — сказал Дайя Рам громко, чтобы возчик услышал и предложил подвезти мальчика бесплатно. Он считал, что ему в его мундире не пристало просить этого человека об одолжении.

— Напрасно вы так задаетесь, хоть вы

и чапраси! Посадите-ка лучше мальчика вот тут сзади, — решительно заявил возчик в ответ на заносчивый тон Дайя Рама, — да и вы можете сесть в повозку.

— А ты чего лаешь? Я не с тобой говорю, — огрызнулся Дайя Рам. — Поезжай, поезжай себе, а не то живо сядешь куда следует! Ты разве не видишь, что я правительственный чиновник!

— Ну да, и вам приятно, чтобы бедный мальчонка босиком бежал. Мучитель! — отозвался возчик и поехал дальше.

— Вставай, негодяй несчастный! Вставай, или я убью тебя! — и белые зубы Дайя Рама угрожающе сверкнули. — Изза тебя я должен дерзости выслушивать!

Муну вскочил, так как знал на опыте, что угрозы дяди обычно кончались побоями. Он отер рукою слезы и, втайне бранясь, снова пошел по раскаленной земле.

Уходя от диких пустынных гор, извилястая дорога спускалась в беспредельные пространства равнины.

Муну прошел еще несколько сот шагов: его сердце ныло от страха, голову ломило от непривычных мыслей. Но вот он почувствовал, что ноги уже легче переносят обжигающее прикосновение земли. Он старался избегать камней, обходя их кругом, и, время от времени, шел на цыпочках, давая отдых ступням. Скоро, на его счастье, им пришлось итти прохладным туннелем в полмили длиной. Мальчик совсем повеселел, когда перед ним у подножья холма заестрело множество больших домов с плоскими кровлями, расположенными прихотливым узором вокруг минаретов из красного камня и золотых куполов. Близкий конец пути заставил его забыть о трудностях дороги.

Солнце, стоявшее над долиной, изливало лаву своих лучей на город, который был словно омыт серебристым блеском. Все его разнообразные детали вырисовывались ясно и отчетливо. И постепенно этот невиданный город заслонил для Муну бесконечные цепи пустынных гор. Новый мир, в который он вступал, эти храмы, дома и улицы, вызывал в нем радостную возбужденность.

Широко раскрыв глаза и разинув рот, глазел он на всевозможные диковинные экипажи — двуколки, похожие на ящики, бамбуковые тележки и тонги¹, четырехколесные фаэтоны, ландо и громадные чернобрюхие громоздкие повозки на резиновых шинах, проносившиеся мимо него

¹ Тонга — крытая повозка.

¹ Чапраси — посыльный.

² Ангрези саркар — английское правительство.

и особенно удивительные тем, что они без лошадей катились по широкой дороге.

Узкие улицы с тесными рядами лавок и ровной линией тентов над ними, которая прерывалась то неожиданной лоцинкой тенистой тропинки, то ярким клином солнечного света, казались ему великолепно, особенно, когда проходил мужчина в шелковой тунике и дхоти¹, в расшитых золотом туфлях, или лениво проплывала группа женщин, на ходу покачивая локтями и развевая зеленые, розовые и пунцовые покрывала. И до того отличен был этот мир от мира, окружавшего Муну в родных горах, что ему чудилось, будто он идет во сне через какую-то яркую раззолоченную страну.

Но он изумился еще больше, когда, углубившись в город, стал встречать людей, очень похожих на него самого: они были бедно одеты, тащили на спине тяжести и напоминали ему жителей его деревни.

Этот новый мир был ему непонятен.

Они достигли кучи домов, скорее лачуг, без окон, самого разнообразного вида и размера, в беспорядке притиснутых друг к другу, но все же претендовавших на какую-то пригородную респектабельность, как ни противоречили этому наваленные повсюду груды мусора, где битые бутылки, ржавые промасленные жестянки и дырявые ведра валялись вперемежку с гниющими овощами, пожелтевшей бумагой, кучами булыжника и разбитых, замшелых кирпичей.

В самом дальнем конце этого поселка находилась резиденция бабу, одноэтажный квадратный дом с верандой и, по примеру запада, с дверной дощечкой, где английскими буквами, белым по черному, возмещалось восточному цивилизованному миру славное имя хозяина: Бабу Нату Мал, помощник счетовода. Имперский банк, Шам-Нагар.

Дайя Рам постучал в дверь. Они стояли некоторое время, выжидавая. Дайя Рам постучал снова, ударяя щекоткой о ветхую скобу, чтобы усилить звук. Прошло еще несколько минут. Наконец, чапраси крикнул: — Бибибджи², откройте дверь!

¹ Дхоти — повязка вокруг бедер, охватывающая тело мужчины от пояса до локтей.

² Би би — госпожа; би бибджи — то что биби (частица джи приставляется знак уважения).

Где-то сбоку брякнул крючок, и из боковой двери появилась женщина. У нее было смуглое подвижное лицо, острый нос, прищуренные карие глаза и покатый лоб в морщинах. Ее сухой, плоский стан был завернут в муслиновое сари¹.

— Бибибджи, — сказал Дайя Рам, сложив руки, — я привел вам моего маленького племянника, он будет служить вам. Вот он. — Затем, сердито сверкнув глазами, сказал Муну: — Сложи руки, боров, и скажи бибибджи: припадаю к вашим ногам.

Муну сложил руки, но едва успел сказать: «Припадаю...» — как откуда-то из внутренних покоев донесся пронзительный крик ребенка. Бибибджи пошла к двери и крикнула жестким, скрипучим голосом:

— О, дитя, ты съела мою жизнь! Ты не можешь помолчать, даже когда я говорю по делу с кем-нибудь! Чтоб ты пропала! Чтоб у тебя печень высохла! Чтоб ты истлела, звезда несчастья! Ну, что такое? Чего ты хочешь? Ты...

И она продолжала бы еще без конца, такой злой и длинный у нее был язык и такой неисчерпаемый запас дыхания, если бы Дайя Рам не спросил:

— Значит все в порядке, бибибджи, и я могу оставить его здесь?

Муну с тревогой ждал ответа. Сердце его сжималось. Он видел только длинную шею женщины — как у курицы.

— Нет, подождите, Дайя Рам, — закричала она, возвращаясь из комнаты, в которую выходила, чтобы завершить свои проклятия пощечиной, отчего ребенок там заревел еще громче. — Вы говорили с бабуджи?

— Да, бибибджи, — пояснил Дайя Рам, — бабуджи сказал, чтобы я отвел его сюда и сдал вам.

— Хорошо, но к ужину надо принести с базара овощей. Не будете ли вы...

Тут ребенок в задних комнатах, видимо, потеряв надежду привлечь к себе внимание ревом, стал пронзительно визжать, и женщина, убегая к нему, разразилась новым потоком брани.

Муну испытывал чувство какой-то опустошенности и растерянности. Ему вспомнилась тетка: нет, от нее он не слышал такой ругани и проклятий.

¹ Сари — длинная полоса легкой ткани, составляющая главную часть наряда женщин большей части Индии. Сари окутывает тело и свободным концом закидывается на голову.

² Бабуджи — то же что бабу.

И его сердце заело песнь одиночества, грустную жалобу, вопрошавшую не настойчиво, но смутным и робким ритмом о том, какова же будет жизнь в доме этой женщины...

— Не можете ли вы пойти и сказать бабуджи, чтобы он купил овощей, когда пойдет со службы, и прислал мне с мальчиком? — вдруг услышал Муну голос своей госпожи.

До Муну не сразу дошел смысл ее слов, но затем его охватило уныние и жалость к себе. Он очень устал после долгого пути через горы. И он был голоден. Он надеялся, что ему дадут посидеть, когда он доберется до места, и что его накормят, согласно обычаю всех индусских семей, предписывающему предлагать пищу гостям и путникам, в какое бы время дня или ночи они ни прибыли. Вместо этого его, в первую же минуту, послали с поручением. «Может быть, в городе другие обычаи», — тоскливо подумал он.

— Хорошо, бибиджи, — спокойно ответил Дайя Рам. Он слишком привык к капризам своих господ, чтобы обижаться на них, подобно племяннику.

— Пойдем, охе Муну, — сказал он, вновь выходя на дорогу. — Здесь о тебе будут заботиться. И кормить будут досыта. И бабу обещал платить нам три рупии¹ в месяц. Я покажу тебе мою комнату рядом с банком. Заходи в свободный день. И старайся изо всех сил угождать хозяевам. Не забудь, ты их слуга. Они — добрые люди.

Муну слушал дядю, и слезы выступили у него на глазах. А сквозь слезы он видел высокие скалы, громадные гранитные утесы, серые в солнечной мгле, и серебряную ленту реки Биз, с берегов которой его стадо, мыча, бросало вызов земле и небу, странствуя, странствуя в полной свободе за милями миль...

Муну чистил золой посуду, сидя на корточках возле стока, служившего одновременно и для обмываний. Сток соединялся с канавой через осклизлое отверстие в стене, где жужжали насекомые и ползали черви. Из отверстия потянуло струей холода и вони, и этот холод, наконец, осушил обильный пот на лице мальчика.

— Можно мне помочь ему чистить по-

¹ Рупия — основная монетная единица в Индии, равняется примерно 64 копейкам. В рупии 16 анн, в анне 12 пайс.

суду, мама? — спросила старшая девочка Шейла, вертевшаяся в кухне.

— Уйди и не мешай! — прикрикнула на нее мать, — и дай этому дармоеду заняться для разнообразия хоть каким-нибудь делом.

Девочка ушла.

Бибиджи сняла с плиты кастрюлю, где вскипела вода. Затем достала с полки поднос и заварила чай в пузатом кувшине с носиком в виде поросычьего рыльца. Она старалась держать фарфоровую посуду подальше от священннх границ очага. Бибиджи была правоверной индуской и не забывала о том, что из этих чашек и блюдец пьют чай друзья ее мужа и деверя — мусульмане.

Младшая девочка Лила вдруг с криком проснулась.

— О, ты, пожирательница своих родителей, Лила! Чье проклятье на тебе, что ты реवेशь весь день? Я ли не достала тебе амулет от факира! Боже! Когда мне дадут покоя! Гнень, гнень спину с утра до вечера! Одегься, и то некогда! Ни с соседками посидеть! Ни в магазины сходить! Вчера я со стиркой да уборкой в два часа легла. А теперь... Шейла, бесчувственная, пойди, побудь с сестрой, вместо того чтобы по дому бегать и шуметь. Иди...

Прэм — младший брат хозяина — взял Лилу на руки, ушел с обеими девочками в гостиную, где он жил, и, чтобы развлечь их, завел граммофон.

Муну, почти покончивший с посудой, услышал музыку, доносившуюся из гостиной, и под тем предлогом, что хочет обмыть посуду у колонки, вышел из кухни.

Бибиджи, забывшая за руганью о грешке, который она поджаривала, сожгла его. Пробормотав проклятие, она отрезала другой ломтик хлеба и стала поджаривать его на спицах.

Муну поспешно ополоснул посуду и побежал обратно в дом, но не через кухню, а через веранду, прямо в гостиную.

— Охе, ты, сын совы, — сказал Прэм, — вытер ли ты ноги, перед тем как войти в комнату?

— Нет, бабуджи, — ответил Муну. Он стоял мокрыми ногами на ковре. С его локтя свешивалась корзина с посудой, оттуда капала вода.

— Но тогда, ради бога, сделай это — вытрись вон об ту циновку, — сказал младший бабу и шутливо добавил: — Ормелюсь доложить — она для этого и создана.

Муну повеселел. «Все-таки младшие

бабу не запретил мне входить сюда», — думал он.

Мальчику хотелось послушать музыку, потрогать удивительную поющую машину. «Как мне все-таки везет, — продолжал он свои размышления. — В доме, куда я поступил служить, есть волшебная машина».

Он поспешил обратно в кухню, чтобы оставить там посуду и освободить руки. Сославшись на то, что хочет выбросить мусор и золу на дорогу, он снова вышел во двор.

К несчастью, музыка в это время смолкла.

— Эй ты, как тебя зовут?.. Можешь выбросить золу вот на ту кучу, — крикнул ему рослый мальчик, набиравший у колонок воду в медные кувшины; два меньших мальчика сидели на земле и наблюдали.

Муну выбросил золу на кучу, указанную ему мальчиком.

— Значит, ты тоже слуга? — спросил он.

— Да, я служу в доме у бабу Гонал Дас, — сказал рослый мальчик. — Он будет поважнее твоего бабу. А хозяйева вот этих двоих служат в суде. Мы все из Хошиарпура.

— Я из Кангры, — и Муну тут же рассказал все, что знал о своем дяде, о том, кто у них первые люди в деревне, и о том, как однажды, когда он был еще совсем маленьким, родители взяли его с собой в Хошиарпур. За несколько минут оба подростка успели рассказать друг другу все о себе — с тем доверчивым простодушием, которое характерно для индусов северных областей.

Внезапно донесшийся из дома веселый мотив снова привлек Муну в комнаты. Он вбежал в гостиную.

— Лапы! Эй ты, мартышка! — загремел младший бабу.

Муну в ответ на шутливо-грозный окрик молодого бабу упал на циновку всеми четырьмя конечностями, словно настоящая обезьяна.

Смахнув пыль с ладоней и ступней, он выбежал на середину комнаты и, продолжая дурачиться, начал исполнять фантастический танец: он подражал ученой обезьяне деревенского фигляра, представления которого он видел на перекрестках, возвращаясь из школы.

— Смотри, дядя, смотри! — засмеялась Шейла, — как он пляшет!

— Шабаш! Шабаш! — воскликнул Прэм, входя в роль скомороча.

Маленькая Лила тоже начала отбивать такт, помахивая головой и хлопая в ладоши.

— А я буду медведь, дядя! — крикнула Шейла.

Муну все еще был вне себя, он плясал, делая неуклюжие, смешные движения, строил гримасы и взвизгивал, словно настоящая обезьяна.

— Что тут за шум? Что за безобразие? Какое право он имеет находиться в гостиной? — раздался голос бибиджи, колючий и жесткий, и, словно ледяная струя, все и всех заморозил так, что сразу воцарилась тишина.

— Какое право имеет он смеяться вместе со своими господами?

Муну поспешил убраться в кухню.

Дни проходили за днями, и он работал словно во сне. Муну кое-как исполнял свои обязанности, только и мечтая о том, чтобы поскорее от них отделаться, и с нетерпением поджидая свободного вечера.

Утром того дня, который у него считался на этой неделе выходным, бибиджи увидела его надутое лицо и решила не отпускать его. Она знала, что он ходит в свободный день к дяде, и ей не хотелось, чтобы он рассказал Дайя Раму о том, как худо с ним обращаются его хозяева.

Но в это утро к желанию Муну бежать от непрерывной брани, нытья и помыканья прибавилась еще тоска по домашним кушаньям, по чечевице и рису, которые себе обычно готовил дядя, угощая ими и племянника, если тот бывал у него. Поэтому, когда бибиджи предложила ему достать обедык репы с соей, оставшиеся на тарелке бабу, Муну отказался и заявил, что хочет проведать дядю.

— Вот! Мир темнеет от стыда! — закричала бибиджи, обращаясь к мужу. — Вот! Ты слышал? Ему не нравится, как его здесь кормят! Небо! Он хочет уйти обедать к дяде, не почитив и не помыв посуды! Значит мне придется весь день работать. Слыханное ли дело? Кому нужен такой слуга!

— Отчего, охе? — сказал бабуджи. — Отчего ты не ешь то, что тебе дают? Разве ты сын набоба, что воротнишь нос от репы? Ну и иди, иди есть рис и горох к своему дяде!

¹ Ш а б а ш — «молодцом!», «браво!»

Едва было произнесено слово «иди», как Муну выскользнул за дверь и был таков.

Когда он спускался с холма, ему пришли на память все обиды, которым он подвергался в этом доме, все перенесенные унижения.

Он мужественно старался сдерживать слезы, но, казалось, где-то в недрах его желудка рождались содрогания жалости к себе, они обдавали жаром лицо, на котором словно копилось тяжелое душное облако, вдруг пролившееся жарким дождем слез.

Когда он завернул за угол банка и вошел в подъезд той части дома, где жили слуги и где была комната дяди, он вытер лицо краешком куртки и выморкался с помощью большого и указательного пальцев.

Дайя Рам храпел на койке в своей комнатке. Это была нора, примерно в шесть кубических футов. Кроме койки, в ней находилась земляная печь, кое-какая медная посуда и обитый жестью сундук.

Муну вошел на цыпочках, наклонился над дядей, схватил его за большой палец правой ноги и стал трясти.

— Кто тут? Что надо? — зарычал Дайя Рам, открывая глаза.

— Поесть ничего не осталось, дядя? — спросил Муну.

— Разве сейчас время приходит ко мне и просить есть? — зашипел Дайя Рам, словно змея. — А в доме бабу тебя не кормят?

— Может быть, ты дашь мне тогда немного денег, я пойду в закусную на базаре и куплю себе поесть?

Сам он никогда не имел денег, так как бабу вручал каждый месяц все его жалованье в три руши прямо дяде.

— Ах ты, сын суки! — Дайя Рам сел на койке. — Разве могу я купить тебе платье, которое тебе нужно, и башмаки, если ты будешь расшвыривать деньги, которые я коплю для тебя?

— Но ведь ты же не купил мне никакого платья, — запротестовал Муну. — Эту рваную тунику мне дала бибиджи, и башмаков ты тоже не купил мне.

— Ах ты, сопляк! — и Дайя Рам, вскочив, схватил Муну за шиворот. — Ты еще осмеливаешься у меня отчета спрашивать, сын свиньи! Вот благодарность за то, что я столько времени вожусь с тобой и пашел тебе место! Денег! Денег, денег ему дайте!

И он грубо стал трясти мальчика и колотить его.

— О, не бей меня, пожалуйста, не бей

меня, дядя! — кричал Муну. — Мне только поесть хочется.

— А где же ты жрал навоз, когда люди обедали? — орал Дайя Рам. — Почему ты не пришел сюда раньше, раз ты хотел есть? И разве они тебя там не кормят?

— Бибиджи не пускала меня, заставляла работать, — всхлипывал мальчик. — Она совсем не хотела отпускать меня. Ты не знаешь, как она бьет меня! Если бы ты знал, ты бы меня не бил! У них сегодня репа, а я не люблю репы. Я люблю рис и горох!

— Врун! Ябедник! Свинья! — кричал Дайя Рам. — Ты только и знаешь, что жаловаться, — и он продолжал награждать тумаками мальчика, прижавшегося к стене.

Жалобные крики мальчика, казалось, не производили никакого впечатления на Дайя Рама. Любовь к деньгам, страх перед нищетой и чувство приниженности, которое развилось у него за время службы в банке, сделали его черствым до жестокости. Его глаза налились кровью. Он так скрипел зубами, что, казалось, готов убить Муну. Свирепо глядя на племянника, он иролалял:

— Нет, ты скажи мне правду, скажи правду, где ты шляется?

Муну был не в силах говорить. Он продолжал плакать.

— Где ты был, отвечай? — зарычал Дайя Рам, наступая на него.

— Дома я был, — всхлипывал Муну.

— Лжешь! Дрян! Негодяй! — шипел Дайя Рам. — Разве я не знаю тебя? Вместо того чтобы добросовестно работать, ты лодыричаешь! Убью, если услышу еще хоть одну жалобу.

Бросившись к мальчику, он снова пнул его ногой. Затем продолжал:

— Ты просто озорник, своевольный, упрямый, а воображаешь, что ты много работаешь! Ты еще навлечешь на мою голову недовольство бабу! Я считался здесь в банке хорошим слугой, пока ты не явился. Тяжелым трудом зарабатывал я кусок хлеба, и меня здесь каждый уважает, потому что умею угождать своим господам! А ты вдруг являешься и жалуешься, что с тобой плохо обращаются в доме нашего благородного бабуджи! Ступай и держись за это место, если тебе дорога жизнь, иначе я убью тебя! Лучше отучись от своей дурной привычки читать и бездельничать, свинья! А теперь возвращайся и попроси бибиджи накормить тебя! Нет у меня для тебя ни сочувствия, ни пищи!

Он сгреб мальчика и швырнул его за дверь.

Итак Муну предстояло снова следовать по пути совершенствования в доме бабу.

Но врожденную живость Муну и склонность к проказам не могли ослабить ни наказания, ни брань, ни даже физическая боль. Эти кипевшие в нем силы, зачастую искавшие выхода в вихре бурных движений, и навлекали на него всякие беды.

Однажды, под вечер, он сидел и чистил картошку. Вернулась из школы Шейла с подругами, и девочки прошли в гостиную. Его госпожи не было дома, она сидела с соседками. Муну спешно дочистил картошку, в надежде, что ему удастся поиграть с девочками.

Когда он мыл руки, он услышал, что запел голос в ящике. Вот и отлично, решил Муну. Он войдет в гостиную, исполнит обезьяний танец, позабавит детей, и они, наконец, позволят ему поиграть с ними, не то что на днях, когда они, по приказу бибиджи, прогнали его.

Бурей ворвался он в гостиную и начал на четвереньках скакать по комнате, напугав девочек, с увлечением исполнявших номер классического балета, который они разучивали в школе; они разбежались по углам.

— Мы не хотим играть с тобой, — сказала Шейла. — Мама не велела нам.

На самом деле он нравился ей и ее забавляла его смешная пляска. Она охотно поиграла бы с ним, но запрещение матери крепко засело в ней и создало между мальчиком и ею искусственную преграду. Шейле хотелось прикоснуться к нему. Она подошла и, схватив его за ухо, потащила по комнате.

Он не сопротивлялся. Девочки визжали от смеха.

Но Шейла тянула за ухо преобильно. Тогда он обернулся и бросился на нее, рыча и скрипя зубами, как настоящая обезьяна. И вдруг, не сознавая, что он бьется, Муну укусил ее в щеку.

— Мама! Ой, мама! — закричала Шейла. Но мать не слышала.

Девочки побежали за ней.

— Мама Шейлы, ни, мама Шейлы! Смотрите, что этот грубый мальчишка делает с вашей дочерью.

Прибежала бибиджи.

При виде Шейлы, растиравшей щеку, ее лицо помертвело от бешенства.

— Покажи, — закричала она, — покажи мне, дитя, свое лицо.

На нежной коже в месте укуса темнел снык.

— Я ведь только играл, бибиджи, — заявил Муну, предвидя грозу и тщетно ища спасения.

— Вай, ты, пожиратель своих хозяев! Чтоб ты высох! Чтоб корабль твоей жизни никогда не плавал по морю бытия! — начался шквал заклинаний. — Чтоб ни тебе, ни твоим предкам не знать покоя в могиле! Как ты смел покуситься на честь моей дочери! Ведь она ребенок! Маленькая девочка! Ты, похотливый теленок! Разве мы знали, что берем к себе мерзавца, негодая! Пусть только бабуджи домой придет! Тебя арестовать надо! Взгляни, взгляни на мою дочь. Ни стыда у тебя, ни уважения! О ты, осквернитель моей соли! Не просила я разве тебя: оставь моих детей в покое, не играй с ними! Кто ты, чтобы водиться с детьми своих господ? Пригрели змею! Молоком ее поили! А она взяла да и ужалила! Пусть только придет дядя твой, Дайя Рам! Непослушная дрянь! Я же сказала тебе — ты не нашего круга! Отец моих дочерей — важная бабу, а кто твои родители — я даже не знаю, какое-то отребье! А наше доброе имя! Наша репутация! И я еще жалела тебя! Теперь остается одно: отправить тебя в полицию!..

— Что случилось? В чем дело? — Ссутулившись, вошел бабу Нату Рам, его голова была опущена, кисло скривившееся лицо выражало усталость и приниженность.

— Что случилось? В чем дело? — повторила бибиджи. — Да во всем! Этот пожиратель своих хозяев, чтоб он высох, чтоб он сгорел, чтоб!..

— Ну, так в чем же дело все-таки? В чем? — твотрил бабу раздраженно и нетерпеливо.

— Говорю тебе, у меня сердце горит! Этот осквернитель моей соли укусил Шейлу в щеку! Поистине черные времена настали! Такой сопляк! Родиться не успел, а уже покушается на честь дочери своего господина! Боги!

— Ах ты, подкидыш! — И бабу так нахмурил брови, что они слились с морщинами, бороздившими его лоб, в одну грозную черту, — что ты на это скажешь?

Муну стоял перед ним, опустив голову, его щеки пылали, сердце замирало. Он молчал.

— Смотрите, люди, мир потонул во тьме, смотрите!.. — вопила бибиджи.

Бабу приблизился и поднял руку, чтобы унять жену.

— Отчего, свинья, отчего ты не отвечаешь?

— Я, бабуджи, просто поиграть хотел, — сказал Муну, боязливо взглянув на бабу.

— ...Поиграть хотел? Ах, ты поиграть хотел? — проскрежетал бабу. — Сын суки!..

И он ударил Муну по щеке костлявой тяжелой рукой и дал ему несколько пинок блестящими сапогами, теми самыми сапогами, которые были для мальчика мечтой жизни.

— Простите меня, бабу, простите меня! — высоким фальцетом кричал Муну, едва удерживаясь на ногах.

— Простить тебя! — сказал Нату Рам, замахнувшись тростью. — Да, еще бы не простить тебя, грязная собака. Увидишь, как я прощу тебя.

— Оставь его, это неблагодарный негодяй, — сказала бибиджи.

— О, простите, о, простите, только простите, — стонал Муну в сгущавшихся сумерках.

Избитая собака прячется в угол, избитый человек стремится убежать.

Едва семейство бабу, оставив опозоренного Муну в гостинице, удалилось в кухню, как он выскользнул из дому. Он побегал вниз по аллее, миновал банк, большие дома, архитектура которых говорила о состоятельности их владельцев, и спустился на площадь, где находился обширный многолюдный базар. Свет электрических фонарей, керосиновых ламп и маленьких светильен в глиняных сосудах придавал грузным массивам магазинов и лавчонок уродливые очертания. Глазам мальчика, полным слез, было больно от блеска огней, и взгляд его облегченно погружался в темноту пустынных переулков. Но в глазах людей, густыми толпами наводнявших базар, ему мерещились еще более опасные огни. И он глядел только на их фигуры, на то, как они воздевают руки, крикливо переговариваются, мотают головой, неистово жестикулируют и снуют взад и вперед. Он жаждал тишины, мрака, чтобы хоть немного опомниться. Ему хотелось уйти как можно дальше от этой толчеи, от этих человеческих существ, от их пунцовых тюрбанов, белых и черных плащей, от алого шелка и переливчатого муслина, которые непрерывно шелестели вокруг него. Ему хотелось погрузиться в бездну, забыть, стереть всякую память об унижении избитого. Он торопился пройти

базар, шел большими шагами, слегка подпрыгивая, затем просто побегал. Пот ручьями струился по его телу.

Наконец, Муну выбежал на большую дорогу. По сторонам чернели хибарки, затененные рваными джутовыми навесами с широкими щелями, и несколько запертых лавок, окутанных густыми тенями.

За ними, во мраке, едва проступал сводчатый вход — это было место сожжения трупов. В глубине, на некотором расстоянии друг от друга, горели небольшие вязанки дров, там сжигали умерших. Все было тихо, все неподвижно. Муну, охваченный ужасом этого молчания, стал что-то шептать, чтобы придать себе бодрости.

В сточной канаве две бродячих собаки рвали зубами какую-то требуху. Муну наткнулся на них и отпрянул. С близкого вокзала, из мрака, донесся свисток паровоза. Сердце Муну дрогнуло, словно почуввав освобождение. Он вышел к дальнему концу железнодорожной платформы.

Словно безумный, бежал он теперь вдоль стены, тянувшейся позади железнодорожных строений; затем перелез через какую-то железную решетку. Ему казалось, что его преследует привидение или сторож. И вот он уже на территории вокзала. Муну решил перейти широкую сеть железнодорожных путей, где чудовищные тела паровозов словно угрожали ему мгновенной смертью.

Но красные и зеленые огни указывали дорогу.

Вдруг он задел за какой-то провод и упал плечком на рельсы. «Сейчас задавит», — решил, мальчик, хотя ближайший паровоз пыхтел шагах в двухстах от него.

Далекий свисток заставил его вскочить на ноги. Он побегал к длинному ряду вагонов, различимому во мраке только по черным четырехугольным провалам между ними. Он стал было карабкаться по толстым дощатым ступенькам. Но свет красно-зеленого фонаря в руке невидимого человека вновь напугал его. К счастью, фонарь удалялся.

Он влез по ступенькам и прыгнул в зиявшее окно дверцы, как прыгнул бы тигр в черноту пропасти, спасаясь от безмолвно преследующего его охотника. Он упал боком на жесткую скамью. Острая боль пронзила его ребра. От боли, от разгоряченного бега, от духоты в вагоне он почувствовал дурноту...

Он лег на пол, прижал руку к ушиленному боку и рукавом стал отирать с лица липкий пот.

Никогда еще не был он так одинок, так бесконечно одинок, как в эти долгие, долгие минуты в пустом пыльном вагоне.

Он распахнул плотную куртку, и воздух слегка остудил его тело. Где-то бился о стекло и гудел залетевший жук. Было пусто, душно и мрачно.

Внезапно к вагону прихлынул топот многих ног. Люди, крича, ворвались между скамеек, и вокруг Муну тяжело стали плюхаться узлы и чемоданы. Мальчик заполз поглубже под лавку и прискался лицом к полу, чтобы хоть чем-нибудь осветить лоб в этой раскаленной мгле.

Поезд тронулся. Муну был бы не в силах дышать вонью всех этих чужих дыханий, но в окна уже врывался чистый ветер полей.

Мальчик не знал, куда идет поезд, но был благодарен судьбе за то, что этот поезд его куда-то везет.

III

— Ох... ох... — крихтел сет¹ Прабх Диал, сиюсь вытащить свой узел из-под лавки. Это было в вагоне третьего класса почтового поезда, который, покачиваясь, тащился из Шам-Нагара в Даулат-пур.

Сет — широкоплечий, рослый уроженец Кангры, скорее похожий на солдата, чем на торговца, с трудом перевозмогал сонливость. Ночь он просидел, неловко скрючившись, на деревянной скамье битком набитого вагона и начал собираться задолго до прихода поезда к месту своего назначения.

Сет шумно вздохнул и вытер лицо.

— Ох... — закряхтел он снова. Узел обазался почему-то тяжелым, как свинец, хотя и был наощупь мягок и скользок.

Прабх Диал продолжал тащить, все больше и больше напрягаясь, и, наконец, к своему позугу и удивлению, вытащил спящего Муну, который провел ночь среди чемоданов, деревянных картонок, свернутых постелей и тюков всех видов, наваленных от разобранных кроватей, закатанных в матрацы, и кончая растрепанными пакетами с пищей, узлами с платьем и всяким хламом, просто увязанным в куски материи.

— Рам ре Рам!² — воскликнул сет; по

¹ Сет, сетжи — слово это приставляется к имени купца в знак уважения. употребляется и самостоятельно.

² Рам ре Рам — обычное между индусами приветствие; является также формой обращения к божеству.

его бледному открытому лицу, оттененному густыми черными усами, поползла широкая усмешка.

— С чего это вы веселитесь в такую рань? — пробурчал Ганпат, компаньон сета, человек с темным козым лицом, худым и насмешливым. Он лежал на мешках, набитых товаром, и тщетно пытался заснуть.

Заинтересовались и другие пассажиры, приоткрыв в утренних сумерках глаза, они с удивлением разглядывали неожиданное зрелище.

— Что это за мальчик? Как он сюда попал?

Муну не мог выжать из себя ни слова. Он онемел от ужаса.

Когда Прабх Диал выволок его из-под лавки, Муну был во власти кошмара, ему снилось, что его тело топчут слоноподобные великаны и хлещут бичами могучие дурогие дьяволы.

— Неисповедимы пути божьи, это правда, — сказал Прабх Диал, больше обращаясь к самому себе, чем к окружающим. — Это хорошее предзнаменование. Как будто горец!

— Радуйтесь! — насмешливо заявил Ганпат, — вот вам и готовый сын. Можете теперь не беспокоиться о травах, которые вы хотели достать для своей жены — или, вернее, для себя, — закончил он язвительно.

— Как тебя зовут? Откуда ты? Чей ты сын? — спрашивал Прабх Диал на наречии горцев, которое он не забыл, хотя ушел из дому в ранней молодости и давно уже жил в городе Даулатпуре, где постепенно пробивал себе дорогу и от уличного кули дошел до владельца фабрики по переработке плодов.

— Муну звали меня в Биласпуре и Мунду в Шам-Нагаре, — начал Муну, словно наречие горцев, на котором с ним заговорил Прабха, вдруг развязало ему язык. — Мой отец умер, а потом умерла и мать. Мой дядя — он чапраси в Шам-Нагарском банке — поместил меня слугой к одному бабу. Вчера бабу избил меня, и я убежал.

При этом ему снова стало страшно и грустно, его лицо против воли сморщилось, и он заплакал.

Застыдившись, он начал тереть глаза кулаком, стараясь скрыть свои слезы от присутствующих.

— Может быть, взять его с собой?

— Мы же не знаем, кто он, — отозвался Ганпат. — А вдруг он жулик, вор? Нам, конечно, нужен еще мальчик. А он,

повидимому, будет рад, что его кормят, и мы можем ничего не платить ему.

— Хочешь к нам, Муну? — спросил Прабха. Словно не слыша слов своего компаньона, он ласково гладил темные волосы мальчика, оттенявшие длинными прядями его лицо цвета пшеницы. — Хочешь? Я сам из Хампрпура, это недалеко от Биласпура; тебе будет хорошо у нас.

Муну покивал головой, но не ответил, схваченный сомнениями. Он еще не думал о том, что будет делать, так как с минуты своего бегства был целиком во власти одного только страха, как бы его не поймали и не вернули обратно.

Сет Прабх Диал похлопал мальчика по спине. — Идем, идем, будь хорошим мальчиком. Вытри глаза, говорю, — тебе будет хорошо. Смотри, мы уже подъезжаем к Даулатпуру.

Он снял левую ногу со скамейки и втиснул рядом с собой Муну. Сет Прабх Диал решительно почувствовал к нему нежность. Мальчик казался ему родным, словно это был его сын. Он попытался представить себе его родителей: «Наверно бедняки, все горцы — бедняки». Прабха вспомнил своего отца и мать, умерших без него в Хампрпуре, когда он был в Даулатпуре; его заработка в качестве кули не хватало на то, чтобы им всем два раза в день нести рис.

— Ты учился в школе, охе Муну? — ласково спросил Прабха.

— Да, я был в пятом классе, когда дядя увел меня в город.

— Что ж, вот вам и счетовод, — связвил Ганпат, очнувшись от дремоты.

— Да, — сказал Прабха, спокойно принимая вызов, — мы сделаем его нашим клерком.

— Клерком? Вы, видно, хотите ему сразу голову вскружить, — продолжал Ганпат, — этому соблазнителю своей дочери! Он и шагу ступить не успел, а вы уже собрались усыновить его и сделать его конторщиком. Ведь вы даже не знаете, кто он. Вернее всего, он просто вор, этот беглый бездельник!

Прабха смиренно улыбнулся. Он явно робел перед своим компаньоном, но продолжал обращаться с мальчиком по-отечески.

Поезд шел предместьями Даулатпура. Муну смотрел в окно. Проплыли мимо купола храма, сверкнув золотом на фоне широколистных банановых пальм, мелькнули группы нагих людей, — одни носили воду из колодца и затем выливали себе на голову, другие растирали друг друга

маслом, третьи боролись. Но картина эта пронеслась так быстро, что Муну даже не успел рассмотреть ее. Он приготовился к следующей: мечеть с четырьмя минаретами и белая фигура, в зеленом тюрбане, видимо, мулла, который зазывал молящихся. Затем перед ним потянулись ветхые пыльные городские дома с плоскими кровлями. Около рельсов стоял стрелочник в синей форменной одежде и размахивал зеленым флажком, а позади, на перекрестке, перед палатками и ларьками уже толпились суетливые горожане и куля-продажа была в самом разгаре. Муну с любопытством следил за автомашинными и повозками, затившимися в клубах пыли по дороге вдоль железнодорожной линии. Дым из трубы, возвышавшейся над стеной, на которой огромными буквами было написано по-персидски: «Заводы содовых вод», увлек его взор выше, за нефтяные цистерны «Билманской нефтяной компании», и там, непохожая ни на что виденное им до сих пор, появилась гуляющая птица, удивительная стальная птица с прямыми крыльями, оставлявшая за собой на безоблачном небе длинный хвост белого дыма. Когда взоры мальчика вернулись на землю, за окном уже тянулись долгие мпиды Даулатпурских улиц, и тогда, словно пораженный обширностью этого каменного мира, Муну обратился к собственным мыслям. Но мыслей не было, только сердце трепетало от волнения, как оно трепетало от страха и радости, когда он увидел впервые Шам-Нагар. Это был страх перед неизвестным, тапвшимся в недрах города, и окрыляющая надежда на лучшую жизнь.

Кусок рваной парусины прикрывал сверху остов высокой бамбуковой повозки, в которой Муну, стиснутый Ганпатом, Прабхой и еще четырьмя седоками, ехал в вокзал. Поэтому ему не пришлось увидеть базары Даулатпура. Единственное, что он разглядел, были несколько лавок у входа в переулок Кошковадов. Повозка остановилась на углу узкой, грязной улочки, заваленной отбросами, гнившими в сточных канавах, и зажатой двумя рядами трехэтажных домов. Следуя за Прабхой и Ганпатом, он скоро поравнялся с открытыми бараками и очень смутился, увидев в них множество полунагих женщин, занятых выделкой горшков и блюд из сухих листьев, которыми чистокровные индусы пользуются вместо обычной посуды во время торжественных праздников и в некоторы

хранят пищу. Женщины приветствовали его благодетелей па горском наречии: «Джай дэва¹, сетжи. Хорошо и благополучно ли доехали вы обратно?» — На что Прабха ответил, сложив руки: «Падаю к ногам вашим».

Затем они поднялись по десяти широким ступеням в большую комнату, выходящую окнами во двор, и Муну очутился лицом к лицу с простой скромной женщиной. Она была бледна и молчалива, но та чудесная ласковость, с которой она подошла к Муну, и даже ни о чем не спросила, обняла его и погладила по лбу, сразу внушила ему доверие: он почувствовал — это обычно передается в первый же короткий миг, — что от этой горянки исходит то сердечное тепло, благодаря которому человек нам становится дорог.

— Падаю к ногам вашим, сноха, — насмешливо процедил Ганпат.

— Да будет ваша жизнь долга, — приветливо ответила Парбати и шуточно продолжала: — Не взяли себе еще горяночки в жены?

— Нет, но привезли вам готового сына, — ответил он насмешливо.

— Впжу, — сказала она, прижимая к себе Муну, и замолчала. Затем обратилась к мужу: — Сейчас обед будет готов. Не хочешь ли пока искупаться, а потом сразу ляжешь отдохнуть и отоспишься после дороги?

— Ладно, — сказал Прабха ласково, но сдержанно, как полагалось, по индусскому обычаю, мужу разговаривать с женой.

И, расставив койку с натянутым холстом, прислоненную к стене, он бросил на нее свои узлы и предложил Муну присесть.

Сумрак просторной комнаты казался особенно прохладным после изнуряющего зноя на дворе. Муну отер с лица пот, недоумевая, где же фабрика.

Его мысли были прерваны хозяйкой, предложившей ему стакан шербета.

Прабха отвел его в кухню, к каменному чану, чтобы он искупался. Затем хозяйка подала еду — рис, простой и подслащенный, горох, овощи и тамариндовые пикунли, словом, все, о чем Муну так скучал в доме бабу; было и несколько городских кушаний — мучные оладьи с молодым сыром и карта паршад². Это был самый роскошный обед, какой он ел с поми-

¹ Д ж а й д э в а — «Да здравствуют боги!»; обычное у индусов восклицание.

² К а р а п а р ш а д — сладкое кушанье из муки и сахара.

пальной трапезы, устроенной теткой в годовщину смерти его отца и матери, за три месяца до его ухода в город.

Желудок мальчика был полон, разгоряченное тело оведала прохлада, он вытянулся на койке и мгновенно заснул.

Когда Муну проснулся, день клонился к вечеру.

— Сойди-ка вниз, — сказал Прабха, куривший кальян из кокосовой скорлупы, — и посмотри фабрику. Вон вход. Кто-нибудь спустит тебя.

Муну подошел к небольшому окошку в углу комнаты и посмотрел вниз. Он колебался. Спуск в это темное преддверие фабрики, уходившей куда-то в недра земли, эта странная черная зияющая дыра здесь, среди высоких городских домов, пугала его. Окно выходило в колодец, и Муну боялся, что сорвется куда-то в пропасть.

Однако он продолжал рассматривать колодец со свойственным ему живым и навязчивым любопытством. Внизу, под навесом из волнистого железа, чернели насти двух пещер, выходивших на маленький дворик. С одной стороны двора три печи пылали под огромными дымящимися чанами. С другой, в особой нише, под штабелями дров, тянулся длинный помост с захватанными грязными руками несгораемым шкафом, побуревшими счетными книгами, чернильным прибором из папье-маше и пузырьком чернил. Рядом с печами были наставлены большие бочонки — одни с медными бутылками, другие с мокнущим инбирем. Узкий проход в ярд шириной кончался маленькой дверью, которая открывалась в тупичок.

Прикосновение человека, который вытащил Муну через окно и доставил на фабрику, вызвало в мальчике отвращение. Это было массивное расплывшееся существо с мясистым, тупым лицом. Большие грязные руки и ноги были покрыты мозолями и резко выступавшими вздутыми венами.

«Верно, у него проказа», — решил Муну, так как на смуглой коже рабочего белели пятна. Во всей его фигуре, едва прикрытой домогканной курткой и набедренной повязкой, было что-то, говорившее о слабоумии и идиотизме.

Муну невольно отскочил подальше, когда идиот опустил его на помост и, улыбаясь, уставился на него.

Затем он услышал голос Ганпата:

— Продолжай свою работу, охе Махарадж.

Муну понял, что должен уйти.

Обиженно направился он к пещерам.

Однако здесь он наткнулся на полуголо-го коренастого парня с воспаленными глазами и землистым лицом. Парень стоял возле входа в одну из пещер, лицом к печам, и подозрительно смотрел на мальчика.

Муну смутил еще больше. Парень вдруг начал куда-то толкать его и, открыв рот, издавать непонятные звуки.

— Бонга приглашает тебя сесть, — сказал Ганпат, посасывая свой кальян на помосте в пеще, — он глухонемой.

Муну успокоился и побел мимо пещей к пещерам. Он увидел светлолицего красивого юношу в набедренной повязке и кисейной рубашке, его волосы были причесаны на пробор, как у бабу и сахибов. Юноша выливал в канаву кипяток из огромного чана.

— Осторожнее. болван! — накинулся он с вневальной яростью на Муну, чуть не толкнув его, когда тот пробежал мимо.

И тут же раздался крик:

— Хай! Хай! Обварился? На смерть? — кричали какие-то похожие на привидения морщинистые старухи, чистившие в пещерах яблоки.

— Сядешь ты, наконец, дрян! Что ты шляешься? — заорал на него Козье Лицо. — У Тулси сейчас будет готова бутылка экстракта. Он пойдет разносить экстракт кеоры нашим клиентам и возьмет тебя с собой, покажет тебе магазины, куда ты с завтрашнего дня будешь доставлять бутылки. Не ерни. Привыкай сидеть смирно. Если бы мы не взяли тебя к себе, был бы ты сейчас в руках полиции или бродил бы по городу, бездомный и голодный. Нечего шататься тут без дела и мешать людям.

И он указал Муну на покрытую коростой грязи колченогую скамейку, предназначенную для обуви, а потому считающуюся подходящим сиденьем для рабочих.

Муну, озираясь, разглядывал толстые стены: местами обнажились источенные долгими годами и сыростью кирпичи, местами своды были облеплены коровьим навозом, грязью и плесенью, затянута длинными тонкими нитями паутины или прикрыты липкими лохмотьями сажн, и, словно кристаллы, неподвижно свисали со сводов летучие мыши.

Взгляд его, блуждая, встретился с взглядом Ганпата. Он повернулся в другую сторону: перед ним оказались низкие, грузные деревянные подпорки в белых коконах паутины и прокопченные железные листы навеса, словно придавившие двор мертвой тяжестью. Казалось, небес-

ный ветер никогда не посещает этот храм и солнце в него никогда не заглядывает разве только сквозь отверстия, пробитые гвоздями, да сквозь щели и скважины в железе, куда его лучи вползали. Улитки.

Наблюдения мальчика были прерваны клубами пара, поднявшимися над кипящей водой, которую Тулси вылил в канаву.

И Муну вдруг почувствовал себя таким маленьким и ничтожным в этом подземном мире, среди огромных чанов и бочонков, глубоких черных пещер и стен, которые хотя и были изъедены временем, но казались, простояв еще века.

Протерев глаза, он увидел, что и рабочие вопросительно косятся на него: кто мол, такой? Откуда взялся?

Да, он здесь чужой. Все начинало раздражать его.

Горячее дыхание чанов сменялось сырм вонючим сквозняком, которым тянуло из пещер; от него ржавело железо и сразу остывал на теле пот, образуя липкую грязь, на которую с жуужаньем садилась неотвязные мухи.

Он бежал бы прочь отсюда, будь у него крылья.

Но как раз в эту минуту появился сед Прабх Днал, и Муну сразу почувствовал облегченно.

— Где ты, о Муну? — спросил Прабха.

— Вон он, — сказал из подвала Ганпат, ткнув пальцем в сторону Муну. — Этот дурак чуть не обварился, лез тут к печам, когда Тулси выливал кипяток.

Муну встал и подошел к Прабхе.

— Пойдем, — сказал хозяин, улыбаясь. — Я возьму тебя в магазины и покажу клиентов, которым ты будешь доставлять готовый товар. Да тебе, вероятно, и город хочется посмотреть; в храм пойдем...

— Конечно, балуйте его, как вы избаловали всех наших слуг, — заметил ледяным тоном Ганпат.

Прабха улыбнулся, взял побуревшую счетную книгу и вышел.

Муну побегал за ним.

На другой же день, работая в подземельи, Муну увидел себя вдруг окруженным дымом, клубами дыма, это ветер из пещер упорно задувал в печах вившееся спиралью высокое пламя и разносил дым по всей фабрике.

Муну чуть не задохнулся. Он ощущал горький вкус дыма во рту. Потом дым защекотал ему горло, и он закашлялся. Выплюнул густую слюну. Ему показалось, что он оглох. Но из клубов дыма до него

смутно донеслись визгливые, сильные возгласы и крики.

— Ой, где вы? Где вы все, дети борьбы? Выходи, охе Прабха, ты, любовник своей матери...

Голос замер, прерванный громким кашлем или, вернее, перешел в кашель — тогда уже не было слышно голоса, кашель все еще продолжался, сердитый, визгливый и хриплый, бесконечными приступами, напоминавшими взрывы деланного смеха.

Муну наострил уши. Он слышал другой голос: своей пронзительностью этот голос отличался от первого, принадлежавшего старику, и был, видимо, голосом старухи.

— Пожиратели своих хозяев! Пожиратели своих хозяев! Грязные горцы! Негодяи! Неряхи! Дым! Дым! Ваши дым! Он проник в мой дом даже сквозь закрытые двери и окна. Хай! Хай! Чтоб вам высохнуть! Чтоб вам не родиться! Чтоб вам сгореть в огне ваших печей! Вы прокопчили наш дом! Мы только этой весной побелили стены! А теперь они опять черные. Хай! Хай! Где вы!

Муну казалось, что он слышит голос своей госпожи из Шам-Нагара. Он взглянул на Тулси, маячившего сквозь дым, и только-что хотел спросить, кто это.

— Шш... — шепнул Тулси, его лицо было бледнее обычного, и он усердно старался раздуть мехами пламя в печи.

Муну увидел настоящий страх на лице старшего мастера, когда тот, бросив меха, присел на корточки и стал изо всех сил дуть на угли, хотя в печи не зардежь ни одной искорки и только дым поднимал еще гуще к железной крыше.

— Где вы? Где вы, Прабха и Ганпат? — кричал Рай Бахадур¹, сэр Тодар Мал, бакалавр права, член муниципального комитета; одетый в сюртук из черного альпага, узкие белые брюки и огромный тюрбан, словно придавивший его ливное черное лицо, он сердито стучал концом трости о кирпичную кладку откоса над которым стоял дом.

— Да, где они? Где они, пожиратели своих хозяев? — вопила лэди Тодар Мал, курганная в домотканое сари, прикры-

вавшее ее коричневое тело и подчеркивавшее его сухопарые контуры.

— Куда вы все попрыгались? Что же вы не выходите, сыновья сук! — орал сын сэра Тодар Мала, стройный, надменный молодой человек, мистер Рам Нат. — Рай Бахадур желает говорить с вами. Надо что-нибудь придумать против вашего дыма, не то вам придется выметаться отсюда!

Над фабрикой нависла тишина, но, казалось, достаточно пустяка, чтобы гроза разразилась; а густые облака дыма продолжали клубиться в насторожившемся воздухе.

— Уходите! Уходите! — крикнул Ганпат, появляясь в проходе. — Можете у себя в доме быть Рай Бахадуром, а что мы делаем — вас не касается.

— Ах, не касается? — задорно повторил молодой человек, стоявший в дверях, — нас не касается? А ну-ка, выйди сюда, ты, подкидыш, я тебе покажу!

— О, не унижай себя, дитя мое, — сказала лэди Тодар Мал. — Не разговаривай с ним! Пойдем отсюда! Нам, людям благородным, нечего тут делать с этими подонками общества, с этими горцами!

Она, может быть, и удалась бы, тем более, что сэр Тодар Мал и его сын собирались с утра прокатиться в толге в городской сад. Но Ганпат ринулся к двери и толкнул Рам Ната под откос.

— Какая наглость! — заорал сэр Тодар Мал, упершись толстой тростью в камин и едва удержавшись на ногах, так как сын, падая, толкнул его.

— Да, какая дерзость! Взгляни на этого Ганпата! — визжала лэди Тодар Мал.

Но молодой человек уже вскочил на ноги, схватил Ганпата за горло и начал кулаками наносить ему удары по всем правилам бокса, изученного им в колледже.

Муну, Тулси и Бонга, потеряв голову, ринулись к двери фабрики.

Ганпат скатился в овраг. Но он выполз обратно, тщетно слясь обхватить врага, а тот осыпал ударами его лицо. Нос Ганпата был в крови.

— О, брось его, брось, — кричал сэр Тодар Мал, расстроенный и дрожащий, укрывшись в дверях своего дома.

— Бешеный скот! Пропойца! Мошенник! Высвечка! — голосила лэди Тодар Мал. Руки ее бешено жестикулировали, словно обрушивая проклятия на окружающих.

У окон соседних домов толпились женщины и шептались, охваченные страхом.

¹ Рай Бахадур — дословно: царь, герой. Титул, жалуемый англичанами индусам за заслуги перед колониальной властью.

Вдруг из прохода, где стояли Муну, Тулси и Бонга, выскочил Прабха. Ринувшись в самую гущу свалки, он обхватил Ганпата и подставил собственную грудь под удары Рам Ната, заявив:

— Можете бить меня, бабуджи, можете делать все, что хотите. Но его пощадите. Он безумен.

— Оставь их, сын мой, оставь их, — просила лэди Тодар Мал. — Пенел да падет на их головы! Они отравили нам жизнь! Они занесли до небес! Выскочи!

— Нельзя, чуть что, сейчас же лезть в драку, Ганпат, — сказал Прабха, уводя своего компаньона. — Объясниться с ними — дело наших домовладельцев, не наше. А теперь вот вас пзбили! Ва!

Козье Лицо мрачно зашагал прочь, грубо расшвыряв парней, стоявших у него на дороге. Униженный своим врагом, он срывал бессильную и мстительную злобу на собственных кули.

— Тише! Тише! Нельзя так поддаваться гневу, — остановил его Прабха, со свойственным ему простодушным смиренным.

Муну отлетел в грязь между двумя бочонками. Тулси ссадил себе колено, а Бонга упал на помост в нише.

Все трое, крадучись, вернулись на свои места и принялись за работу. Муну снова стал разгребать золу. Бонга занялся чисткой чанов. Тулси наполнил один из чанов листьями. Только Махарадж, равнодушный к событиям, невозмутимо таскал воду, он ходил, словно слепой, взад и вперед, и толстые синие вены выступали на его ногах и голенах точно внутренности мертвого животного.

— Поди сюда, охе Муну, тебя зовут наверх, — сказал Прабха.

Муну поднял глаза. Прабха сделал около губ жест, означавший, что мальчика ждет наверху нечто необычайно вкусное.

Если Прабха считал, что может уладить ссору между Ганпатом и сэром Тодар Малом, просто сложив руки в знак смирения перед соседом, то сэр Тодар Мал отнюдь не собирався остановиться на этом. Ибо сэр Тодар Мал имел «руку» среди высшей администрации.

Сэр Тодар Мал больше двадцати лет считался светилом даулатпурской судебной камеры и был широко известен своим красноречьем, с помощью которого ему удалось зацптитть немало обвиняемых. Когда он был назначен прокурором Дау-

латпурского суда, правительство Индии не могло не оценить всей убедительности его риторики. И хотя теперь он уже давнѐ оставил этот пост, он пользовался в глазах начальства высоким престижем, так как пожертвовал во время войны в «Фонд вице-короля» двадцать тысяч рупий. За обнаруженную им неуклонную лояльность при исполнении столь трудной обязанности, как поддержание закона и порядка в стране, он получил титул Рай Бахадура: за заслуги во время войны был возведен в сан Рыцаря — Командора Индии; а за гражданские заслуги назначен членом Даулатпурского муниципального комитета. Все эти почести заставили жителей Даулатпура почитать его великим человеком, хотя они и не понимали, что значит быть Рыцарем или членом муниципалитета.

Кое-кто, в связи с его странным решением укрыться во время последних политических беспорядков со всем своим семейством и наиболее ценной движимостью в Даулатпурском форте, называл его предателем. Но боялись его все, и даже те, кто не уважал его, смиренно складывали руки, приветствуя, как «Рай Бахадур сахиба», когда он проезжал в своей высокой топге, запряженной белой лошадью, которой правил его сын. Он догадывался о неискренности их поклонения и охотно восседал бы за городом, в одном из трех своих бунгало, если бы не получал столь высокого дохода, славая их втайме англичанам. Да и лэди Тодар Мал, будучи неграмотной и не очень сведущей в европейских обычаях, нашла бы для себя стеснительной жизнь среди англичан и была бы лишена возможности сплетничать, а иногда и подраться с женщинами, жившими в домах над оврагом. Все же за последние годы сэр Тодар Мал, чтобы спастись от дыма фабрики, не раз подумывал о переселении, но окрестные жители и жителипцы, забыв все, что касалось предательства Рай Бахадура, «положили свои смиренные головы на его досточтимые ноги» и, прославляя его дружбу с «ангрезми саркаром», молили не лишать их спасительной сени его покровительства.

Итак, сэр Тодар Мал решил остаться и умереть там, где жил, то-есть среди своих соплеменников. Правда, он попытался сделать свою жизнь в старом доме более приятной, попросив владельцев соседнего дома, братьев Датт, выбросить вон фабрику по обработке плодов. Но братья Датт не видели никаких оснований отказываться от платы за совершенно бесполезный са-

рай. Сэр Тодар Мал постоянно ссорился с преуспевавшими владельцами фабрики. Теперь дело дошло до крахи. Простая мысль о том, чтобы поставить трубу, никогда не приходила в голову ни ему, ни кому-либо из заинтересованных лиц.

Наконец, он решил написать жалобу санитарному инспектору, доктору Эдуарду Марджорибэнксу, своему приятелю и коллеге по муниципальному комитету.

Он написал следующее:

«Доктору Эдуарду Марджорибэнксу, эскв.

От Рай Бахадура, сэра Тодар Мала, бакалавра права, адвоката при Верховном суде Пенджаба, бывшего прокурора, Дадлатпур.

Уважаемый сэр.

То, что я не пользовался каждым случаем выразить Вам глубокое почтение, которое питает к Вам мое сердце, кажется мне непростительной ошибкой, и я едва осмеливаюсь просить Вас отпустить мне эту вину. Поэтому мне крайне стыдно напоминать Вам о себе посредством этого письма. Все же, примите мои сердечные уверения в том, что Ваше имя неизгладимо запечатлено на таблице моей памяти, как самого близкого мне друга и в муниципальном комитете и вне его.

Мне приходится просить Вас о чести посетить меня в переулке Кошкодавов, который постоянно полон дыма, вследствие сжигания каменного угля на фабрике по обработке плодов, помещающейся рядом с моим домом.

Вы окажете мне великую честь, ибо 26 с. м., вскоре после рассвета, мой сын, сделавший замечание владельцам фабрики по поводу дыма, распространяемого их вечами, подвергся нападению некоего Ганпата, и хотя мой храбрый сын, мистер Рам Нат, и свернул Ганпату кончик носа, но получил при этом значительные ушибы, от которых его лицо и тело одеревятели, вскочили и посинели, а пальцы сведены в поныне.

Мои заслуги перед правительством Вам хорошо известны. Я пожертвовал в военный фонд Его Высочества Вице-короля двадцать тысяч рупий, за что и получил славный титул Рыцаря. Надеюсь, что, памятуя об услугах, оказанных мною всемирно-любивой Империи, вы придете и освободите меня от этого докучного дыма, который является постоянной причиной досады, сожалений и печали для меня и моих близких.

Передайте миссис Марджорибэнкс скромные селамы моей жены.

Остаюсь незабывающий Вас, вечно благодарный и преданнейший Ваш слуга
Тодар Мал».

К сожалению, упомянутый чиновник из Санитарного управления игнорировал это письмо.

Когда доктор Марджорибэнкс не ответил и не посетил дом у оврага, сэр Тодар Мал рассердился. Он стал нетерпеливо ждать общего собрания членов муниципального комитета, которое должно было состояться первого сентября.

Утром этого дня он рано выехал из дома, с грумом, в двухколесном фаэтоне, который держал, помимо тонги, для торжественных случаев. Сначала он отправился подышать воздухом в городской сад, а затем на собрание членов муниципального комитета в здании городской ратуши.

Боясь опоздать, он приехал за час до начала. От зной сентябрьского солнца и ярости, которую он распалал в своем сердце, он был покрыт испариной. Как маятник, ходил он по коридору ратуши, его мучили приступы кашля, и его гнев все нарастал.

Наконец бронзовый гонг на городских часах пробил десять, и сэр Тодар вошел в помещение комитета.

Он был первым из членов, явившихся на собрание.

В течение получаса он был единственным.

В течение часа он тоже был единственным.

Затем вошел сторож и стал обметать столы и стулья.

Через полчаса явился секретарь, доктор Хем Чанд, молодой человек в очках; он почтительно поклонился сэру Тодар Малу, имея привычку почтительно кланяться каждому из членов, так как по своей работе от каждого зависел.

— Половина одиннадцатого, бабу Хем Чанд, — сказал сэр Тодар Мал, вытаскивая за массивную серебряную цепочку золотые часы из внутреннего кармана сюртука, — а никого еще нет.

— Да ведь вы знаете, какие они, эти лалы, — сказал мистер Хем Чанд, стряхивая пепел с напшросы и принимаясь писать протокол прошлого собрания. — Они никогда не научатся местному самоуправлению, раз они так не точны.

Это была правда, сэр Тодар Малу было известно, что большинство членов муниципального комитета — неграмотные лавочки, не умевшие даже написать свое имя и вместо подписи проставлявшие под бумагами отпечаток своего большого пальца.

Они ничего не понимали в вопросах, которые обсуждал комитет. Будут ли они в состоянии понять суть его жалобы на братьев Датт, на владельцев фабрики, а, главное, на санитарного инспектора, столь оскорбительно пренебрегшего его письмом. Он собирался произнести горячую обличительную речь на заседании комитета, прося уволить санитарного инспектора. Но не трудно ли будет этим жалам из Пенджаба слушать его речь на индустани?

— Ах, да, сэр Тодар Мал, — вдруг вспомнил секретарь, — доктор Марджорибэнкс показывал мне ваше письмо... Он очень занят и редко бывает на оврагах, но он хотел бы поехать туда вместе с вами...

— Мистер Хем Чанд, — сказал сэр Тодар Мал, — я просил бы вас включить сегодня в порядок дня обсуждение моей жалобы на инспектора...

— О, Рай Бахадур, — отозвался Хем Чанд. — Вы знаете, что в комитете ничего нельзя обсуждать. Большинство членов только наущивают властям и ничего в делах не понимают. Один будет три часа плести чепуху, другой — делать язвительные намеки, третий — бессмысленно кивать головой. И никто не захочет уволить английского чиновника, когда правительство только и ждет, как бы отнять у нас привилегии местного самоуправления и воспользуется для этого первым же случаем. Доктор Марджорибэнкс здесь, я попрошу его прямо отсюда поехать вместе с вами и обследовать эту фабрику. Вы всегда были другом правительства. Зачем наживать себе на старости лет врага-англичанина?

— Очень хорошо, очень хорошо, — сказал сэр Тодар Мал, поняв, насколько неприятна перспектива публичного перемывания грязного белья и насколько лучше договориться приватно, как придумал секретарь. Кроме того, он представил себе, как он едет по базарам своего родного города в обществе англичанина, это еще повышает его престиж.

Появился доктор Марджорибэнкс, коротенький толстый сорокалетний человек, в спортивном костюме, лысый и фатоватый, с хитрой улыбкой под тонкими светлыми усами.

— Доброе утро, сэр Тодар Мал, — приветствовал он своего коллегу. — Очень сожалее, что у меня не было времени ответить на ваше письмо. Но я играл в крикет в Лагоре.

— Доброе утро, сахиб, — сказал Тодар

Мал, отвечившая смиренный поклон, мажоразавшийся с его напыщенной важностью.

— Ну, пошли в мой автомобиль, — сказал Марджорибэнкс. Грубость его тона, как нельзя больше соответствовала общему стилю его жизни: подобно всем англичанам, проживающим в Индии, он не кладая рук играл в крикет, теннис, поло, бил виски и старался не стареть, ибо это был единственный способ сохранить любовь жены и быть счастливым. — Попробуем новенький форд, который моя жена только что привезла «из дому». Уверен, что вам понравится.

И он ринулся к своей машине. Это был ловкий маневр. Он не хотел ехать в фэнтоне сэра Тодар Мала, так как невидел, когда на него взглядели и надоедали своими селямами все эти черномазые, как он называл индусов.

Сэр Тодар Мал понял, что его мечта — проехаться на глазах у всех по базарам в открытом экипаже рядом с англичанином рассыпалась прахом.

— Очень хорошо, сахиб, — сказал он как можно любезнее и довольно неуклюже влез в автомобиль. Доктор Марджорибэнкс тоже вскочил и сел рядом с ним.

— В дом Рай сахиба, хузур? ¹ — спросил Суча Сингх, шофер синх ².

— Да, — ответил Марджорибэнкс.

Автомобиль тронулся, и сэр Тодар Мал, хотя и сожалел о том, что скрыт от мира в кабине, все же наслаждался роскошным пружинящим сиденьем, которое упруго поднималось и опускалось под ним.

Доктор Марджорибэнкс не сообразил того, что улицы по ту сторону ратуши слишком узки, и добрую часть пути пришлось идти пешком.

Семеня рядом с санитарным чиновником по базару Мэй-Севан, сэр Тодар Мал милостиво кланялся решительно всем лавочникам, безразлично замечали они, что он в обществе столь важного лица, или настолько были заняты своим делом, что вовсе его не видели.

Доктор Марджорибэнкс до сих пор никак не мог привыкнуть к толпам грязных подростков, которые следовали за пешеходами, выпрашивая мелкую монету, упрямо, нагло. Когда они дошли до пере-

¹ Селям хузур — приветствие, обращенное к высокопоставленной особе.

² Синхи — национально-религиозная группа, насчитывающая около 4 миллионов человек, живущая в провинции Пенджаб, на севере Индии.

улка Кошковадов, его лицо успело стать багровым от раздражения.

Взгляды мужчин и женщин, встававших с места в своих лавках, чтобы исподтишка поглазеть на него, заставляли его в ярости опускать голову.

Навоз, солома, рваные тряпки, разбитая глиняная посуда, прокисшая пища и другие отбросы, валявшиеся кучами по всем углам, вызывали в нем отвращение. А сэр Тодар Мал еще подливал масла в огонь.

— Городские метельщики плохо выполняют свои обязанности, сахиб, — жаловался он.

В одном доме хозяйка выбросила из окна какой-то грязный пакет чуть не на голову санитарному инспектору.

Доктор Марджорибэнкс стиснул зубы и сжал кулак.

В другом — водосток без трубы низвергал со второго этажа прямо на узкую улицу грязную воду после омовений какого-то благочестивого индуса.

Доктор Марджорибэнкс просто в отчаяние приходил от этой непереносимой Инлии.

— Вот мой дом, а вон фабрика, сахиб, — сказал сэр Тодар Мал.

— Вижу! — сказал Марджорибэнкс. Он не отваживался войти в сырой, скользкий овраг. Но долг выше всего. Кроме того, он услышал за своей спиной тихий шопот любопытных. Он не мог повернуть обратно. Нерешительно двинулся он вперед.

— Выйди, Прабха! Выйди-ка теперь, — кричала леди Тодар Мал с порога своего юма, прикрыв лицо покрывалом.

Доктор Марджорибэнкс вошел во двор фабрики.

— Добрый день, — сказал Муну, сидевший на помосте в одной набедренной повязке. В Шам-Нагаре молодой бабу научил его здороваться, как англичане, утром, днем и вечером, и он решил использовать свои познания.

— Доброе утро, — сказал Марджорибэнкс, слегка ошарашенный.

Он стал рассматривать двор с его грязным проходом, бочонками, полными плодов, с его чанами и печами. Жара здесь была еще невыносимее. Он вынул платок и стал стирать с лысины крупные капли пота, зорко глядя по сторонам, так как слышал позади себя шаркающие шаги, и его охватила смутная боязнь, еще усилившаяся, когда он вспомнил грошовые детективные романы, читанные им «дома», ребенком, — боязнь, что вдруг откуда-ни-

будь вынырнет, размахивая книжалою, страшное черное существо и заколет его.

Но когда англичанин обернулся, желая узнать, что угрожает ему, оказалось, что это всего лишь Прабха, отвесивший ему низкий поклон.

— Вы здесь хозяин? — спросил инспектор, коверкая индустани, как все англичане.

— Да, хузур, — сказал Прабха, бледный и дрожащий.

— Хорошо, Рай Бахадур, — сказал доктор Марджорибэнкс, обращаясь к сэру Тодар Малу. — Я сделаю все, что от меня зависит. Мне хотелось, чтобы там не торчали все эти люди, они только загораживают дорогу. Можете вы их убрать?

— Пошли прочь! — крикнул сэр Тодар Мал. — Я провожу вас, сахиб, — продолжал он, угрожающе помахивая толстой тростью в сторону кучки мужчин, женщин и детей, собравшихся на краю оврага.

— Добрый вечер, сахиб. — крикнул Муну заодно, стоя в дверях фабрики.

При звуках незнакомого голоса Марджорибэнкс нахмурившись, обернулся, однако, не мог не улыбнуться, увидев рвального смуглого мальчишку, говорившего по-английски.

Прабху охватил невыносимый страх. Он решил, что сахиб непременно посадит его в тюрьму. Он поспешил на фабрику и наполнил два кувшина вареньем и пиккулами. Дав их Муну, он отвел мальчика к леди Тодар Мал, которая, стоя в передней своего дома, вошла: — Вот теперь вы увидите! Вы теперь попляшете у меня, даром, что головы задрали до небес!

Люди, как правило, осознают себя под давлением внешней необходимости, в последовательности бессвязных и невразумительных событий.

Муну скоро привык к жизни на фабрике.

Это была темная, скверная жизнь. Он ложился после полуночи, а вставал на рассвете, не выспавшись. Спускался на фабрику и начинал работу, покрытый лишним потом, усталый, словно все силы ушли из его тела и остался только призрак прежнего Муну.

Но он научился работать. Сначала надо было отгрести угли. Затем он помогал Тулеи разжигать печи. Приходил Козье Лице, ругал рабочих и торопил их. Все же после ссоры с сыном соседа он значительно поостыл, даже ходил вместе с

Прахой в храм. И так как омовенне в священном водоеме и хождение вокруг могилы святого занимали большую часть утра, а затем он отправлялся на базары по заказчикам, вечером же ездил кататься на своем новом японском мотоцикле, — то его угрюмая физиономия показывалась на фабрике значительно реже.

Однако он мог вернуться в любую минуту. И плохо приходилось тому, кого он заставал без дела. Муну не понимал, отчего этот хозяин такой злой. Отчего Козье Лицо всегда чем-то словно доведен «до точки», нахмурен, отчего у него всегда брань на языке и наготове кулак. Мальчик не знал, что Ганпат — сын богатых родителей, воспитанный в роскоши, что он обижен на судьбу, так как его отец проиграл все свое состояние на бирже и, оставив сына без гроша, вынудил его зарабатывать. Хотя Прабха и помог ему устроиться и теперь Ганпат благодаря доброте своего компаньона жил в достатке, все же его неотступно грызло сознание, что сам он не умеет и неспособен работать, что он просто паразит. Не веря в себя и опасаясь каверз судьбы, он нарочно развивал в себе жестокость и грубость, а жажда денег и честолюбие постепенно превратили эти черты в орудия ненависти и беспрдельного эгоизма, только вредившие тем целям, которым они должны были служить.

Ненависть, горевшая в его воспаленных глазах, придавала ему вид отвратительный, злобный и дьявольский, словно он был убийцей, и люди отворачивались, когда он смотрел на них, сжав губы, упрямо, пристально.

Муну болтал и смеялся еще меньше, чем в доме бабу, он был в постоянном страхе перед Козьим Лицом. По утрам им овладевало состояние глубокой меланхолии, смутное чувство неверия в свои силы, а нарастающее ощущение слабости камнем лежало на сердце и выражалось в особой нервозности и неуравновешенности. Ему казалось, что по утрам он не в силах ни видеть людей, ни говорить с ними, особенно же с хозяйном и хозяйкой: одно ласковое слово, один ласковый взгляд — и он не выдержит, расплачется.

Единственное, что спасало его от этой подавленности, было некое чувство товарищества с другими кули.

Когда Ганпат отсутствовал, все они затягивали песнь горцев и под ее звуки размешивали огонь в печах, кипятили экстракты в чанах, носили из колодца воду и чистили фрукты в пещерах. Груст-

ная мелодия начиналась скорбным возгласом; протяжно плетя свой узор, она проходила через четкие звучные ритмы стиха, стремительно поднималась до кресендо и замирала; затем тот же поток ласковых слов, подхваченный певучей нежностью мелодии, повторялся в шепоте и заканчивался возгласом отчаяния. В противовес этой печальной песне, облегчавшей им тяжелую жизнь изгнанников, они пели затем какую-нибудь из задорных игривых народных песенок, бывших тогда в ходу. И Муну, казалось, обретал вновь буйную непринужденность своего детства, он начинал двигаться быстрее, шутил, изобретал всевозможные проделки, изводил старух в пещерах, пряча их фрукты, делал Махараджа и Бонгу мишенью для добродушных насмешек.

Во всяком случае, он был доволен тем, что много ходит. Разносить на голове тяжелые медные бутылки с экстрактами доставляло ему большое удовольствие, так как на это время он расставался с угрюмой жизнью фабрики и попадал в мир нарочно одетых мужчин и женщин и удивительных магазинов. К несчастью, Ганпат, если оказывался поблизости, зорко следил за тем, чтобы рабочие тратили на эти выходы как можно меньше времени, и горе тому кули, которого Ганпат постигал на базаре, прогуливающимся между лавками и глазающим на витрины. Провинившегося постигала кара. Он должен был целую неделю сидеть дома и ежедневно выкачивать из колодца по пятьдесят ведер воды, а вместо него посылался с бутылками Махарадж, которому было все равно — выходить или нет.

Так работали они изо дня в день в этом темном подземном мире, насыщенном жгучим зноем пылающих печей и острой вошью варящихся экстрактов, пряностей и патоки, а также золой и пылью, которые, смешиваясь с водой из бочонков, полных мочушными плодами, образовали на полу коридора слой скользкой грязи, прилипавшей к босым ступням рабочих. Кули ходили босые и голые, едва прикрытые набедренной повязкой; то и дело выливали кипящую воду, неустанно бурлившую в чанах и вновь наполняли их, соединяли приемники с жестяными трубами, обматывая их тряпками и обмазывая липкой глиной; остужали бутылки; переносили их; возвращались, чтобы вымыть фрукты; выдавали их женщинам и вместе с ними чистили, дожидаясь, пока будут готовы следующие бутылки экстракта; качали во-

ду из колодца или помогали хозяевам в сложном деле изготовления варенья и пиккулей. Они работали в течение долгих часов, с рассвета за полночь и до такой степени автоматически, что не отличали движений собственных рук от рук товарища. Только пот, струившийся по их телам и постоянно раздражавший кожу, напоминал им о том, что они заняты тяжелым физическим трудом. А когда они, в середине дня, по очереди уходили в дом, чтобы носить рису и гороху, приготовленных для них хозяйкой, их охватывало глубокое утомление и сонливость и им не хотелось возвращаться.

С наступлением зимы Муну свылся с фабрикой.

Темные закоулки похожих на пещеры подземных подвалов, где он озирался с таким страхом в первые месяцы после приезда, уже не казались ему мрачными. Он уже различал кувшины с вареньем и пиккулями, стоявшие рядами вдоль стен. Ему уже не чудились в пещерах чудовища со сверкающими зубами, чье дыхание — холодный вопючий воздух, чей голос — стонущий рев или голодный, металлический свист. Зимой не угрожали и змеи, тогда как летом он видел собственными глазами гигантского пифона, сидевшего на дровах в одном из дальних закоулков пещеры против пылающей печи. А Махарадж принес сплетенные трупы двух змей, очевидно умертвивших друг друга. Прабха же нашел в банке с вазельном маслом какое-то мертвое пресмыкающееся со ртом на обоих концах тела.

Кроме того, зимой не так было душно и жарко на фабричном дворе. Можно было сидеть возле печи и смотреть на яркое пламя, согревавшее тело горячими отблесками. Каждое утро Муну, усаживаясь перед печью, жадно следил за языками огня, вспыхивавшими на поверхности углей. Он был влюблен в огонь, пламя целительным жаром согревало его тело и бурные кирпичные стены. Оно плясало волшебный демонический танец, наполняя гущу тем теплом, в котором мальчик так нуждался, живя среди серых теней под нависшей железной крышей.

С приближением весны Муну почувствовал прилив радости. Каждый день рано утром на фабрику доставлялись манго, зеленые манго, крупные и незрелые, как те, что он воровал в деревенских садах. Их приносили кули в огромных мешках, больше их самих, и высыпали в пещерах на пол, а старухи-вдовы чистили их для варенья и мочения.

Сердце Муну взволнованно билось при виде этих плодов, и он нетерпеливо ждал, как и все рабочие, чтобы Козье Лицо убрался с фабрики — тогда можно было и полакомиться.

Однако неясность Муну скоро навлекла на него беду.

Нельзя есть много манго, даже когда они дозрели. Одного большого спелого плода хватает на целую семью, а мелких — можно высосать не больше пяти-шести штук. Нужен потом целый стакан освежающего напитка, чтобы смягчить действие терпкого и приторного желтого сока; что касается недозревших, то нельзя съесть и маленький плод, не причинив себе вреда.

Но спелых манго не оказывалось вовсе, так как для заготовок шли только зеленые.

У Муну уже ломило зубы от их терпкого сока, однако, охваченный детской жадностью, он поедал один за другим, пока у него не заболели глаза, а большие глаза явились для Козьего Лица лучшим доказательством его виновности.

Увидев однажды утром, что мальчик яростно трет их, Ганпат отвел его руку, которой он прикрывал покрасневшее глазное яблоко, и злобно ударил его несколько раз.

Рев Муну заставил Прабху спуститься вниз.

— Дуралей, ты бы зарыл зеленые манго в солону на несколько дней, да съел бы их, когда они дозреют, — сказал Прабха, обвиняя его и защищая от ударов Ганпата.

Муну всхлипывал.

— Избаловали! Вора из него сделали! — кричал Ганпат.

— Пойдем, я отведу тебя к врачу, он даст тебе лекарство для глаз, — сказал Прабха, уводя Муну.

— Вы мортите его, Прабха! Вы совершенно не понимаете, как надо вести дело! — кипятился Ганпат. — Эта свинья решительно ничего не делает, только лодырничает и жрет весь день незрелые фрукты. Поверьте, эти люди умеют работать только из-под палки. Теперь мы на несколько дней лишимся рабочего в самое горячее время, когда нельзя терять ни минуты, а тут еще мне придется уехать, чтобы собрать с клиентов деньги!

Но Прабха и Муну уже не слышали его, они входили в овраг.

Во время отсутствия Ганпата из Да-

улатпура «на земле был мир и в человеках благоволение».

Муну уложили на несколько дней в постель. у него была лихорадка и воспаление глаз. Но значительно облегчила ему болезнь нежная заботливость его хозяйки.

Когда он оправился от болезни после бесконечных шерботов и порошков, прописанных ему одним из клиентов Прабха Днала, пользовавшимся средствами туземной медицины, после примочек, которые любящие руки хозяйки прикладывали к его покрасневшим глазам, он снова сошел в ад подземной фабрики.

Все были к нему очень добры и работать заставляли мало. Он был слаб, задумчив и тих.

Поездка Ганпата продолжалась дольше, чем предполагалось. Это было счастьем, хотя Прабха и крайне нуждался в тех деньгах, за которыми уехал Ганпат. Ему удалось, однако, сделать заем у сэра Тодар Мала. От судейского крючка — один шаг до ростовщика, да это, впрочем, почти одно и то же. Прабха выдал соседу вексель, обязавшись вернуть через месяц пятьсот рупий, и получил деньги наличными из 45 процентов. Роздал он также несколько векселей по сто рупий некоторым ростовщикам с базара, так как надо было платить по срочным счетам. Но он знал, что клиенты должны фирме около двух тысяч рупий и что, с возвращением Ганпата, все долги будут погашены.

Прабха был рад, что хоть состоялось примирение с соседями. Он решил еще закрепить их расположение, сняв большую комнату в подвальном этаже дома сэра Тодар Мала, чтобы поместить в ней женщин, разминавших розовые лепестки для варенья. Прабха считал, что если дать соседу возможность положить в карман лишние деньги — это будет фабрике только на пользу.

Отношения с соседями улучшились.

— Отчего вы все бледнеете, Прабха? — Лэди Тодар Мал снисходила даже до подобных вопросов. Но Прабха не знал, искренно ли это внимание. Он складывал руки и извинялся за всякий пустяк. Ему не терпелось, чтобы скорее вернулся Ганпат и можно было бы развязаться со всеми задолжавцами. Но Ганпат все не ехал.

Наконец он явился. Казалось, он привез свары на кончике своего злого языка. Он орал на рабочих, бранил женщин и был враждебно молчалив с Прабхой.

Случай для ссоры не замедлил представиться. Прабха дал Муну кувшин со свежим розовым вареньем и приказал отплатить лэди Тодар Мал как взятку, ввиду того, что платеж был на семь дней просрочен. Когда Муну побежал с кувшином в овраг, спеша поскорее доставить его в этот дом, где он любил бывать из-за красивой английской мебели и картин, Ганпат, сидевший на помосте со своей трубкой, увидел его и пошел за ним, чтобы посмотреть, куда эго мальчик так бежит. Муну вручил кувшин лэди Тодар Мал, которая сплетничала с какой-то женщиной в своем холле. Ганпат ничего не сказал, но вернулся на прежнее место с нахмуренным лицом. Услышав за собой шаги возвращавшегося Муну, он круто обернулся, схватил мальчика за шиворот и закричал:

— Кто приказал тебе отнести ей варенье?

— Большой сетжи велел мне пойти туда и отнести, — сказал Муну испуганно. — Он велел давать ей все, что она захочет.

— Ну, дело ясное, — сказал Ганпат сквозь зубы. — А ты, видно, решил выслужиться и тут и там, коли бежишь со всех ног к нашим врагам с вареньями да сиропами?

Он звонко ударил Муну по щеке. Мальчик поднял руку, желая защитить лицо. Второй удар пришелся по кисти. Ганпат ушиб руку. Он рассвирепел так, что потерял власть над собой. Он стал бить мальчика кулаком под бок, один, два, три раза, пока Муну, пошатнувшись, не упал в грязь коридора, рыдая и вскрикивая.

— Гоняешь по оврагу, бездельничаешь, сын пса! — орал Козье Липо, чтобы скрыть свой гнев на дающего и на принимающих подарки. — Еще раз пойдешь, все кости переломлю.

Из пещеры выбежал Прабха, он стоял и смотрел на всхлипывающего Муну, лежавшего лицом в грязи. Его жалостливый взгляд встретился с воспаленным взглядом Ганпата. Тогда он оглянулся на дом соседей и увидел, что в дверях стоит раздраженная лэди Тодар Мал. Она, видимо, прочла на злом лице Ганпата всю его ненависть к ней и поняла, что его взрыв в отношении Муну — только маневр.

— Пожиратели своих хозяев! Низкие твари! Кувшинна с розовым вареньем вам жалко! А мы-то были так добры к вам. хотя ваш дым нам все глаза выел! Вас давно надо было вышвырнуть отсюда! Мы

даже часть своего дома уступили вам, чтобы вашим грязным старухам было где работать! Неблагодарные дряни! Вот уж верно пословица говорит: «Если друг твой — горец, он придет к тебе в дом, съест весь твой рис и горох и уйдет».

— Замолчите, — сказал Ганпат, испуганный грозой, которую вызвал, — это вас не касается! Мы имеем полное право наказывать наших слуг, если пожелаем.

— Ах вы, пожиратели своих хозяев! — воинственно продолжала женщина. — Козья морда! Это ты виноват во всех недоразумениях между Прабхой и нами! Он настоящий джентльмен. А ты, ты мошенник и выскочка! Твой отец, маkler, тоже был выскочка! Разве я не знаю тебя и твою семью? Твой отец выгнал свою жену и блудил с магометанкой, с шлюхой! А ты пройдоца и безобразник! Твой отец занимался спекуляциями да у людей деньги крал! А ты обкрадываешь своего компаньона! По твоим глазам вижу! Пес этакий, тебе место не здесь, среди порядочных людей, где есть молодые девушки и молодые женщины!

Когда Муну услышал, как соседка отчитывает Ганпата, он стих и сдержал рыдания. Он испытывал мстительное удовольствие оттого, что Ганпата так позорят, и охотно перестал бы плакать, так как ему не хотелось пропустить ни словечка из того, что говорила женщина. Но тут к ней обратился Прабха.

— О, мать, мать, прости нас. Видишь, я складываю руки перед тобой. Я упаду к ногам твоим! Я сотни борозд проведу по земле кончиком моего носа! Я любое наказание выполню, которое ты на меня возложишь! Но, прошу тебя, прости его. Прости его, ради бога, прости. Он неправ. Он безумен. Я с ним поговорю. Пойди и отдохни. Ты ведь знаешь, что ты наша мать, а мы твои дети. Остуди свой гнев, прости нас!

Но ее уже нельзя было остановить. Она поклонилась вперед и медленно и раздельно проговорила:

— Нет, больше не ждите от нас милости. В последний раз я простила ему, когда он осмелился затеять ссору с моим сыном. Довольно. Подайте мне ключ от моей подвальной комнаты! Вы, наконец, показали свое настоящее лицо! Убирайтесь из моего дома и верните нам наши деньги!

Прабха понял всю серьезность положения. к его обычной робости прибавился страх, что его посадят в тюрьму за дол-

ги. Все же, он сложил руки перед этой женщиной, хотя и решил дать ей отпор.

— Мать, прости нас, — сказал он рассудительно. — Этот человек не понимает, что такое добрососедские отношения. А вам следовало бы понимать. Вы не имете права так обращаться с нами...

Но укротить ее было невозможно.

— Нечего приходить ко мне просить прощения! Вы за него заступаетесь! Вон из моего дома! Верните наши деньги! Я еще добьюсь того, что вас отсюда вышвырнут!

— Что случилось? Х... о... а... а... аррр! Что случилось? — задыхаясь от кашля, спросил сэр Тодар Мал, он спускался по лестнице своего дома, одетый для обычного послеобеденного катанья в городском саду.

— Взгляни на этих пожирателей своих хозяев! — закухтала лэди Тодар Мал; ее щеки вспыхнули при появлении мужа, на лице отразились надменность и презрение. — Они весь наш дом проконтили своим дымом, а мы еще были добры к ним, комнату им сдали, денег одолжили, и вот они, эти низкие люди, пожалели для нас какого-то несчастного кувшиина с розовым вареньем!

— У нас достаточно денег, чтобы купить варенье на базарах! — сказал сэр Тодар. — Эти мерзавцы... — Он закашлялся.

— Рай Бахадур, прости нас, — сказал Прабха, стоя со сложенными руками перед сэром Тодар Малом и отвешивая ему низкие поклоны, пока тот старался откашляться. — Ганпат безумец. Я послал вам в дар немного варенья. Он не знал, кому мальчик несет его. Ведь к нам столько ходит всяких попрошаек. Он не знал. Он горяч и туго соображает.

— Он лжец, а теперь ты заступаешься за него, — вскипела лэди Тодар Мал.

— Знаете, — начал сэр Тодар Мал, стараясь говорить размеренно и спокойно, чтобы снова не закашляться, — это очень неблагоприятно с вашей стороны — сердиться за ложку варенья, после того как я одолжил вам денег, сдал комнату и взял обратно от сахиба мою жалобу на вас.

Он упомянул о жалобе в последнюю очередь, так как она осталась без последствий. Доктор Марджорибэнкс для удовлетворения ее так ничего и не предпринял, только раз, встретившись с сэром Тодар Малом после собрания комитета, сказал, что следовало бы на крыше фаб-

рики поставить дымовую трубу, а затем убежал играть в поло.

— Прости нас, Рай Сахиб, прости в последний раз, — молил Прабха, склоняясь к ногам сэра Тодара. — Никогда больше этого не случится! Вы нам отец и мать...

— Ну, хорошо, хорошо, Прабха, — сказал сэр Тодар Мал, поджимая губы, чтобы скрыть выражение тщеславной гордости, при виде человека, избивающегося перед ним в пыли. — Пусть эта свинья не ведет себя в другой раз так гадко и глупо.

И он удалился.

— Смотрите, эти бессовестные люди даже ключей не потрудились вернуть! — патетически воскликнула лэди Тодар Мал, простирая руки и обращаясь к толпе зрителей.

— Нехорошо так надоедать соседям, — мягко сказал Прабха своему компаньону, когда общее волнение улеглось. — Они ведь помогли нам деньгами, когда вас не было.

— О, лучше и не говорите мне об этом, — зарычал Ганпат. — Вы развалите дело с этой вашей привычкой вечно подносить подарки. И деньги они наверно дали вам под огромные проценты.

— Но ведь никто бы не дал нам денег без процентов, Ганпат, — заметил Прабха. — Вы же не выслали ни одной рупии из тех денег, которые вы собрали. Поневоле пришлось занимать. И срок выплаты уже давно прошел. Скажите мне, кстати, сколько вы привезли? Тогда мы покончим и с этим долгом и с двумя другими и погасим к лету все обязательства. Я все забываю спросить вас, сколько вы собрали.

— Около пятидесяти рупий, — сердито пробормотал Козье Лицо, опустив голову.

— Пятьдесят рупий? — воскликнул Прабха. — Но нам были должны от семисот до двух тысяч?

— Ну что поделаешь, сколько мог, — колко ответил Ганпат. — На самом деле я собрал около трехсот. Но, так как мне не была выплачена моя доля дохода за прошлый год, то двести пятьдесят я оставил себе.

— Ну, тогда другое дело, — сказал Прабха. — А то я испугался, когда вы сказали пятьдесят рупий...

Оба компаньона замолчали.

— Вот уж не думал, что вы так

оскорбите меня, — вдруг начал Ганпат вызывающе.

Прабху охватило неожиданное чувство отвращения. Было что-то в лице его компаньона, что сразу разрушило прежнее доверие к нему Прабхи; так иногда одно слово, поступок, жест способны вдруг разрушить самую глубокую веру в человека.

— Слушайте, — сказал он просто, — одолжите фирме двести рупий из тех двухсот пятидесяти, которые вы взяли себе, чтобы мы могли заплатить долги. А на той неделе я поеду в Лагор и доберу те пятьсот рупий, которые нам клиенты еще должны и которые вы не собрали, и вы получите обратно ваши деньги.

— Нет у меня этих денег, — отозвался Козье Лицо, внезапно побледнев. — Я истратил свою часть, — добавил он. — и в Лагоре вам больше собрать не удастся. Сколько я ни старался, я ничего сверх этого выжать из клиентов не мог.

Тут у Прабхи возникли подозрения.

С достоинством старшего брата, как он всегда держался в отношении Ганпата. Прабха сказал:

— Пойдемте, расскажите мне все подробно. Просмотримте счета и подумаем, откуда бы нам добыть денег, чтобы все это уладить.

Затем позвал Муну.

— О, Муну, пойдн сюда и сложи те суммы, которые тебе продиктует хозяин Ганпат.

— Почему этот ублюдок заслуживает лучшего обращения, чем остальные слуги? — не унимался Ганпат.

— С ними обращаются точно так же. — мягко отозвался Прабха, перелистывая счетные книги.

— Это он виноват в сегодняшней истории, он отнес варенье этой суке.

— Не начинайте опять зря бранить людей, — сказал Прабха довольно сурово. — Вы знаете, что мне уже пришлось извиняться за вашу грубость перед соседями. Послал им варенье с мальчиком я. Значит, тут не виноват ни он, ни они. И я сделал это потому, что хотел поддерживать с ними хорошие отношения, так как мы не уплатили во-время.

— Что это вы вздумали выдавать векселя, — сказал Козье Лицо, избрав другой пункт нападения на Прабху. — Помоему, надо занимать деньги, не связывая себя никакими обязательствами: не могу заплатить — и все.

— Быть нечестным в деловых вопросах не годится, вы знаете, — сказал Прабха.

— Мне все равно, годится или не годится, — огрызнулся Козье Лицо. — Если вы не дадите расписки, никто не может потребовать с вас деньги. И не смейте называть меня нечестным, я вам кости переломлю! — Он решил вызвать компаньона на ссору.

— Да я вовсе не называл вас бесчестным, Ганпат, — стал уверять его Прабха. — Вы зря горячитесь. Успокойтесь, мы завтра все обсудим.

Ганпат знал, что если не сегодня, то завтра разрыв неизбежен. Нечистая совесть разжигала его злобу сильнее, чем любые упреки.

— Нет, вы обозвали меня нечестным! — воскликнул он, — и вы верите всему, в чем меня обвиняла сегодня эта женщина. Ну, так знайте же, я собрал восемьсот рупий и все, кроме пятидесяти, истратил! Я встретился с Амир Джан, которая жила раньше в Даулапуре. Но не воображайте, что я упрекаю себя за растрату этих денег! Я имею на них право. И не воображайте, что я теперь в ваших руках: я не позволю вам никаких оскорблений! Я не раб ваш и не допущу, чтобы вы меня шантажировали.

— По я же не шантажирую вас, Ганпат, — сказал Прабха, бледнее от гнева, хотя принуждал себя быть мягким. — Все в порядке. Вы молоды и холосты. Отчего же разок и не покутить? Истратили деньги, так истратили. И я рад, что вы наконец сказали мне правду. Мы постараемся занять у кого-нибудь эти деньги и разделаемся со счетами, и все уладится.

— Вы хитрый дьявол! Вы лицемер! — закричал Козье Лицо.

— Пожалуйста перестаньте браниться. Я совершенно во всем этом неповинен. Я — горец и режу правду по-честному, напрямик. Моя жизнь была тяжелая, трудовая, и я смотрю на все иначе, чем горожане. Лучше бы я так и остался кули и не обзаводился бы этой фабрикой!

— Подумаешь! — проиризировал Ганпат. — Неплохо вы умеете и невинность соблюсти и выгоду получить! Вы ловкач и хитрец, вы самый хитрый и продувной плут, когда-либо приходивший в город... Вы хитрый горный жес! Я расторгну товарищество и постараюсь втоптать вас в грязь за все ваши сегодняшние оскорбления. Вы обманули меня! Грязным кули ты был и останешься!

Ганпат собрал счетные книги, взвалил на плечо и пошел надевать башмаки, чтобы выйти.

— О, пусть башмак твой наступит на

мою голову, — сказал Прабха, поднимая башмак Ганпата и протягивая его компаньону с покорностью отчаяния. — Бейте меня по голове, пока я не облысею, но не покидайте меня! Два года работали мы вместе и создали это дело! Ужасно на старости лет снова стать кули, таскать тяжести на спине!

— Да мне наплевать, пропадай ко псам, гнусный, хитрый ублюдок! — сказал Козье Лицо. — Давай башмак. Можешь жрать павоз и пить мочу! Отец твой был кули, и ты кули. Зря я связался с тобой, грязная свинья! Ступай, ползай перед соседями, червь, ступай, трусливая скотина! Никогда не уроню я своего достоинства, ни перед кем не унижусь, и уж, конечно, не перед таким мерзким кули, как ты!

— О, браните меня сколько вам захочется, — сказал Прабха, — но не уходите. Успокойтесь, все уладится! Ваш гнев остынет.

— Пошел прочь, хам, — заревел Козье Лицо и бросился к двери.

Козье Лицо сдержал слово. Он открыл собственную фабрику. Тех пятидесяти рупий, которые остались у него от сбора денег по счетам старой фирмы, хватило для найма помещения и покупки необходимого инвентаря. Сырье он получил в кредит. Тогда он стал переманивать к себе клиентов Прабхи, уверяя, что обижен своим компаньоном и что дело Прабхи накануне банкротства из-за огромных долгов, которые никогда не будут заплачены.

Эта клевета скоро повсюду вызвала толки о том, что Прабхе грозит банкротство. Доверие к фирме было подорвано, кредиторы то и дело бегали к дверям фабрики, барабанили в нее кулаками и предлагали Прабхе выйти и отдать долги.

— О, выйди, Прабха, — кричали они наперебой. — Выйди, покажи лицо свое. Что ты прячешься к жене под юбку? Выйди, будь мужчиной!

Прабха очень тяжело переживал свой разрыв с Ганпатом. А боязнь не выпутаться из сложного денежного положения так повлияла на него, что он свалился. Рабочие же его были слишком напуганы всеми этими происшествиями и не решались отпереть дверь. Кредиторы ломились в двери все громче и настойчивее.

— Выходи! Выходи, покажись нам, выскочка! Выходи, любовник своей матери!

Прабха лежал в дальнем конце комнаты и ничего не слышал; но его жена, сидевшая у его постели, слышала. Она встала.

но вследствие своей скромности, и врожденной и предписываемой обычаем, не вышла, а спустилась в помещенье фабрики и сказала Тулси:

— Тулси, пойдн скажи лалам, что твой хозяин болен и что он их примет завтра.

— Пойди, охе Муну, — обратился к нему Тулси, по своему обыкновению перекладывая порученное ему дело на другого. — Пойди и скажи, что хозяин болен.

Муну поднялся в жилую комнату и, подойдя к широкому окну, выходившему в овраг, сказал:

— Лаладжи, хозяин Прабха болен, у него лихорадка. Не придете ли вы завтра?

— Болен? Ты говоришь, болен? — взорвался один из кредиторов, одетый в муслин человек с длинным лицом. — Я знаю, что болен!.. еще бы не болен, коли на совести столько чужих денег! А все-таки пойдн и приведи его, или мы его сами вытащим из постели, этого подкидыша!

— Лаладжи, он право же болен, — повторил Муну, складывая руки в предчувствии скандала. — Пожалуйста, уходите. Завтра он выйдет и поговорит с вами.

— Иди, иди, соблазнитель своей дочери, иди и приведи его, — настаивал купец в огромном тюрбане, расшитых золотом туфлях и муслиновой одежде, обтягивавшей его жирное брюхо.

Муну отошел от окна.

Лэди Тодар Мал была занята мытьем пола в своей кухне на чердаке и сначала ничего не слышала, иначе она сейчас же сошла бы вниз. Но когда она вылиwała грязную воду с террасы четвертого этажа, снизу донесся рев:

— Стыда в вас нет, как вы смеете! Что вы льете на нас грязную воду, — кричал хор голосов. — Вы испортили нашу одежду, мать!

— А вы кто такие? — смущенно осведомилась лэди Тодар Мал. — Почему я знала, что вы тут? Что вам нужно?

— Нам нужен этот банкрот Прабха, — сказал один из них.

— Хай! Хай! Ужас! Беда! Чтоб его лицо почернело! — завопила она, сбегая по лестнице. — Так вы говорите, он разорился? Да? — крикнула она, увидев других кредиторов.

— Да, и он не хочет выйти и показаться нам, — сказал кто-то.

— Вай, ты, пожиратель своих хозяев! — продолжала она. — Вай, чтоб ты пропал! Чтоб тебя змея ужалила! Отчего ты не выходишь к нам? Где ты там спрятался? Пойди сюда и отдай мне сначала пятьсот

рупий моего мужа. А с другими расплачивайся как знаешь, хоть жестянками изпод варенья. Как же мы вернем теперь наши деньги?

— Пойдем за полицией, — предложил длиннолицый купец.

— Подождите. — остановила его лэди Тодар Мал. — Мой сын — тханедар¹... Он наверху. Я позову его. — И она ринулась вверх по лестнице.

Рыдания жены разбудили Прабху.

— Что случилось? — спросил он.

— Там внизу шумят купцы, — неохотно ответил Муну, — они требуют вас.

Прабха сейчас же встал и подошел к окну, выходившему из овраг. Он был бледен и слегка дрожал. Он сложил руки и хотел обратиться к своим кредиторам, но они закричали:

— О, вот он, убудок! Вот он, негодяй! Вот он, мошенник! Иди-ка вниз, сын собаки! Иди и отдай наши деньги.

— О, прошу вас, простите меня, лаладжи. Я каждому из вас заплачу, до последнего гроша. Я верну все, что должен. Пусть я даже умру из-за этого. Но, пожалуйста, не браните меня!

— Иди вниз, сын борова, — требовали они хором. — Иди, и мы поговорим с тобой! Отчего ты не желаешь сойти вниз? Мы давно зовем тебя.

— Я был болен, — сказал Прабха, все еще со сложенными руками, — я лежал в постели и не слышал вас.

— Не слышал нас? Ах ты, подлец! Да мы до хрипоты кричали!

— Где он? Где он? Где он сейчас? — спрашивала лэди Тодар Мал, стремительно сбегая по лестнице.

— Где ты, охе! Иди вниз, сын суки! — кричал, следуя за ней ее сын, Нат Рам, пыжась и важничая перед купцами оттого, что занимал столь высокий пост, который получил исключительно благодаря связям отца. Он был в мундире цвета хаки с черным поясом, при пистолетах и свистке.

— О, простите меня, тханедар сахиб! — взмолился Прабха, дрожа от страха.

— Сойди вниз, или я с тебя шкуру спущу! — гремел тханедар.

— Хорошо, тханедар, хорошо, — сказал Прабха. Но он все еще не был уверен, следует ли рассказывать всем этим людям, как его обманул его компаньон.

— Так ты не хочешь сойти, — закри-

¹ Т х а н е д а р — начальник полицейского участка.

чал тханедар. — Прекрасно. Я иду за полицейскими.

— Простите, о простите меня, — плакался Прабха. — Я ведь простой рабочий, кули, я же не знал, что Ганпат уйдет и бросит меня.

— Наконец-то ты понял, где твое настоящее место, — сказал пузатый лала. — Ты хотел стать важным сетом, не правда ли?

— Давайте вытащим его оттуда и запрем фабрику, — предложил длиннопдый, — может быть, удастся вернуть деньги, если мы продадим оборудование...

— Я первая имею право на деньги, — заявила лэди Тодар Мал. — Все эти годы он коптил мой дом своим дымом. Первым должен получить свои деньги мой муж.

— Пойди сюда, Прабх Диал, с тебя следует прежде всего за наем фабричного помещения и комнаты, в которой ты жил, — сказал, приблизившись, человек с обезьяньим лицом; яркие белки его глаз подчеркивали черноту лица, он был одет пестро — в рубашку с открытым воротом, легкий пиджак, белые панталоны и черные сапоги.

— Дайте дорогу бабу Дев Датту, — сказала какая-то женщина из толпы, собравшейся у спуска в овраг.

— Я заплачу вам, бабуджи, — сказал Прабха, протягивая сложенные руки к своему домохозяину. — Я заплачу вам за наем помещения, даже если бы это мне стоило жизни.

— Ну, твое слово темерь не имеет цены. Ты ведь обанкротился.

— Потерпите, бабуджи, потерпите, вы получите ваши деньги.

Прабха поспешил в глубь дома, чтобы поднести хозяину вместо платы прохладительные напитки, столь искусно изготовленные его женой.

В эту минуту появилось двое полицейских — синх и магометанин — в куртках и брюках цвета хаки и в красном и голубом тюрбанах; размахивая дубинками, они стали очищать в толпе дорогу для полицейского инспектора и сына сэра Тодар Мала, субинспектора, приближавшихся с необычайной важностью и помпой.

— Где Прабха? — грозно рявкнул тханедар.

— Он смылся, этот пожиратель своих хозяев, — сказала лэди Тодар Мал, прикрывая грудь полою сари и отступая в холл своего дома с тем стыдливим и достойным видом, какой полагалось иметь матери тханедара в присутствии полицейского инспектора-англичанина.

— Пойдите и вытащите его оттуда, Тейя Синх и Мухамед! — приказал тханедар.

В ту минуту, когда полицейские ринулись к двери фабрики, эта дверь распахнулась, так как Прабха выходил в сопровождении своих рабочих.

— Выходи, свинья! Выходи, собака! — заорали, размахивая дубинками, полицейские и схватили Прабху за воротник.

Когда они вырвали Прабху из объятий Муну, Тулси и Бонги и вытащили его во двор, все время подгоняя пинками, кредиторы завывали, как дикие звери, почувавшие добычу.

— Давайте сюда эту грязную собаку, этого грязного горца! Вытолкайте его оттуда!

— Отведите его в полицейский участок, живо! — приказал полицейский инспектор, подозрительно поглядывая на Прабху. — Видимо, упрямый прохвост!

— Да, негодяй первый сорт, — сказал тханедар.

Затем он обернулся к кредиторам:

— Приходите завтра все в участок для дачи показаний. А пока можете вернуться к своим прилавкам. Мы тут разберемся.

— Да, хузур! Да, тханедар сахиб! — закивали купцы, складывая руки перед этим могущественным другом ангрези саркаров, которых они почитали и боялись больше всего на свете.

Тейя Синх и Яр Мухамед повели Прабху по узкому оврагу, мимо перешептывавшихся любопытных, которые, казалось, все до одного были поражены такой демонстрацией мощи. Слезы потекли по щекам Прабхи, когда он, обернувшись, посмотрел на окно, у которого стояла, плача, его жена.

— Смотри вперед, свинья, иди в участок, — закричал тханедар, выступавший со своим начальником позади полицейских.

На некотором расстоянии следовали Муну, Тулси, Бонга и Махарадж. Муну всхлипывал, Тулси был мрачен и бледен, Бонга растерянно смотрел перед собой и пытался что-то сказать, Махарадж ковылял молча.

Процессия прошла переулком Кошгодавов и свернула на Книжный базар, за которым под бапней с часами находился полицейский участок. Прохожие и владельцы лавок смотрели ей вслед, одни — изумленные, другие — испуганные, шепча, третьи — равнодушно продолжая болтать о своих делах, четвертые — выкрикивая брань и проклятия по адресу человека, которого некогда почитали как сетжи.

Сидя на чарпае¹, светловолосый, горбоносый магометанин жускал клубы дыма из своего камьяна.

— Заставь его признаться в своем преступлении, — приказал тханедар. — Он арестован за неплатеж долгов.

Сержант встал, отдал честь своим начальникам, вошел в комнату, расположенную позади веранды, и вынес оттуда трость.

— Ну, признавайся, мошенник, — сказал он, подойдя к Прабхе, которого Тейя Сипх и Яр Мухамед все еще крепко держали, — признавайся, где припрятал деньги? Ну-ка, скажи!

— Хузур, — отвечал Прабха, складывая руки. — Нигде у меня не припрятаны деньги. Но у меня есть инвентарь. Только простите меня, и я выплачу до последнего гроша все, что должен.

— Ты врешь, любовник своей матери! — крикнул на него Рандэ Кан. — Говори правду!

И он больно ударил его тростью раз, другой, третий.

— Я сказал правду, — захныкал Прабха. — Хузур, я не вру.

— Подумаешь ты, невинный ангел, сын Эблиса², — заорал сержант и ударил Прабху по лицу.

— Это же правда, саркар! Это же правда! — И Прабха поднял руки в наручниках.

— Значит, свинья, шот-твоему, лжет тханедар сахиб? — зарычал сержант. — Признавайся сейчас же, признавайся!

И он стал наносить Прабхе удар за ударом, упоенный яростью, с окаменевшим лицом, сжав губы, склонившись грузным телом над бедным преступником.

— О, не бейте его, не бейте! — закричали Муну и Тулси. — Это Ганпат виноват.

Сержант остановился, чтобы перевести дух.

— Бей его! Вот так бей! — И полицейский инспектор ударил сержанта, показав, как нужно бить. Затем обернулся к парням, которые стояли за его спиной, ошарашено заинтересованные и его белой кожей, и тем, как избивают их хозяина, и крикнул:

— Вон!

— Пошли прочь, свинья! — взвизгнул сорвавшимся голосом тханедар, — пошли прочь, здесь вам не балаган. — И он на-

чал хлестать своей тростью по голым спицам и ногам.

— О, бейте лучше меня, хузур, бейте меня! — завопил Прабха. — Бейте, сколько хотите, но пощадите этих парней.

— Молчи, боров! — сказал сержант, размахивая тростью. — Проваливайте отсюда, это вам не балаган. Меня самого побили за то, что я был слишком добр к нему! Получай! — И он снова принялся стегать Прабху еще и еще, пока вся комната наполнилась одним только мелькающим блеском трости.

Жалобы Прабхи слились в непрерывный вой:

— О, мой бог, о, бог. Где ты, бог мой?

Муну, Тулси, Бонга и Махарадж смотрели то на своего хозяина, то на безоблачное небо, и хотя сердца их сжимались от муки — глаза оставались сухи. Волна неизбыточной, невыразимой горечи подкатывала к горлу.

— Придется нам сегодня ночевать под открытым небом на Зерновом базаре, если мы хотим завтра работать грузчиками и помочь хозяину Прабхе выпутаться из беды, — сказал Тулси.

Приятели оставили расхворавшегося Прабху на попечение его жены. Муну и Тулси знали, что она просидит у его постели всю ночь. Поэтому они пошли ночевать на Зерновой базар. Там, по слухам, можно было найти работу по переноске грузов.

Они шли наугад в гнетущем жарком ночном мраке, едва озаренном тусклым светом месяца. Шли усталые, измученные и разбитые, думая только об отдыхе, о сне. Но жутковатые звуки индийской ночи — судорожный кашель чахоточного, высунувшегося из окошка или свесившегося с плоской кровли, чтобы отхаркнуть мокроту; электрическое стрекотание сверчков и кузнечиков в компаунде соседнего храма; тоскливое мяуканье бездомной кошки, вслугнутой завыванием голодной собаки, которую в свою очередь разбудил рев священного быка, прозвучавший внезапно, как раскат грома, следующий за ударом молнии, — вся эта мрачная и тревожная атмосфера, наполненная духами умерших, по ночам посещающих, согласно верованиям индусов, свои прежние жилища, все это не могло не действовать на душу Муну и его спутника. А когда они, наконец, прошли во вязким косякам последний кусок грязной дороги и вступили в узкий извилистый проход Зернового базара, пе-

¹ Чарпай — индийская кровать из резного и раскрашенного дерева.

² Эблис — дьявол.

ред ними открылось еще более мрачное зрелище.

Квадратная площадь рынка, окаймленная низкими глиняными лавчонками, ветхими хибарками и большими пятиэтажными домами с арками, фасадами, куполами и колоннадами самой пестрой архитектуры, была заставлена грубо сколоченными деревянными повозками, вздымавшими к небу распятия своих оглобелей, а между повозками лежало или стояло множество волов с витыми рогами, носорогонодобных быков и тощих телят, перемаранных собственным навозом; они бесцельно обнюхивали воздух, жевали солому или траву, а попережку с ними лежали кули одного цвета с землей, иные хранили, другие еще сидели на корточках, сгрудившись вокруг общего кальяна, или искали местечка, где не было застоявшейся лужи, чтобы лечь. Запах сточных канав, гнилого зерна, навоза и мочи, кислая вошь людского и коровьего дыхания и едкий дым тлеющего кизяка—все это придавало воздуху такую удушливость, от которой тошнило, пока человек не привыкнет, или его внимание не отвлекалось заботой о том, как бы не наступить на распластанные тела, то вагие и лоснящиеся от пота, то завернутые в простыни, и как-нибудь защититься от мух и москитов, кишевших в темноте и нападавших на людей словно чума.

Едва очутившись на площади, Муну и Тулси тоже начали яростно хлопать себя по голым рукам и ногам, на которые уже набросились москиты.

Они неистово ругались:

— Ах, эти москиты, ах вы, соблазпители своих дочерей!

— Кто это там ругается? — донесся до них сердитый голос из группы кули.

Муну и Тулси слегка оторопели.

— Мы никого не ругаем, брат, — вежливо отозвался Тулси, — только москитов.

— А кто вы такие? — спросил другой голос.

— Кули, — отвечал Муну небрежным тоном, опасаясь, что муслиновая одежда Тулси может вызвать недоверие, тогда как его собственная нагота послужит верной рекомендацией.

— Ни для кого тут больше нет места, — пробормотал один из кули, черное тело которого лоснилось, так как он натирал его маслом, чтобы предохранить от москитов.

Здесь действительно не было места, люди лежали шеренгой, завернутые в простыни, положив головы на деревянные ступени какой-то лестницы.

Муну и Тулси осторожно двинулись дальше, пробираясь через шахматное поле тел, разбросанных как попало вокруг повозки. Затем пришлось лавировать между мешками с зерном, чтобы выйти, наконец, туда, где мерещилось свободное пространство.

— Кто тут? Если вор, берегись! — закричал ночной сторож с дубинкой в руке, лежавший тут же на койке.

— Кули, — отвечал Муну.

— Пошли прочь, пошли прочь отсюда! Лала Тота Рам не разрешает ни одному кули валяться около его лавки. Там есть несгораемый шкаф.

— Хорошо, махаралж, — покорно согласился Тулси и направился в северную часть базара, надеясь хоть где-нибудь найти прогалинку между сотнями людей, которые возлились и перекатывались с боку на бок, шептали, кашляли, вздыхали в удушливом зное, неотступно стоявшем над ними, словно упрямый и злой глиняный бог. Причудливые позы валявшихся вокруг него кули, тщетно пытавшихся заснуть, бормотавших «Рам, Рам», «Кришна» или «Хари, Хари»¹, пугали Муну. Он знал, что помнящие имя божье — старики или пожилые люди, он же, будучи свидетелем незаслуженных бедствий честного Прабхи, не чувствовал особого расположения к Бесконечному.

Он увлек Тулси на середине базарной площади, где были навалены грудой серые мешки с зерном, прикрытые сверху большим куском парусины. Обойдя эту грудку со всех сторон, чтобы убедиться, не сторожат ли кто-нибудь зерно, Муну стал искать выступ, куда бы поставить ногу.

— Становись на меня и влезай, а потом меня подтянешь, — предложил ему Тулси. И он наклонился. Муну ловко вскочил к нему на спину, балансируя прошел по ней и вскарабкался наверх. Затем сунул ноги между мешков, вытер потные руки и, протянув правую Тулси, встал и его. Тулси был тяжел, каждый мускул Муну ныл от напряжения, но зато здесь наверху дул горячий ветер, и его теплое дыхание приятно ласкало тело. Он огляделся вокруг, опасаясь, как бы сторож не заметил их и не согнал. Но повсюду были только тела, одни лежали на боку, другие на спине или ничком, свернувшись в клубки истомленной плоти, они, казалось, каждый своим дыханием вымаливали у стихий благодатный дар сна.

— Разве тебе не хочется спать? —

¹ Обращение к божеству.

спросил Тулси, уже в полудрабности после трудов и превратностей этого дня.

— Хочется, — сказал Муну, и все продолжал смотреть в темноту, бессознательно прислушиваясь к ночным звукам-вздохам, бульканью воды в чьем-то кальяне, журчанию разговора, гудению шмеля и хриплому кваканью лягушки. «На что ты смотришь? — спросил он себя и ответил: — Ни на что».

Он лег на спину. Поверхность мешка с зерном была округлая и удобная. Он посмотрел на небо, оно было серо-синее, проткнутое сбоку кинжалом месяца, из-под которого стекало сверкающими каплями несколько белокровных звезд.

Ничего другого за этим небом не было.

Его сон был беспокоен, он стискивал кулаки, словно хватаясь за последнюю опору, чтобы не утонуть, он судорожно ворочался с боку на бок, оң дышал неровно, задыхался. Раз или два он застонал, словно его душа, смятая всеми этими жестокими испытаниями, с трудом распрямлялась.

Когда ночной звон сменила утренняя свежесть, мучившая Муну лихорадка утихла, и он спокойно заснул, прижавшись к пузатому мешку, словно это было горячее тело женщины. Ни пение петухов на улице Ткачей, за базаром, ни щебетание бесчисленных воробьев, ни настойчивое карканье ворон, разбудившее и кули, и волов, и хромых собак, и набожных индусских купцов, не могли разбудить Муну и Тулси.

И только когда дрожащие от зноя стальные шипы солнца прокололи его нагую кожу, Муну, наконец, очнулся; его рот пересох, глаза слиплись, окаменевшие члены ныли. Он лепиво толкнул Тулси.

Желто-алое утреннее небо, вздымавшееся над базаром, вычернило его кожу, и он чувствовал, что грязен, нечист.

— Пойдем, охе Тулси, — сказал он, протирая глаза.

Тулси вдруг вскочил.

Муну посмотрел вниз. Он не знал, с чего начать, чтобы получить работу.

Некоторые кули уже таскали на спине мешки с зерном, они снимали их с повозок, запряженных волами, и относили на склад. Другие сидели и курили кальян и бири¹, мылись у колонки или, свернувшись в клубок, продолжали спать каким-то удивительным сном, подобным смерти, так как его не мог нарушить даже весь гомон базара. Жпзнь здесь, еще до от-

крытия лавок, уж кипела нестроцветным приливом и отливом самых разнообразных людей и дел. Важно лаллы в накрахмаленном тонком муслине и шелке проходили из лавки в храм и из храма в лавку. бормоча «Рам, Рам, Рам», «Хари, Хари. Хари» и другие молитвословия, обращенные неизвестно к кому — к Маммоне или к божеству. И тут же люди цвета темной меди, почти нагие, едва прикрытые лохмотьями, ругались, орали, задыхались пле лежали неподвижно, совершенно неподвижно, подобно трупам.

— Тулси, Тулси, — сказал Муну, испуганно оборачиваясь к товарищу. — Пойдем скорее, вон туда, в толпу возле той лавки, ее как раз открывают... Идем скорее.

И он спрыгнул с мешков и побежал к гомонящей, шумной толпе, собиравшейся у обширного склада перед грубо размалеванным четырехэтажным домом.

Тулси неснеша последовал за ним.

Однако пробраться в первые ряды оказалось очень трудно, слишком неистово ринулись вперед, в поисках работы, более рослые и сильные кули. Муну пытался протолкаться, забегал сбоку, проползал под ногами. Он весь вспотел от усилий. Но приблизиться к лавке не удалось. Беспомощно топтался он позади всех, и ему оставалось только слушать крики, брань и проклятия, вырывавшиеся из недр толпы.

— Назад, свиньи! Отойди назад! — кричал купец, стоявший на своем несгораемом шкафу с бамбуковой тростью в руке.

— Назад, мошенники! Никто не получит работы, если вы не отодвинетесь.

— О, лаладжи, о, лаладжи! Я Мухамед Бэт. Я у вас вчера работал! — кричал один из кули.

— Назад, ублюдок! Назад!

— О, лаладжи! Я легко ношу на спине по два мана!¹ Прошу, наймите меня! — приставал другой.

— Назад, мошенники! Пошли назад! Иначе ни один из вас не получит работы!

— Лала, лала, всего одна анна за мешок. Я возьму всего одну анну за то, чтобы отнести мешок отсюда куда угодно! — молил третий.

— Отойди, свинья, не то я тебе все кости переломлю!

— О, лаладжи! лаладжи!

Это было все, что Муну слышал в пер-

¹ Ман, маунд — индийская мера веса; чаще всего равняется сорока килограммам.

¹ Бири — индийская папираса.

вые секунды, затем раздались сухие удары бамбуковой трости о костлявые тела, разъяренное рычание первых рядов, топот многих людей, шарахнувшихся назад, отступавших словно волны, чтобы уклониться от ударов.

— Лала Такур Дас открывает свою лавку, — крикнул кто-то, и вся толпа хлынула к другой большой лавке с дверями из железных брусьев.

Муну решил, что выгоднее остаться на месте: толпа отойдет, и ему достанется работа. Когда Тулси вышел из первых рядов, куда он все-таки втерся, и позвал его: «Пойдем, охе Муну», — мальчик шепнул: «Останемся здесь! Все эти бараны убегают. Мы получим работу».

Случилось так, как и предвидел Муну. Но он предвидел не все.

— Идите сюда, собаки, даже в пот меня вогнали, — сказал купец, кладя подле себя бамбуковую трость. — Берите мешки со склада и погрузите их на телегу Рамата, он отвезет их на станцию железной дороги.

«От Гокал Чапда, Махан лала — Братьям Ралли¹, экспортерам в Карачи», — прочел Муну надпись на мешках с зерном, сделанную синими буквами на индустани. Но он был слишком юн, чтобы знать законы политической экономии, и, в частности, те, которые управляют экспортом пшеницы из Индии в Англию. Он только повторял имя Ралли, удивляясь его звучанию и необычности, как повторял нередко слова из хрестоматии в былые школьные годы.

Все кули, в том числе и Тулси, присели, чтобы было удобнее взвалить на плечи мешки, лежавшие на помосте. Затем они встали, некоторые пошатываясь, другие напрягая все тело, иные — легко, и зашагали куда-то, сгибаясь под тяжестью груза.

Муну решил сначала понаблюдать, чтобы знать, как взяться за эту работу. Присмотревшись, он повторил все их движения, начиная с поплеыванья на руки, для ловкости, и кончая вскидыванием мешка на спину. Но, на его беду, поднять мешок он оказался не в силах. Он решил, что наверно прозевал какой-нибудь чудодейственный прием, которым пользовались

другие кули. Он тужился, напрягался, елозил. Все было напрасно.

Остальные кули уже вернулись за следующей партией. А Муну все еще сидел, напрягая мышцы, силясь поднять непосильный груз.

— Брось ты это, соблазнитель своей сестры, — отеческим тоном заметил ему рабочий средних лет, — убьешь себя. Беги-ка лучше на Овощной рынок, там можешь таскать корзины с овощами.

Но Муну твердо решил заработать на пропитание себе, хозяину и хозяйке.

— Пойди сюда, подсоби мне встать на ноги, — обратился он к Тулси.

Тулси подошел и взвалил ему мешок на спину.

Муну поднялся, его ноги дрожали, все тело мучительно напряглось в одном усилии — удержать мешок на спине. Он сделал шаг, другой, третий. Теперь он уже шел, подгоняемый тяжестью мешка, как бы толкавшего его все вперед и вперед. Переходя канаву в конце рынка, он споткнулся, но усилием воли снова выравнялся, нашел равновесие. От чрезмерного напряжения его нагое гибкое тело покрылось испариной. Казалось, оно излучает жар, озарявший изнутри его смугло-бледную кожу. На миг он представлял собой зрелище изумительное по красоте — такими гибкими и упругими казались словно изваянные мышцы, такими уравновешенными его движения. Но тут ему пришлось переступить через порог. Он поднял левую ногу и, еще не решив, что лучше, перепрыгнуть порог или сделать большой шаг, поднял правую. Он зацепился одной ногой за другую, споткнулся и упал, мешок свалился с его спины, а он ударился головой о кочку.

— Ах ты, любовник своей матери! — завопил купец, спрыгивая с помоста перед лавкой, где он сидел, разбирая счета, вынутые из желтого портфеля. — Охе, ублюдок, кто тебя просил братья за этот мешок, раз у тебя еще кишка тонка! Пошел прочь, сопливый негодяй! Не видел я, что ты взялся за мешок, иначе я бы тебя погнал, поросенок! Ты хочешь, чтобы по твоей милости меня в тюрьму посадили за убийство, сын пса? Дрянь! Пошел вон.

Муну сразу вскочил на ноги и, забыв об ушибе, ринулся под прикрытие мешков, на которых почевал, памереваясь потом пробраться оттуда к другой лавке и снова просить работы.

Но купец продолжал браниться и привлек внимание других купцов, которые от-

¹ Братья Ралли — одна из крупнейших английских оптовых фирм, которые держат в своих руках свыше восьмидесяти процентов внешней торговли Индии.

крывали свои лавки и совершали обряд очищения, кропя святой водой несгораемые шкафы.

Они присоединили свои голоса к голосу собрата.

— Пошел прочь, паршивец, любовник своей матери! — повторяли они крикливо, автоматически, бессмысленно. Постепенно в травле принял участие весь рынок, точно Муну был вор или разбойник.

Муну так бежал к выходу, словно дело шло о его жизни.

Пробежав около ста шагов, он замедлил шаг. Его сердце судорожно трепетало, пот сбегал струями по лицу. Он отер щеку, на руке осталась струя алой горячей крови.

Из узкого прохода, соединявшего два базара, тянуло свежим сквозняком. Он остановился в тени большого дома, на ветру, чтобы хоть немного притти в себя.

«Нужно идти, — решил он. — Ити домой. Но я не могу вернуться, ничего не заработав», — пришла ему на ум мучительная мысль.

И на миг его охватило отчаяние, сердце замирало, в голове еще стучала молотком боль, и весь жар его тела словно перелился свинцом по взбухшим жилам в ноги. Показалась нагруженная мешками телега, запряженная черным буйволом с сонными глазами. Возле телеги шли два человека, они немилосердно стегали животное и старались с помощью широкой деревянной ручки повернуть оглобли. Муну пришлось пройти вперед, иначе широкая телега не проехала бы. Сначала он шел с какой-то пустотой в сердце, ничего не сознавая, затем вдруг остановился и задал себе вопрос, куда же, все-таки, он идет?

«На Овощной рынок, ведь старик кули сказал, что там можно носить корзины...» Ответ вспыхнул словно луч в темноте. Он зашагал дальше.

— Где тут Овощной рынок, брат? — дернул он за полу какого-то кули.

Человек вздрогнул, опешив, посмотрел на него, затем ответил:

— Второй поворот направо, за Чок Фарид.

Муну побежал прочь, даже не взглянув на кули и не поблагодарив его. Одно желание владело им: во что бы то ни стало заработать.

Овощной рынок был богаче красками и жизнью, чем другие, и торговля здесь начиналась раньше, так как торговцы старались распродать цветы и плоды, прежде чем солнечный зной умертвит их красоту и свежесть. Прилавки являли собой на-

стоящее пиршество красок и форм; тут были собраны все разнообразнейшие виды овощей и зелени, произрастающие в тропических садах и огородах Индостана: зеленые стручки, огурцы, шпинат, пурпурный перец, красные помидоры, белая репа, сизые артишоки, желтая морковь, золотые дыни, розовощекие манго, медно-розовые бананы. Все это было нарядно и заманчиво уложено в корзины, стоявшие в лавках ярусами до потолка.

А по улице двигались нескончаемым потоком пищенски одетые мальчишки-слуги, темнолицые старые вдовы, исполнявшие за гроши всевозможные поручения богатых, и женщины из буржуазных семей в пестрых шелковых рубашках и покрывалах, сопровождавшие своих дочерей или невесток в тяжелых, расшитых золотом шелках и ожерельях и пререкавшиеся с торговцами из-за цен на картофель.

Среди гула голосов, манящих выставок и симфонии запахов Муну растерялся и не знал, куда идти. Он не сводил глаз с плодов, алевших грудями на зеленых листьях. Он потянул носом в сторону тех корзин, где были выставлены наиболее нежные. Особенно привлекла его корзина зрелых, сочных, маленьких манго.

— Охе, ты, соблазнитель своей матери, — окликнул его какой-то лавочник. — Не снесешь ли вот это за два фартинга?

— Да, лаладжи, — отвечал хор из пяти голосов.

Но Муну уже вцепился в край корзины, которую держал лавочник. Оказалось, что здесь достать работу просто. Но всего за два фартинга!

«Неужели хлеб так дорог, а тело и кровь так дешевы!» — думал Муну, расталкивая своих соперников.

Хотя Прабха и поправился от лихорадки и побоев, он был болен нервной депрессией, вызванной продажей с аукциона всего оборудования фабрики. Он мучился страхом, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства — заплатить до последнего гроша, все, что задолжал кредиторам.

Ему становилось все хуже и хуже, пока доктор, наконец, не посоветовал ему уехать в горы, если он хочет сохранить жизнь.

Наконец его убедили вернуться с женой на родину. Тулси должен был проводить их до Патанкота, нанять телегу и вернуться. Муну предстояло остаться в Даулатпуре, так как нехватало денег, что-

бы купить всем железнодорожные билеты. Но спустя некоторое время и он присоединится к ним.

Расставание было мучительным.

И Прабха и его жена плакали навзрыд. Тулси нанял бамбуковую повозку. Он привел с собой двух кули, с которыми подружился на рынке, они по-братски предложили помочь ему отправить багаж.

Впрочем, вещей было немного. Чемодан и постель.

Когда Прабха поднялся, опираясь на Муну и Тулси, он еще раз окинул прощальным взглядом эту комнату, где протекли дни его благополучия. Затем посмотрел на чемодан и постель, которые взвалили себе на плечи приятели Тулси: это были единственные его вещи, когда он впервые вошел сюда. И только с этими вещами покидает он теперь Даулатпур. Все блага, приобретенные им потом, оказались излишними.

«Это хорошо, — сказал он про себя, беспомощно, философски склонив бледное лицо. — Все так, как и быть должно. Нагим приходит в этот мир человек, нагим из него уходит, и не может он унести с собой имущество свое на своей груди. Лучше странствовать налегке».

Бледные предвечерние лучи солнца, проникавшие в комнату сквозь железную решетку окна, казалось, заливали ее чистым золотом и словно переносили в другую, сказочный, волшебный мир. Ссутулившись, больной, слабый, измученный и раздавленный, Прабха поплелся прочь. Его поддерживали под руки оба его любимца.

Жена следовала за ним, стыдливо набросив покрывало на свое горе и на свою красоту.

Во дворе собрались соседи, чтобы проститься с этим кули, когда-то самым удачливым, а теперь самым несчастным из всех кули, пришедших с гор.

— Рам, Рам, брат Прабх Диал, — утешали они его печальными глухими головами. — Рам, Рам, все уладится. Ты вернешься. Ты выздоровеешь и вернешься.

— И забуду о своем жозоре, о своем банкротстве? — подхватил Прабха, терзая себя собственной пронией, так глубоко он усвоил идеалы «бизнеса», так был уверен, что нарушил законы общества, так унижен смириением, несмотря на все тяжелые уроки судьбы.

И затем, со слезами на глазах, срывающимся голосом философски резюмировал он все происшедшее словами индуcкой поговорки:

«Если пес умен, он учует капкан и убежит».

И вот Муну остался один. Он знал, что может получить пищу бесплатно у гробницы Бхагат Хар Даса. Решив воспользоваться этим, а также научиться благочестию, он направился к храму Вишну, где был однажды с Прабхой, в день своего приезда.

На этот раз он вошел через портал с той стороны, где находились роскошные дома богатых купцов, торговавших на Старом базаре. Полная луна заливала голубовато-молочным светом башню храма фаллической формы, и в этом свете купол казался пышно распустившимся лотосом.

Вокруг храма гуляло множество людей в ярких одеждах, и золотисто-красный свет фонарей загмевал серебристый свет луны. Муну, вместе с толпой, двинулся к усыпальнице Бхагат Хар Даса, мраморные стены которой белели за квадратным бассейном. В пище он нуждался больше, чем в утешениях религии, а это был час, когда беднякам и молящимся в кухне при усыпальнице раздавали хлеб и чечевицу. Монументальная архитектура здания наполняла его душу смутным страхом: ему чудилось, что божество гнетет его своим мощным незримым присутствием. Он застеснялся, мечтая об одном: поскорее уйти от этого божества, словно придавившего храм. Верующие двигались черепашим шагом, но Муну теперь мастерски научился нырять среди пешеходов города Даулатпура.

Крытым переулком он прошел во двор усыпальницы Хар Даса. Там стоял прилавок. На нем благочестивый браман¹ раздавал воду в плоских медных чашках, якобы бесплатно, на самом же деле — за деньги, ибо каждый, утолявший жажду, бросал медную монету к ногам святого мужа, который хотя и занимался хозяйством, но не утратил гордости своих могущественных предков. В горле у Муну пересохло. Он тоже поднес к губам чашку с водой, но когда он оставил оскверненную чашку, то не бросил святому медяка. Браман разразился бранью и закончил поговоркой:

— Да изыдут скряги.

Муну было наплевать на брань. Он уже

¹ Браман — член касты жрецов. В настоящее время лишь меньшинство браманов является профессиональными служителями культа.

давно привык к ней и не верил в ее магическое действие.

Под покровом темноты он стал исследовать, чем еще здесь можно поживиться. Он надеялся, что за даровой ужин здесь не взимают платы.

— Пища из кухни божьей! — закричал какой-то человек, раскачивая котелок на веревочной ручке. За ним следовал помощник с корзинкой.

Муну видел, как молодые нищенствующие монахи и городские попрошайки ринулись навстречу человеку с котелком, а позади, отталкивая друг друга локтями, завывали старики-аскеты. Наверно это и есть раздатчик бесплатной пищи. Еще минута — и толпа окружит его.

Муну прорвался вперед и остановился перед раздатчиком, протянув ладони.

— Где твоя тарелка? — спросил тот.

— Нет у меня тарелки, махараджа, — захныкал Муну, и его губы жалобно дрогнули.

Однако помощник уже бросил ему две мучных лепешки, а человек с кастрюлей вывалил на них большую ложку чечевицы. Их окружили нищие, отвратительно повизгивая, подобно голодным псам, и испуганно теснясь перед раздатчиком милостыни. Муну постарался поскорее выбраться из этой толпы и чуть не уронил свою порцию. Все же он вырвался на свободу. Один вид пищи утраивал его силы.

Он пересек двор и подошел к фонтану, игравшему струями перед садовой беседкой. Из сада доносилось смешанное благоухание жасмина и цветущих деревьев. Муну сел на край бассейна и принялся за ужин.

В течение первых минут он был весь поглощен едой, наслаждаясь вкусом чечевицы, хотя она и была полусырой.

Но едва утолив голод, он стал с любопытством рассматривать то, что окружало его.

Одна половина беседки была в тени, другая ярко озарена луной, и Муну увидел фигуру толстого «иога»¹, бритого, в оранжевой одежде, созерцающего немигающим взглядом струю фонтана. Иог словно окаменел в священной позе «спящего на лотосе», его ноги были скрещены, руки лежали на коленях в виде распускающихся цветов. Перед ним на корточках сидели старуха под скромным дымчатым покрывалом и в юбке цвета голубиного крыла и молодая женщина в пышных свадебных

одеждах. Обе, казалось, ждали, когда кончится транс «иога».

Муну встал и на цыпочках подкрался к божественному.

— А ты что тут шляешься, о, брахмачарня¹, в священном месте, где иог размышляет о божестве? Тебе еще играть надо с детьми твоего возраста!

— Иогиджи, — ответил Муну, — скажите мне, отчего вы сидите здесь так неподвижно и даже не моргаете?

— Уходи, уходи, уходи, дуралей! — шепнула старуха.

— Шанти, шанти!² — изрек иог, подняв руку, и его жест был полон святости и духовной красоты, крайне противоречившей, впрочем, улыбке извилистых губ. — Это добрый вестник, мать. Это прообраз ребенка, который родится у твоей дочери. Бог внял моим и твоим молитвам. Никогда не отвращай лица своего от посланца божества.

— Я тоже ищу бога, погиджи, — пылко заявил Муну. — Научи меня искать бога. Я тоже хочу найти путь...

— Ты еще дитя, — сказал иог. — Но если хочешь, иди к нам, мы сделаем из тебя ученика, и ты сможешь стать святым, если будешь служить своему учителю.

— Я как раз и ищу учителя, — сказал Муну, глядя на грудь плодов, принесенных в дар святому.

— Тогда собери все то, что здесь лежит, и следуй за мной, — сказал иог. Затем наклонился к старухе и шепнул. — Ночь в полнолуние благоприятствует зачатиям. Следуй со своей невесткой за этим юношей на некотором расстоянии от меня. Потом приходи в мое жилище за усыпальницей Хар Даса, но держись в отдалении, ибо люди злоречивы. В почтительном отдалении, понимаешь, мать?

Он снова обернулся к Муну и сказал:

— Следуй за мной на расстоянии ста шагов и проводи этих дам к черной лестнице, которая ведет в мои покои. Не теряй меня из виду и не заблудись, ученик.

Муну не знал, что у иога на уме, но знал, что его ждут какие-то приключения. Сочные плоды, которые он держал в руке, виноград, гранаты, медножелтые бананы и зрелые манго сладостно благоухали. Он выполнил в точности все, как ему приказал иог.

Они прошли краем сада, тихим, как гу-

¹ Брахмачария — человек праведной жизни.

² Шанти — мир, спокойствие.

¹ Иог — индийский отшельник, аскет.

стая листва живой изгороди, окаймлявшей аллею, которая вела к мраморной арке входа.

Завернув за угол, там где тянулись рядами цветочные лавки, и войдя в темный проулок, Муну потерял нога из виду. Выйдя из проулка, он увидел его снова: ног уже высовывался из окна первого этажа какого-то дома, выходящего на перекресток. Поджидая женщин, оставших от него, Муну принялся рассматривать лавку, где продавался табак и бетель и где висело огромное зеркало, отражавшее оживленную жизнь на перекрестке четырех улиц. Ему очень хотелось купить листок бетеля и пожевать его, — роскошь, которую он никогда не позволял себе, — или нюхательного табаку, или выкурить папиросу...

Но в это время подошли женщины, и Муну повел их дальше.

Ног спустился вниз и встретил их с лампой. Поднявшись по узкой темной лестнице, он ввел их в помещение, которое показалось Муну настоящим дворцом — повсюду белые покрывала, подушки с кистями и длинные трубки для курения.

— Ну, я пойду теперь, — сказала старуха, — и вернусь на рассвете, Махантдж.

— Хорошо, — суетливо согласился ног.

Женщина ушла.

Муну смущенно озирался.

— Жизнь моя, открой лицо, покажи хоть свои глаза, вымолви словечко, — сказал ног, приближаясь к молодой женщине и обнимая ее.

Муну изумленно смотрел на пога. Слово пелена упало с его глаз: он увидел сладострастника там, где думал найти святого.

Его сердце забилося от горячего стыда.

Он выскользнул за дверь, решив догнать старуху и рассказать о том, что он видел.

В своей наивности он полагал, что и она будет оскорблена. Он не знал, что это сводня, устраивавшая свидания нога с женами богатых купцов, чтобы женщины рождали «сынов бога».

Эту ночь Муну проспал на крыльце какой-то лавки у входа в переулок Кошкодаво, так как боялся, что, вернувшись в комнату Прабхи, увидит там привидение или соседи примут его за вора.

Наутро он задумался над тем, как и где найти работу. Ему не хотелось возвращаться на Овощной рынок, не хотелось

и домой, пока там не было Тулси. «Да и все равно придется уходить оттуда в конце месяца. Тулси — хорошо, он может достаточно зарабатывать на хлебном рынке, — думал Муну. — А я не могу. Так что же мне делать?..» «Уезжай отсюда», как бы услышал он ответ. Но куда? Ведь не назад же в Шам-Нагар? Он дяде не писал ни разу. Они умерли друг для друга.

Он шел по улице, опустив голову, погруженный в раздумье, и вдруг услышал, что где-то бьют в барабан: дум, дум, дум. Он поднял голову и увидел городского глашатая, остановившегося на перекрестке, за ним шла группа людей-сэндвичей. Они несли огромные раскрашенные плакаты; на одном была изображена женщина в одежде сахибов, ее грудь была увешана множеством медалей, она размахивала бичом, угрожая стае свирепых львов, тигров и слонов; на другом — она поддерживала громадный камень; на третьем — толкала головой экипаж, полный мужчин.

— Мисс Тара Бай! Мисс Тара Бай! — кричал глашатай. — Мисс Тара Бай! Женщина-великан! Мисс Тара Бай! Первый в мире цирк! Последнее представление в Даулатпуре! Удивительная сила! Невиданные номера! Чудо пяти континентов! Мисс Тара Бай покажет образцы силы, мощи и выносливости, за которые она получила призы от всех королей и королев Европы. Укротительница диких зверей! Царица цирка! Воспользуйтесь последней возможностью увидеть ее, так как она сегодня ночью уезжает в Бомбей, а затем на несколько лет в Англию. Мисс Тара Бай! Мисс Тара Бай! Чудо века! Женщина-атлет. — И глашатай снова стал бить в барабан — дум, дум, дум, дри, дри, дум, и двинулся дальше.

— Я непременно хочу в цирк, — решил Муну, и глаза его загорелись. — И я хочу в Бомбей.

Он подхватил листок, которые раздавали люди-сэндвичи, и прочел:

Возле Театра Малап Лала
У Холл Гэта

Мисс Тара Бай. Женщина-геркулес!
Блистательное чудо. Самое захватывающее зрелище в мире!

Неподалеку, шагах в пятидесяти, он увидел красные кирпичные стены Холл Гэта, озаренные солнцем, слепившие глаза. Немного отступая — осененная величественным зданием театра Малап Лала белела огромная холщевая крыша цирка.

«Бомбей, Бом-бом-Бомбей» — звенела

в мозгу Муну, словно бой часов на городской башне.

Точно по волшебству перед ним всплыло все, что он когда-либо слышал о Бомбее.

Один кули, брат которого уехал искать работы в Бомбей, утверждал, что на тамошних фабриках можно заработать в месяц от пятнадцати до тридцати рупий и что это действительно чудесный город, — нельзя умереть, не повидав его. Брат этого кули советовал копить деньги на дорогу и хоть день и ночь работать, а помясть туда. Оттого, что если кто уж попадет туда, так работы там пропасть. И суда отходят из Бомбея и идут за черные воды, рассказывал тот кули, и остров весь зарос кокосовыми пальмами, под которыми живут богатые южане и парсы.

«Это остров, конечно, остров, — вспоминал Муну учебник географии. — Бомбей расположен на острове у Мадагаскарского побережья. Бомбей, Бом-бом-Бомбей. Я поеду в Бомбей», — решил он.

Он перепрыгнул грязную канаву возле палисадника, за которым белела холщевая крыша цирка мисс Тары Бай, и прочел афишу: самое дешевое место стоило восемь анн. Тогда он решил, что проберется в цирк бесплатно. «Нельзя тратить рупию, которую дал мне при отъезде Прабха, на такие бесполезные развлечения», — и он пощупал серебряную монету, завязавшую в уголок его набедренной повязки. Доброта Прабхи побуждала его к экономии.

Он миновал главный вход.

Гнедой мерин, белая кобыла и курпосый пони, фыркая, ели траву из небольшой охапки. Муну увидел также проворного человека с торчащими сверху усами, очень напоминавшего Сорабджи, аптекаря-парса в Шам-Нагаре, хотя на нем были бриджи, а составитель лекарств всегда носил бумажные брюки и белую куртку.

Муну заполз под грязный холст маленькой палатки и стал терпеливо ждать. Он посмотрел направо и вдруг увидел, что из палатки беззвучно вышел слон, а за ним последовала толпа городских мальчишек; на голове слона сидел темнолицый наездник, заложив ноги за уши животного.

— Ты знаешь, он пляшет, лазает по лестнице и играет на губной гармонике, — сказал один мальчик другому. Муну подбежал к мальчишкам и присоединился к их толпе. Предводитель толпы принял это за нападение и, сорвав с головы Муну полоску материи, заменявшую ему тюрбан, бросил ее слону. Грациозно расклапыв-

шись, Джумбо проглотил ее, словно это была солома.

Муну в ответ сорвал шапку с головы мальчишки и тоже швырнул ее слону.

Не успел он опомниться, как пострадавший обхватил его за шею.

Муну извернулся и так лягнул ногой противника, что тот полетел в канаву.

Мальчишка выбрался из нее весь в грязи, и его товарищи, глядя на него, завывали от смеха.

Слон испуганно метнулся в сторону. Служитель ткнул слона железной палкой и обругал Муну.

— Он первый начал, — виновато заявил Муну.

Служитель соскочил на землю и, схватив его за ухо, чтобы напугать, потащил прямо слону под хобот.

Все мальчишки с криком отскочили.

Муну решил, что настал его последний час. Но Джумбо только обдал его струей мощного дыхания и пошел прочь.

— Я не боюсь, — храбро заявил Муну.

Служитель улыбнулся.

— Отлично, — сказала оп. — Пойди-ка позови сюда того человека, садовника, вон он идет по дороге и несет охапку травы на голове.

Муну мигом исполнил приказание. Он побежал за человеком, который нес траву, поймал его у входа в конюшню и привел.

— Мне хочется посмотреть представление, — сказал он служителю, когда трава была принесена; его заискивающая улыбка молила о снисхождении.

— Пошел! Пошел! — спокойно ответил служитель.

— Но как же, — настаивал Муну, — я же исполнил ваше поручение.

— Не лезь ко мне, — пугнул его тот. — Сядь где-нибудь и смотри сквозь дыру в холсте.

Муну бросился к щели, в которую служитель всунул указательный палец.

Представление было в самом разгаре. Арена лежала, окруженная кольцом из стульев, — их ряды поднимались амфитеатром.

Где-то недалеко от щели оркестр играл европейские мелодии, а под холщевым полотком цирка группа гимнастов только что совершила головокружительный прыжок, перелетев с одного конца арены на другой; теперь они уходили.

При звуках аплодисментов сердце Муну запрыгало. Но он забыл о гимнастах, когда под новый взрыв аплодисментов на ар-

не появилась, покачиваясь на ходу, словообразная мисс Тара Бай.

В щель ему было трудно рассмотреть ее лицо, но она сразу же легла наземь и ей навалили на живот громадный камень, затем двое мужчин стали бить по камню большими молотками, вроде тех, какими кули разбивают глыбы камня на мелкие осколки, чтобы ими мостить новые дороги; а она хоть бы что. Наконец силачка сникнула с себя камень, вскочила на ноги и раскланялась. Муну раскрыл рот от восхищения.

Быстрый, упругий топот, раздавшийся где-то совсем рядом, отвлек его внимание от женщины-геркулеса. Оказалось — просто белая лошадь.

Муну прижался к щели и увидел, как лошадь выскочила на арену, а за ней следом — молодой человек в необыкновенно обтягивающих белых английских брюках и длинном плаще из серебряных пластинок. Этот молодой человек напоминал Муну резиновую куклу — с такой ловкостью вскочил он на спину скачущей лошади, постоял несколько мгновений, балансируя на ее хребте, подпрыгнул, встал на голову ногами вверх, а затем соскользнул по хвосту лошади на песок, словно сошел по удобной лестнице.

Муну смотрел на арену, зачарованный, без мыслей, сбитый с толку совершающимися перед ним чудесами.

«Вот бы мне так!..» — мечтательно прозвез он про себя, охваченный восхищением. И следующий номер ловкого езджика, после которого тот, как ни в чем не бывало, вскочил на спину лошади и умчался галопом, показался Муну верхом искусства. «Этот искусник поедет потом в Вилаят¹, за моря, откуда родом сахибы, туда я не могу поехать, я ведь только простой кули. Но я поеду в Бомбей. И я, вероятно, заработаю там достаточно, чтобы тоже поехать по ту сторону черных вод».

В это время, как будто из недр самой аплодирующей публики, вынырнули два клоуна в островерхих колпаках и пестрых балахонах; их лица были размалеваны красной и черной краской. Они сначала поиграли ярким мячом, балансируя им на кошечках длинных наклеенных носов, затем стали передразнивать гимнастов; сначала их движения были неуклюжи, но потом достигли такого же совершенства; Муну был поражен.

И вот служители вкатили клетку со львами. Но, увы, в эту минуту мимо Муну прошел его новый знакомец и лишил его возможности насладиться предстоявшим зрелищем.

— Пойдем-ка, мальчик, поработай, помоги мне отвести вот эти ведра, ты уж насмотришься...

— А ведь слон, наверно, шьет больше чем по ведру, — сказал Муну, опасаясь, что ему придется перетаскать множество ведер.

— Да я только хочу обмыть ему зад, — пояснил служитель.

Муну наполнил у колонки на углу два ведра и понес их к тому месту, где стоял Джумбо, доедая траву, купленную служителем.

«Всякий видит сразу, что я кули», — размышлял Муну, таща ведра. И на миг его охватило уныние: нет, никогда, видно, не придется ему поехать за моря, как тому сверкающему наезднику. «Но в Бомбей мне, может быть, все-таки удастся поехать», — утешал он себя. От таскания воды кровь в его теле побежала быстрее, мышцы напряглись, и после третьей пары ведер он почувствовал себя легко и весело.

— Вы не могли бы взять меня помощником и прихватить с собой в Бомбей? — спросил он служителя, и его голос вдруг прозвучал решительно и настойчиво.

— Места я тебе не могу дать, надо долго учиться, чтобы ходить за слонем, а мы скоро едем за море, — сказал тот. — Но ты можешь потихоньку забраться в поезд, в котором мы поедем в Бомбей. Когда я был твоих лет, я весь юг зайцем извездил.

— Вы правду говорите? — спросил Муну.

— Ну да. Оставайся тут, помоги нам уложиться. Я выхлопочу тебе плату за твою работу. А ночью я тебя спрячу в поезде.

— О, вы добрый человек, — сказал Муну радостно. — Такое вам спасибо...

— Молчи, — сказал погонщик сухо, — кто-нибудь может подслушать нас. Пойди принеси еще травы для Джумбо.

IV

Паровоз специального поезда, в котором ехал цирк, пронзительно свистнул и тронулся.

Муну ехал навстречу новой жизни, навстречу новому волшебному городу, где были корабли и автомобили, гигантские

¹ В и л а я т — в данном случае — метрополия, Англия.

дома, восхитительные сады и богатые люди, которые так и швыряются деньгами, щедро награждая кули за всякий пустяк.

Поезд ускорял ход. Громыканье слилось в сплошной однообразный гул. Высокие пятиэтажные дома Даулатпура давно остались позади. Жаркий летний ветер со свистом обдувал лицо. Лай собак тонул в грохоте колес.

Муну сел на свернутый холст и посмотрел вокруг. На фоне черной земли и неба смутно выделялась своим еще более глубоким мраком только густая листва плодовых деревьев. Ночь давно поглотила все остальное — крыши, минареты, купола и причудливые очертанья даулатпурских стен. Чтобы спастись от видений прошлого, Муну снова улегся и постарался заснуть...

Проснулся он только на рассвете и услышал крики и беготню пассажиров и лягт буферов у соседних платформ. «Интересно, какая это станция?», — подумал он сквозь дремоту, но даже не открыл глаз. Сквозь голоса торговцев, кричавших: «Индусские сласти», «Магометанский хлеб», «Горячий чай», «Холодная вода», он различил еще чей-то голос, возвестивший: «Узловая станция Амбала, город Амбала, пересадка на Калку!» Затем ритмическое гудение шмеля слилось со скрежетом колес. Предутренний ветер приятно освежал голову. И мир снова погас...

Он проснулся на центральной станции Дели. По жестяной крыше вокзала трудно было заключить о великолепии этой столицы Индии — такой, по крайней мере, ее представлял себе Муну по книжкам.

— Пойдем, я найду тебе местечко в закрытом вагоне, а то днем ты здесь не вытерпишь, так жарко будет. Я принес тебе поесть, — допесня до него голос служителя.

Муну спрыгнул с открытой платформы и вошел за своим покровителем в товарный вагон, где было свалено множество бамбуковых подпорок.

— На, поешь, — сказала служитель. — Я проведу тебя опять в Ратламе.

Муну кое-как примостился на жестких неровных малках. Когда он принялся за еду, поезд отошел от станции.

Поглощая куски поджаренного хлеба и маринованной моркови, Муну размышлял о великодушии своего друга: «Отчего это одни люди добрые, — Пабха, цирковой служитель, а другие — злые, как Ганпат?» Муну стал смотреть на проплывавшие вдали развалины крепостей, гробницы и мавзолей. Казалось, они росли по

колено в эту бесплодную почву, среди изглоданных корней кактусов и дикого кустарника, и курятся, не горя, перламутровым дымком, подожженные яростными, всепожирающими лучами солнца. Мальчик вспомнил легенду о том, что город Дели будто бы основан династией царей, которые были потомками солнца. «Может быть, солнце — этот праотец царей Раджпута, свергнутых магометанами, мстит мусульманам, испепеляя их крепости и мавзолей?» — наивно думал он.

За окном вагона потянулись на многие мили унылые красные кирпичные здания Нового Дели сэра Эдвина Лютвена, расположенные четырёхугольниками, словно дрова в погребальном костре, и это зрелище как будто подтверждало предположение мальчика. Но затем ему показалось сомнительным, чтобы солнце стало сжигать дома, построенные англичанами, так как говорилось же в его учебнике истории: «Солнце никогда не заходит над Британской империей».

Два крестьянских мальчика шли за своими буйволами, запряженными в неуклюжие деревянные плуги; они одиноко чернели на этой бескрайней равнине, покрытой пылью и песком, и их вид вернул Муну на землю. Он стал думать о жизни этих людей, обрабатывавших пустыню в тщетной надежде извлечь из нее жизнь.

Под медным оком солнца однообразные пески тянулись бесконечно, совершенно бесплодные, и только местами покрытые обглоданным, засохшим колючим кустарником.

Поднявшийся вихрь взвил облако песка и пыли, погнав его волчком по степи, осел кругами и зарылся в какой-то яме.

Может быть, это призрак павшего раджпутского воина? Ведь, согласно индусским повериям, мертвые посещают землю, приняв вид пылевых смерчей... Как бы там ни было, но Муну чувствовал себя вне опасности здесь, в поезде, который бесстрашно несся по этой пустынной земле, под еще более пустынным небом, презирая даже угрозы свирепого солнца, пожиравшего все вокруг своим злым огнем.

Духота запертого вагона и равномерное покачивание утомляли и нагоняли дремоту. Мальчик силился преодолеть сонливость и снова стал смотреть на пустыню. Но непрерывное мерцающее струение зноя словно зачаровывало: глаза невольно смыкались; и он забылся.

Под вечер внезапный толчок разбудил его. На черной доске белыми буквами было написано по-английски и на индустани:

«Станция Кота». Он продолжал дремать. Он был весь покрыт испариной, члены онемели от лежания на бамбуковых палках.

— Я принес тебе сластей и молока, — сказал ему цирковой служитель, — и мешок, ночью подстелишь. Сегодня тебе вряд ли удастся почевать на открытой платформе, сахибы парсы и прочие господа гуляют вечером на станциях. Мне с моим слоном меньше хлопот, чем с тобой, но я рад помочь тебе... Когда я был твоих лет, один человек помог мне добраться из Калькутты в Мадрас. Ну, будь осторожен и не вывались.

— Ладно! — кивнул Муну, поглядывая на сливочное пирожное, засахаренные сливы и глиняный кувшин с молоком.

Поезд продолжал бежать по широкой-широкой пустыне влед за отважным, дерзким паровозом, предостерегающе бросающим свои свистки навстречу пронсящимся, как гром, поездам.

В зрелище этой пустыни было что-то приковывающее. Она словно начинала жить особой призрачной жизнью — с ее песчаными миражами и маячившими сквозь знойную мглу вереницами верблюдов; животные плелись гуськом, а за ними шли люди, преодолевая голод и жажду. Случайная кучка палаток или разрушенное строение напоминали Муну каравансарай в предместьях Шам-Нагара. Он попытался представить себе суровую жизнь этих людей, торговавших лошадьми и буйволами. Горизонт не имел границ, и глаза Муну, наконец, заболели от раскаленного воздуха, струи которого дрожали, как дыхание, выбрасываемое гигантской печью.

К вечеру плоскую равнину сменило плоскогорье и холмы, окаймленные укреплениями, яркие краски дня таяли в зарослях акаций и мелкого кустарника, чью листву щипали, вытянув шею, козы и верблюды. Над руслами высохших рек появились кучки хижин; мужчины приветствовали поезд, опершись на мотыги; женщины с кувшинами молока на голове спешили стыдливо закрыть лица, дети глазели, засунув в рот палец, голые, не ведающие стыда.

Поезд оставил позади холмы, заросшие бурой травой, дикими цветами и мелким кустарником, и шел по сверкающей красками долине, окаймленной вдали цепью рыхлых гор. «Может быть, в этих горах — старинная крепость Читор, — думал Муну, — где Падмини сражался с Ала-уд-

Дином, царем Дели, и где герои Мевара облеклись в желтые одежды и совершили джоухар¹, а женщины, во главе с королевой, предпочли сати², чем быть обезцеленными победителями. Мне хотелось бы побывать там. Но ведь работы там не достать. Нужно ехать в Бомбей — в Бомбей, и работать. Интересно, когда мы приедем туда?»

Поезд, свистя, подошел к Ратламу, и день внезапно и как-то совершенно неожиданно умер; наступала ночь.

Паровоз разрывал лиловые покрывала сумерек, казалось — время мчится вровень с ним мимо телеграфных столбов. Оно помчалось еще быстрее, когда Муну приступил к еде, снова принесенной ему его опекуном, и вовсе перестало существовать, когда ночь зажгла свои низкие светильники над песчаными дюнами и вершинами гор. Небо было иссиня-черное, исчерченное серебром, и мир — молон волшебства; что-то вспыхивало в густой тени, что-то обволакивало Муну, подобное той зловещей беззвучности, с какой призраки выходят из пустоты. Наконец мальчику все-таки удалось уснуть на мешке, немного смягчавшем неровности бамбуковых подпорок.

Когда он проснулся — кругом зеленели заросли пальм, а под Бародой потянулись обширные возделанные поля. Внимание Муну было привлечено специальным поездом Махараджи³, выкрашенным в белый цвет, его лакированная поверхность излучала ни с чем не сравнимый блеск. Возле поезда сновало несколько мужчин в белых костюмах, золотистых шапках и черных сапогах, таких же, какие носил его шамнагарский хозяин. «Ни за что не смог бы я раньше купить себе сапоги, — подумал Муну, — но если теперь в Бомбее добуду работу, первое, что я сделаю, — куплю именно такие сапоги».

¹ Джоухар — сопротивление врагу до конца, вплоть до самоуничтожения.

² Сати — средневековый обычай саможжения жены после смерти мужа. Был распространен среди женщин, принадлежащих к касте кшатриев.

³ Махарадж, Махараджа — дословно — великий царь; в обычном значении княжеский титул. Нередко слово махарадж, наряду со многими другими титулами, используется в разговоре, как преувеличенный знак уважения к собеседнику.

Плодородные долины, тянувшиеся по обеим сторонам полотна, перемежались с крутыми скалами, на них стояли гигантские храмы или здания, увенчанные высокими дымящими трубами. Значит, скоро Бомбей и надо подумать о том, как найти работу.

Вдали сверкнула серебряная черта водной поверхности, казалось — не имевшей конца, она играла и дробилась на мириады искр, и в сердце мальчика вспыхнула радость — он впервые увидел море. Скоро у его ног вдоль насыпи уже бежала голубая дорога воды, и его сердце билось созвучно ритму ее волн.

Волнующая встреча с морем еще углубила то чувство страха, которое, с приближением к Бомбею, вдруг придавило его душу. Он встал и решительно встряхнулся, чтобы сбросить немой гнет почти непереносимого ужаса. Подошел к окну. Вытерся краем грязной туники. Песок, прилипший к ней, оцарапал его нежные, разгоряченные щеки. Провел рукой по волосам, и на ладони остались крупинки угля и пыли. Муну вздохнул, готовый расплакаться, так остро было чувство неуверенности и покинутости. Он сел и принуждал себя смотреть на бежавшие мимо зеленые поля, словно омытые солнечными лучами, и на блеск морских вод.

«Постараюсь, как приеду, найти какого-нибудь земляка с севера. Только. как отыщешь человека в таком огромном городе?»

Бомбей уже начался. Поезд неся, шлоплывали пальмовые и фиговые рощи, купола, минареты, церковные шпили, фасады домов, разукрашенные цветами, фабрики, кладбища, кирпичные ограды, рыбосушильни, красивые, с бесконечными коврами разложенных для просушки свежепокрашенных шелков и ситцев, стада баранов и коз, стада буйволов и коров, мужчины, женщины, дети в одеждах самых странных и разнообразных цветов и покровов.

Страх Муну все возрастал. В животе сосало все мучительнее. Во рту пересохло. Глаза тревожно бегали по сторонам. Он елозил на неудобном сиденьи, поднимал то одну, то другую затекшую ногу. Его мысли спутались. Кровь пульсировала с такой быстротой, словно он бежал. Лицо побледнело. Тело покрылось испариной. Он ни о чем не думал, ничего не создавал.

Молнией пронеслись полустанки предместий, паровоз еще раз свистнул, судорожно дернулся на стрелках и, задыхаясь и хрюкая, словно загнанный насмерть,

остановился у одной из платформ Виктория-Стэшон.

Муну выглянул из вагона и увидел, что с другой стороны стоит товарный поезд. Подождать ли ему своего покровителя, или ринуться к выходу, в широкие двери которого несколько кули вкатывали тюки и можно было выскочить на улицу?

— Идем-ка, брат, ты прибыл в страну своего желания, — сказал, входя, его рябой друг, цирковой слугитель. — Этот поезд скоро уйдет на Баллардский порт, где мы погрузимся на корабль и поплывем через черные воды в Вплаят. На, поешь. Идем, я покажу тебе, как незаметно выбраться с вокзала.

Муну прыгнул на платформу.

— Чем больше город, тем он более жесток к сыновьям Адама, — сказал слугитель, пролезая под буферами. — С тебя дерут даже за воздух, которым дышишь. Но ты хороший парнишка... Пройди вот там, как будто ты обыкновенный прохожий. Да хранил тебя бог!

Мальчик взглянул на него: некрасивое лицо было только маской. Муну пошел по указанному направлению, его сердце было переполнено благодарностью и страхом.

Он вышел из вокзала. И так — перед ним Бомбей; этот странный, космополитический город-гибрид, на чьих улицах краснотщичие еврейцы в безукоризненных костюмах, башмаках и шлемах мелькали рядом с длинноносыми парсами в сюртуках, белых брюках, конусообразных митрах, с быстроглазыми магометанами в пышных шальварах, длинных туниках и фесках, с гибкими индусами в муслиновых рубашках, дхоти и черных ладьевидных головных уборах, где сари парсиянок и пестрые одежды индусских жепци затмевали белые покрывала женщин, собиравших парду¹, и легкие платица мужеподобных англичанок; где ревели автомобильные гудки, длинкали виктории и трамваи, где повсюду теснились люди, смутно известные Муну под именем арабов, персов, китайцев, и раздавался говор на множестве языков и наречий, Муну совсем не известных.

Растерянно смотрел он на это мелька-

¹ Парда — дословно означает занавес, полог. Под этим словом подразумевается сумма правил и обычаев затворничества, которые обязаны соблюдать жены индийских мусульман, а отчасти и индусов.

ние красок и форм, слушал хаос звуков, дышал запахом, отличным от всех ведомых ему ароматов и зловоний. — смешанным запахом сырости и липкого пота, пыли и зноя, мускуса и чеснока, ладана и кала. Муну растерялся. Исчезла уверенность шага, решимость во что бы то ни стало идти дальше и дальше.

Он пересек мостовую. Он посмотрел вокруг, словно проверяя свою силу в единоборстве с миром. Высокие купола и башни главного почтамта справа, широкие купола и башни вокзала слева, величественные купола и башни университета и суда прямо впереди — словно переглядывались друг с другом, надменно вещая о высотах совершенства, достигнутых готико-мусульманской архитектурой, и, казалось, вынуждали его решить, кто из них величественнее, не подозревая о том, что это — простой скромный маленький горец, готовый при виде любого большого здания признать его величие и собственное ничтожество.

Подавленный, смятенный, шагал мальчик через площадь, отирая пот, обильно струившийся по лицу, и, наконец, увидел скамью у подножья мраморной статуи приземистой, широкозадой королевы Виктории со скипетром и в короне; на голову королеве только что нагадила синечерная ворова и теперь каркала о недоверии к миру, приплясывая и отряхиваясь.

Муну в изнеможении упал на эту скамью. Отвернувшись от улицы, где неострая толпа ждала странного трамвая, катившегося без рельс и дуги, он раскрыл сверток, который дал ему в последнюю минуту цирковой служитель.

Съев сладости, он зашагал по ближайшей улице, почти в каждой точке которой пестрели люди. Вон старик-астролог с глубоко врезавшимися в лоб знаками жреческой касты, с белой развевающейся боковой и жирным телом, облаченным в снежно-белую длинную муслиновую одежду, предсказывает судьбу клерку-гуджерати; рядом — брадобрей-магометанин, разложив перед собой бритвы и инструменты, смотрит в большое зеркало и покуривает кальян, ожидая клиентов; еще дальше — выставка книготорговца; книги, журналы с цветными иллюстрациями, изображающими красивых европейских женщин, и брошюры, где на индустанском повествуется о тайнах и загадках пола; затем продавец фруктов и кондитер, а у стены за тротуаром лежит кули, положив голову на руки, сжавшись в комок,

словно из опасенья занять слишком много места.

Когда Муну увидел этого бесприютного кули — его сердце упало. «Значит, даже здесь кули спят на улицах!» И рассказ даулатпурского кули о том, что в Бомбее деньги на мостовой валяются, показались ему враньем. Его рот пересох от жажды. Тело ныло. Ночь приближается и застигнет его на этих улицах, одинокого, без друзей. Он постарался отогнать эту мысль. Она, наконец, угасла, сознание опустело.

Он дошел до перекрестка. От него расходились четыре бульвара, застроенные высокими, красивыми восьмипэтажными зданиями, которые напоминали дома английских кварталов Даулатпура. с той разницей, что тут их ряды как будто уходили в бесконечность.

Минуту он стоял неподвижно, словно прирос к земле, не зная куда идти, не отваживаясь вступить в цивилизованный мир бульваров. Затем он присмотрелся к людям, которые спокойно шли по ним, — увидел даже нескольких кули в гораздо более грязных куртках, чем у него. Тогда и он свернул на один из бульваров.

Он даже до того осмелел, что стремительно пробежал мимо темнлицего полицейского в синем с желтым мундире, выглядевшего совсем иначе, чем голоногие полицейские в провинции. Ему нестерпимо хотелось пить, и он смотрел по сторонам, не попадет ли, как в Даулатпуре, палатка с бесплатной водой. Огромные витрины мебельных магазинов чередовались с величественными порталами учреждений или таинственным подземом банка, но нигде ни колонки, ни колодца, где бы можно было напиться воды.

Наконец он увидел большой белый тент, стеклянные двери, ряды цветных бутылок с содовой водой; у окон, за столиками, на английских стульях сидели люди, ели, вили и болтали. Муну был одержим содовой водой в Даулатпуре в лавке у продавца мороженого, когда ходил с каким-то поручением. Хорошо бы выпить и сейчас стаканчик. Люди, сидевшие за окном, очень чисто одеты. Верно, это богатые бабу или купцы, а он только грязный кули. «Но ведь стакан содовой стоит всего одну анну, — размышлял он, — а у меня в уголке набедренной повязки есть целая румия. Я могу войти и выпить стакан».

Он вошел с легким сердцем, хотя его ноги были словно налиты свинцом, чуть не упал, задев за порог, и остановился, ослепленный, растерянный, посреди ком-

Фортабельно обставленного ресторана. Однако постарался тут же овладеть собой, хотя все и смотрели на него. Отодвинув стул, Муну сел за пустой столик и провел рукой по лбу, чтобы отереть пот и успокоиться. Он все же храбрился настолько, что стал даже разглядывать посетителей — как они наливают горячий чай на блюдечки и потягивают его сквозь зубы. Но тут к нему подошел человек в муслиновой одежде и с жирными, смазанными маслом, расчесанными на пробор волосами.

— Кули? — спросил человек.

— Да, — признался Муну, и сердце его замерло.

— Сядь на пол, вон там. Чего тебе? — грубо сказал человек.

Муну неловко поднялся со стула, отошел и молча сел на асфальтовый пол.

— Чего тебе? — переспросил человек.

— Бутылку содовой, — сказал Муну.

Кое-кто из посетителей, дря на блюдечко с чаем, искоса посмотрел на него, как смотрят на прокаженных, а официант многозначительно повел плечами: каково, мол, кули содовой захотелось!

Муну был взбешен, но старался утишить свой гнев, убеждая себя в превосходстве этих чисто одетых богатых людей, которых его всегда учили почитать. Так как сидевшие вокруг бесцеремонно его рассматривали, он стал смотреть в окно.

— Давай деньги, две анны, — крикнул человек, и Муну почудилось, что тот сейчас наступит на него.

Муну вздрогнул. Склонив голову и чувствуя на себе все эти взгляды, он развязал уголок набедренной повязки, достал серебряную рублию и отдал официанту.

Тот принес стакан зеленой пшящей содовой. Затем положил ему на ладонь четырнадцать анн сдачи.

У содовой был острый, свежий, сладковатый вкус, она защекотала ему небо и вызвала на глаза слезы. Хорошо бы ее пить понемножку, глоток за глотком, в полной мере насладиться ею. Но Муну слишком волновался, он чувствовал себя виноватым, осмелившись вторгнуться в этот мир богатей. Поэтому он выпил залпом. Поставив стакан в угол, он пошел к двери. Газированная вода тотчас оказала на него свое действие, вызвав отрыжку, которую он был не в силах сдержать.

— Пошел вон отсюда! — крикнул ему вслед официант. Муну выскочил из ресторана, как ошпаренный.

Отбежав ярдов на сто, он оглянулся. Нет, официант не гнался за ним. Мальчик посмотрел украдкой во все стороны и поплелся дальше, отчаянно браня себя за то, что сунулся в этот ресторан. Только зря деньги выбросил. От этого официанта прямо оскомина во рту осталась. «Уж очень мне пить хотелось, — оправдывался он, — а теперь все-таки больше не хочется». Он снова отрыгнул, словно и его желудок подтвердил эту мысль. Муну невольно рассмеялся.

«Если бы он только толкнул меня, — вернулся он к воспоминанию об официанте, — я бы ему показал... Он напомнил мне мое место, пусть, но я ведь заплатил за содовую, и я не неприкасаемый¹. Я кшатрия, раджпут², я принадлежу к касте воинов».

Он вдруг ощутил себя сильным и могущественным при этой мысли о касте воинов, сильным, могущественным и счастливым, и чувство собственного достоинства вернулось к нему. Его глаза невольно остановились на огромном цветном изображении Таллулах Бэнкэд, соблазнительно смотревшей на него большими глазами сквозь длинные ресницы; она была совершенно нагая, в одном только жемчужном бюстгальтере на молочном теле и в жемчужной набедренной повязке. Опасаясь, что, может быть, кули запрещено любоваться столь пленительным видением, он посмотрел вокруг, не наблюдает ли кто-нибудь за ним, и только-что собрался перейти на другое место, откуда было видно это тело, вдруг пробудившее в его крови странное волнение, как до его уха донесся взрыв звуков: лай автомобильных рожков, тенканье трамваев, сердитые крики извозчиков и возгласы: «Идиоты!» «Куда ты прешь, черномазый!» — Он замер на месте в ужасе, решив, что нарушил правила движения. Ему почудилось, что он уже мертв или сейчас умрет. Порыв к жизни заставил его стремительно обернуться. Он увидел, что ему ничто не

Неприкасаемые, или парии, — бесправная и особо угнетаемая часть индийского населения, численностью превышающая пятьдесят миллионов.

² Раджпут — дословно, сын царя. Раджпуты — многочисленная сословно-кастовая группа, ведущая свое происхождение от касты кшатриев (воинов), второй, после браманов, высшей индийской касты; в настоящее время большинство раджпутов превратилось в нищих крестьян.

угрожает, но на другой стороне улицы небольшой темнолицый, убого одетый человек с седой головой и кривыми ногами, спбывая под тяжестью узлов, тащит за собой обещанную вещами женщину, она тащит за руку мальчика, а маленькая девочка, застряв посреди улицы, отчаянно визжит.

Уступая одному из тех внезапных морывов, которые так часто рождались в его пылкой душе, Муну бросился на середину улицы между двумя потоками движения и, подхватив девочку, перебежал к тому месту, где беспомощно остановилось все семейство, бормоча проклятия и молитвы.

— О, да будет твоя жизнь долга, да будет твоя жизнь долга, сын мой, — запричитала женщина, обращаясь к Муну и схватив дочь в объятия. Затем обратилась к мужу: — В какое ужасное место ты привез нас!

— Тише, женщина, ты чуть не погубила моих детей, — сказал муж.

— Надо было держать их! Ты бросил меня на середине улицы, а сам побежал спасаться. Ва! Хорош отец! — протестовала она.

— Не сетуй, мать, не сетуй, — сказал Муну тоном взрослого.

— Брат, — обратился старик к Муну, погладив его по спине и складывая затем руки в знак мольбы и благодарности, — эта маленькая дрянь была бы убита, если бы ты не подбежал и не спас ее. Ведь машины — настоящие дьяволы!

— У вас так много вещей, — сказал Муну. — Далеко вам? Давайте, я помогу.

— Я работал полгода у Сирджабита (сэра Джорджа Уайта), это хлопчатобумажная фабрика, потом поехал в деревню за семьей, — сказал старик. — Завтра я опять пойду на фабрику и попрошу работы. А сейчас мы идем в город, где-нибудь около запертой лавки или на мостовой уж найдется уголок, чтобы переночевать. Мы ведь бедные. А теперь нам пора. Рам, Рам. — И он хотел двинуться дальше.

— Брат, — сказал Муну взволновано. — Я чужой в Бомбее, и я тоже ищу работы. Как ты думаешь, можно мне будет поступить на фабрику, где ты работаешь? Я кули; родом я из деревни.

— О, да, пойдем с нами, брат, — отозвался старик. — Переночуем вместе и завтра двинемся на фабрику. Я представлю тебя сахибу, мы снимем хижину возле фабрики, и ты можешь жить с нами.

— Брат, это именно то, чего я хотел

бы, — сказал Муну, стараясь казаться как можно взрослее и серьезнее. Они покинули западный деловой район торговых контор и больших зданий с куполообразными крышами, бросившими на улицу глубокую мрачную тень, миновали спортивную площадку и вступили в пестрые восточные кварталы Гиргаума.

Муну посадил девочку на одно плечо, мальчика — на другое и стал похож на Ханумана, обезьяньего бога, когда тот, по преданию, переносил Раму и Ситу, героя и героиню Рамаяны, из Цейлона в Ауд. Муну, наконец, был не один, и к нему вернулись и уверенность и мальчишеская босторженность.

— Брат, — сказал он, подбегая к старику, — как твое имя?

— Меня зовут Хари, Хари Хар, — отозвался старик, отирая пот, струившийся по бледно-кофейному лбу на кроткие глаза и густые усы. Он прислонил свой узел, который тащил на спине, к железной клетке дерева и обдал Муну струей горячего прерывистого дыхания.

— А далеко итти нам? — спросил Муну, видя, что старик устал и дети дремлют.

— О, нет, небольшой кусок по Бенди-базару до Чаупаты, — спокойно отозвался Хари. Затем обратился к жене, которая тоже приостановилась: — Сядь, Ари, мать Моти, и отдохни немного.

Женщина смиренно покачала головой и только поправила жестяный бидон, закаптый подмышкой.

— Тени вечера уже спустились, и дети заснули, — изрек Муну тоном умудренного жизнью старца. — Не будем мешкать.

— Помянем имя божества и пойдем дальше, — сказал Хари. — Я знаю сокращенную дорогу до Чаупаты.

Они вошли в узкую улицу, здесь дома были притиснуты друг к другу, верхние этажи нависали над прохожими, ряды окон, то затененных дешевыми маркизами, то лишенных даже занавесок, выходили на облупленные, ветхие балконы, с которых зной давно слезал краску.

Трудно было продираться через толпу гуляющих, одетых в ткани самых дешевых и нестрых расцветок, какие только знает германская химическая промышленность, и самого причудливого вида, какой только может придать людям смешение национальных костюмов самых разнообразных народностей.

«Ну, здесь, — решил Муну, — совсем как в Даулатпуре и Шам-Нагаре, только

еще пестрее». Он погрузился в себя, стараясь не замечать серебристые, оранжевые, зеленые, золотистые, бирюзовые и огневые тона на одеждах арабов, индусов, мусульман, парсов, англичан, евреев.

Вскоре этот вихрь красок стал еще причудливее, озаренный электрическими лампами, вспыхнувшими в каждом домишке, палатке, витрине; от него рябило в глазах, кружилась голова. Муну раздражал этот гомон на двадцати диалектах; он с трудом проталкивался со своим живым грузом среди горлающих мужчин и женщин. Все же его влекли к себе витрины, особенно те, где были выставлены стальные игрушки и крупные манго, крупнее тех, которые он видел в родной деревне, Шам-Нагаре и Даулатпуре. Но возле витрин толпились богатые люди, прешираясь о ценах, и смотреть было некогда.

Измощенный человек, все тело которого свело параличом, полз по краю дороги, у самых колес проезжавших мимо экипажей, и повторял жалобным, осипшим от повторений голосом:

— О, человек, подай мне одну пайсу.

— Пошел прочь! Пошел прочь! — крикнул на него владелец магазина, парс, заматываясь длинным бамбуковым шестом.

Немного дальше Муну увидел темнוליцевого слепого старика. Он опирался на руку дочери и на палку, которую держал узловатыми корешками пальцев. Дочь, стройная и гибкая, видимо, когда-то была полна жизни, но теперь вся фигура ее выражала отвратительную приниженность, в глазах светилась страдальческая покорность, она беспомощно улыбалась и, сложив руки, назойливо кланячила милостыню.

— Пошли отсюда! Пошли! Дайте нам покой! — сказал индус-купец в одежде цвета соломы. Он сидел у окна своей лавки и бил мух. Услышав мольбу девушки, он жестко усмехнулся, и эту усмешку словно отразили, сверкнув, рубины в кольцах его серег.

«Значит, и в Бомбее деньги не валяются на улице, — размышлял Муну. — И здесь бедных хоть отбавляй...»

Пройдя базар, они вышли на улицу с большими домами, фасады которых, по образцу европейских, были украшены гипсовыми барельефами в виде цветов и арабесок. Высокие фонарные столбы перед кино с разноцветными электрическими

лампочками еще больше подчеркивали европеизм этой улицы.

— А что если здесь лечь спать, брат? — сказал Муну.

— Нет, — отозвался Харп, — ночевать близко к домам богатых нельзя. Тут бывает много краж, честных людей забирают вместе с ворами и лодырями и сажают в тюрьму. Ночевать можно только на тех улицах, где рано запираются лавки и ступеньки свободны.

Они проталились еще шагов двадцать до перекрестка. Харп вдруг остановился, и Муну чуть не налетел на него со своим живым грузом уснувших ребят, ринувшись слишком стремительно в сумрак лежавшей перед ним широкой улицы, укрытой густыми тенями домов, на которые спускалась ночь.

— Или ты забыл дорогу? — спросил Муну, увидев, что Харп стоит не двигаясь.

— Нет, — покачал Харп головой. — Но мы опоздали. Трудно будет теперь найти место, эта улица полна спящих мужчин и женщин. Придется подождать, пока на базаре закроются лавки, если только все места не окажутся занятыми кули, которые работают по соседству.

Обернувшись, Муну взглянул на жену Харп; она стояла неподвижно, лицо ее все еще было скрыто покрывалом.

Муну посмотрел вдоль широкой улицы, освещенной бледным светом редких газовых фонарей. Повсюду лежали кули, едва прикрытые лохмотьями. Одни, подобрав под себя ноги, другие, уткнувшись лицом в скрещенные руки, иные распластались на животе, подсунув под голову свой узелок или сундучок, иные еще сидели по закоулкам на корточках, разговаривая, или на ступеньках лавок, тесно сбившись в кружок. Иные же забылись сном, подобным смерти, прерываемым только тяжкими вздохами.

— Пройдем подальше, может быть, и найдется местечко, — предложил Муну, ободренный струей свежего бриза, который донесся, извиваясь змейкой, с недалекого моря, и храбро пошел вперед.

Но не прошел он и трех шагов, как споткнулся об одеяло, прикрывавшее изъязвленное тело прокаженного, высунувшего в виде предупреждения забинтованную руку и ноги.

Охваченный отворачивением и жалостью, ужаленный скорпионом страха, Муну отскочил, но тут же кинулся в другую сторону, так как был встречен сильным стоном нищенки: она защищала своим телом

ребенка и смотрела в темноту взором тигрицы.

Муну вернулся к Хари, улыбаясь судо-рожной улыбкой.

— Смотри под ноги, сын мой, — заметил старик. — Не надо мешать людям спать. Я покажу тебе, куда идти.

Муну пропустил Хари вперед и последовал за ним с величайшей осторожностью, стараясь приноровиться к тяжести спящих детей. Он дивился—как это жена Хари видит в темноте из-под покрывала, и ему очень захотелось, чтобы она открыла лицо. Если она такая же старая, как Хари, то он спокойно может попросить ее об этом, ведь она тогда ему, четырнадцатилетнему, в матери годится.

Он оглядывался, ища предлога, чтобы заговорить с ней.

Вдруг острый душераздирающий крик пронзил раширой его слух. Невдалеке тело какого-то кули с тупым звуком грохнулось оземь и скатилось по ступенькам крыльца, подгоняемое пинками сторожа, видимо, вознамерившегося запереть железную дверь, предохранявшую дом его хозяина от воров. Кругом застонали, завздохали, зашептались. Несолько кули, опасаясь, что их постигнет та же участь, поднялись с земли и вышли из закоулков и нор, куда они забились на ночь. Тела, разбросанные по мостовой, завозились, люди сбрасывали с себя белые лохмотья простынь, потягивались словно полированными черными телами, или встряхивались, чтобы сбросить оцепенение сна, садились и начинали бормотать какие-то ласковые, тихие слова и заклинания, точно эти магические формулы могли зачаровать судьбу и отвратить все несчастья.

Вернулся Хари с утешительной вестью: — Идем. Я вижу на той стороне свободное местечко.

Муну последовал за ним, размышляя о том, насколько здешние кули отличаются от виденных им на Зерновом базаре в Даулатпуре. Тела у северных жителей гор и Кашмира были крепкие, кражистые, голенастые, грубые, а эти кули казались тонконогими, хилыми, щуплыми. Но боялись блюстителей порядка северные кули не меньше, чем южные. И он вспомнил, как в страхе карабкался на мешки и дрожал, что его увидит сторож.

На той стороне действительно оказалось свободное место — от крыльца какой-то лавки тянулась галлерейка фута в три шириной, видимо, предназначенная для того, чтобы ставить на день обувь владельцев. Рассматривая эту галлерейку,

они никак не могли понять, почему она свободна.

Там сидела только полубоуженная женщина, обхватив голову руками и словно борясь с нестерпимой болью. Она взглянула на Хари и его спутников и сказала голосом, прерывавшимся от рыданий:

— Здесь прошлой ночью умер мой муж!

— Он обрел освобождение, — сказал Хари. — Мы отдохнем на его месте.

Муну вдруг почувствовал весь ужас смерти. Ему чудилось, что перед ним выступили из мрака огромные, уродливые, демонические очертания бога смерти. Он видел однажды в Дуалатпуре литографию: бог смерти сторожит души злодеев, силящиеся перенлыть океан крови. Его собственная кровь точно высохла. Но его согрело теплое дыхание ребенка, которое он чувствовал на своей щеке, а Хари сказал:

— Мы привидений не боимся.

К счастью, его жена не слышала предостережения женщины, она молча стояла в стороне, изнемогая под тяжестью вещей.

— Пойди сюда и дай телу своему отдых, Лакшми, — сказал Хари. Он принялся развязывать узлы. Она послушно исполнила волю мужа и господина.

— Мы ляжем с тобой на мостовой, — сказал Хари, ласково положив руку на спину Муну. — А дети устроятся с матерью там наверху.—Муну опустил мальчика на приготовленную для него постель. Затем вернулся и сел наземь у стены дома.

Горбатые камни еще хранили в себе солнечный зной. Но он видел, что многие кули вокруг него уже завернулись в простыни. «Привыкаешь, — думал он. — И я скоро привыкну. А пока я еще новичок».

Все казалось ему странным здесь: дома в Даулатпуре были сравнительно не высоки, и кули, примостившиеся вокруг них, напоминали муравьев возле муравьиной кучи, но среди этих гигантских каменных сооружений, чья тень покрывала собой весь узкий базар, им просто не было места. И было что-то гнетущее в этом нависшем южном небе и в черном, неподвижном плотном воздухе. Стояла такая тишина, словно все умерло.

Муну чувствовал глубокое одиночество. Его коснулась жаркая струя воздуха, повеяло тошнотворным запахом прогорклого масла, сандалового дерева, мочи, кислого молока, рыбы и гнилых фруктов.

Он посмотрел в ту сторону, откуда потянуло жаром: он услышал полувдох, полустон и шорох откинутой простыни. Он посмотрел в другую сторону: там какой-то вули тревожно перевертывался с боку на бок и что-то бормотал. Третий метался по земле совершенно голый, хлопал себя по коленям и мерзко ругался.

Муну устремил взгляд на ту сторону улицы, затем на Хари, который улегся рядом с ним, и снова на вдову: она все сидела, подперев голову руками. А повсюду на мостовой валялись тела, тела, тела. Если полумертвые — общество, то он, конечно, был не один. Но в душу его заползал невыразимый ужас, ужас перед их сном, перед их беспамятством, ему чудилось, что вот они сейчас откроют воспаленные глаза, будут скрежетать, стонать, рычать или вечно цепенеть в немой и глубокой неподвижности.

Безмолвно и торопливо вытянул он ноги, принял позу спящего, закрыл глаза и стал убеждать себя, что вокруг вовсе не призраки, а такие же люди, как и он;

они тоже приехали с севера и тоже ищут работы. Его лихорадило. «Сон, сон, приходи, сон», — звал он про себя. Его волнение росло, тревожное, возбуждающее, грозное, оно так потрясало его, что мысли как бы ранили мозг. «Сна, сна!» — молила его душа. И он изо всех сил зажмурился. Но хотя его глаза устали, а кости ныли, он слишком истомился, чтобы уснуть. Его тело то дрожало в ознобе, то покрывалось испариной. Задыхаясь, он повернулся на бок и увидел, что Хари крепко спит. Муну постарался лечь в то же положение, что и Хари, надеясь, что и он заснет. На миг он затих: безнадежно. Мучительно хотелось ему вскочить и бежать — прочь, прочь, прочь отсюда — подальше от этих улиц, туда, где есть хоть капля свежести. Он вертелся упругим телом с боку на бок до тех пор, пока от камней не разболелись кости. Тогда он опустил лицо в ладони, лег ничком. И удрушающий мрак обрушился на него.

Перевод с английского В. СТАНЕВИЧ

(Продолжение следует)

Ночь перед боем

Ходит песня у костров.
Свист. Мороз. И темень.
Ходит песня в десять слов
Над кострами теми.

У огня бойцы. И вот
Через ночь и выюгу
В этой песне друг идет
На подмогу другу.

В этой песне мать спешит
К сыну перед боем,
В этой песне бьют стрижи
В небо голубое.

В шалаше огонь гудит,
Сосны млеют рядом.
И подходит командир
К огоньку, к ребятам.

— Ну, ребята, как поем?
Песня-то пригожа.
Я, бывало, сам в ночном
Пел такие тоже.

И заводит в свой черед
Песню тихо, строго.

И растет она, растет,
Крепнет понемногу.

... Сапогами чуть звеня
По земле студеной,
Ходит Сталин у огня,
В песне немудреной.

В теплой шапке меховой,
С нами тут же, вместе,
Он сидит такой родной,
Подпевает песне.

А мороз большой суров,
Дым сосновый едок;
Песня ходит у костров,
У погасших веток.

И летит усталость прочь
Черною совою,
И труба грохочет в ночь,
Призывая к бою.

И влечет бойцов на бой,
И гремит над миром,
Песня, спетая в седой
Роще с командиром.

Батальон идет в атаку

Приказ боевой — высший закон!
В атаку
 движется
 батальон.

А впереди — река и мост,
Обломками взмывший до самых звезд.
Белою пеной одет до пят,
Рядом кипит и бьет водопад,
Кипит, и ничто его не берет —
Ни ветер,
 ни снег,
 ни мороз,
 ни лед.

Горы друг к другу жмутся во мгле,
Прикрытые рваным ковром лесным,
Как будто страшно им на земле
И холодно на бездорожьях им.
И даже звезды с седых высот
Струят бледнеющие огни,
Словно вковали их в мрак и лед,
Чтоб не сбежали на юг они.

Но в небе сегодня дороги нет,
Нет ни дорог, ни троп ввызю,
И тянется ночь, словно белый бред,
Сосны раскачивая навесу,
И под каждой сосной, забит, зарыт,
Лежит
 и ждет тебя динамит.

Колючая проволока навесу
Шипит клубком встревоженных змей,
Пули, распарывая темноту,
Стонут и крови ищут твоей,

И спяние призраки нищих хат,
Высясь над пеплом голой трубой,
Как мстители, рядом с тобой стоят,
Рядом с тобою движутся в бой.

Но через реки, сквозь мрак и лед,
По склонам, где ветер смерти поет —
 снег на ресницах,
 горечь во рту,
 гранаты позвякивают на ходу,
 в гнезде патрон,
 и курок взведен —
 в атаку
 движется
 батальон.

И там, где красный падет солдат,
Двенадцать над ним поднимаются в ряд —
Двенадцать солдат
Поднимаются в ряд,
Двенадцать
Дело его творят.

И, если падет командир, — над ним
Встань и оружием клянись твоим —
Ити, как он, побеждать, как он,
Как он, через ночь, и снега, и лед
С именем Сталина батальон
Во имя народа вести вперед!

Снег на ресницах, горечь во рту,
Гранаты позвякивают на ходу,
В гнезде патрон,
И курок взведен —
 в атаку
 движется
 батальон!

Детство

Волга текла, пзлучая свет,
Он исходил не от неба, нет:
В засуху — влага,
В стужу — тепло —
Все от ее полноводья шло.

Люди смотрели:
Она живет,
Песни поет
И ломает лед,
Живностью всякой до дна полна —
Небу подстать ее глубина.

Здесь он родился
И Волгу пил,
Лазил по яблоням,
Рыбу ловил...
Сына отец прижимал к груди:
— Малому пальца в рот не клади.

Малый любил под плоты нырять.
С плачем бежала с берега мать:
— Валька-а!
Ответый!
Ой, нахвоцу:
Если утонешь —
Домой не пуцу!

Мимо, свистя, пароходы шли.
«Вот бы за ними
На край земли...»
Валька, как рыба, кинется вслед,
Сядет за руль:
— Старикам прпвет!

Рыжики в роще начнут расти —
Валька тоскует:
— Батя, пусти!
Клин журавлей пролетит над рекой—
Он поглядит —
И прощай покой.

Тянет за Волгу
В густые леса.
Чудится:
Ходит в лесу лнца,
Волки рычат,

Мычат сохачи,
Филлины «шубу» просят в ночи.

Он созывает своих ребят —
Тертый,
Бывалый в драках отряд,
Едут на остров
В густой тальник:
На семь парней
Один дробовик.
Волка не встретят —
Личи набьют.
Утку в канустный лист завернут,
Глиной обмажут
И — на костер:
Ужин заслужен,
Горяч и скор.

А не убьют —
Велика беда,
Хлеб да вода
Ужель не еда.
Шанки на выстрел летят к небесам:
Всякий свою расшибает сам.

Рвался Валерий в леса,
В лога...
Если бы рядом была тайга, —
С детства на зверя
Один-на-один.
Верно ходил бы котельщика сын.

С детства он чуял в себе орла.
Рядом с деревней гора была,
Валька с горы на лыжах парил,—
Лыжи к зпне
Он сам мастерил.

Где-то нашли паруспновый зонт,—
Валька построил ребят во фронт,
Прыгнул в овраг —
И... остался цел...
С детства Валерий в небо глядел.

Скоро пиджак глухаря-отца
Стал тесноват на плечах мальчика.
Вождь разглядел в волгаре орла,
Родина крылья ему дала.

1940 г.



Какие дома большие,
Проспект, и река, и парк.
Я помню, как мы положили
И первый кирпич, и как
Последние яны корчевали,
И жили в палатках зимой,
И двадцать ночей не спали,
В пургу, и в дожди, и в зной
Рубили, бетон месили
В мороз на слепящем ветру.
Мы видели мир, мы любили
Бессонницу лашу и труд.

Я в доме живу, который
Выходит фасадом к реке,
И волны бегут от моторок,
Рисуя узор на песке.

Над домом моим самолеты, —
На Кремль они держат путь, —
И девушка просит пилота
Рукой Комсомольску махнуть.

Та девушка песни пела
О городе молодом,
И радость она умела
Внести в педостроенный дом.

Та девушка бревна сплавляла,
На клумбах сажала цветы,
Та девушка совмещала
Всю силу своей простоты
С мечтой о цветущем саде,
Желая, смеясь и любя.
Такой, ясноглазая Надя,
Навеки запомню тебя.

Девушка из комсомола

Охотник убил фазана,
Охотник идет и поет:
— Она, с голубыми глазами,
Меня в этой роце ждет.
Охотник заходит в роцу,
В прохладу и шолутьму.

И по ветру алый полощет
Навстречу платок ему.
Я тоже убил фазана —
И мне иногда везет,
Но вот с голубыми глазами
Меня-то никто не ждет.

Состязание акына Джамбула из рода Шапрашты с акыном Сарбасом из рода Дулат - Каскарау, имевшее место в городе Верном в 1895 г.

ГОВОРIT САРБАС

Слово одно я войдя произнес,
Сокола словно с собой принес, —
Так отчего же ты не бежал,
Черный карлик, задравший нос?
Я — великий Сарбас! Ну, а ты?
Мой язык — ледяной кинжал!
Где же тебе тягаться со мной,
Нищий из племени Шапрашты?

Мой Дулат — величавый род.
Присмотрись хотя бы ко мне:
Я — как блеск озерных вод,
Разливающийся меж камней.
Ну, а что сказать ему?
Разве Шапрашты — народ?
Черномазый этот урод
Много на себя берет.

Жалко его... Великий Сарбас,
В битве хищный, как дикий барс,
Всех, подобных этой тле,
Пригвождал всегда к земле.
Скажите, однако, беки-друзья:
Этого, жмущегося среди вас,
Бледного, как под дулом ружья,
Наверное шепчущего Коран,
Вы припасали не для того,
Чтоб я при всех заглотаю бы его,
Как черную ящерку серый варан?

Что ж! Если вы пригласили меня,
Я, Сарбас, конечно, пришел,
Хоть предок мой — Джалбыр-он-
Кабан,
А предок Кабана — Алиб Аман.

Итак, скажу о родне своей,
О многочисленности ее.
Трех имел Джарыкшак сыновей:
Первый — Дулат. Второй — Альбаи.

А третий сын назывался Суан.
В роде же «Копыр-борык»
Повстречался мне Джуан,
Пахарь из Узун-Агача.
Эй, Джамбул! Задай стрелача.
«Копыр-борыки» — твои дядья!
Горемыки твои дядья...
К этой новости подождя,
Почему радоваться тебе.

Итак, от Дулата — дулатцы пошли,
Альбаицы — те пребывают вдали,
Суанцы ханствуют в Арысе,
Вот, Джамбул, какие мы все!
Наше имя — удар пращи!
Ну, а что твой род Шапрашты?
Нищий род, никудышный род,
Где каждый внук — это лишний рот.

Ты, Джамбул, пришел сюда
С жадной мыслью — победить!
Но я для тебя, малышка ты мой,
Недосягаемая звезда,
Неразлетающийся булат.
Славен великий наш род Дулат!
Все мы беки, баи мы все...
Один с табунами кочует в выли,
Другой пребывает в далекой дали,
А третий ханствует в Арысе.

Скажу о границах державы моей.
До Джаркента доходим мы.
Всю широту золотых стеней
Заполняет наш тучный скот,
А в это время акын Сарбас,
Этот Дулатов сын Сарбас,
Блещет ясной водой, как алмаз.
Рядом с таким акыном, как я,
Может ли существовать твой род?
Нет! И слово мое не соврет:
Я вам как линия лезвия!

С домброй своею ты пришел?
Но я тебя вобью, как кол!
Сыны Дулата таковы,
Что тесно им на этой земле.
Сопротивляющегося врага
Мы оставляем без головы.

Я из племени Дулат.
Этот род несметно богат.
Многочисленность его
Такая, что нет такого числа:
Кинешь иголку — эта игла
Не сможет даже на землю упасть —
Вот изобилие каково!

На бекство мое обрати свой взгляд:
Пищи дурной совсем не едят.
От гордости моя родня
Вовсе уже не слезает с коня.
Взгляни на ум: от врага не бегут!
Свищут саблей своей золотой!
Кочуя, идет за верблюдом верблюд,
Доказательство мудрости той.

Скажу о людях из рода Дулат.
Вышедший из Бестерека Салим
Словом своим владел, как конем.
Кто хоть раз побеседует с ним,
Тот всю жизнь скучает о нем.
Если кто не по праву ему —
Как журавля, он щупал того.
Если же доверялся кому,
Правым глазом смотрел на него.
Взгляни, Джамбул, на отвагу его:
Весь в броне — он держал стрелу.
Взгляни, Джамбул, на его щегольство:
Всегда отряхнет рукав и полу.
Там, где заикался другой —
Слово его текло, как бальзам.
Справедливости был такой,
Что черный волос рубил пополам.
Есть ли в роду твоём, отвечай,
Такой человек, как наш Салим-бай?

Или, может быть, есть у вас
Такой джигит, как великий Намаз?
Был Намаз из рода Кунту.
Никого он не признавал!
Сорок бойцов за хвостом держал.
Если его боевой кинжал
В кровь холодок свой не погружал, —
Таял от жара этот кинжал.
Таков был Намаз из рода Кунту.

Теперь акын Сарбас перейдет
К тому, которого звали Бот.
Был этот Бот из рода Ботбай.
Семь лет выбирал он себе невест.
Этого мужа не задевай:
Выбрал он, наконец, себе

Такую сладость, что даже рай
Разочаровался в своей судьбе.
Это был Бот из рода Ботбай.
Вот каков мой славный род!
Все мы баи, беки мы все...
Потомство Дулата блещет в красе,
Потомство Альбана — в кочевьи живет,
Суанцы ханствуют в Арысе.

Блажи твоей состязаться со мной
Удивляется весь Дулат.
Потешается весь Дулат
Над тем, что о роде твоём говорят.
Вы, — говорят, — захиревший гурт,
Есть ли у вас хоть триста юрт?
Благость и счастье с высоких гор
Не разглядели вас до сих пор.
Что ж ты стоишь? Не паль своих глаз!
Слушай меня: домой уходи!
Слушай меня: удирай домой!
Пальцы кусали себе не раз
Те, что соперничали со мной.

Что ж ты скажешь нам, Джамбул?
Что еще гложет сердце твое?
Как осплишь ты слово мое?
Сможет ли твой грубый гул
Одолеть пред ликом гостей
Очарованье песни моей?
Начни же! Слышишь — какая тишь?
Ага — бледнеешь! Ага — дрожишь!
Отчего ж не ушел — стоишь?
Эй! Ты!
Шапранты!

(Хохочет.)

ГОВОРIT ДЖАМБУЛ

В некоем городе Алма-Ата
В самый полдень, когда маята
Даже орла гнетет до земли,
На лужайке, что у ворот
Волостного Хожамберли,
Собирался разный народ:
Табунщики тут, волостные тут,
Тут молодежь, даже бии тут.

Разные люди сидели кругом.
Мирза Ногайбай с засаленным ртом
Кокчай хлебал и на пальцы дул,
Когда, держа домбру на ремне,
Непринужденно вошел Джамбул,
Если же просто сказать, — то я.
Холодным взглядом скользнувши по
мне.

Зная меня, не призвал он меня:
— Эй! А кто это за герой
Деревяжку держит с дырой?

Э, оказывается — вот кто:
Ваш хваленый Джамбул? Ну, что ж,
Пой. Но только помни, акын —
Перед самим Ногайбаем поешь!
Я, Ногайбай, такой человек:
Слушаю, не размыкая век —
Только из трубки дымок голубой
Да камча с железной резьбой,
Недвижно висящая на руке.
Скажут, что я доволен тобой.
Но если что невпопад заведешь —
Смотри тогда, беспутный теке: ¹
Камчой стегну по твоей бапшке!

Джамбула очередь настает.
Теперь уже Джамбула черед
Сказать про свой недостойный род.
Со славной бабушки Домалак
Песню свою начинает он.

Наша бабушка Домалак
Была одною из байских жен.
«Байбишэ» ² сластолюбива была,
Но и властолюбива была,
Поэтому бай чуждался ее:
Придумывал всякие он дела,
Только чтоб улизнуть от нее.
Были у бая свои табуны.
Там-то и прятался он от жены.
(Кстати — звали его Байлибек.)

А в это время один человек,
С телом, цветущим, как юный мак,
Посиживал с его Домалак.
Таясь от первой этой жены,
Были они друг к другу нежны.

Когда забеременела она —
Аул собрался уже кочевать.
Домалак осталась одна,
Думала почку отпочевать,
Думала утром кочевье догнать.
Вот занялась, конечно, заря.
Но только дохнул было солнечный
жар —

Вдруг налетел на наши края
Из Киргизии Аккошкар.

Аккошкар подъезжает к ней;
Говорит он женщине так:
«У Байлибека много ксней.
Благослови же меня, Домалак.
Благословенье твоей руки
Мне поможет угнать косяки
До последнего табуна».
«Радостен будь! — сказала она:

Только основа радости той
Пусть остается навек за мной».

Аккошкар поглядел на нее:
«Странно благословенье твое»,
Так сказав, поскакал в табун,
Но сердце киргиза тоской горит:
«Странно... Радость за мной, —
говорит».

На заре лошадей лихих
С именитыми метками их,
Со знаменитыми детками их,
Жеребятами этих коней —
Угнав, — опять подъезжает он к ней.
«Что пожелаешь, то и возьми»,
Заговорил он с нею опять.
«Вот что, — сказала, — хотела бы
взять:

Средь девяноста двух жеребят.
Которые матку свою теребят,
Которые выются, не чувствуя ног —
Есть саврасый один скакунок.
Никто, кроме ветра, его не седлал.
Никто, кроме снега, на нем не скакал.
Шейки его не касался курук ¹.
Отдай мне такого, если ты друг».

«Но как овладеет твоя рука
Лошадкой, не знавшею курука?»

Ресницы ее опустились вниз:
«Поймается — так поймаю, киргиз».

Так сказав, уходила в степь:
«Кур-кур, жеребёночек мой, кур-кур...
Который черец, который бур —
Отойди на этот раз!
Подойди, который саврас...
Отмахни хвостом слення,
Позабудь, что есть родня:
Твое счастье у меня».
Так Домалак говорила в степь.

И вот жеребенок пускается в путь...
Он показал свою гончую сталь,
К ней подбехал, обнюхал грудь,
Стал и дал себя запуздать.
В полдень к ней из кочевки своей
Прибыли восемь ее сыновей.
Не было на них лица:
«Где косяки отцовских коней?
Как раздобыла ты жеребца?»
Домалак рассказала все:
«Слушайте — заклинаю вас!
Корень-основа осталась у нас:
Еще не блеснет зарею вода,
Как все табуны вернутся сюда.

¹ Козел.

² Старшая из жен.

¹ Палка с петлей для ловли лошадей.

Если ж помчитесь за ними вслед,
Наступая следом на след,
Много стряется над нами бед».
Так умоляла бедная мать.
Но кто слова ее мог понять?
Да и кто слушает матерей?
Не вслушавшись в глубину ее слов,
Скачут восемь ее сынов,
Восемь любимых ее сыновей.

Поскакали они на восток.
Вот река. Вот ее исток.
Переехали холод реки,
Перебрались на бережок —
И вдруг вокруг поднялись враги...
Сабельный жиг! Конский прыжок!
И восемь алых багров навек
Ушли от сияния в ночь и мрак.
Издали видел все Байлибек
И поскакал скорей к Домалак.
И услыхала она от него:
«Твои побиты до одного!»

Тогда выходила в степь Домалак.
Тогда выводила она жеребца,
Запрягала его в возок,
Села сама, прихватила отца,
И полетели они на восток.
Там, наконец, показались ей
Белые кости ее сыновей.
Когда схоронили их, наконец,
И стало видно, что тучи горят,
Тогда Домалак возгласила: «Курайт!» —
И закричал ее жеребец.
От голоса этого жеребца
Степь гудела, как медный таз.
Горы трескались, и из рубца
Черная сера текла, дымясь.
И поднятые дыханьем его,
Как бы считая ханом его,
С веселым ржаньем — в выли, как в
дыму,

Все табуны поскакали к нему.
Тогда Байлибек, тогда Домалак
На запад направили конский шаг.

Восемь дней кочевали они.
На бегу ночевали они.
За ночами сменяются дни,
За темнотою сменяется свет,
Летят табуны — им устали нет.
Когда ж, наконец, с облегченной душой
В сотне средней и сотне большой
Оба узнали родной кишлак —
Схватки начались у Домалак.

Установили «сырык-бакан».
Ударил в маленький барабан.
И вот (таков уж закон бытия),
Заставив бедную мать кричать,
Появилось одно дитя.

Мать осмотрела его: увы
На теменной стороне головы
Был у мальчика крепкий изъяз.
Мать, конечно, удручена.
Знахаря бедная мать зовет.
В малой сотне — знает она —
Знахарь один такой живет.
Вот прискакала малая к ней.
Входит знахарь — камня темней.

То сосавшего грудь, то нет,
То обретавшего тьму, то свет,
То обретавшего день, то ночь
Мальчика — знахарь тот осмотрел.
Поврежденную часть головы,
Обсадив оперением стрел,
Вырезал и отбросил прочь,
Заменил черепашьей броней!
Стал выздоравливать этот больной.
Как была рада бедная мать —
Этого я не могу рассказать.

А сын этой матери, Домалак,
Был, оказывается, Джарыкшак.
А он породил троих сыновей,
Знает которых весь Казахстан.
Их имена, если хочешь знать —
Дулат, Альбан и третий Суан.

Вот вам, люди, на первый раз
О Домалак народный рассказ.
Вот вам бабка моя и его.
Эй, великий Сарбас — ну, как?
Узнаешь ли свое родство?
Плохо зная свой собственный род,
Крича, как птица: «Дулат! Дулат!»
Зря бахвальством смущаешь народ.
«Дулат!» кричишь ты, забыв Домалак.
Не столько Дулат ты, сколько дурак.

«Я — акын Сарбас!» — ты поешь,
Словно хлеб на груди печешь.
Экий ты, вялоокий ты,
Высохший, впалощекый ты!
Где же твой великий дед,
Взвивший знамя, как пожар?
Где его кольчуги жар?
Где его лихой тулпар?
Покажи хотя бы след!
Э! Не выше вы травы:
Никого не ведете вы.

Правда, сын Дулата ты.
Только сколько ни ори,
Мы, потомки Шалпрашты,
Малочисленнее вас,
Но зато — богатыри!

Я уж если запою —
Ураганом слово лью!
А когда пойду на бой

За отцовский Казахстан,
Блеща сталью голубой,
Опалю врага пальбой!
Боевая пуля я!
В боевой броне мой стан!
Нынче очередь моя.

Если ж так — заговорю.
Долго ты, раздув перо,
Как заморский попугай,
Мой соперник дорогой,
Распалая мое нутро,
Словно алую зарю.

Со своею бородой,
Улетающей, как змей,
Даже думать ты не смей,
Что Джамбула обойдешь.
Я, уж если захою
Золотистую свою, —
Загоню в дыплячью дрожь
Кровь холодную твою.
Из моих краев Есकोжа
Выходили богатыри,
Не один, не два и не три —
Те, что полчища разгромив,
Те, что вражество сокруша,
Славой народа были, душа.

У казахов Джетысу
Жизнь унылая была.
Отовсюду, что ни день,
Как у волка на лиса,
Зубы скалила стрела.
То киргиз, а то калмык,
То калмык, а то коканд —
Разоряли наше добро,
Настушали нам на кадык.
Орман хан ли удалец,
Белигер ли молодец
Казахстанские края
Истожили, наконец
Мертвый день настал для нас:
В этот очень черный год
Со своих земель и вод
Изгнан был родной народ.

В эти страшные времена,
Чтоб прогнать врагов от границ,
Словно стаю черных птиц —
Кто орленком был рожден?
В этот очень страшный час
Перед полчищами врагов,
Что, как шакалы, кусали нас —
Кто тигренком был рожден?
То был воин Саурек!
Был достоин Саурек
Самой высшей высоты!
Так не хвастайся же, старик,

Тем, что из Дулатов ты:
Саурек из... Шапрашты.

Клювам тысячи ворон
Беркута не одолеть!
Там, куда приходит он,
Разъяренный Саурек,
Конь падет и рухнет бык,
Хан падет и рухнет бек:
Черноперым — видит бог —
До него не долететь.
В панцире стоит Саурек,
Словно солнце блещет лучом.
Протыкает серый гранит
Острием узколищих пик:
Всех джигитов он обучил
Нападать в боевом строю;
Передал ухватку свою
Даже тому, кто душою спик.

Ну? Кто мог бы сравниться с ним?
Саурек ни с кем несравним!
Вот что значит Шапрашты!
Оберегает мир Саурек.
Истинный это батыр — Саурек!
Он — сокровище твое!
Не понимаешь этого ты.
Для тебя Шапрашты — это род,
Для Саурек — частица одна
Того, что есть казахский народ.
Не понимаешь этого ты,
Невидящий ничего урод.
Когда врага громил Саурек,
Был и дулатам мил Саурек.
Сам ты следовал бы за ним!
Весь казахский наш народ
Саурек считал своим.
Был Саурек не только удал,
Умудренным был Саурек!
Все, что рассыпано — собирал.
Все, что разметено — подметал.
Все, что развеяно — вновь свивал!
Этим он перед нами велик.

Ну, а ты-то? Ты? Дулат?
Сам скажи: ну, кто тебе рад?
Разве падших ты подымал?
Утешал того, кто спр?
Угощал того, кто мал?
Кляча ты среди лошадей!
Самый жалкий из людей!
Даже богом ты убил!
Омерзительен твой вид:
Тело скорчено твое,
Брюхо дряблое висит,
В брюхе плещется вода.
Под башкой у тебя беда.

Я же учу народ добру.
Я, настроивши домбру,

Держу сердце на ветру!
Настоящий я казах!
Ну, а ты? Я разве совру,
Падалю тебя назвав?
Сорняком средь сорных трав?
Старой галкой среди пав?
Сколько б ты скота ни имел —
На еду всегда был скуп.
Всякий знает: сам не ел,
Чтоб другим не помазать губ.
Воду жалел у себя в реке!
На коней не садился своих
Ты, подстреленный мною теке.

Я говорю — это гром говорит!
Сяду — пол-юрты плечами займу!
Гибкий, как молодой джигит!
А этот сидит, влохой старичок,
Не угрожающий никому,
Но никого из всей стени
Не считает он равным ему.

Слушай ты! За сорок тебе!
Но все еще мелкий порох в тебе!

Мальчишество на уме у тебя.
Рот твой, вечно шевелясь,
Изливает сплетни да грязь...
Бабье что-то в твоей судьбе!
Слову поэта цены не познав,
Попросту изболтался ты.
Достоинство к поясу привязав,
Как жаба, ушедшая в мир темноты,
На мой крючочек попался ты.

Смотри же, Сарбас, на мои дела:
Уста твои запер я на замок!
Словно скакун, закусив удила,
Гривой свищу я, не чуя ног!
Если бы ты меня в скачке настиг —
Сбросил бы я через круж тебя!
Угодил ты мне на язык —
Сплюнул я через зуб тебя.

(Победа была признана за Джамбулом,
которому в честь ее вручили 150 руб-
лей.)

Перевел ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

Б а с н и

(по Лашамбоди)

ПТИЦЫ НОЧИ И СОЛНЦЕ

В дупле, — в своем палатце, — герцог
Филип

Подагрою и астмой обессилен.
Собрал в полночный час большой Совет
Из птиц, которым ненавистен Свет.
Явились: Козодой, великий князь из
Ниццы,

Сова из бывшего монастыря,
Полковник Белохвост, — и все другие
птицы,

Кто — ковыляя, кто — паря.
И прилетела, вереща, мяуча,
Мышей летучих биржевая туча...
И Филип прохрипел: «Да будет мгла!
Нам угрожает гибель, — даль светла!
От лампы керосиновой, от газа,
Уже сто лет я слеп на оба глаза.
А человек наглет нам на зло.
Теперь в любой теснине леса

От электричества светло.
Мы погибаем от Прогресса.
Так что же, млечный саван шить?
Но ясно и слепым воочью:
Чтоб наслаждаться вечной ночью,
Должны мы солнце потушить!»
И лишь он кончил, — клювы раскрывая.
Расправив когти, — с диким шумом стая
Вметнулась вверх... Но солнце свысока,
Не шевелясь перед напастью злою,
Одним сожгло зрачки, носы, бока,
Других посыпало золою...

Когда весь Черный Причт пугает нас,
грозя
Войною ли, походом ли крестовым, —
Я повторю филипам и совам,
Что солнце потушить нельзя.

ПЕТУХ И ЯСТРЕБ

Султан-петух, владея парой шнор,
Держал в покорности свой птичий двор.
Всех презирал, никому не веря,
Он обращал строптивых в пух и перья.
И выделялся толщиной он
Среди ошипанных и тощих жен.
На птицу разную глядел он косо,
Когда она клевала просо.

Тут ропот начался: «Ты фанфарон!
Ты слабых бьешь, а трусишь даже гуся!

Ты с ястребом сразись!» — «Что ж, —
кукарекнул он,
Свой гребень занеся, — и с ним сражусь.
я.
Смерть ястребу! Он обречен!»

И тут же ястреба петух увидел вдруг,
Во двор летевшего бесечно...
Петух — навстречу вмиг: «Вы ястреб?
Рад сердечно!
Распотрошите их и знайте — я ваш
друг!»

С. ПЕРСОВ

Генерал Смушкевич

I. ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

Маленькое, заброшенное среди белорусских лесов и болот, местечко Пуховичи выглядит сегодня как-то по-особому торжественно.

Все одеты по-праздничному, у всех радостью светятся глаза, все высыпали на улицу. И те, что не маршируют в демонстрации, тоже не остались дома. Пуховичи впервые встречают Первое мая в спокойной обстановке. С зелеными бандами покончено, можно больше не опасаться неожиданного вторжения польских легионеров или отрядов Булак-Балаховича... Кроме того, здесь сегодня ждут прибытия желанного гостя: говорят, из соседней летной части должен прилететь на аэроплане тот самый военный, который полгода тому назад вместе со своим полком спас местечко от зеленых банд.

Демонстранты со знаменами и флакатами, с оркестром стоят на центральной площади местечка. День выдался погожий, ясный. Легкий ветерок доносит из окрестных лесов тонкие запахи весны.

Вдруг кто-то крикнул:

— Вот! Вот он!..

Высоко в небе показался аэроплан. Вслед за тем сверху посыпались листовки.словно чайки над водою, они кружили в воздухе и плавно спускались наземь.

Все бросились их поднимать, ловить на лету. Крупными буквами в листовках было напечатано:

«Вступайте в общество друзей воздушного флота!»

А самолет продолжает кружить в вышине и оглашать воздух сердитым рокотом мотора. Демонстранты подняли головы, козырьком приложили ладони к глазам, восторгаются:

— Орел!

Но что случилось? Аэроплан то кружит,

то вдруг кренился на крыло, то взмывает кверху, то будто падает вниз и снова начинает кружить... Кто-то обращается к девушке, стоявшей в колонне:

— Бася! Это он тебя высматривает...

Девушка улыбается и стыдливо опускает глаза.

Аэроплан приземляется.

Но где садиться? Пуховичам аэродром даже и не снился. А тут еще и мотор закапризничал. И самолет должен был сделать вынужденную посадку... на выгоне, у самых болот. В последнюю минуту мотор отказал. Самолет скапотировал и разбился на мелкие куски.

Из-под обломков выбрались два человека — иллот и политрук соседней летной части — оба целы и невредимы. Они увидели: вместе с самолетом сломалось и деревянное древко от знамени, свернутого и прикрепленного к фюзеляжу.

Зная предназначалось в подарок местному совету Пуховичей, над которым шефствовала летная часть. Но преподношение подарка пришлось отставить: не итти же на демонстрацию с одним полотнищем, без древка!..

Аэроплана, конечно, жаль. Очень жаль. Но хорошо, что обошлось без человеческих жертв, хорошо, что остался цел политрук, Яков Смушкевич, которого знает все местечко!

— Бася! — прошентал один из демонстрантов девушке на ухо, указывая на приближающегося политрука. — Недаром, видно, говорят: чему быть, того не миновать!..

Девушка волновалась. Хотелось знать, действительно ли не пострадал политрук. Хотелось подойти к нему и сказать хотя бы одно только слово:

— Яков...

Но пробраться к нему было не так-то легко. Он стоял уже на трибуне.

— От царского правительства, — говорил Смушкевич, обращаясь к демонстрантам, — нам досталось плачевное наследство: никакой авиапромышленности, никаких авиазаводов, если не считать нескольких мастерских, в которых собирали аэропланы, купленные за границей.

— А наша советская власть, — молодым и звонким голосом продолжал Смушкевич, — строит свой, собственный крепкий воздушный флот! Гражданская война окончена, зеленые банды ликвидированы; хозяева страны, трудящиеся, восстанавливают свое хозяйство.

И политрук подробно разъясняет смысл призыва, напечатанного в листовках, сброшенных им с аэроплана.

В стране создано «Общество друзей воздушного флота». Средства, добровольно собранные среди трудящихся — членов общества, пойдут на строительство мощной советской авиации. Каждому аэроплану будет дано имя той организации, на средства которой он построен. Не должны отставать и Пуховичи! Партия и правительство обратились с призывом ко всем трудящимся: «Создадим свой собственный красный воздушный флот!»

Маленькое белорусское местечко горячо откликнулось. Тут же, на первомайской демонстрации было принято решение: отчислить дневной заработок, провести несколько субботников, построить аэроплан и назвать его... «Пуховичский рабочий».

...Демонстрация давно закончилась. Умолкла музыка. В домах уже зажгли огни. Но на площади все еще полно народа. Раздаются песни, молодо и задорно звенят голоса в прозрачном вечернем воздухе. А гости — пилот и политрук — направились к вокзалу. Возвращаться им пришлось скромно по железной дороге.

Политрук Смушкевич чувствовал себя подавленным. Правда, агитрейс прошел с успехом; трудящиеся Пуховичей аэроплан построят.

По дороге на станцию Бася, волпуясь, спросила:

— Яков, вы не пострадали? Только скажите правду...

— Нет, не пострадал. Но, понимаете, — Смушкевич вздохнул. — Даже подарок, знамя, и то не удалось передать... И к тому же... — он еще глубже вздохнул. — Ведь это мой первый, самый первый в жизни полет...

— Ну, а дальше? Неужели останетесь... то есть, будете летать?

— А как же! — удивился Смушкевич, и в глазах у него вспыхнули огоньки. — Там столько простора...

— Где?

— В воздухе...

II. КОМИССАР

В Пуховичах Смушкевича знали. Полгода тому назад ему здесь часто приходилось бывать.

...Была глубокая осень девятьсот двадцать первого года. Уже выпал первый снег, тут же растаявший и превратившийся в слякоть. Дни стояли хмурые, облачные, насушенные.

В округе свирепствовали банды.

Люди не знали, что принесет им завтрашний день. Крестьяне окрестных деревень боялись выезжать из дому. На дороге и в лесах находили убитых и ограбленных. Базарная площадь замерла: ни полена дров, ни охапки сена, ни меры картошки — ничего достать нельзя было. Томительно-длинными ночами люди дожидались рассвета, а днем на перекрестках собирались группы местечковых жителей и оживленно обсуждали события.

— Ушел вчера мой Степан с отрядом! — говорила пожилая женщина.

— Что твой Степан? У меня Мотыка ушел. А ему и шестнадцати еще нет...

Партийная и комсомольская организации Пуховичей мобилизовали своих членов в вооруженные отряды на помощь Красной Армии. Вместе с партийцами и комсомольцами на борьбу с бандами уходило немало и беспартийных из местечковой и деревенской бедноты.

Но происходило что-то странное: даже части Красной Армии, оперировавшие здесь, никак не могли поймать банду. Как только наша часть приближалась к лесу, банда об этом узнавала и словно сквозь землю проваливалась. Бросалось в глаза и то, что банда всегда была прекрасно осведомлена о местах расположения красных частей, палеты банды на местечки и деревни проходили безнаказанно.

Во время одного из очередных налетов на Пуховичи банда захватила с собою двадцать человек в качестве заложников. Местный доктор был вне себя:

— Помилуйте! — взывал он. — Угнать людей в лес! Как скот...

Среди заложников оказалась семья — отец с двумя сыновьями. Вскоре один из этих сыновей вернулся в местечко и общил:

— Атаман поручил мне передать: он

требует выкупа — золота, драгоценностей и денег. Доставить ему все это должен я. А если кто-нибудь посмеет хотя бы слово сказать, то не только остальные девятнадцать заложников, но и все местечко будет стерто с лица земли!

И снова возмущался доктор.

— Ведь это же разбой! — твердил он, уговаривая пуховичан не затягивать этого дела и собрать как можно скорее все, что атаман требует.

И местечко покорно выполнило волю бандитов. Посланец, доставивший атаману выкуп, был отпущен. А остальных заложников бандиты утопили в озере.

Кому-то из пуховичан удалось задрами и окольными дорогами пробраться в соседнюю деревню Блонь, где был расположен красноармейский полк. Но и на этот раз банда до прибытия полка оставила местечко и скрылась в лесу.

Первым в Пуховичи приехал верхом помощник комиссара полка, Яков Смушкевич. На перекутаных улицах не было ни души. Лишь на одном крыльце стояла стройная русоволосая девушка. Всадник подошел к крыльцу и спросил:

— Не можете ли, товарищ, сказать, где помещается военный комендант?

Девушка показала, в каком направлении надо ехать, и всадник прищипорил коня.

Из ворот соседнего дома вышел шаренек в куртке, подпоясанный, и с банлыком на голове.

— Знаешь, кто это такой? — спросил он у девушки. — Это комиссар... Наш комиссар... Мы с ним в разведку ходили...

Каждый день после работы в учреждениях и мастерских люди — полуголодные, кое-как одетые, в рваных ботинках с обмотками — брали винтовки и шли в лес и поле ловить бандитов.

Отрядами добровольцев руководил комиссар Смушкевич. Местные жители, знавшие как свои пять пальцев все лесные тропинки, ходили в дозор, указывали дорогу красноармейцам, участвовали в боевых действиях против банд. Нередко комиссар приказывал отрядам выступать в определенном направлении, а на самом деле водил их в противоположную сторону. Этот маневр почти всегда помогал найти, если не всю, то часть банды.

Приходилось нелегко. Бандиты прятались в хорошо замаскированных землянках, то появляясь неожиданно, то исчезая бесследно.

И все же, спустя некоторое время стало известно: 35-й пехотный стрелковый

полк, расположенный в деревне Блонь, совместно с отрядами добровольцев, уничтожил банду.

Местечко устроило вечер для своих освободителей. На вечере помполит подошел к русоволосой девушке:

— Это вы указали мне, где помещается военный комендант?

— Я...

— Будем знакомы! — комиссар протянул руку и взглянул на девушку своими черными мечтательными глазами. — Яков... Смушкевич, — отрекомендовался он.

Красноармейцы, окруженные местными жителями, рассказывали: уничтожить банду было вовсе не так легко... Операцией окружения и захвата «зеленых» руководил лично товарищ военком (он был врид военкома полка). Это бесстрашный человек! Он первый лезет в огонь, — говорили они.

— Такой молодой! — удивлялся доктор.

— Да ему и двадцати-то нет! — ответил один из красноармейцев.

Доктор подошел к комиссару и долго пожимал ему руку:

— От имени всех здешних передовых людей выражаю вам...

Смушкевич пробормотал в ответ что-то невнятное, — он не любит пышные фразы.

Доктор слыл в местечке отчаянным либералом. Однако спустя некоторое время удалось обнаружить, что «либеральный» доктор, местный поп и еще несколько «почтенных» лиц были тесно связаны с бандой. А всей работой бандитов в уезде руководил обер-бандит Береза.

Польский шпион с подложными документами и присвоенным чужим партбилетом, Береза устроился в Игуменском уездном военкомате. Зная дислокацию красных частей, он заблаговременно оповещал бандитов о грозящей им опасности. Красным частям он, в свою очередь, поставлял ложную информацию и таким образом обеспечивал банде свободу действий...

И только после того как за дело принялся 36-й пехотный стрелковый полк в котором военкомом был Яков Смушкевич, бандиты и их тайные покровители были уничтожены.

III. РАКИШКИ—ВОЛОГДА

Яков Смушкевич родился в бедной еврейской семье и провел свое детство в крошечном литовском местечке Ракишки.

Отец, обремененный большой семьей, портняжил и едва сводил концы с концами, как и все местечковые мортные.

Внешне он резко отличался от своих собратьев по профессии: высокий, широкоплечий, от природы наделенный недюжинной физической силой, отец Смущкевича ничем не напоминал сутулых портных с истощенными лицами и слезящимися глазами.

Жизнь в Ракишках текла уныло и однообразно. Однако настал день, когда и здесь мертвящая тишина сменилась тревожным оживлением. Через местечко потянулись полки солдат, обозы, орудия, отряды конницы... Началась мировая война, и Ракишки очутились в прифронтковой полосе. А через год тупое и бесталанное командование царской армии, терпевшее поражение за поражением, безжалостно согнало жителей местечек и деревень ближнего тыла с насиженных мест. Тысячи семей, забрав свой убогий скарб, тащились в теплушках по железным дорогам необъятной страны, не зная куда и зачем. Эшелоны сутками простаивали на пустынных полустанках.

В более или менее крупных городах местные власти отказывались принимать беженцев, и люди — часто без пищи и даже без кипятка — ехали дальше. На некоторых станциях поезда встречали дамы-патронессы. Они исцевали «единоверцев» солеными огурцами, выдавали детям кружку молока от щедрот пресловутого благотворительного общества «Капля молока» и благодарили бога за то, что местная полиция не пустила непрошенных гостей даже на вокзал...

Безрадостную и унижительную участь тысяч трудящихся разделила и семья Смущкевичей.

Проходили дни и недели, а томительному путешествию не предвиделось конца. — Отец, куда нас везут? — спрашивал Яков.

— Куда-нибудь да привезут... — пожилая плечами, отвечал отец.

И наконец эшелон, с которым ехали Смущкевичи, выгрузил беженцев на далекой и захудалой станции Няндомы в Вологодской губернии.

В Няндоме отец сменил упряжь и ножницы на кнут и вожжи: нанялся в возчики. А старший сын, Яков, пошел работать в пекарню.

Мальчику приходилось ежедневно приносить на коромысле огромные ведра воды, таскать из амбара пятипудовые мешки с мукой, колоть дрова и еще до рассвета

разжигать прожорливую печь. Таковы были его прямые обязанности. Но, кроме того, он должен был исполнять любые поручения старших рабочих, бегать за махоркой, выносить помойные ведра, подметать двор, чистить амбар и хлев... При этом хозяин — благообразный и богобоязненный подрядчик, то и дело обращавший смиренные взоры к величественному иконостасу, — не скупился на туманы и гораздо чаще, чем это требовалось, напоминал мальчику «иноверцу».

— Ты не забывай, что тебя православные хлебом кормят...

Целую зиму Яков Смущкевич выносил «благоденствия» своего хозяина, а с наступлением весны покинул пекарню и отправился в ближайший большой город — в Вологду.

Шел тысяча девятьсот шестнадцатый год. Война была в самом разгаре. Людей в тылу нехватало. И Яков Смущкевич нанялся грузчиком на склады вологодского купца Красильникова.

Четырнадцатилетний мальчик выглядел гораздо старше своих лет. Ему по силам было взвалить себе на плечи самый тяжелый тюк и, широко расставив ноги, шагать по зыбкому трапу. Прошло немного времени, и грузчики на берегу реки хорошо узнали черноволосого парнишку, с трудом еще изъяснявшегося по-русски. Его полюбили и назвали по-своейски: Яшка.

Вместе с пожилыми, потомственными грузчиками Яшка в свободные минуты лежал на берегу и прислушивался к разговорам. Говорили о жизни, о войне, о дороговизне, о прибывающих эшелонах раненых, читали грустные письма из родных деревень... Сюда, к грузчикам, нередко приходили рабочие из железнодорожных мастерских и беседовали о чем-то втихомолку.

Однажды Яков сам слышал, как железнодорожник разъяснял грузчикам, кто такие зачинщики войны и кому выгодно посылать людей на верную гибель.

— Недолго еще мучиться! — сказал железнодорожник. Скоро придет время, и мы вместе с вами сбросим тех, что греют руки на народной беде, как сбрасывают кузь с плеч!..

IV. ПРОСТОРЫ

На Урале и в Сибири, в северных областях и на Волге мытарствовало десятки тысяч беженцев. Ни царские чиновники, ни ставленники Временного правительства не думали о судьбе этих людей.

И только в те суровые и величественные дни, когда молодая советская власть была занята ликвидацией войны, национализацией помещичьих земель и плушеств, созданием своей Красной Армии и установлением невиданного до сих пор государственного строя, — впервые была проявлена настоящая человеческая забота о беженцах.

Рабоче-крестьянское правительство создало специальный орган «Пленбег», в обязанность которого входило помогать осевшим на новых местах беженцам наладить свою жизнь, а также содействовать тем, кто хочет и может вернуться к себе на родину.

И некоторые потянулись в обратный путь.

Портной Смушкевич рассудил так: «Богатому — что? Где кошель, там и дом. А нашему брату без барахла — зарез. Жить в Вологде негде, ни кола, ни двора. А там, в Ракишках, какой ни на есть, а все-таки свой угол. Кто его знает, а вдруг все на месте осталось!» К тому же среди беженцев пошли слухи, что и там, в Ракишках, будет, а может быть уже и есть, та же, советская власть. И Смушкевичи решили ехать домой. Вместе со всеми поехал и старший сын Яков.

Снова томительный путь. Почти на каждой станции — встречные поезда. Вагоны, платформы, вокзалы забиты доотказа возвращающимися с фронтов солдатами, пленными...

«Люди идут драться за молодую советскую власть, за землю, за мир, — думал Яков Смушкевич, — а я зачем-то еду обратно в местечко...»

Летом прошлого года, еще при Керенском, товарищи Якова по работе не раз выходили на улицу с красными знаменами, на которых было написано:

«Долой министров-капиталистов!»

«Вся власть Советам!»

И он, Яков Смушкевич, маршировал тогда вместе с остальными рабочими. В эти дни он многое увидел и многое научился понимать.

Потом настали великие Октябрьские дни, которые никогда не изгладятся из памяти. В доме бывшего губернатора сейчас помещается Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Тот железнодорожник, который год тому назад говорил о наступлении новых времен, сейчас стал одним из руководящих работников Вологды. И не только он. Грузчики, рядовые грузчики, вместе с которыми Яков Смушкевич таскал тюки на

пароход... Один — комиссар на пристани, другой — начальник речного флота, третий — комиссар городского хозяйства... А он, Смушкевич, едет зачем-то в местечко!..

Но может быть, и в Ракишках — большевики?

Захламленное, разрушенное местечко казалось мертвым. Впрочем, при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что и здесь есть кое-какая политическая «жизнь». Какие-то подозрительные личности с пеной у рта кричали, что Литва — это Европа, а Европа, мол, ничего общего с большевиками иметь не может...

Яков задержался в Ракишках ненадолго. Через несколько дней по возвращении мать хватилась буханки хлеба; мешочек, висевший в углу на гвоздике, тоже исчез...

— А куда это девался Яшка? — спрашивала мать, обращаясь к мужу. — Вел ты отец!

Отец не знал, что отвечать.

А Яков в это время торчал на границе и искал случая перебраться на ту сторону, к большевикам. Три дня скрывался он в укромных местечках и время от времени отламывал куски от взятой из дому буханки. Наконец удалось улучшить минуту и перебежать через границу.

И вот Яков Смушкевич снова в Вологде, среди своих, ставших такими близкими, грузчиков. Он рассказал им всю правду о своей поездке на родину, о побеге из дому и о том, что он хочет жить здесь, с товарищами.

— Больше у меня здесь никого нет.

— Ничего! — подбодрили его грузчики, дружески хлопая по плечу. — Ничего, паренек!

С этого дня Яков Смушкевич начал свою самостоятельную, независимую от старших, жизнь.

В Вологде нехватка продовольствия чувствовалась особенно остро. Четвертушку хлеба и ту выдавали не каждый день. Однажды, когда Смушкевичу, как и многим другим, стоявшим в очереди, хлеба не хватило, к нему подошел пожилой грузчик и, переломив свою четвертушку надвое, сказал:

— Ешь, Яшка!

Яков не хотел брать.

— Ты себе ничего не оставил, — возразил он.

Но грузчик настоял на своем.

— Возьми! Когда мне не хватит, — ты со мной поделишься...

Жизнь день ото дня становилась все сложнее и напряженнее.

В Вологду слетались всякого рода явные и тайные белогвардейцы, офицеры, иностранные дипломаты... Но полуголодные вологодские рабочие и особенно — железнодорожники и грузчики, которых здесь было большинство, в ответ на проiski врагов выделяли отряд за отрядом на подавление восстания в Ярославле, на разгром эсеров-кулацких гнезд в соседних деревнях, на помощь при сборе продразверстки и, наконец, для борьбы на многочисленных фронтах.

С одним из таких отрядов осенью в восемнадцатом году ушел и Яков Смушкевич, незадолго до этого вступивший в партию. Это был один из самых молодых бойцов и членов большевистской партии — ему исполнилось шестнадцать лет.

Был зимний день. С утра лютовал мороз. Рота, в которой служил Смушкевич, дралась с белополяками. Только к вечеру удалось отбросить врага. Рота закрепилась в одной из деревень, выставила надежную охрану, и усталые бойцы улеглись спать. Однако ночью поляки уничтожили красные дозоры и окружили деревню. В разных местах загорелись хаты — и как раз те, в которых было полно спавших красноармейцев. Ветер перекидывал огонь с одной соломенной крыши на другую... Деревня огласилась отчаянными криками насмерть перепуганных крестьян, мычаньем и ржанием всполошившихся коров и лошадей...

Выбежавшие из горящих домов красноармейцы в первую минуту не знали, куда податься. Истинные вопли крестьян, плач, беспорядочная стрельба, охватившая всех паника ошеломили разбуженных от крепкого сна людей.

Но командир роты не растерялся. Он тут же собрал бойцов и повел их в атаку, чтобы вырваться из окружения.

Несколько раз в течение ночи рота ходила в атаку и каждый раз вынуждена была отступить. Командир выхватил шанку из ножен и крикнул:

— За революцию!

Вражеская пуля оборвала возглас и жизнь командира. На мгновение рота дрогнула и растерялась. Но тут один из рядовых красноармейцев рванулся вперед:

— За мной!..

Рота бросилась на врага, прорвала окружение и соединилась с красными частями.

У рядовых героев, дравшихся бок о бок с ним, учился Смушкевич мужеству, смелости, учился по-большевистски побеждать.

На многочисленных фронтах пришлось побывать Смушкевичу. Не раз ходил он освобождать города и деревни. Он исходил вдоль и поперек поля и леса Белоруссии — сначала как рядовой красноармеец, а затем — в качестве политрука.

Гражданская война окончена. Но Смушкевич не демобилизуется: белорусские леса кишмя кишат бандами. Он остается в Красной Армии.

Пехотный стрелковый полк, в котором Смушкевич состоял помощником комиссара, после ликвидации банды атамана Березы расположился в Пуховичах. Это — маленькое местечко, в котором нет ни казарм, ни сколько-нибудь просторного помещения. Бойцов пришлось расквартировать по частным домам.

Население приветливо и радушно встречало своих освободителей и делилось с красноармейцами последним куском.

Комиссара Смушкевича квартирмейстер устроил в одном из лучших домов местечка — у богача.

Хозяин, учитывая общее настроение, отвел «комиссару» гостиную — с крашеным полом, с вислоухими фикусами, с мягкой мебелью в парусиновых чехлах... Половину стены занимала высокая изразцовая печь. А возле печи возвышалось величественное ложе, предназначенное для «высокопоставленного» постояльца.

Но постоялец был более чем равнодушен к гостеприимству хозяина. Кровать по несколько дней оставалась нетронутой: Смушкевич почевал в штабе и спал на сдвинутых столах, накрываясь потертой, выдавшей виды, шинелью.

Богач не отставал. Он приглашал Смушкевича к столу, соблазнял фаршированной рыбой.

— Товарищ комиссар! Ведь вы, как-никак — еврей!..

Что и говорить! Фаршированная рыба действительно дразнила Смушкевича пряным запахом. Да и скудный красноармейский наек давал себя чувствовать.

— Спасибо, — отвечал Смушкевич. — Я сыт.

И уходил голодный.

В свободные вечера он встречался со своей знакомой русоволосой девушкой Басей. Иногда она приносила ломоть хлеба, намазанный маслом.

— Ешьте, Яша! Ешьте!

Смушкевич уписывал хлеб за обе щеки.

Девушке это доставляло удовольствие. Но стоило ей обратить внимание на сапоги комполита, и она расстраивалась: Смушкевич — гроза бандитов — должен был потопшвы подвязывать веревочкой...

Всю зиму полк был занят уничтожением зеленых банд. Весной Смушкевича вызвали в штаб и сообщили, что он назначается политруком в одну из частей истребительной авиации.

Звучало это очень грозно!.. Сейчас даже вообразить трудно, что в те времена — в двадцать втором году — представляла собой наша истребительная авиация...

Смушкевичу-нехотинцу в летной части все было незнакомо. За свою жизнь он один только раз, во время путешествия из Ракишек в Няндому, на станции Двинск видел аэроплан.

И вот он — политрук летной части!

У. УЧЕБА

Партийная работа отнимала у Смушкевича много времени. Но с первых же дней он стал присматриваться к боевым машинам. Стоило ему видеть, что машину готовят к полету, он подходил и начинал расспрашивать. Его интересовало все: и принципы взлета, и почему нужно взлетать и садиться обязательно против ветра, и многое другое...

Законы аэронавигации Смушкевичу были знакомы из литературы. Каждый свободный, а иногда и отнятый у сна, час он отдавал книгам. Все, что можно было достать в библиотеке летной части и у товарищей, все, что имело отношение к аэронавигации, к механике и технике самолета, он читал и перечитывал.

Товарищей, командированных в Москву, Смушкевич часто на последние свои деньги просил купить для него ту или другую книгу. Одно время он даже учился в Минске на факультете общественных наук («ФОН»), для того чтобы расширить круг своих знаний. Но военно-воздушный флот в то время только еще строился, и Смушкевич был откомандирован обратно в летную часть и опять-таки на партийную работу. Продолжая заниматься самообразованием, он практически изучал самолет.

Он побывал во многих городах и местечках Белоруссии, агитируя население за вступление в «Общество друзей воздушного флота». Во всех этих рейсах Смушкевич летал как пассажир. Правда, пассажир был необычный. Пилот ведет машину, а Смушкевич неотступно следит за каждым его движением, за каждым поворотом «ручки» и рычагов.

Уже не раз говорил он с товарищами-летчиками о том, чтобы те научили его летать, попросту показали бы, что нужно делать...

— Не беспокойтесь! — говорил он. — Теоретическую подготовку, правда, в порядке самообразования, я имею. Да и в практической стороне дела кое-что смысло.

Один из летчиков ответил на это:

— Мы учились в школах, отдали этому делу столько сил и энергии, а тебе хочется — раз, два и — готово?..

Другой ответил тоже достаточно недвусмысленно:

— Давайте, товарищ политрук, поделим наши обязанности: вы занимаетесь своей партийной работой, а уж мы как-нибудь справимся с машинами...

В то время, в годы возникновения нашей авиации, среди летчиков были и такие, которые одних себя считали призванными «илыть в пятом океане»... Они ступали по земле с таким видом, будто делают ей одолжение, и подарком за ними утвердилась кличка: «боги».

Но Смушкевича это не отпугнуло. Он знал твердо, что хороший партийный работник обязан знать и техническую сторону дела, которому служит.

Это правило он усвоил еще во время гражданской войны. Авторитетом у красноармейцев пользовался тот комиссар, который и сам был отличным бойцом. Смушкевич не раз испытал это на самом себе — и во время войны, и в борьбе против банд.

Он продолжал читать необходимую литературу и учился летать.

В летной части были не одни «небожители». Среди рядовых летчиков, механиков, мотористов и их помощников было немало людей, которых Смушкевич обучал политграмоте. Эти-то его ученики и оказались прекрасными учителями: у них Смушкевич учился летать, они охотно делились с ним своими знаниями и опытом. Один из младших летчиков сказал однажды с восторгом:

— Товарищ политрук! Ты, вижу я, полюбил авиацию! Здорово полюбил...

Летчик не ошибся: с первого дня приобщения в летную часть Смушкевич действительно полюбил авиацию. И так вот, не окончив никакой школы, читая и занимаясь самостоятельно, отдавая этому делу все свое свободное от партийной работы время, Смушкевич в совершенстве изучил специальность летчика-наблюдате-

ля, а затем продолжал учиться пилотировать машину.

Настал день, когда политрук впервые самостоятельно повел самолет.

Сидя за управлением, Смущкевич вовсе не думал о том, что «вот, мол, наконец-то, я властитель воздуха» или «где теперь те «боги», которые отказывались меня учить?» Нет! Самолюбование и бахвальство Смущкевичу не свойственны. Он думал о том, что сделал лишь первый шаг. Надо еще долго и упорно учиться, чтобы стать первоклассным летчиком.

И когда в двадцать шестом году Смущкевич, назначенный комиссаром более крупной авиачасти, совершал здесь свои первые полеты, летный состав никак не мог поверить, что комиссар не имеет специального образования.

Один из летчиков даже решил: «В летной школе он, несомненно, учился, но не окончил и скрывает...»

К этому времени военно-воздушный флот значительно вырос. Росло количество авиазаводов, развивалось моторостроение, создавались новые и новые военные и гражданские летные школы, увеличивалась армия летчиков. «Небожителей» стало все меньше и меньше. На аэродромы приходили новые люди.

Но и сейчас еще кое-кому было свойственно высокомерное отношение к самолетам.

Однажды на аэродроме, в части, где служил Смущкевич, произошел такой случай. Два молодых летчика-истребителя вернулись из очередного полета. Возбужденные, они стояли возле машины и обменивались впечатлениями. Беседа незаметно превратилась в спор. Подошел недавно назначенный комиссар Смущкевич.

Когда он вмешался в разговор, летчики сочили себя обиженными: с какой стати комиссар, не обучавшийся в летной школе, берет на себя смелость судить о тонкостях летного искусства...

— А переворот через крыло, ты знаешь? — язвительно спросил один из спорщиков. — А боевой разворот? А бочку? Да и вообще, можешь ты сказать, что такое фигуры высшего пилотажа?

Оказалось, однако, что комиссар не только может рассказать, но и проделать все эти фигуры.

И спорщикам пришлось сбавить тон.

— Товарищ комиссар! — обратился один из них к Смущкевичу. — Скажи все-таки, в какой летной школе ты учился?

Смущкевич застенчиво улыбнулся и промолчал. Ответил за него другой:

— Он окончил наивысшую школу! Он учился у рядовых летчиков, у летной массы... Да!

— Ну, это вы, положим, зря говорите! — нахмурился Смущкевич. — Если так рассуждать, можно, знаете ли, вообще рукой махнуть на школу... Неверно! — добавил он резко. — Чепуха это! Нельзя быть хорошим летчиком, не окончив школы! Конечно, мне пришлось учиться не совсем обычным порядком. И я каждую минуту чувствую, как мне нехватает теоретических знаний. Летная масса — великое дело! А учиться все-таки надо серьезно, по-настоящему!

VI. ПЕРВАЯ, НО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ...

Смущкевич продолжал учебу.

Теперь его заинтересовало штурманское дело.

Без надлежащей подготовки, без специальных знаний трудно овладеть сложным искусством ориентировки в воздухе. Кто-то даже уверял Смущкевича, что это попросту невозможно. Но у Смущкевича пытливым ум, зоркий глаз, воля, выдержка. И день от дня, постепенно, выполняя свои прямые обязанности комиссара эскадрильи, Смущкевич одновременно изучал все то, что обязан знать в совершенстве штурман: фотографирование, стрельбу, бомбометание, вождение машины вслепую, в облаках, ночью, в туман, в снегопад.

А после каждого полета приходил к себе и усаживался за книги. Чем больше Смущкевич изучал летную практику, тем настойчивее он налегал на теорию. Самостоятельно он прошел все имевшиеся тогда учебники штурманского дела. С особым упорством занимался физикой и механикой. Читал бесконечное количество книг о людях, работавших в области авиации, начиная от Леонардо-да-Винчи. Так, сочетая практику с теорией, Смущкевич двигался вперед и вперед по избранному им пути.

Смущкевич — не из тех, что успокаиваются на достигнутом.

Овладев искусством штурмана, он поставил перед собой новую задачу — летать на истребителе.

Да и как может быть иначе? Ведь он комиссар эскадрильи истребителей. Кроме того, у Смущкевича особая склонность к истребительной авиации.

И он тренировался в летном деле до

тех пор, пока высококвалифицированные специалисты не заявили ему:

— Яков Владимирович, вы прирожденный летчик...

Смушкевич продолжал работать: летал по долгу и по многу, летал днем, ночью, при любой погоде.

Когда Смушкевич улетал на всю ночь, его жена — та самая русоволосая девушка их Пуховичей, Бая Соломоновна — часами просиживала у окна и с беспокойством вглядывалась в тьму: где он? Не случилось ли чего?

Чай уже не раз подогревали, ужин остыл, а Смушкевича все еще нет. Но неожиданно он выплывает из тьмы.

И вот он уже дома, бодрый, спокойный, как всегда, хотя ночной полет не мог его не утомить.

— Яша, еще какое-нибудь достижение? — спрашивает жена, вглядываясь в лицо мужа.

Смушкевич улыбается. Жена понимает его улыбку. Она знает, что он даже перед ней не станет хвастать своими успехами.

В это время просыпается ребенок. У Смушкевичей — дочка Розочка, с черными, мечтательными, отцовскими глазами и нежным овалом лица, унаследованным от матери. Отец берет ребенка на руки.

С наступлением дня Смушкевич снова на аэродроме.

Таков Смушкевич. Каждый день он находит время, чтобы летать, а каждый полет — это новый шаг на пути к совершенствованию. Даже несколько лет спустя, когда Смушкевич получил ответственное назначение — комиссара и начальника политотдела авиабригады, когда на него была возложена большая и разносторонняя партийная работа, он продолжал тренироваться.

В тысяча девятьсот тридцатом году в авиабригаде происходила инспекционная проверка. Проверка предъявляла очень высокие требования. Пилоты, штурманы, летчики-истребители, летчики-разведчики должны были — каждый на своем месте — показать образцы боевой подготовки. В проверке принял участие и Смушкевич. Он тоже летал на разных боевых машинах. В бригаде было немало отличников. Тем не менее первое место в авиабригаде по стрельбе из пулемета и по точности бомбометания с самолета занял комиссар и начальник политотдела бригады, Яков Владимирович Смушкевич.

За это отличие Смушкевич получил от

Управления Военно-воздушных сил рабоче-крестьянской Красной Армии награду.

На славном пути Смушкевича это была первая, но далеко не последняя награда.

VII. ТОВАРИЩ — СЛОВО ВЫСОКОЕ!..

Часто Смушкевич вспоминал товариша-грузчика, который много лет тому назад поделился с ним четвертушкой хлеба. Позже, на фронтах гражданской войны. Смушкевич часто на самом себе испытывал, что значит подлинная, человеческая теплота, и научился ее ценить.

Был, вспоминает Смушкевич, у них в части комиссар. Этот человек умел подходить к красноармейцу, умел проникнуться чужим страданием, бедой.

Однажды Смушкевич стоял в карауле. Ночь была морозная, лунная. Холод пощипывал уши. Летняя фуражка плохо грела. Неожиданно подошел комиссар. Увидав, что Смушкевич потирает рукой то одно, то другое ухо, он, недолго думая, снял ушанку и отдал ее красноармейцу, а фуражку напялил себе на голову. При этом он смущенно улыбнулся, будто оправдываясь, и двинулся дальше.

— Товарищ... — попытался остановить его Смушкевич.

— Ну, ясно — товарищ! — задержавшись на секунду, ответил комиссар. — Товарищ — слово высокое!

И ушел.

Спустя много лет, когда Смушкевич служил в авиации, ему привелось подружиться с комиссаром. У обоих друзей было что-то общее. Внешне замкнутые, молчаливые, они на самом деле были сердечными людьми.

Комиссар авиачасти был неизлечимо болен. Он знал, что жить ему осталось недолго. Но ему были присущи оптимизм, глубокая вера в жизнь, упорство и настойчивость. В одном из писем Смушкевичу он говорит:

«Высшее свойство, которым должен обладать каждый большевик, это — способность бороться за поставленные цели, не идя на вынужденные компромиссы, способность бороться так, чтобы быть честным перед своей коммунистической совестью.

В этом величайшее оправдание для жизни каждого из нас.

Бороться, закаляя себя в борьбе, и, борясь, закалять себя для новой борьбы: таков наш жизненный путь.

Хорошо, когда есть с кем идти рука об руку по этому пути».

Если бы комиссар сейчас мог видеть Смущкевича в повседневной жизни и на работе, он понял бы, что слова эти не пропали даром для его прежнего политрука. Люди, которым приходится сталкиваться со Смущкевичем, знают, как высоко в нем развито чувство товарищества.

На первый взгляд Яков Смущкевич производит впечатление человека необщительного, даже суховатого. Он неразговорчив, застенчив и скромн. Но люди, узнав его поближе, начинают обращаться к нему за советом, за помощью, за теплым словом... К нему приходят красноармейцы, техники, летчики, штурманы и командиры — нередко с вопросами бытовыми, личными, интимными.

VIII. НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АВИАРЕКОРД

В декабре тысяча девятьсот тридцать первого года Яков Владимирович Смущкевич был назначен командиром и военным комиссаром авиабригады в Белорусском военном округе.

Комбригу Смущкевичу пришлось заполнить анкету для представления в Наркомат обороны. Когда дошло до графы «специальное образование», Смущкевич улыбнулся:

— Что писать? Окончил «хедер» в Ракишках?..

Даже так называемое «общее» образование Якова Владимировича исчерпывалось двумя классами приходского училища в тех же Ракишках. В одиннадцать лет пришлось бросить учебу, так как отцу платить не из чего было. Правда, в двадцать третьем году Смущкевич пытался учиться в Минске на факультете общественных наук. Но учиться так и не пришлось. И об окончании «наивысшей школы» в этой графе не напишешь... Тут требуется школа без ковычек.

Что же писать?

И Смущкевич написал наркому рапорт. Собственно, это было не рапорт. Ни по стилю, ни по содержанию, то, что написал Смущкевич, не соответствовало этому официальному термину. Смущкевич своим энергичным, размашистым почерком написал наркому письмо. И нарком понял комбрига. Он разрешил Смущкевичу учиться, не покидая, однако, поста комбрига.

Спустя некоторое время комбриг уехал. Тридцать девять дней его не было в бригаде. Официально он числился в отпуску. Но Смущкевич в течение этих тридцати девяти дней меньше всего думал об отды-

хе... Он вернулся в бригаду... с аттестатом об окончании известной летной школы, которая дала стране немало славных летчиков.

Весь состав бригады был потрясен. За тридцать девять дней окончить школу, в которой обычно учатся не меньше двух лет!

Это был своеобразный, нигде не зарегистрированный авиарекод тысяча девятьсот тридцать второго года.

IX. СМУЩКЕВИЧ — КОМБРИГ

В самый разгар зимы бригада была оповещена: «На-днях выступаем в лагерь».

— Зимой? В лагерь?.. — недоумевали многие.

Летом выступать в лагерь — это дело привычное, естественное. Но зимой! Да еще — летной бригаде, с разного рода боевыми машинами...

Об этом до сих пор что-то не слышать было.

Смущкевич разъяснил:

— Военный летчик должен быть готов к бою в самых разнообразных климатических условиях.

... И бригада выступила в лагерь.

Один аэродром Смущкевич приказал оборудовать на льду замерзшего озера, другой — замаскированный — на лесной поляне, третий — в открытом поле.

Работы хватало на всех. Надо было очищать дороги от снега и льда, разогревать моторы, готовить летное поле, следить за машинами, летать ежедневно и много, — и все это в непривычных зимних условиях.

Комбриг был занят не меньше всех остальных. Он ежедневно бывал то в одной, то в другой части своего соединения. Он садился к летчику в машину и проверял, как тот делает упражнения, как выполняет задания. Тут же, на ходу, давал практические указания и обучал его сложному искусству военного летчика.

Впрочем, он не только обучал других. Он и сам, этот мастер летного дела, ежедневно тренировался, летал при всякой погоде, в различных условиях.

У Смущкевича хватало времени не только для боевых упражнений. Он следил и за тем, чтобы люди были тепло одеты, чтобы моторы не замерзли, чтобы пища была сытная и вкусно приготовлена.

На месте постоянного расположения бригады Смущкевич организовал великолепный ночной санаторий — с ваннами и

душами, с индивидуальными шкафами и прочими удобствами, обеспечивающими людям здоровый и целительный отдых. В бригаде была своя молочная ферма, свинарник, огромное стадо гусей, свой плодовый сад. Смущкевич обеспечил бригаду зеленью и овощами. На участке сажали капусту. Когда ее квасили, комбриг несколько раз приходил на засолочный пункт и предупреждал:

— Яблок не забудьте положить... Антоновских... Да побольше!

— Пропадает талант хозяйственника! — шутили в бригаде.

Сейчас, в зимних лагерях, довольствие было несколько не хуже обычного. Юркие полуторатонки мчались по снежной дороге и доставляли продукты, предусмотрительно заготовленные комбригом в своем «совхозе». Особенным успехом пользовались моченые яблоки, крепкие, сочные и острые на вкус...

Вечерами Смущкевича можно было видеть в лагерном клубе. Страстные биллиардисты любят сразиться с комбригом. «Его, — говорили, — шары слушаются!..» Комбриг прищуривает глаз, нацеливается кием и «заказывает»:

— В среднюю направо!

Удар, — и шар покорно ложится в лузу.

Смущкевич любит и песню, и пляску, и вообще веселую компанию.

— Если бы не зима, — с досадой говорят Смущкевич, — ходили бы мы в свободную минуту на речку...

Вода — слабость Смущкевича. Он великодушный пловец и страстный рыболов. Летом, чуть выдастся свободный час, он берет с собой жестянку и отправляется за червями. Смущкевич знает, где их собирать и как их собирать для приманки. На реке он может часами простаивать с удочкой, не двигаясь с места.

— Яков Владимирович, откуда у вас такие склонности? — спрашивают близкие люди.

— У меня был дед рыбак! — отвечает Смущкевич полусерьезно, полусхутя.

Два с лишним месяца провела бригада Смущкевича в лагерях и вернулась прекрасно подготовленной к боевым действиям в зимних условиях.

В тридцать втором году это была только учеба, проведенная по личной инициативе комбрига.

А через семь лет летчикам и командирам авиабригады пришлось драться против белофинов — в тяжелых зимних условиях.

И нередко после боя летчики вспоминали зимний лагерь.

— Вот оно, когда пригодилось! — говорили одни.

— Да! — отвечали другие. — Комбриг у нас действительно был что надо! Бравый комбриг...

Х. НАРКОМ ПРИКАЗАЛ...

Однажды во время маневров народный комиссар обороны Климент Ефремович Ворошилов срочной радиogramмой приказал авиабригаде, которой командует комбриг Смущкевич, в такое-то время появиться над пунктом N.

Это было задание не из легких. Пункт N находится на далеком расстоянии от места расположения бригады. Приказ был получен так неожиданно и машины вылетели так быстро, что многие из летного состава не успели надеть теплых комбинезонов и кожаных пальто.

Нарком лично находился на пункте и с часами в руках следил, когда покажется авиасоединение.

Минута в минуту слышался рев моторов и машины бригады Смущкевича пролетели над пунктом N, согласно приказу наркома. Машины шли на точно указанной в приказе высоте — пять тысяч метров.

Вообще говоря, летать на такой высоте — дело обычное, даже зимой, а тем более осенью. Но в воздухе, на расстоянии пяти километров от земли было довольно холодно — минус одиннадцать градусов. А люди во главе с командиром — в одних гимнастерках...

Смущкевич — человек организованный. Он не терпит расхлябанности — ни в своей работе, ни в работе своих подчиненных. Конечно, надо было успеть одеться потеплее. Но — что такое маневры? Ведь это боевая школа в мирной обстановке. А если во время войны случится вылететь без верхней одежды?.. Неужто это остановит?..

И при появлении над пунктом N комбриг рапортовал наркому бодрой радиogramмой.

Перелет был закончен. Задание наркома выполнено отлично, бригада показала высокие летные качества.

За образцовую подготовку авиабригады ЦИК СССР наградила командира Якова Смущкевича почетной грамотой.

А нарком, в свою очередь, наградила комбрига золотыми часами, на которых

было выгравировано имя Смушкевича, его заслуги и год — 1933.

XI. ВЫСШАЯ НАГРАДА

Первое мая 1935 года.

Страна справляет великий, торжественный праздник. Через Красную площадь проходят нескончаемые колонны демонстрантов. Направо — мавзолей, а на трибуне — человек в красноармейской шинели с поднятой рукой.

Сталин!

Вдруг голоса демонстрантов и звуки гигантского оркестра перекрывает грозный рев моторов, надвигающийся с западной стороны Москвы. Мгновение, и над площадью, над островерхими башнями Кремля проносятся стальные птицы.

Во главе одного летного соединения летел Яков Владимирович Смушкевич.

И тот факт, что нарком разрешил его бригаде участвовать в воздушном параде на Красной площади, сам по себе был наградой для комбрига Смушкевича. Иная награда ждала Смушкевича на следующий день.

Второго мая, во время приема, товарищ Ворошилов, представляя товарищу Сталину участников вчерашнего воздушного парада на Красной площади, сказал:

— А это — комбриг Яков Смушкевич, который лучше всех прошел со своей бригадой на параде.

Товарищ Сталин протянул руку взволнованному Смушкевичу и тепло, сердечно, по-сталински, проговорил:

— Спасибо! Спасибо вам, товарищ комбриг!

Долго потом Смушкевич ощущал сталинское рукопожатие. Он чувствовал, что слова товарища Сталина придали ему, Смушкевичу, новую силу, что отныне он будет еще увереннее и спокойнее водить боевые машины.

И обычно уравновешенный Смушкевич вернулся домой в таком радостном возбуждении, что это, конечно, не могло укрыться от внимательных взоров жены.

— Понимаешь, — сказал он жене, — слова Сталина — это не только оценка сделанного... Эти слова я должен оправдать в будущем... В будущих боях...

Смушкевич эти слова оправдал...

XII. СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Комбригу Якову Смушкевичу было поручено выполнить ответственное специ-

альное задание правительства. Он срочно выехал к месту назначения.

На аэродроме находилась группа летчиков, ожидавшая приказа подняться в воздух.

Неожиданно показался незнакомый самолет.

Летчики вопросительно переглянулись.

Самолет сделал несколько кругов и сел на аэродром.

Летчик вылез из машины.

— Да ведь это же Смушкевич! — воскликнул кто-то.

— Кто?

— Комбриг Смушкевич! Назначен к нам. Чудесный комбриг!

— А нам бы не «чудесного», а «настоящего!» — многозначительно заметил кто-то.

У летчиков были основания тревожиться. Прежний командир не сумел установить тесных взаимоотношений с летным составом. Не удовлетворяла и принятая им система боевых действий. Он, например, предпочитал одиночные полеты на том основании, что «и неприятель придерживается такой же тактики». Расхолаживала также половинчатость и неуверенность распоряжений. Летчики не чувствовали в своем начальнике старшего и более опытного товарища, каждое приказание которого воспринималось бы как закон.

Смушкевич приступил к работе.

Начал он с того, что в первый же день прибытия объездил все летные части. Он беседовал со всеми, начиная от мотористов и кончая командирами частей. Он расспрашивал о трудностях, об особенностях местности, выслушивал разные соображения и тут же, на месте, приступил к организации летных сил.

Желая подчеркнуть преимущества групповой тактики, Смушкевич часто повторял:

— Недаром в народе говорят: одна головня и в печи гаснет, а две и в поле горят...

Тактика Смушкевича дала себя почувствовать сразу.

Смушкевич собрал командиров и летчиков. Разбор показал, что групповая тактика полностью себя оправдала.

Сам руководитель воздушных сил, комбриг Смушкевич, летал на бомбардировщике, он замечательно точно сбрасывал груз на намеченные цели.

— Вот это да! — говорили летчики, — то командир совсем особых качеств!..

Личное участие Смушкевича в полетах

поднимало и воспитывало боевой дух летчиков. Помимо того, что комбриг показывал образцы мастерства и бесстрашия, Смушкевич тут же, во время полета, изучал и учитывал слабые и сильные стороны каждого летчика и командира. Это ему помогало правильно использовать каждого из них в дальнейшем.

Смушкевич на командном пункте. Он следит за действиями авиации. Небо ясно, видимость прекрасная. Внешне Смушкевич совершенно спокоен. Ни один мускул на его лице не дрогнет. И только едва заметное движение губ выдает тревогу командира за участь своих летчиков.

Но вот в небе показались черные точки. Смушкевич узнает их. Машины идут к аэродрому, на посадку. Летчики докладывают о результатах полетов. Комбриг, подтянутый и официальный, выслушивает донесения. И затем незаметно, без установленного «волья», он, присев на край стола и покачивая ногой, переводит разговор на другой тон — и официальный доклад превращается в дружескую беседу. Летчики окружают своего начальника, перекидываются шутками и островами по поводу пережитых боевых эпизодов, рассказывают о своих наблюдениях...

Смушкевич торопит их:

— Ну, товарищи, перекусить и — на отдых! Пора, пора!

— А вы?

— У меня еще кое-какие дела...

Летчики уходят. Все они, как на подбор — крешыши, с загорелыми и обветренными лицами, не раз видевшие смерть лицом к лицу. Но даже у этих суровых людей при разговоре о своем начальнике в глазах начинают светиться теплые, ласковые огоньки.

— Когда он спит, этот человек! Когда он отдыхает?..

Каждый день, чуть свет, Смушкевич уже на аэродроме. Он садится в машину и начинает облет. Ничто не ускользает из поля его зрения. Радиус облета все время увеличивается. Командир должен знать не только состояние аэродрома... Надо обследовать и окрестности.

Прибывает на вооружение машина нового типа. Смушкевич, не дожидаясь «особой вывозки», садится в машину первый, летает на ней. Изучает в полете достоинства и недостатки машины, устанавливает, на что именно нужно будет обратить внимание летчиков, когда они будут осваивать новую машину, каковы могут быть

ошибки, как их избежать и кому из летчиков можно такую машину доверить.

— Машина кнута не любит! — говорит Смушкевич.

Однажды Смушкевич поднялся в воздух. Так как подниматься пришлось с плохо утрамбованного полевого аэродрома, то у машины при взлете сломалось колесо. Смушкевич этого не заметил. С аэродрома при помощи условного знака сообщили с грозящей опасностью. Смушкевич пошел на посадку.

Но машина, как пазло, была без убирającegoся шасси. А на брюхо ее не посадить...

Люди на аэродроме заволновались. Друг друга спрашивали с беспокойством:

— Чего он тянет? Плюнул бы на машину, а сам выбросился с парашютом...

Машина все еще в воздухе. Что-то не видать, чтобы Смушкевич собирался использовать парашют.

— Да ведь он разобьется! — первичали внизу.

Но Смушкевич со свойственным ему хладнокровием и выдержкой приземлился и посадил машину на одно колесо.

— Починить можно будет? — спросил он первым делом у главного инженера.

На аэродроме было немало первоклассных летчиков, но и они не могли не удивляться мастерству, с каким Смушкевич посадил машину.

Ремонту машин Смушкевич уделяет не меньше внимания, чем вопросам оснащения. Уже в первый день облета частей он предупредил летчиков.

— В условиях войны поломки машин неизбежны. Но из этого, конечно, не следует, что выбывшая из строя машина окончательно потеряна. Надо так наладить ремонт, чтобы наша авиация непрерывно пополнялась восстановленными самолетами. Не то во время боев можно столько машин наломать, что потом их долго не удастся восстановить.

Смушкевича часто можно было застать в ремонтных мастерских. Он выкал в каждую мелочь и всюду, где требовалось, приходил на помощь.

Возникла, например, такая проблема: машины определенного типа, как выяснилось, мало пригодны для дневных боев. Смушкевич распорядился:

— Перевести эти машины на ночные действия!

Но для этого машины необходимо оборудовать электрическим освещением. За

дело пришлось взяться самому Смушкевичу. Он лично разработал план ремонта, сам подобрал людей для ночных действий и учил их летать в ночных условиях.

Спустя несколько дней переоборудованные машины вылетели в ночное время и успешно выполнили порученное задание.

Зарядили проливные дожди, полевой аэродром размыло. Машины не могли подниматься в воздух и подвергались серьезной опасности быть уничтоженными на земле при первом же налете неприятельской авиации.

Как быть?

Накануне предстоящего сражения Смушкевич мобилизовал всех, кого только можно было: летчиков, техников, бойцов и окрестное население. Мобилизовал все виды транспорта. Двое суток возили песок и камень. На аэродроме было полно людей. Все работали, как во время аврала, когда кораблю грозит опасность.

И в результате к началу боя аэродром укрылся длинными, прекрасно утрамбованными взлетными полосами.

Люди, выдавшие виды, специалисты, которых, казалось бы, ничем удивить нельзя, и те поражались, глядя на сооруженные взлетные полосы:

— За двое суток проделать такую работу!..

Кругом еще было вязкое месиво, но авиация больше не была скована.

С недавно уложенных взлетных полос пришлось подниматься и Смушкевичу.

Враг, по имевшимся сведениям, готовился к решительному наступлению. Необходимо было уяснить себе обстановку.

Разведкой было установлено, что неприятель подготовился основательно.

Используя все эти преимущества, неприятель в первый же день продвинулся вперед «языком» на двадцать — двадцать пять километров в длину и десять километров в ширину.

Под руководством высшего командования Смушкевич перевооружил авиацию, и истребители, до сих пор служившие в основном только для воздушных боев, превратились в разведчиков. И снова Смушкевич применил групповую тактику.

Уже в первый день неприятель почувствовал мощь сокрушительного удара. А на следующий день Смушкевич применил другой маневр.

Была пущена в ход штурмовая авиация. Штурмовиков прикрывали истребители. Впрочем, одним прикрытием истреби-

тели не ограничивались. Пока «суд да дело», они уничтожали неприятельские огневые точки — зенитные батареи. А штурмовая авиация тем временем выполняла основную операцию, возложенную на нее Смушкевичем: она залетела в тыл врага и громила наземные части.

Маневр Смушкевича полностью оправдал себя: вражеские части попали в мешок, все туже и туже стягиваемый нашей штурмовой авиацией..

На третий день враг был окончательно деморализован.

Смушкевич умеет организовать и отдых летчиков. Здесь, в условиях выполнения ответственного правительственного задания, вопрос организации отдыха занимал особое место.

Частенько после боя летная часть получает распоряжение от Смушкевича:

— Вылететь ко мне!

Летчики прибыли. Но командир почему-то не спешит принять их. Спокойный и выдержанный, как всегда, Смушкевич говорит:

— Не торопитесь! Там...

Двери распахиваются. В соседней комнате накрыты столы. Летчики радушно встречают гостей, угощают их обедом, устраивают вечер самодеятельности, затевают танцы.

Летный состав полюбил Смушкевича за талантливое командование, за непосредственное участие в боях, за простоту и человечность, за отзывчивость и чуткость.

В авиабригаде произошел такой случай. Один из летчиков — участник гражданской войны, в свое время награжденный орденом Красного Знамени, заслуженный боец в прошлом и прекрасный летчик в настоящем — никак не мог ужиться с товарищами. Он вечно с кем-нибудь не ладил, ссорился и был несдержан на язык.

Командир части обратился к Смушкевичу с просьбой призвать к порядку неуживчивого товарища, нервничающего остальных и расстраивающего единство группы.

— Вообще такого типа надо гнать из авиации! — настаивали наиболее горячие головы.

Смушкевич издавна придерживается правила: прежде, чем наложить дисциплинарное взыскание на человека, подумай хорошенько, спокойно и лишь затем принимай решение.

Смушкевич вызвал строптивного летчика к себе. Летчик ходил насушившись: его, заслуженного участника гражданской войны, будут учить уму-разуму...

Оказалось, однако, что никто и не собирается его учить или читать ему мораль. Наоборот, Смушкевич доверяет ему чрезвычайно ответственные поручения, держит возле себя день, другой, третий...

Затем Смушкевич побеседовал с ним наедине, после чего летчик пришел в часть и во всеуслышание заявил:

— Товарищи! Я прошу извинить меня...

— Да! — говорили потом летчики. — Яков Владимирович еще раз показал свое умение разбираться в людях.

А человека действительно не узнать было. Куда девалась его вечная раздражительность, брюзжание, недовольство? А как он стал бить врага и защищать товарищей во время групповых боев!

В одном из сражений он погиб.

Смушкевич — один из самых блестящих советских летчиков, человек, столько раз глядевший смерти в глаза, с большой болью переносит гибель товарища. Смерть этого человека как-то особенно подействовала на Смушкевича. Совсем недавно ему удалось приобщить его к жизни коллектива... Смушкевич помрачнел и замкнулся.

Близкие товарищи дали ему отмолчаться...

Смушкевич — отец двоих детей. Кроме старшей девочки, Розы, у него вторая пятилетняя дочь — Ленина. В Москве, как бы занят он ни был, Смушкевич всегда выкраивает хотя бы немного времени, чтобы забежать домой и поиграть с ребятами.

Он любил усаживать обеих девочек к себе на спину и, ползая на четвереньках, катать их по комнате. Трудно сказать, кто тогда смеется заразительнее — дочка или отец...

Смушкевич скучает по детям, по жене, по дому. Но он ничем не выдает себя. Внешне — он неизменно спокоен, уравновешен и подтянут.

Как раз в то время, когда Смушкевич выполнял специальное задание правительства, авиабригада справляла свое десятилетие. На праздновании Смушкевича не было, но о нем не забыли.

На торжественном вечере бригады один из выступавших товарищей сказал:

— Смушкевич находится сейчас в другом месте, но он с нами, и каждый из нас ощущает его присутствие, потому что большая заслуга в создании бригады при-

надлежит ему. Весь Советский Союз гордится Смушкевичем. Даже за границей с большим уважением вспоминают имя авиабригады-самоучки! Наши враги отдали немало золота за голову этого самоучки!

— Да! Враги имели все основания не видеть этого бывшего вологодского грутчика...

И когда он уезжал, люди, закаленные в боях, военные и не военные, стояли, поднимая головы, долго следили за постепенно исчезающим из поля зрения самолетом Смушкевича.

Деятельность летчиков и лично Смушкевича была высоко оценена правительством. Смушкевич был награжден орденом Ленина.

А после того, как задание правительства было выполнено и Смушкевич вернулся в Москву в звании комкора, он получил еще более почетную награду.

22 июня 1937 года в газетах было напечатано:

«За образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и проявленный в этом деле героизм присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина комкору Смушкевичу Якову Владимировичу».

Получив два ордена Ленина и грамоту о присвоении звания Героя Советского Союза, Яков Владимирович Смушкевич, обращаясь к Михаилу Ивановичу Калинин, сказал:

— Когда вы сегодня увидите Иосифа Виссарионовича, передайте ему, что мы готовы и впредь, и не только мы, — Смушкевич указал на присутствовавших товарищей, от имени которых он выступал, — по и вся рабоче-крестьянская Красная Армия, готовы выполнить любое его задание.

— Да! — ответил Михаил Иванович. — Я его увижу и обязательно передам.

Прощаясь, товарищ Калинин дружески пожал руку Смушкевичу и сказал:

— До будущей встречи... Здесь же...

ХIII. НАД КРАСНОЙ ПЛОЩАДЬЮ

Смушкевич руководит большой и ответственной работой.

В тот день, когда ему было присвоено звание Героя Советского Союза, 21 июня 1937 года, он был назначен заместителем начальника военно-воздушных сил Красной Армии.

Сейчас он поглощен главным образом вопросами конструкции. Многие машины новой конструкции он испытывает лично, изучив все ее достоинства и недостатки, дает советы конструктору, как лучше расположить вооружение, как разместить управление, как надежнее защитить летчика от возможного поражения. И специалисты-конструкторы обращаются к Смушкевичу за советом и указаниями, потому что Яков Владимирович обладает совершенно исключительным опытом и великолепно знает машины всех типов.

Смушкевичу приходится вылетать на места для инспектирования военно-воздушных частей.

Во время одной из таких инспекционных поездок, когда Смушкевич находился на востоке нашей необъятной страны, у него дома случилось несчастье: по недосмотру погибла его младшая дочь — пятилетняя Ленина.

Яков Владимирович очень тяжело перенес этот удар.

«Вы хорошо понимаете мое положение, — писал он жене и дочери в одном из своих писем. — Я нахожусь за десять тысяч километров от вас... Я хожу, ошеломленный, будто потерял почву под ногами... Я даже не представляю себе, что Ленина потеряна, и я ее больше не увижу...»

И дальше:

«Я очень и очень прошу вас, сохраните себя, перенесите это горе в сознании того, что себя необходимо сберечь для будущего».

Таков Смушкевич. При любых обстоятельствах, в каком бы тяжелом положении он ни был, он всегда видит перед собой будущее, его никогда не покидает вера в завтрашний день.

Затаив глубоко в душе боль и скорбь по поводу безвременной смерти любимой дочурки, Смушкевич продолжал свою работу.

Он обучал летчиков летать на советских скоростных машинах, до этих пор в нашей авиации неизвестных.

Из инспекционной поездки на восток Смушкевич вернулся накануне двадцатой годовщины Октября.

Воздушный парад в день 7 ноября на сей раз отличался от парадов предыдущих лет.

Самолеты, показавшиеся в узком прямоугольнике неба между зданием Исторического музея и Кремлевской стеной, с невиданной стремительностью пронеслись над Красной площадью.

Это был первый парад советских скоростных машин.

Во главе воздушного парада шел Герой Советского Союза Яков Владимирович Смушкевич.

XIV. ДОВЕРИЕ

В тысяча девятьсот тридцать седьмом году, когда народ посылал лучших своих сынов в Верховный Совет СССР, среди избранных оказался и Яков Владимирович Смушкевич. Его к этому времени уже знала вся страна, и далекая Читинская область избрала его своим депутатом.

Большая и ответственная повседневная работа по руководству военно-воздушными силами не мешает, однако, Смушкевичу помнить и о депутатских своих обязанностях. Между ним и его избирателями — оживленная, непрекращающаяся переписка.

Целые тома писем и ответов! О чем только не пишут избиратели своему депутату! О неправильных расценках, о неправильном исчислении налогов, о пенсиях и выплате государственного пособия многодетным... А вот письмо от учительницы, которая просит помочь ей продолжать образование. Другой избиратель просит дать ему возможность лечиться.

А вот еще одно дело. Колхозники пишут, что им очень трудно приходится при размолоте зерна. Ближайшая мельница запущена и беспризорна, о ремонте ее никто не думает. И зерно приходится возить на «соседнюю» — по сибирским масштабам — мельницу, за сто километров. В это дело Смушкевич вмешался по-военному, быстро и решительно. Спустя короткое время мельница для колхоза была восстановлена.

Почти невозможно перечислить все вопросы, с которыми избиратели обращаются к своему депутату. Иногда это вопросы мелкие, незначительные. Но ни одной бумажки Смушкевич не оставляет без ответа, так как за каждой из них он видит живого человека.

XV. АВАРИЯ

Приближалось Первое мая 1938 года. Снова Смушкевичу была оказана высокая честь — руководить воздушным парадом над Красной площадью.

Все было готово. Участники предстоящего парада уже прошли необходимую тренировку. Но Смушкевич любит личный раз проверить лично, все ли в порядке.

Накануне Первого мая он поехал на аэродром.

В шесть часов вечера его ждали дома к обеду. К этому часу он обещал обязательно вернуться. Но вот уже седьмой час на исходе, восьмой, девятый, а Смущкевича все еще нет. Жена и дочь забеспокоились.

Часов около десяти пришел один из близких товарищей Смущкевича и сказал, чтобы Якова Владимировича к обеду не ждали. Товарищ чего-то не договаривал, и домашние догадались, что случилось нечто серьезное.

Жена и дочь Смущкевича забеспокоились, стали наводить справки по телефону. Выяснилось, что на аэродроме произошла какая-то авария.

Позвонили по телефону товарищу Ворошилову. Оказалось, что Климент Ефремович уже знает о случившемся и выслал машину для доставки жены Смущкевича в больницу.

Когда Бася Соломоновна приехала в больницу, товарищ Ворошилов был уже там. Яков Владимирович лежал весь забинтованный и слабым голосом уверял:

— Завтра, Климент Ефремович, все будет в порядке!

Климент Ефремович ничего не ответил и горько усмехнулся.

А когда в палату вошла жена, Смущкевич пальцами раскрыл заплаканный глаз и спросил:

— Откуда ты узнала, что я здесь?

И тут же добавил с уверенностью:

— Не беспокойся! Завтра — слышишь? Завтра я буду дома!

Он, конечно, и сам не знал, что с ним произошло. Между тем в этот день все считали его обреченным.

А произошло вот что:

Смущкевич решил совершить полет на одном из новых самолетов. Техник подготовил машину, но так как Смущкевича на аэродроме еще не было, он закрыл масляной кран и пошел перекусить. В это время Смущкевич приехал. Увидав, что машина готова, он сел в нее, собираясь подняться в воздух. Техник, завидев Смущкевича, готового к полету, прибежал и тоже сел в машину. Друг друга ни о чем не спрашивали: Смущкевич знает техника и доверяет ему. Техник, в свою очередь, был уверен, что если мотор работает, значит все в порядке.

Машина поднялась в воздух. Однако на высоте двухсот метров магнето вдруг отказало (так как масляной кран был закрыт), и мотор отказал. При посадке до

аэродрома не дотянул, и самолет врезался в лес. От удара самолет разбился вдребезги.

Техник из-под обломков выбрался несколько не пострадав, без единой царапины. А Смущкевича извлекли искалеченного, разбитого, с обожженной спиной.

Раны причиняли ему невыносимые страдания, все были уверены, что он не выживет, но огромная вера в жизнь подерживала этого человека.

По окончании парада в больницу пришла группа боевых товарищей Смущкевича. Их не хотели допустить к больному. Их было слишком много — человек двадцать. Но те настояли на своем и вошли в палату. Они выстроились, как во время рапорта, и один из пришедших сказал:

— От имени товарища Сталина, товарища Ворошилова и всего Политбюро вам приказано по-большевистски не сдаваться! Что прикажете передать, товарищ комкор?

— Передайте товарищу Сталину, товарищу Ворошилову и всему Политбюро, — слабым голосом ответил забитованный Смущкевич, — что я по-большевистски не сдамся и обязательно выздоровею...

И — расплакался.

А посетители — заслуженные бойцы, орденосцы — тоже плакали.

Шесть недель Смущкевич пролежал в больнице и — выздоровел!

Что же спасло Смущкевича?

Во-первых, его могучий организм, его незаурядная физическая сила. Во-вторых, замечательная советская медицина.

И в-третьих, его жена Бася Соломоновна.

За шестнадцать лет совместной жизни эта женщина не раз приходила к нему на помощь в трудные минуты. И сейчас она в течение всех шести недель не отходила от постели больного, она превратилась в больничную сестру.

Шесть недель подряд больной пролежал без движения. Дело пошло на поправку, и он был переведен в подмосковный санаторий. И снова жена Смущкевича взяла на себя функции палатной сестры.

Сюда, в санаторий, приехал проводить выздоравливающего нарком обороны, товарищ Ворошилов. В течение всей болезни Смущкевича Климент Ефремович каждый день справлялся о состоянии больного. Наконец нарком удалось выкроить время, чтобы навестить Смущкевича лично. Убедившись, что больной выздоравливает, Климент Ефремович пожурил Смущкевича и полуслушливо пригрозил ему:

— Я еще с тобой поговорю!..

Это был намек на допущенную Смушкевичем излишнюю доверчивость. Как мог он, первоклассный летчик, постоянно твердящий о том, что перед вылетом необходимо проверять каждую деталь, каждую мелочь, так довериться технику и чуть не поплатиться за это жизнью?

В углу комнаты стоял костыль — немой свидетель катастрофы. Этот костыль нервировал Смушкевича: он не только напоминал о происшедшем, но и будил тревожную мысль: а можно ли будет летать?..

Через месяц после лечения в санатории Смушкевич обратился к товарищу Ворошилову с письмом, в котором писал, что он уже в состоянии работать и тягаться вынужденным бездельем. Товарищ Ворошилов, хорошо зная Смушкевича, послал ему для разработки одно дело. Яков Владимирович по своему обыкновению тщательно выполнил задание наркома. Затем врачи разрешили Смушкевичу время от времени выезжать в штаб.

Смушкевич — человек исключительно дисциплинированный. Но в отношении врачей он позволил себе вольность: он окончательно перебрался в штаб и с головой окунулся в работу. Жена последовала за ним, так как он еще нуждался в лечении и уходе. И только одно его угнетало: врачи категорически запретили в течение определенного времени летать.

— Понимаешь, — говорил Смушкевич жене, — мне без аэродрома...

Наконец настал день, когда Якову Владимировичу разрешили ехать на аэродром. Для всех, работавших со Смушкевичем, это был подлинный праздник. Смушкевич стоял, охваченный воздухом и протором. Хотелось обнять всех и все.

— Хорошо!

Врачи разрешили Смушкевичу поездку на аэродром с условием, что он будет только следить за полетами. Но он не выдержал. Сел в машину и поднялся в воздух.

И снова из груди его радостно вырвалось:

— Хорошо!

Жена сердилась на врача: как он мог разрешить Якову Владимировичу летать!

— Бася Соломоновна! — ответил врач. — Для него летать — все равно, что для нас с вами дышать. Неужели вы этого не знаете?

Спустя некоторое время в Кремлевском зале происходил прием в честь героических летчиков, проделавших знаменитый рейс Москва—Дальний Восток. Среди при-

глашенных был и Герой Советского Союза Яков Владимирович Смушкевич.

Товарищ Молотов поднял бокал и сказал:

— За героев нашего Союза!

Зал ответил громом аплодисментов.

Затем бокал поднял товарищ Сталин и добавил:

— За Смушкевича!

Высокие окна Кремлевского зала дрогнули от дружных рукоплесканий.

Через шесть месяцев партия оказала Смушкевичу большое доверие, и он был избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б).

ХVI. ХАЛХИН-ГОЛ

Май 1939 года.

В зале заседаний Наркомата обороны собралась группа командиров разных авиачастей.

Заслуженные люди, орденосцы, с большим боевым опытом, они были вызваны сюда по делу исключительной важности.

Точно в назначенное время к собравшимся вышел нарком.

Открыв совещание, он сообщил, что японцы напали на Монгольскую Народную Республику. События у озера Хасан, очевидно, проучили их недостаточно. И вот собраннейшей здесь группе командиров надлежит срочно вылететь к месту военных действий.

Нарком дал командирам необходимые указания и в заключение был прочтен список лиц, на которых возлагается выполнение этого задания.

Среди присутствующих был и заместитель начальника военно-воздушных сил РККА Яков Смушкевич. Но именно он в оглашенном списке не значился.

Смушкевич молча стоял в стороне.

Совещание окончилось, нарком ушел к себе в кабинет. Но командиры не спешили расходиться.

— Почему не летит с нами Яков Владимирович? — хотели все знать.

— Правительство и товарищ Сталин считают, что он не оправился еще от болезни, — разъяснил один из командиров.

— Ведь всего лишь несколько недель тому назад он от Климента Ефремовича получил благодарность за первомайский воздушный парад... — сказал другой.

— Бой, знаете ли, это не парад.

Замечание было очень убедительным, но оно не успокаивало. Люди, знавшие Смушкевича, как боевого командира, как чело-

века, умеющего изумительно быстро ориентироваться в самой сложной обстановке, способного на свою ответственность самостоятельно решать трудные вопросы, не могли примириться с мыслью о том, что предстоящую кампанию им придется пролежать без него. Трудно было представить себе, что с ними не будет Якова Владимировича — требовательного начальника и в то же время чуткого товарища, пользующегося большим и заслуженным авторитетом и любовью.

А ведь именно такой человек особенно требуется в данном случае.

И командиры обратились к Смушкевичу с просьбой разрешить им побеседовать обо всем этом с первым маршалом.

Смушкевич искренно обрадовался.

Когда командиры вошли в кабинет наркома и изложили свою просьбу, Климент Ефремович, улыбнувшись, сказал:

— Мне чрезвычайно приятно, что и вы любите Якова Владимировича. Я постараюсь добиться у правительства необходимого разрешения.

В тот же день командиры получили положительный ответ. При этом товарищ Ворошилов предупредил командиров о том, что надо помнить о болезненном состоянии Смушкевича.

На следующий день Смушкевич во главе своей группы вылетел на Восток.

В Москве на улицах уже продавали черемуху; дальше, на полях Татарстана еще только пахали; в оврагах и ложбинах Урала да на сибирских просторах еще не везле снег сошел...

Далеко от Москвы до реки Халхин-Гол. Два дня самолеты были в пути.

Лететь пришлось в тяжелых метеорологических условиях. Пробиваясь сквозь слои облаков, самолеты нередко покрывались коркой льда. В обычное время полет при таких условиях ни в коем случае не мог бы продолжаться. Но сейчас Смушкевич, ни с чем не считаясь, стремился как можно скорее долететь до места назначения. И самолеты неуклонно шли на Восток.

Под привычный рокот моторов Яков Владимирович напряженно думал. План расположения сил на фронте у реки Халхин-Гол был разработан. И буквально через десять минут по прибытии на место Смушкевич уже отдавал распоряжения — точные и конкретные, как если бы он находился здесь, по крайней мере, недели две.

А положение было не из легких. В течение двух лет неприятель готовился к

нападению. В непосредственной близости к линии фронта были созданы укрепленные позиции и продовольственные склады. была переброшена специально вымунитрованная императорская армия. Да и самый плацдарм — у реки Халхин-Гол выбрал неудачно. Кругом голая, пустынная равнина. Нигде ни деревца, ни кустика, одни лишь барханы. Можно проехать сто, двести километров и не встретить на пути ни поселка, ни каких бы то ни было признаков жилья. До советской железной дороги — семьсот пятьдесят километров. Воды почти нет...

Не дремал также и японский «агитпроп». Каждому солдату рассказывали удивительную историю о том, что в незапамятные времена всемогущий бог разгневался на японского микадо. В наказание он отнял у него именно эти земли и отдал их нечестивым монголам. Вплоть до 1939 года микадо пребывал в немилости. Сейчас конфликт с богом улажен, земли эти можно получить обратно, но непослушные монголы противятся воле божьей и не желают добровольно уходить... Вот, стало быть, и приходится отнимать у них землю силой, с оружием в руках...

И случилось так, что на долю бывшего вологодского грузчика Смушкевича выпало драться с японским богом в воздухе...

Уже в первый день на совещании с командирами Смушкевич дал каждому из них конкретные и исчерпывающие указания. Было точно установлено, в каких местах должны быть оборудованы полевые аэродромы, где и какая часть должна расположиться, кто и чем будет руководить.

Времени для подготовки было мало. А работы — через край. Все приходилось создавать заново, на голом месте, где вчера еще господствовала пустыня. Вечное безмолвие на берегах реки Халхин-Гол было нарушено.

В течение дня Якова Владимировича Смушкевича можно было видеть то на одном аэродроме, то на другом. В автомобиле Смушкевич не ездил — для человека, привыкшего летать, это слишком медленно... Он усаживался в самолет и летал с места на место. Ничто не ускользало из поля его зрения. Он проверял, подготовлены ли летчики, он бывал во всех частях, наблюдал, как летают, и тут же давал указания относительно расположения самолетов и частей.

Обстановка требовала гибкости и оперативности. Бой в воздухе шли непрерывно. Но Смушкевич строил работу летных ча-

стей с таким расчетом, чтобы одновременно бить неприятеля и укреплять изо дня в день монголо-советские воздушные силы. Нельзя было упускать из виду ни одной мелочи. Да и существуют ли мелочи в боевой обстановке? Вот, например, надо обеспечить аэродром водой. И Смушкевич отдает распоряжение — немедленно приступить к рытью колодцев на аэродромах. Рыть приходилось самим летчикам, а до воды нередко удается добраться только на глубине ста пятидесяти метров. Не забывает Смушкевич и о продовольствии для авиачастей и о культурном досуге бойцов.

Колоссальная энергия этого человека воодушевляла весь летный состав. Под его руководством люди работали так, что налет неприятельской авиации не мог застигнуть наши части врасплох. Вся летная группа была готова в любую минуту подняться в воздух и идти на врага.

Смушкевич созвал командиров летных частей и сказал им:

— Каждый из вас должен действовать так, чтобы с первых же схваток неприятель почувствовал нашу мощь и наш перевес. Однако, проявляя решительность и отвагу, помните, что каждый из вас обязан беречь себя, зря не рисковать, обязан поддерживать товарища, прикрывать его, защищать.

Учитывая опыт прошлых боев, Смушкевич дал командирам еще одно указание:

— Осмотрительность играет огромную роль в воздушных боях. Постоянно нужно следить за хвостом своей машины и за хвостом машины товарища!

Смушкевич все учел. Даже манеру неприятеля появляться на фронте со стороны солнца, используя при этом облачность.

С первого же дня противник почувствовал нашу силу, и азарт, с которым он начал кампанию, значительно ослаб.

Смушкевич перебрался на командный пункт.

На расстоянии примерно одного километра от линии фронта высятся гора Хамардаба, спускающаяся к самой реке Халхин-Гол. С горы хорошо видеть далеко вокруг, отсюда можно наблюдать за действиями в воздухе. Кроме того, здесь находилось командование наземных частей. Здесь же на горе разместились и его штаб — обывковенная монгольская юрта.

Скромная юрта на горе Хамардаба, судя по всему, не давала покоя неприятелю.

К этому месту проявлялся явно новый интерес: гору нередко обстреливали из орудий и с воздуха. Часто проис-

ходили воздушные бои как раз над этой горой.

Но Смушкевич не покидал облюбованного места. Вместе с командным составом он отсюда и в бинокль и невооруженным глазом наблюдал за операциями в воздухе.

В самый разгар боев Смушкевич установил, что часть аэродромов расположена слишком далеко от линии фронта. Вследствие этого случается, что некоторые наши машины не успевают перехватить машины неприятеля. Смушкевич тут же облетел фронт и указал, где именно необходимо соорудить сеть аэродромов, организовал систему наблюдения, установил прочную связь между аэродромами... Таким образом, в одну и ту же минуту с разных аэродромов могло подниматься в воздух нужное количество машин.

Все это было организовано в кратчайший срок.

Летчикам, и особенно молодым, Смушкевич не уставал твердить:

— В авиации секунда — великое дело! Берегите каждую секунду.

Летчики крепко сдружились со своим начальником. Его полюбили за прекрасное знание своего дела, за точность и конкретность указаний, за умение учитывать обстановку. Где бы ни случилась какая-нибудь заминка, Смушкевич появлялся на месте и всегда находил разумный выход из положения. И еще полюбили его летчики за чуткое и отзывчивое сердце. Даже здесь, в монгольской степи, он ни на минуту не забывал о бытовых нуждах летчиков, об их досуге и питании, возможных удобствах...

Бои происходили почти ежедневно. Противник людей не щадил. Но Смушкевич — сын великой партии Ленина — Сталина — отдавал весь свой опыт, все свои знания. Все свое время тому, чтобы сохранить каждого человека, чтобы обойтись минимальным количеством неизбежных жертв. За четыре месяца, в течение которых происходили события у реки Халхин-Гол, было немало туманных дней. Затянет сизой пеленой аэродромы, подниматься в воздух невозможно, авиация скована, и летчики вынуждены бездействовать.

В один из таких дней над аэродромом неожиданно послышался рокот мотора, затем показался самолет. Машина идет брешущим полетом, делает разворот и мастерски садится. Прилетел, оказывается, Яков Владимирович.

Пользуясь вынужденным досугом, он решил разобрать прошедшие бои, проанали-

зирать допущенные ошибки и промахи. Разбор проводит сам Смушкевич и делает это он так умело, с таким знанием дела, что командиры готовы слушать его без конца.

Но вот разбор окончен, и Смушкевича можно увидеть на кухне, в спальных помещениях, в красном уголке... А как проводят летчики свой кратковременный отдых? Есть ли бильярд?

Проходит двадцать—тридцать минут, и Смушкевич, «расправив кости», снова садится в машину и летит на другой аэродром.

Самолет взмывает кверху и скрывается в густом тумане. Слышится только постепенно удаляющийся рокот мотора.

Немало горячих боевых дней пришлось пережить монголо-советским частям, и наземным, и воздушным, — на фронте у реки Халхин-Гол. Но никогда не изгладятся из памяти участников дни решающих сражений.

Высшее командование советско-монгольских частей решило разгромить врага в кратчайший срок. Выступать должны наземные и воздушные силы одновременно. О готовящемся наступлении никто, кроме высшего командования, не знает.

Накануне генерального сражения Смушкевич вызвал к себе командиров авиачастей и подробно изложил план предстоящих действий. Планом было предусмотрено все как в отношении помощи со стороны авиации наземным частям, так и в отношении самостоятельных действий воздушных сил.

— Товарищи командиры! — обратился Смушкевич к собравшимся. — Имейте в виду, вам предстоит выполнить задание, от которого зависит исход кампании.

План, изложенный Смушкевичем, был так тщательно продуман и разработан, что каждая летная часть и каждый человек знал свое место, свои обязанности, свое время.

— Вылетать надо завтра, в пять, ноль-ноль! — закончил Смушкевич.

На следующий день, в пять ноль-ноль, люди и машины были готовы к вылету. Но над аэродромом и окрестностью висит густой туман.

Настроение у всех подавленное:

— Сможет ли авиация принять участие в наступлении?

— А если не сможет, то как это отразится на действиях наземных частей?..

Но Смушкевич великолепно знает своих летчиков и командиров. Он уверен в них.

И в пять часов двадцать минут он отдает приказ:

— Вылетать!

Машины всей громадой пошли на фронт.

Наземные части — танки, артиллерия, пехота и конница — делали свое дело. Авиации приходилось оперировать в неблагоприятных условиях. Бомбардировщики начали бомбометание по военным объектам неприятеля. Истребители, в свою очередь, прикрывали бомбардировщиков от нападения вражеских машин и в то же время уничтожали зенитную артиллерию неприятеля.

Сразу же после первого налета последовал второй, а затем третий и четвертый. Все эти удары были до того мощны и грандиозны, что неприятель не мог оказать сколько-нибудь эффективного сопротивления воздушным силам.

Смушкевич ни на минуту не покидал своего командного пункта на горе Хамбардаба. Неприятельские самолеты неоднократно делали отчаянные попытки прорваться сюда. Смушкевич оставался на месте. Видимость, правда, нигде не годная, но донесения поступают отрядные...

Успех монголо-советских войск, как и следовало ожидать, блестящий. Летчики радостно возбуждены. Они возвращаются из боя с веселыми лицами, с спящими глазами. Они поют в воздухе, смеются, выкрикивая друг другу поздравления и приветствия.

Туман все еще не рассеялся, и посадка на аэродромы затруднена. Но все проходит благополучно. Мало того, выясняется, что за весь день упорного боя в таких неблагоприятных условиях наша авиация не потеряла ни одного человека, ни одной машины.

Однако одержанная победа еще не дает права успокаиваться. И наша авиация вечером того же дня в сочетании с наземными войсками наносит второй, не менее мощный, удар противнику.

Боевой день окончен. Смушкевич созывает командиров и летчиков и проводит разбор сегодняшних операций. Каждая мелочь подвергается обсуждению.

Результаты:

Враг крепко побит.

Перевес на нашей стороне, инициатива за нами.

Моральное состояние наших летчиков не оставляет желать лучшего.

Материальная часть и вооружение работало точно и безотказно.

Смушкевич говорит:

— Спасибо вам, товарищи! С такой авиацией побеждать можно!..

И на следующий и еще через день удар был повторен с такой же силой. Неприятель был до того подавлен, что больше не мог сопротивляться.

Августовские бои решили исход конфликта. Теперь можно и отдохнуть. Каждый отдыхает по-своему. На площадке, совсем еще недавно бывшей под угрозой огня, летчики устроили танцы.

А на берегу реки Халхин-Гол, одно название которой всего лишь несколько дней тому назад ассоциировалось с грохотом войны, Яков Владимирович Смушкевич... удит рыбу. А Халхин-Гол, вообще говоря, речка мирная, прозрачная и рыбная.

«Конечно, — думает Смушкевич, — было бы приятнее удить рыбу в Москвереке... Чтобы на берегу тут же сидели жена и дочь...» Но до Москвы отсюда примерно десять тысяч километров, жена и дочь, небось, беспокоятся...

Смушкевич, правда, посылает домой короткие телеграммы — к писанию подробных писем обстановка не располагает. Из дому тоже прибывают весточки, но сейчас, в минуту затишья, стоя на берегу реки с удочкой в руках, Яков Владимирович особенно остро затосковал по своей семье.

Река Халхин-Гол кишмя кишит рыбой. Монголы рыбы не едят, — вот она и плодится здесь сверх всякой меры. Смушкевич едва успевает закидывать удочку... Рядом, на берегу, установлен треножник с котелком, под котелком весело горит костер... И рыба с крючка попадает непосредственно в котелок. Варится ароматная, вкусная уха...

Уха готова, и все вместе — начальник воздушных сил, командиры, летчики — с аппетитом хлебают ее, оглашая берег реки громким говором и раскатыстым смехом...

А вдоль линии фронта патрулируют истребители.

Однако война еще полностью не окончена. Неприятель еще мира не просит, — значит он не добит. Смушкевич предложил «психическую атаку». Было принято решение провести высший пилотаж над полем боя.

Звено истребителей вылетает на территорию неприятеля, к самой линии окопов и над головами японских войск демонстрирует искусство высшего пилотажа.

При этом Смушкевич строго предупреждает:

— Ни в коем случае первым огня не открывать!

Звено взлетело немедленно и под надежным прикрытием.

Неприятель был потрясен. Что бы это значило? Красные летчики летят на малых высотах, не стреляют, не бомбят, вместо боевых действий демонстрируют фигуры высшего пилотажа, будто находятся у себя над аэродромом...

Из неприятельских окопов выглянули растерянные лица.

А наши пехотные части, расположенные неподалеку, увидев самолеты, кружащиеся в вышине, бросились в атаку и захватили у неприятеля важный участок.

Смушкевич терпеть не может лихачества, пустого бахвальства. Маневр был задуман с единственной целью — подавить врага и физически и морально. Цель достигнута.

Впрочем, неприятель и сам свидетельствует об этом достаточно красноречиво. Среди многочисленных трофеев, захваченных нами на фронте у реки Халхин-Гол, был дневник одного японского офицера. Среди других записей имеется и такая:

«От красной авиации, — пишет он, — не было покоя. Не было ни одной минуты, чтобы в воздухе не кружили красные самолеты. Мало того, что красная авиация висела над нашими головами, отдельные самолеты и одно звено производили фигуры высшего пилотажа над нашими окопами в то время, когда бои в воздухе еще не прекращались...»

Враг как будто присмирел. Впрочем... быть может, это только уловка? А вдруг он лишь притаился и намеревается напасть неожиданно?.. По распоряжению Смушкевича группа истребителей непрерывно патрулировала вдоль линии фронта. А сам он на всякий случай не покидал командного пункта.

И вот в один «из спокойных дней» командир девятки патрулирующих истребителей увидел на командном пункте сигнал: неприятель приближается к расположению наших наземных частей. Его нужно встретить...

На горизонте появились двенадцать бомбардировщиков и двадцать два истребителя противника. Итак, — девять против тридцати четырех!..

По командир спокоен. Смушкевич не пошлет девятку самолетов против такого количества вражеских боевых машин. Значит, надо хотя бы задержать неприятеля, а помощи долго ждать не придется.

Командир молниеносно выбрал наиболее выгодное направление и так же молниеносно обрушился на превосходящего силой

врага. Первый удар был настолько сокрушительным, что все неприятельские бомбардировщики тут же повернули обратно, не успев сбросить ни одного килограмма своего груза. Среди истребителей произошло замешательство. В воздухе поредело. Но тут японцы увидели, что против них всего только девять машин! Тогда они с остервенением бросились на нашу девятку. Однако советские летчики не растерялись. Они продолжали атаковать неприятеля так, как учил их Смушкевич — спаянно, защищая и прикрывая друг друга. Все девять летчиков слились в одно целое. Ни у одного и в мыслях не было отступить. А если и маневрировали, то лишь для того, чтобы с большей силой ударить и «сесть неприятелю на хвост...»

Командир девятки не ошибся в своих расчетах: в самый разгар боя Смушкевич выслал подмогу. Наши боевые машины поднялись над японскими истребителями и сверху ударили так, что те еле смогли регироваться.

Бой окончен.

Самолеты и участники сражения снова у себя на аэродроме. Все целы и невредимы.

Зазвонил телефон. Командир девятки снял трубку. Говорит Смушкевич с командного пункта:

— Горячо благодарю вас, товарищ командир, и весь летный состав! Поздравляю с крупной победой! Костры хорошо видите?

— Какие костры?

— Да ведь вы же с первого удара зажгли семь японских истребителей!

В скором времени конфликт был ликвидирован.

Президиум Малого Хурала Монгольской Народной Республики вынес постановление о награждении Якова Владимировича Смушкевича орденом Боевого Красного Знамени первой степени.

Самолеты возвращались на запад. В Сибири и на Урале убрали хлеба, в Татарстане готовились к зяблевой пахоте, в Московской и в соседних областях уже копали картофель и снимали плоды в садах...

А вот и Москва.

Участники боев на фронте у реки Халхин-Гол приглашены в Кремль. Беседуя с ними, товарищ Сталин дал высокую оценку действиям нашей авиации на Востоке.

А на следующий день Смушкевич во главе группы летчиков, — участников боев в Монгольской Народной Республике при Халхин-Голе — вылетел принимать уча-

стие в освобождении от польского гнета западных областей Украины и Белоруссии.

Два года тому назад, когда Яков Владимирович получал звание Героя Советского Союза и два ордена Ленина, товарищ Калинин сказал ему:

— До будущей встречи... здесь же...

Пожелание Михаила Ивановича исполнилось.

Девятнадцатого ноября 1939 года Президиум Верховного Совета СССР опубликовал указ о награждении Героя Советского Союза комкора Якова Владимировича Смушкевича второй медалью «Золотая Звезда».

Так закончилось для Якова Владимировича Смушкевича это славное полугодие 1939 года.

XVII. С НОВА БОИ — С НОВА ПОБЕДЫ

После присвоения звания дважды Героя Советского Союза Яков Владимирович был назначен начальником военно-воздушных сил рабоче-крестьянской Красной Армии.

Это было 19 ноября 1939 года. А вскоре Советская страна была вынуждена с оружием в руках защищаться от провокационного нападения белофиннов.

И Смушкевич по распоряжению правительства вылетел на финский фронт — руководить воздушными силами.

В первые же дни Смушкевич по своему обыкновению облетел аэродромы, познакомился с летными частями, выяснил, когда и в каких кампаниях они принимали участие, кто командует отдельными соединениями.

Но дело не только в личном знакомстве. Уяснив себе обстановку, Смушкевич тут же дал совершенно точные и конкретные указания летчикам.

— Каждый вооруженный конфликт, — говорил он, — каждая война имеет свою специфику, свои особенности. Условия на финском фронте нельзя сравнивать с условиями войны при Халхин-Голе. Здесь, например, можно безбоязненно садиться на лед. Выпускай шасси и садись. При вынужденной посадке можно использовать любое замерзшее озеро.

Смушкевич позаботился и о том, чтобы люди не выбивались из сил. Уставший боец не может считаться полноценным. Он теряет часть своей боеспособности. Поэтому Смушкевич приказал в каждом соединении иметь сменные части с таким расчетом, чтобы одна могла заменять дру-

гую. Такая сменная работа летчиков обеспечивала фронт постоянной свежей, отдохнувшей силой.

Дни и ночи Смушкевич отдавал организации и укреплению нашей авиации на фронте. Он видел перед собой одну задачу — разгромить врага в воздухе. Боевая обстановка, как всегда, захватила Смушкевича. Он забыл о том, что нога у него еще не совсем вылечена. И через некоторое время это дало себя почувствовать: болезнь приковала его к постели.

К больному в Ленинград немедленно приехала жена и постоянно пользовавшийся его профессор.

Профессору было ясно: если Смушкевич будет продолжать полеты, дело кончится плохо.

— В больницу! — предписал профессор.

Но Смушкевич категорически отказался, и профессору пришлось пойти на уступки — разрешить лежать в домашней обстановке. Расчет был прост: лежа в постели, он не будет работать...

Однако профессор ошибся. Смушкевич терпеть не может слово «болезнь» и попросту не умеет болеть. Лежа в постели, он продолжал принимать участие в руководстве боевой работой авиации.

Окруженная со всех сторон чуть ли не пятнадцатую телефонными аппаратами, обложенная картами и метеорологическими сводками, кровать Смушкевича так же мало напоминала больничную койку, как комната — больничную палату.

В один из таких дней в штаб явилось несколько граждан.

— Мы слышали, что товарищ начальник болен, — заявили пришедшие. — И вот мы пришли предложить свою кровь для переливания...

Во время войны против белофиннов на улицах Ленинграда у больниц и госпиталей можно было видеть очереди. В очередях стояли доноры — люди, добровольно предлагавшие свою кровь для восстановления здоровья раненых и больных бойцов.

Три с половиной месяца длилась война против белофиннов. В течение ста пяти дней из ночи в ночь возле Института переливания крови выстраивались очереди доноров. Шестьдесят тысяч трудящихся Ленинграда по своей собственной воле и инициативе добивались чести отдать свою кровь бойцам Красной Армии. И вот некоторые из таких добровольцев явились в штаб. Им объяснили, что Смушкевич не

нуждается в переливании крови и горячо благодарит их.

Однако руководить воздушными операциями Смушкевичу пришлось недолго. В Москве узнали о том, что он, прикованный к постели, продолжает работать и приказали — немедленно вернуться в Москву, лечиться и, вообще, находиться подальше от фронтовой обстановки.

Нарком запросил профессора о состоянии здоровья Смушкевича, так как последний и в Москве настаивает на том, что он может работать.

— Товарищ нарком, — ответил профессор, — вы знаете Якова Владимировича не хуже, чем я...

И развел руками, точно желая сказать: «Я ничего не могу с ним поделать».

А Яков Владимирович снова перебрался в штаб. Он даже почевать домой не ездил. Вместе с ним здесь была и жена.

К сожалению, он не мог сейчас находиться на командном пункте, не мог принимать непосредственного участия в повседневном руководстве боями, — всего этого не позволяла ему ни состояние здоровья, ни отдаленность от фронта. Но и в этих условиях он не оставлял работы.

Кампания была окончена. Финская белогвардейщина запросила мира.

Победители возвращаются с фронта. Весна в том году была ранняя. Теплый мартовский ветер возвещал, что скоро вскроется река. В солнечные полдни зубцы кремлевских стен покрывались стаями говорливых грачей.

А вечерами высоко над шпилями башен катилась по небу круглая луна.

В этот вечер большие окна Кремлевского дворца были ярко освещены.

В величественном зале для дружеской беседы собрались летчики. Здесь были люди, еще совсем недавно проводившие вместе дни и ночи на фронте; были и такие, которых боевая обстановка разлучила на все время кампании.

В зале появился Яков Владимирович Смушкевич. К нему устремились боевые товарищи. Хотелось поскорее узнать, как он себя чувствует, оправился ли он после болезни, оторвавшей его от непосредственного участия в военных операциях. К Смушкевичу подходили, жали ему руку, обнимали, дружески хлопали по плечу.

Встреча затянулась. Был поздний час, когда товарищи стали расходиться. Кто-то взглянул в окно и предложил прогуляться пешком.

Вместе с другими направился к выходу

ду и Яков Владимирович Смушкевич. Он шел, опираясь на палку, так как боль в ноге все еще давала себя чувствовать. Пройдя вестибюль, он приблизился к ведущей к выходу широкой мраморной лестнице, покрытой мягким ковром. Но в эту минуту возле Смушкевича выросла группа боевых товарищей, заслуженных командиров, летчиков, орденосцев, Героев Советского Союза. Товарищи подхватили Смушкевича и бережно помогли ему сойти с лестницы.

XVIII ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АВИАЦИИ

Смушкевич обладает замечательной способностью находить в каждом летчике индивидуальные, ему одному присущие качества, и умеет, обнаружив эти качества, использовать их наиболее целесообразно. Смушкевич помогает летчику в работе, влияет на его рост. И делает он это просто, незаметно, от души. Успех товарища его искренно радует. Не раз Смушкевич поручал рядовым летчикам крупные и ответственные задания, выполнение которых потом делало имена этих летчиков известными всей нашей стране и далеко за ее пределами.

За восемнадцать лет службы в военной авиации вместе со Смушкевичем и зачастую под его руководством выросло очень много замечательных летчиков и командиров.

Дважды Герои Советского Союза — Кравченко, Денисов, Грицевец, Герои Советского Союза — Рычагов, Гусев, Конец, Лакеев, Пумпур, Смирнов, Серов, Хрюкин, Черных, Шевченко и многие другие — всех не перечислить — все это люди, летная судьба которых связала с деятельностью Смушкевича — и во время боев, и в мирной обстановке.

И когда в мае 1940 года была назначена правительственная комиссия для присвоения лицам высшего начальствующего состава Красной Армии воинских званий, установленных Президиумом Верховного Совета СССР, в эту комиссию был включен и Яков Владимирович Смушкевич.

К этому времени он был начальником Военно-воздушных сил и носил звание командарма второго ранга.

А через месяц правительство присвоило Якову Владимировичу Смушкевичу звание генерал-лейтенанта авиации.

XIX МОСКВА — РАКИШКИ — МОСКВА

Над литовским местечком Ракишки неожиданно появился самолет. Станный

какой-то: проделал над деревянными домишками круг, второй, третий...

— Что бы это могло обозначать? — удивлялись местечковые жители.

За последние несколько месяцев, с момента прихода Красной Армии, местечко Ракишки, как и вся Литва, повидало немало удивительного, но что бы самолет кружил именно над Ракишками, подобно гигантскому орлу, этого еще не бывало.

Самолет куда-то скрылся, а люди все еще стояли, устремив глаза в небо. Кто-то обратился к старику Смушкевичу:

— Послушайте, а не ваш ли это сын? Тот самый... Из Москвы...

— Вот еще! — нахмурился старик. — Делать ему больше нечего... Так он, по-вашему, все и бросит и прилетит ни с того, ни с сего кружить над Ракишками...

Но вот показался автомобиль. Машина остановилась неподалеку от ветхого домика Смушкевича, из нее вышел советский летчик, а следом за ним — женщина.

Женщина обратилась к летчику:

— Яков, вот тот старик, наверное, твой отец... Копия!

Отец мог только вымолвить:

— Сын мой... Это...

— Да, отец, это я! А где мать?

Мать в это время была на другой улице, у знакомых. В последнее время она часто сюда приходила слушать по радио Москву; а вдруг ей удастся услышать голос сына... И вот ей сообщили:

— Можете не только услышать, но и увидеть своего сына у себя в доме.

— Шутки шутите! — недоверчиво улыбнулась мать.

— Взгляните в окошко! — ответили ей.

На улице было черным-черно от людей. Все бежали по направлению к домику портного Смушкевича.

Старушка не бежала, — ее несло. Возле домика народ расступился, и мать прошла к себе, будто по узкому коридору.

Мать обнимала сына, плакала теплыми радостными слезами и шептала, будто боясь испугнуть свое счастье:

— Яша... Яшенька... Детка моя... Это не сон?..

И обращаясь к мужу:

— Двадцать два года! Подумать только — двадцать два года прошло!

Но отец знал, что происходило с сыном в течение всего этого времени. И не только из писем сына...

— Был у меня еще один источник...—

говорит с таинственным видом отец. — Через полицию...

— Что это значит? — удивляется сын.

— Как только с тобой происходило что-нибудь важное, меня тут же таскали в полицию и спрашивали: «Где твой сын?»

— «Не знаю! — отвечал я. — Ищите его, если вам надо».

— «Как так не знаешь? А вот в большевистских газетах напечатано, что твой сынок большой человек, член Белорусского ЦИКа». И дав тумака, выгоняли из участка...

Это повторялось несколько раз: когда сыну было присвоено звание Героя Советского Союза, затем весной 1939 года, когда Яков Смушкевич был избран делегатом на XVIII съезд партии. Еще раз таскали отца в полицию осенью того же года, когда сыну было присвоено звание дважды Героя Советского Союза.

— Но особенно лютовали они, — продолжал отец, — перед самой своей гибелью! В июне сорокового года меня снова пригласили. Здравствуйте, пожалуйста! В чем дело? «Шапку долой! — крикнул главный начальник. — Думаешь, если сын у большевиков в генералах ходит, мы тебя пощадим?!» — И показывает мне твой портрет, напечатанный в газете. А я смотрю, глазам не верю. Генерал? Мой сын?!

Сын хохочет от души.

Мать останавливает отца:

— Ну, ладно, хватит насчет литовской полиции... Хорошо, что об этом сейчас можно только вспоминать. Скажи мне лучше, сыночек милый, как это можно с одной буханкой хлеба отправляться в такой далекий путь?

— В какой путь, мама? — недоумевает сын.

— Ну, тогда... Двадцать два года тому назад... Когда ты удрал обратно в Россию... Кругом такое творилось... А ведь ты был совсем еще дитя... Шестнадцать лет...

— Кропка! — смеется отец и подходит вплотную к сыну, чтобы померяться с ним ростом.

Мать не успокаивается. Она обязательно должна рассказать невестке о том, как двадцать два года тому назад пропал ее мальчик.

— Понимаешь, Бася, — продолжает мать, — и вот проходит столько времени...

— ... И мы видим перед собой генерала! — перебивает отец. — Ведь это же наш генерал! А почему ты не надел сво-

их медалей и орденов? — обращается он к сыну.

У матери к сыну свои претензии.

— Почему ты не написал, что приедешь? Я бы хоть медовый лекех¹ испекла... Не правда ли? — обращается она к невестке.

Сын обводит глазами свой отчий дом, убогую обстановку, он ищет манекен, с которым он в детстве мерился ростом... но манекена уже нет: отец — больше не портной. Глаза уже не те... А портновское дело без зоркого глаза... Куда ж это годится...

И старик сейчас ковыряется в крошечном огорожке возле дома.

— Целые дни воду таскает! — жалуется мать.

— Земля влагу любит! — авторитетно заявляет отец. — Ведь советская власть нам землю обещала... Как это называется? Колхоз...

А за окном не стихает людское море. Все население маленького местечка хочет пробраться в ветхий домик старика Смушкевича и говорить, и рассказывать, и поделиться своими радостями со знатным земляком. Кое-кому это удастся. Дети, перебывая друг друга, сообщают:

— Мы все уже учимся в школе! Все до единого... Знаете — все, все до единого!..

А соседка спешит добавить:

— Только ли школы... лечат бесплатно!.. Дай мне бог так... Лечат без копейки денег...

— И у всех работа есть! — перебивает еще кто-то.

— Зарабатываем... На жизнь... На хлеб...

— Ох, и намытарились же мы при старой власти...

— Что об этом говорить? Было и прошло! — подытоживает мать Якова Владимировича, и сама не знает, как быть: то ли просить людей оставить ее наедине со своим счастьем, то ли доставить себе радость и показать людям, какого она имеет сына...

Отец долго смотрит на Якова, потом зажмуривает глаза и проводит рукой по лбу.

— Да-а! — произносит он, ни к кому не обращаясь. — Две осени...

Осень 1915 года и осень 1940 года... Тогда мы тащились неизвестно куда... Беженцы... Мой Яша — тринадцатилетний босой мальчик... А сейчас...

¹ Лекех — пряник.

Отец не договаривает. Крупная слеза катится по лицу и скрывается в седой бороде.

... Яков Смушкевич хочет осмотреть местечко, однако это не так-то легко сделать: большая толпа людей следует за ним. Вот речка, из которой он, бывало, по целым дням не вылезал... А вот бугор, с которого он занукал бумажные змеи... А вот и базар. Тот же базар, что и некогда: с низкорослыми крестьянскими лошаденками, с торчащими кверху оглоблями. И только крестьяне уже не те. Не стало прежних, пришибленных и забытых людей. Советская власть дала им землю, избавила от помещиков. А вот здесь сейчас клуб, городской клуб в советском местечке Ракишки...

— На этой площади, — говорит один из сопровождающих, — будет установлен бюст нашего знатного земляка, дважды Героя Советского Союза, Якова Смушкевича...

... Снова над местечком кружит самолет. Яков Владимирович Смушкевич прощается со своими согражданами. Все жители местечка стоят, подняв головы, и следят за великолепной стальной птицей, приветливо покачивающей крыльями.

Самолет взял курс на восток, Смушкевич возвращается в Москву — работать и побеждать. Не побеждать он не может, ибо Смушкевич живет и работает так, как учит Сталин.

А Сталин — это победа.

Перевел с еврейского М. А. ШАМБАДАЛ

ПУТИ - ДОРОГИ

1. ПРИЖИВШИЙСЯ АНЕКДОТ И ЗАБЫТЫЕ ФАКТЫ

Железные дороги являются таким же важным событием, как изобретение пороха, открытие Америки, изобретение книгопечатанья: в мировой истории начинается новая глава.

Генрих Гейне

Рассказ о российских железных дорогах обычно начинается анекдотом о Николае I, линейке и трассе дороги.

Петербург-Московская дорога не петлит, идет сравнительно прямо, прорезая тоннелями возвышенности и насыпи, пересекая низины. Рассказывают, что изыскания трассы шли очень медленно. Царь запросил министров, почему так долго не приступают к строительству.

— Не могут найти путь, по которому рельсы прокладывать.

— Как так? — возмутился царь. — Дайте-ка сюда карту. Где Москва? Где Петербург?

Поставил царь линейку и провел черту на карте как раз между Москвой и Петербургом.

— Вот тут, — сказал он, — и стройте.

Говорят даже, что единственное отклонение от прямого пути около Твери объясняется тем, что при проведении линии карандаш Николая I наскочил на его палец.

В действительности, изыскательная партия дороги Петербург—Москва наткнулась на большую реку, проложенную в эпоху Петра I Морской академией. По этой прямой, как линейка, просеке и проложили трассу будущей дороги.

Царское правительство не берегло памятники народного творчества. У нас не сохранилось даже портрета замечательного русского механика, изобретателя паровой машины — Ивана Ивановича Ползунова. Зато в Англии тщательно сохраняется «Дом на большой дороге». Это маленькая хибарка в поселке углекопов Вайлама, в которой родился изобретатель паровоза Джорж Стефенсон.

В вайламском «Доме на большой дороге» хранится английский железнодорожный справочник, изданный в 1838 году, который рекомендовал пассажирам:

«Держитесь как можно дальше от машины, так как тогда, в случае взрыва, вы имеете шансы отделаться всего лишь потерей руки или ноги; если же вы будете стоять вблизи паровоза, то вас разорвет на куски...»

В Вайламе много реликвий, которые иллюстрируют биографию «Пыхтящего Билли». О наших изобретателях мы сохранили значительно меньше сведений. Известно, например, что в годы, когда в Вайламе не построили еще избушку Стефенсона, в России мужицкий сын Леонтий Шамшуренков построил машину для подъема большого церковного колокола на колокольню. Артиллерийская канцелярия изобретение одобрила и применила. Но крестьянин из Яранского уезда — изобретатель из «подлого сословия», Леонтий Шамшуренков, был взят на замечание, а затем заключен в острог. Шамшуренков провел в заточении пятнадцать лет. Но и тут пытливый ум изобретателя работал над новыми конструкциями. На шестнадцатый год заточения Леонтий Шамшуренков отправил ходатайство императрице Елизавете Петровне — отпустить его на короткое время, чтобы закончить новую машину — «самодвижатель».

История не сохранила подробного описания нового изобретения Леонтия Шамшуренкова. Известно лишь, что «самодвижатель на колесах» шел исправно; особые часы, приделанные позади, показывали пройденное расстояние и трезвонили после каждой пройденной версты.

Леонтия Шамшуренкова вернули в острог, а изобретение его было уничтожено.

Много лет спустя — 15 сентября 1830 года — была открыта первая в мире железная дорога, построенная Стефенсоном.

Паровоз и через три года после своего рождения — в 1833 году — продолжал оставаться диковиной, его не видели еще во многих странах Европы. В России же в условиях технической отсталости уральский механик Михаил Черепанов построил паровоз, применив в нем последнее нововведение Стефенсона — котел с дымогарными трубами.

По непролазной грязи, в кибитке, телеге или коляске, ломая оглобли и оси в рывтинах и ухабах, ехал Михаил Черепанов в Английскую землю учиться заморско-

му мастерству. Вернувшись к себе на Урал, на заводы знаменитого Демидова, Михаил Черепанов с помощью своего отца построил на Нижне-Тагильском заводе «сухонутный паролод». Паровоз двигался по специальным «колесопроводам», то есть рельсам, на протяжении около 850 метров по территории завода. Через год Черепанов построил более совершенный паровоз, который вез не 3, а 16 тонн груза.

Но паровоз Черепанова не вышел за пределы заводской колеи в Нижнем Тагиле.

2. «СТЫДНО И ГРЕШНО»

По чугунным рельсам
Едет поезд длинный,
Не свернет ни разу
С колеи рутинной.

Н. Добролюбов

В 1835 году — через 5 лет после постройки первого паровоза Стефенсоном — рельсовые пути Северной Америки составляли 1283 километра. Америка далеко обогнала все страны мира. На родине паровоза в Англии было всего 200 километров железных дорог, в Австрии — 198 и во Франции — 149 километров.

В этом же 1835 году в Россию приехал известный в Европе строитель «чугунных дорог» Франц Герстнер. Путешествие строителя «чугунных дорог» по российским дорогам оказалось не из легких. В те годы из Петербурга в Москву ходили дилижансы, доставлявшие пассажиров на пятые сутки. Зимой дилижанс вмещал всего четырех пассажиров, а летом — шесть. Проезд из Петербурга в Москву стоил внутри дилижанса 100 рублей, впереди, где сидел кучер, 75 рублей, а сзади, где столбом стояла пыль или фонтаном брызгала грязь, 60 рублей. Деньги эти были по тем временам огромные. Да и время на поездку надо было затратить большое. Обычная скорость езды по тогдашним дорогам не превышала 100 верст в сутки. Исключение составляли только государственные фельдъегери, которые обязаны были ездить «столь поспешно, сколько сие будет возможно».

Исколесив Россию, Герстнер на собственном опыте убедился, как необходимы обширным равнинам России железные дороги.

Предложение Герстнера о прокладке дороги до Нижнего-Новгорода или даже до Казани было своевременным и выгодным. Но идея постройки железной дороги была встречена недружелюбно. Против проекта Герстнера выдвигались самые нелепые и наивные доводы. «Журнал общепользных сведений» (№ 18 за 1835 г., стр. 177—178) писал:

«Но русские вьюги сами не потерпят иноземных хитростей, занесут, матушки, снегом колеи, в шутку, пожалуй, заморозят пары. Да и где взять такую тьму топлива, чтобы вечно не угасал огонь под ходунами-самоварами. Или тратить еще деньги на покупку заморского угля, для того чтобы отнять насущный хлеб у православных?»

Стыдно и грешно».

Постройка первой в России Царскосельской железной дороги началась 1 мая 1836 года. 20 сентября того же года были проведены первые пробные рейсы между Царским Селом и Павловским.

В дни строительства дороги, по воскресеньям, толпы людей сбегались на Семеновский плац к деревянному «пассажирскому дому» во дворе казарм Семеновского полка. В два шарабана, сцепленных с вагонами, впрягали по две ямских лошади гуськом. Лошадей всюю пруть гнали по рельсовой колее.

Первым был пущен на линию паровоз Гакфорта, через несколько недель — локомотив Стефенсона, а потом паровая машина Кокерилля. В те времена каждому паровозу давали имя, как теперь дают паролодам. Первые паровозы Царскосельской дороги назывались: «Лев», «Слон», «Орел», «Богатырь» и «Стрела». Даже топливо (кокс и угольные брикеты) для этих локомотивов привозили из-за границы.

Официальное открытие дороги по всей магистрали состоялось 30 октября (12 ноября) 1837 года. К этому времени из-за границы прибыло все оборудование. Вагоны для дороги строились в Бельгии. В вагоне первого класса было оборудовано 24 мягких кресла. Второй класс назывался шарабаном. Здесь тоже были мягкие места, но не такие удобные. В вагонах третьего класса, которые назывались дилижансом, были жесткие сидения. Четвертый класс назывался вагонами для простого народа. Это были открытые вагоны на 40 человек по типу платформ, в которых у нас теперь возят строевой лес.

Открытие дороги было отпраздновано весьма торжественно. К деревянному зданию вокзала к 12 часам дня прибыл царь в сопровождении министров, членов государственного совета, дипломатов, придворной челяди и именитых купцов. Они разместились в 8 вагонах, разукрашенных флагами. Первый поезд вел Герстнер.

3. ВОЛ ЕСТЬ САМОЕ ДЕШЕВОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

«... Воспевая «культурную роль» железных дорог, вы скромно умалчиваете о чисто русском и совсем некультурном обычае грабить казну при постройке железных дорог (не говоря уже о безобразной эксплуатации железных дорог подрядчиками рабочих и гонящих крестьян!)»¹

В. И. Ленин

Поезд Царскосельской дороги, как и вся дорога, походил на цирковой аттракцион. Паровозных свистков не было. Впереди дымовой трубы паровоза был установлен звучный орган, выпущенный из-за границы. Специальный «музыкант» во время хода поезда вертел ручку органа. Кондуктора сопровождали игру органа аккомпанементом труб и барабанов.

¹ Выдержка из статьи «По поводу государственной росписи», в которой Ленин обращался к министру финансов Витте. В. И. Ленин, Соч., т. IV, стр. 349.

Не было в те времена телеграфа и телефона. Поэтому для связи применялся оптический телеграф, который находился в ведении военного министерства. «Телеграфические» стояли друг от друга на расстоянии двух верст и передавали сигналы днем черными шарами, а ночью красными фонарями.

Пассажирские вагоны перемежались с платформами, груженными соломой. Буферов в те времена не было. По мысли строителей дороги, пассажиры в случае крушения должны были выбрасываться из вагона и падать на мягкую солому.

После строительства Царскосельской дороги журналы и газеты продолжали вопить о ненужности новшеств для России.

Когда к министру финансов графу Капурину пришли московские, харьковские и рыбные купцы с предложением построить железную дорогу от Москвы к Черному морю, министр заявил, что «нелепо проводить железную дорогу в той же местности, где вол есть самое дешевое средство передвижения».

Только через шесть лет после постройки первой русской железной дороги было приступлено к прокладке второй трассы: Петербург — Москва. Строили дорогу при помощи тачек и лопат. Были, правда, робкие попытки механизировать работы. Из Америки выписали машину для изготовления костылей и четыре экскаватора, которые назывались тогда механическими землекопами. Но обращаться с машинами не умели, да кроме того, выгоднее всего был труд подневольных крепостных. Паровые землекопы были частью сломаны, а частью проданы на уральские заводы.

60 000 крепостных и государственных крестьян работало на строительстве дороги. В большинстве это были люди перепроданные или, вернее, сдавшие в аренду. Хозяин-помещик получал от администрации дороги за крестьянскую душу, отданную на строительный сезон с мая по ноябрь, — 45 рублей. «Добрые» помещики давали мужику из этих денег 3—5 рублей. Обычно же ограничивались полтиной. Дорога строилась в условиях эксплуатации, необычной даже для царской России.

Не выдерживая каторжных условий труда, рабочие бежали большими партиями. На них устраивали охоту, ловили, секли розгами, а зачинщиков сажали на горячую плиту. Положение рабочих на дороге еще более ухудшилось, когда Клейнмихель обещал царю устроить увеселительную прогулку по дороге в 1850 году, хотя оставалось еще очень много работы. Теперь на строительство было собрано столько народа, что нехватало лопат. Женщины носили землю в подоле, в ведрах, лукошках.

Дорога была открыта 18 августа 1851 года. Ни паровоз, ни вагоны по внешнему виду не напоминали поезда в нашем представлении. На всех станциях для пассажиров открытых вагонов третьего класса продавались специальные очки и маски, предохраняющие глаза от искр паровоза. Все кондуктора носили высокие каски и были вооружены тесаками.

Открыть дорогу должен был царь, проехав из Петербурга в Москву. Но за не-

сколько дней до этого «на пробу» пустили поезд с двумя батальонами солдат.

4. ЗАМОРСКИЕ ЧУДЕСА

Строителем первой российской дороги считали Клейнмихеля. В материалах по истории дороги только вскользь упомянут инженер Д. И. Журавский. Талантливый русский мостостроитель имел для работ только два «механизма» — тачку и лопату. С их помощью он построил ряд мостов и в том числе знаменитый Веребинский мост протяжением в полкилометра.

Что же касается официального строителя дороги — Клейнмихеля, о котором говорили, что он «не государственный, а государев человек», то о нем можно найти любопытную запись в воспоминаниях сенатора Фише, опубликованных в Историческом вестнике за 1908 год.

Царский чиновник — Клейнмихель — не знал значения слова «тендер». Столкнувшись с этим непонятым словом, Клейнмихель вызвал к себе для объяснения вице-директора департамента Кроля. Тот тоже не знал и ответил наугад, что тендер — небольшая паровая машина.

— Врешь! — сказал Клейнмихель. — Тендер есть морское судно. Это выдумки американцев на случай, если паровоз свалится в воду.

С воцарением Александра II — порядки на строительстве железных дорог не изменились. Тут беззастенчиво брали взятки и разворовывали казну высшие придворные круги. «Выдача концессий большей частью зависит не от министров финансов и путей сообщения, а от лиц, приближенных к государю»¹.

Когда царь при участии своей фаворитки — княжны Долгоруковой — открыто приказал Дельвигу ориентироваться на взяточдателей, управляющий министерством сделал такую запись: «До настоящего года я полагал, что в России есть по крайней мере одна личность, которая по своему положению не может быть взяточником, и грустно разочаровался»².

Взяточничество и казнокрадство в строительстве железных дорог порождали крушения и гибель людей, когда по новым путям, на прогнивших шпалах, начинали ходить поезда. Особенно плохо было на Курской дороге, которую прозвали в народе «Костоломкой». Стрелочник, спешник, машинист — это были профессии, где риск в лучшем случае остался калекой был не меньшим, чем у первых авиаторов. И все же у конторы начальника работ вся земля была в клетчатых следах от лаптей. Особенно много народа шло на «чугунку» из голодной Рязанской губернии.

Попасть на дорогу было нелегко. Раньше надо было собрать на клепо (взятку) мастеру. И такса для этого специальная существовала: красненькая — в депо, пятерку — в кочегары, а тройка — чистить котлы, глохнуть от постоянного шума.

¹ «Полвека русской жизни». Воспоминания А. И. Дельвига — управляющего министерством путей сообщения при Александре II. Изд. «Академия», 1930, т. II, стр. 422.

² Там же, стр. 461.

Принимали на дорогу еще и по-родственному. Так, при помощи своего дяди-машиниста Курской дороги попал в депо девятилетней мальчонкой Ваня Филиппов.

Иван Павлович Филиппов здравствует по наши дни. Недавно народный комиссар путей сообщения Лазарь Моисеевич Каганович наградил Ивана Павловича знаком почетного железнодорожника. В своем приказе нарком отметил, что награждает старого машиниста за честную работу на транспорте и воспитание отличного сына, которому партией доверена большая работа.

О сыне Ивана Павловича речь будет впереди, а пока вернемся к годам, когда Ваня Филиппов пришел к дядьке Егору заниматься на чуточку. Дядька использовал все свои связи — он знал, что возвращаться Ваньке обратно в деревню — значит голодать. С трудом удалось устроить мальчонку в железнодорожное ремесленное училище.

Встречая теперь на улицах молодых ребят в черных шинелях с буквами «Ж. У.» на петлицах, старый машинист вспоминает свое детство. В ремесленном училище Ваню Филиппова определили по слесарно-токарному делу. В дни работы надо было простоять за станком 9—10 часов. Но что это были за станки! Они походили на точила точильщиков, которые ходят по дворам.

Раз в неделю «ремесленники» работали в кузнице. Этого дня ждали со страхом. Не только потому, что в кузне было тяжело (все делали руками) и угарно (никакой вентиляции). Страшнее всего был сам кузнец — Иван Федорович Васильев. Он бил учеников чем попало, а попадалось ему в руки все тяжелое, легких предметов в кузнице не было.

В ремесленном училище Ваня Филиппов, в числе наиболее нуждающихся, получал бесплатный завтрак: кружку кислого кваса и кусок черного хлеба. Подкармливаясь, он бегал к дядьке. Тут Ваня, опередив своих товарищей по училищу, изучал паровоз. Когда об этом стало известно в училище, старший мастер предупредил мальчику, что за повторение подобного проступка его исключат.

Спустя несколько лет, работая в депо, Филиппов пытался внести усовершенствование в паровоз Борзига. Но и за это он был наказан администрацией. «Теперь невольно улыбаюсь, представляя себе эту машину, — пишет в своих воспоминаниях Филиппов. — Труба была высоченная и с раструбом вроде лохани, колеса маленькие и только по три пары, управление самое что ни на есть простое. Самовар да и только. Но и такие машины царское правительство не доверяло русским. Заправляли на железной дороге иностранцы. Фамилии начальника депо, инженера и старшего мастера были — Лейфорд, Фейст и Терст. Теперь странно кажется, что начальство было недовольно нашей любознательностью. А тогда ведь все обставилось так, как будто бы техника доступна только иностранцам, а нам, русским, не по уму.

Паровоз в те времена в депо называ-

ли — Борзигом — по имени немецкой фирмы, тормоз — Вестингаузом, жезловый аппарат — Вебб-Томпсоном.

Все это были запатентованные иностранные модели. За их эксплуатацией наблюдали представители фирм — инженеры и мастера. Малейшее сомнение в погрешности этих заморских чудес рассматривалось как «крамола».

5. СЛУЧАЙ У МУГОДЖАРСКИХ ГОР

25 сентября 1909 года по большому указу Мугоджарских гор к станции Кыргызская Ташкентской дороги мчался длинный товарный состав. На спуске машинист, как обычно, начал тормозить. Перед самой станцией у входной стрелки он отпустил тормоза. И вдруг впереди, в нескольких шагах от паровоза, мелькнул красный сигнал. Нужно было снова тормозить, но этот раз экстренно.

— Даю контрпар. — закричал помощнику машинист. — Тормози! Тормози же! Тормози!

Паровоз зашипел и окутался белым облаком. Со свистом вырывались клубы пара. Помощник сжал ручку «Вестингауза», но тормоз не действовал. Весь воздух был выпущен из тормозной магистрали при спуске. Вторично «Вестингауз» упорно отказывался работать.

Было разбито два паровоза и пятнадцать вагонов.

Машиниста и помощника положили в больниче рядом. Когда они остались в комнате одни, помощник спросил, отчего произошло несчастье.

— Все от него — от «Вестингауза». — И старый машинист, нехорошо высказавшись о всех родственниках «Вестингауза», подробно объяснил своему помощнику, где «Ахиллесова пята» у знаменитого заграничного тормоза.

После происшествия помощник машиниста — Флорентий Казанцев был смещен на низшую должность. Но он не хотел примириться с этой явной несправедливостью. Долго и мучительно-трудно было добиться проверки непогрешимого «Вестингауза». В конце концов упрямство молодого машиниста победило. Были устроены испытания тормоза в таких же условиях, какие были на станции Кыргызская. «Вестингауз», как и следовало ожидать, не смог скрыть своих пороков. И в личное дело машиниста Казанцева было записано, что «виною происшествия на станции Кыргызская был непредвиденный случай и недочет в тормозе «Вестингауз».

Через месяц Казанцев был восстановлен в должности. Но к этому времени работа машиниста, о которой он мечтал всю свою жизнь, — перестала его волновать. Он думал теперь о другом.

6. ПАРОВОЗНЫЙ СВИСТОК И МЫШЕЛОВКА

Первой аварией на железной дороге, если не считать гибели Ричарда Треви-

тика¹, было столкновение поезда Стефенсона с тележкой, нагруженной маслом и яйцами. Это произошло в 1833 году. Тележка была опрокинута, и вся поклажа погибла. Извозчики, которым железная дорога и так пришлось не по вкусу, подняли невероятный шум, Стефенсона обвинили в том, что рожок, в который гудел машинист, оказался слишком слабым. Стефенсон устроил более мощный рожок, который действовал при помощи пара. Этот прототип современного паровозного свистка был изготовлен фабрикой музыкальных инструментов. Но число аварий и крушений от этого не уменьшилось. Несовершенными, слишком слабыми были тормоза поезда.

Первым тормозом стефенсоновского поезда был рычажный тормоз. В наши дни на улицах можно встретить грузовые автокачки—повозки на дутых автомобильных шинах. Рядом с сиденьем возчика на таких автокачках, или, как их называют, автополках — рычаг. Когда нужно остановить повозку, возчик не натягивает вожжи, не кричит лошади: «тпру!» Он нажимает рычаг, который другой стороной прижимает колесо и тормозит повозку.

Флорентий Казанцев видел такие рычажные тормоза на трамкарете — большом пассажирском рыдване, запряженном четверкой лошадей. В 80-х годах прошлого века, когда вес поездов значительно увеличился, нажимать и удерживать рычажный тормоз стало не под силу самым здоровым кондукторам, хотя подбирали их как на тяжелую физическую работу. Рычаг заменили винтом. Такие тормоза — в качестве запасных — можно видеть на московских трамваях.

В длинных поездных составах винтовой тормоз часто приводил к авариям и крушениям. Сигнал к торможению подавал машинист. Кондуктора вагонов, ближайших к паровозу, сразу слышали сигнал и немедленно тормозили. Кондуктора последних вагонов тормозили по второму сигналу, а иногда и по третьему. Не было одновременного торможения, и от этого задние вагоны наезжали на передние, получались толчки и разрывы. Тогда для тормоза попытались использовать силу пара. Это окончилось неудачей. В конце концов на службу тормозу поставили сжатый воздух. Так появился «Вестингауз».

Теперь вдоль всего поездного состава шел воздухопровод, а под каждым вагоном имелся резервуар. Воздух проходил через воздухопровод и попадал в резервуар, как мыш в мышеловку. Пропускной клапан пускал воздух в тормозной аппарат, но закрывал выход обратно. Снаружи «выходную дверь» клапана подбирало давление воздуха в воздухопроводе.

Но вот произошла авария, оторвался от состава вагон, оборвался воздухопровод,

¹ Изобретатель Ричард Тревитик, в 1808 году построив свою первую машину, никак не мог пустить ее в ход. Видя, что паровоз упрямо не трогается с места, изобретатель потерял терпение и, закрыв предохранительный клапан, воскликнул: «Либо он поедет, либо я лягу костями». Паровоз разорвало, Тревитик был убит.

выступив с шипением воздух. Ничто не прижимает «выходную дверь», она раскрывается настежь, и воздух, вырвавшись из резервуара, приводит в движение поршень, который в свою очередь прижимает тормозные колодки. Так бывало при разрыве. При обычном же торможении машинист поворотом рукоятки крана выпускал воздух из воздухопровода и этим приводил в движение тормоз.

Но воздуха «Вестингаузу» нехватало. Тормоз был словно астматик. Однажды выдохнув воздух, он должен был остановиться, чтобы набрать его снова. Из-за такой отдышки старика «Вестингауза» и произошло крушение на станции Киргизская.

7. «СУМАСШЕДШИЙ И АРЕСТАНТ»

Не думайте о себе, забудьте себя! И тогда мир будет помнить вас.

Джек Лондон

После крушения у Мугоджарских гор Флорентий Казанцев два года работал над созданием нового нестойкого тормоза. Борьба была трудной. Машинисту нехватало знаний и денег, без чего работа усложнялась. Но Казанцев все же вышел победителем.

В 1911 году им была найдена идея нестойкого тормоза. Оставалось победить Вестингауза и его конкурентов Кунце-Кнорре, «Нью-Йорк» и другие фирмы, которые поставляли России истощимые тормоза.

Этого простой машинист сделать не смог. Не станем вспоминать всех мытарств Флорентия Пименовича. В заключение всех издевательств талантливого самоучку объявили сумасшедшим. «Только ненормальный человек может думать, что он умнее заграничных инженеров. — говорили про Флорентия Казанцева. — Иностранцы чудеса творят. Где уж нам до них».

Одним из чудес того времени на железных дорогах был жезловый аппарат английской фирмы Вебб-Томпсон-Смисс. Перед отходом поезда дежурный по станции вынимал из большого, словно гроб, ящика металлический стержень и вручал его машинисту, как разрешение отправляться в путь. Весь секрет жезловой системы в том, что жезловые аппараты смежных станций соединены электропроводом и особое устройство не позволяет одновременно вынуть жезлы из двух аппаратов. Пока поезд не дойдет к следующей станции и машинист не передаст дежурному, а дежурный не вернет аппарату жезл, новый жезл вынуть нельзя.

С введением жезловой системы газеты того времени поместили восторженные статьи под заголовками «Конец крушениям», «В поезде спокойнее, чем дома», «Машина контролирует человека» и т. д. и т. п. Но в 1912 году на станции Новониколаевск (теперь Новосибирск) столкнулись два поезда. Когда обыскали убитых машинистов, у каждого из них нашли по жезлу.

Как так?

Фирма Вебб-Томпсон-Смисс сделала все возможное, чтобы ни у кого не возникал этот вопрос. Обвинили, как водилось по традиции, стрелочника. Общественное мнение было успокоено. Но жезловыми аппаратами Вебб-Томпсона заинтересовался телеграфист станции Томск Даниил Трегер. Пользуясь тем, что телеграфные и жезловые аппараты стояли в одной комнате, Трегер раскрыл все секреты Вебб-Томпсона.

У «Вестингауза» была одна Ахиллесова пята, у Вебба — уязвимых мест оказалось много. Не мог, например, англичанин привыкнуть к российскому климату. Когда, случалось, откроют в зимний мороз дверь в дежурку, незащищенный английский аппарат обдаст леденящей струей воздуха, обледенеют рычаги и — ниши пропало: заест жезл и никакими силами его не вытащить. Случалось и другое: рычаги аппарата падали с большой высоты, застревали и, не передавая, таким образом, сигнал на вторую станцию, давали возможность вынуть там второй жезл. Так оно, очевидно, и было на станции Новониколаевск.

Найдя корни несчастья, Трегер отправился к начальнику станции Новониколаевск. Он разложил на столе перед начальником большой чертеж веббтомпсоновского ящика и обвел красным карандашом все слабые места аппарата. Начальник станции внимательно выслушал Трегера, обещал посоветоваться с представителями фирмы и устроить с ними свидание Трегеру.

Мы не знаем, какой разговор произошел между начальником станции Новониколаевск и контрагентом Вебб-Томпсона. Во всяком случае в том году свидание представителей английской фирмы и телеграфиста Трегера не состоялось. Оно произошло значительно позже, когда делом Даниила Трегера занимался Феликс Дзержинский. Дореволюционная половина жизни Трегера завершилась тем же, чем закончилось изобретательство Леонтия Шамшуренкова. С приходом в Сибирь колчаковцев беспокойного изобретателя Трегера арестовали и посадили в камеру Челябинской каторжной тюрьмы.

Но вернемся к мапинисту Филиппову и его сыну Константину.

8. ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Странную картину можно было наблюдать на станции Уфа в одну из лунных ночей зимы 1919 года. Молодой парень в шинели стоял на коленях перед грудой паровозных деталей и, поднимая тонкие трубы, пробовал гнуть заржавленное железо. Парень ударял помполом по трубе, и прислушивался к звуку. Вокруг, опершись на винтовки, стояли красноармейцы.

— Ну, как, Костя? — озабоченно спрашивали они.

Костя поднялся и стряхнул снег с колен.

— Нет, — сказал он, — это не способ. Был бы отец — он нашел бы выход. А так, на звук — это не научно.

Константин Иванович Филиппов стоял на дороге с неразрешимой задачей. В железнодорожном батальоне красноармейской части его, несмотря на юный возраст, считали опытным транспортником.

— Филипповы — это такая фамилия! И отец у него механик и дедушка. Давно Костя, наладь дело с трубами, — просили его.

У паровозов портились питательные трубы. За 2—3 дня работы трубы разрывались, холодная вода попадала на горячую поверхность котла, и паровоз выбывал из строя. Среди запасных частей к паровозам было много труб, но какие из них хорошие, какие плохие — разобрать было трудно. Не смог решить эту задачу и Костя Филиппов. Советовал ему кто-то из старых машинистов железо пробовать на звук, как пробуют гончарную посуду. Но и это не помогло.

Вернувшись с фронта домой, он в первый же день спросил отца, как определить прочность металла и качество труб на паровозе.

— Вот видишь ли, — сказал Иван Павлович, — в наших мастерских у инженера Лерста была записная книжка, в которой все было записано. Мистер Лерст, как какой вопрос или заминка, доставал свою книжечку и находил там отгадку. А что там записано — тайна. Записную книжку мы только издали видели.

9. СВИДАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

— Кушай, все равно помирать, — уговаривал телеграфиста Даниила Трегера сторож Челябинской тюрьмы.

Колчаковское правительство приговорило Трегера к расстрелу. По мысли сторожа тюрьмы, от этого-то и свихнулся телеграфист. Он почти ничего не ел и несколько дней подряд чертил на листках бумаги и обложках двух книг замысловатые линии и фигуры.

Сначала Трегер думал усовершенствовать аппарат Вебб-Томпсона. Он вспоминал во всех мелочах громоздкий аппарат, но не мог ничего придумать, чтобы исправить его недостатки. Тогда Трегер решил работать над конструкцией совершенно нового жезлового аппарата. За десять дней Трегеру удалось продумать схему небольшого и компактного жезлового аппарата. Оставалось сделать так, чтобы жезл не гнулся, падая вниз. И еще надо было в компактный аппарат втиснуть то же количество жезлов, что было у Вебб-Томпсона. Укоротить расстояние скважин было нельзя — тогда не поместились бы жезлы. А длина скважины в веббтомпсоновском аппарате была вдвое больше всей высоты аппарата новой трегеровской конструкции.

Предсказания сторожа не сбылись. Дверь камеры раскрыл Трегеру красноармеец в треухе Колчаковцы не успели расстрелять Трегера. Вступившие в город красные войска освободили его из тюрьмы.

Через несколько месяцев Трегер давал объяснения большой группе инженеров — русских и иностранцев. Они с любопыт-

ством рассматривали небольшой деревянный ящик с пятиконечной звездой посредине. Это была модель нового жезлового аппарата в натуральную величину. Аппарат и жезлы Трегера в восемь раз меньше веббтомпсоновских. Все части аппарата закрыты в один четырехугольный ящик, запечатанный plombой, защищенный от холодного воздуха. Для каждого перегона — своя серия жезлов, и жезлы эти прищелкиваются, словно дверь на английском замке.

Даже на кустарно сработанной деревянной модели видны были колоссальные преимущества нового жезлового аппарата. Инженеры не могли скрыть своего восхищения. Они записывали каждую деталь в записные книжки, просили еще и еще раз продемонстрировать работу модели. Было подсчитано, что аппарат Трегера сэкономит нашей стране десятки миллионов рублей. Ведь такие аппараты нужны на каждой даже самой маленькой станции железной дороги.

Но какая-то скрытая пружина мешала осуществлению изобретения Трегера.

— Все хорошо, — говорили изобретатели. — Мы за ваши аппараты, но... — Всегда возникало нелепое, явно абсурдное «но». Преодолеть его не было сил.

Больной, вконец замученный, Трегер приехал в столицу, в Москву. Несмотря на неудачи, ни на один день он не бросил работу над усовершенствованием своего изобретения. Как-то поздно вечером к заброшенной теплушке в тупике станции, где при керосиновой лампе работал Трегер, подошли два незнакомца. Они попросили Трегера показать усовершенствованный жезловый аппарат. Приняв гостей за советских инженеров, изобретатель охотно показал все свои конструкции.

Незнакомцы остались очень довольны. «Очень рады, мистер Трегер, — сказали они. — Мы — инженеры заграничного завода. Не захочет ли мистер Трегер перейти на завод в Англию для работы над усовершенствованием аппарата?»

— Зачем же мне ехать в Англию? Я лучше в России поработаю.

— Ну, мистер Трегер! Ведь вы хорошо знаете, и мы это знаем не хуже вас: в России у вас ничего не выйдет. Видите — вам не дают ходу. А с нами — у вас выйдет все! И аппараты создадите, и сами будете обеспечены прекрасным жалованьем, станете богачом.

Трегер, сначала принявший все за шутку, увидев, что разговор идет всерьез, съезжился, заворчал, что никуда не собирается ехать, и не очень вежливо простился с посетителями.

Трегер пошел к председателю ВЧК и наркомку путей сообщения Феликсу Дзержинскому. Выслушав Трегера, Дзержинский сказал, что берет изготовление новых жезловых аппаратов под свое наблюдение. Для наших железных дорог были изготовлены десятки тысяч жезловых аппаратов. А за границей остались нереализованными 10 тысяч жезловых аппаратов Вебб-Томпсона с обозначениями на русском языке.

В газете «Пионерская правда» была как-то напечатана небольшая заметка об изобретении Даниила Трегера. На следующий день огромная редакционная почта пополнилась десятками писем ребят с запросами:

— Где сейчас Даниил Самуилович? Что он изобретает? Как живет?

Редакция навела справки, и оказалось, что как раз в эти дни Трегер был болен воспалением легких и лежал в одной из московских больниц. Об этом было сообщено читателям. Это, однако, не удовлетворило их. Начались поиски больницы, где лежал Трегер. Юные следопыты разыскали Даниила Самуиловича в одной из лучших больниц. Тогда в эту больницу была отправлена ребячья делегация. Ребят к Трегеру не пустили и согласились только передать ему записку. Письмо детей Трегер хранит в шкапулке вместе с орденскими документами.

Вот что писали ребята:

«Дорогой Даниил Самуилович!

Мы, юные конструкторы и моделисты 7-й школы ФОНО города Москвы, узнав о Вашей болезни, были глубоко взволнованы. Только недавно мы узнали о Вашей замечательной жизни, жизни большевика-изобретателя, о Вашей упорной борьбе с бюрократами и вредителями, пытавшимися похоронить Ваше изобретение. Мы с волнением и радостью выслушали, как с помощью железного Феликса Ваш усовершенствованный жезловый аппарат стал достоянием нашего советского транспорта.

Дорогой Даниил Самуилович! Ваша славная жизнь зажигает, зовет и нас, пионеров, работать так же упорно и преданно, как и Вы. Мы от всей души желаем Вам скорейшего выздоровления, дорогой Даниил Самуилович!

Крепко жмем Вашу руку и еще раз просим поскорее выздоравливать!»

Товарищ Трегер ответил пионерам:

«Дорогие товарищи — юные пионеры!

Письмо ваше получил, за что и пишу вам большую благодарность. Я очень извиняюсь, что моя болезнь не позволила своевременно ответить вам на ваше прекрасное, чуткое отношение ко мне. Ваше письмо мне подняло настроение, и это еще больше обязывает меня работать на пользу нашему транспорту.

Вспоминаю свои юные годы, которые проходили в тяжелых условиях. Вы счастливы, что не испытали всех унижений царского самодержавия. Как только позволит мое здоровье, я приеду к вам и побеседую, расскажу много интересного для вас.

Вы живете в прекрасное время, завоеванное рабочим классом под руководством наших великих вождей Ленина — Сталина. Ваша задача — прекрасно учиться, чтобы в будущем стать замечательными людьми нашей великой социалистической родины.

Разрешите пожелать вам еще больших успехов в вашей учебе и быть примером как в школе, так и дома.

Ваш Даниил Трегер».

Но какова же была после революции судьба машиниста Казанцева?

Во время первой империалистической войны на Закавказской железной дороге происходили таинственные события. Что ни день — на линии случалось крушение либо авария. Человеческих жертв было мало, но сотни вагонов выбывали из строя.

Военные власти долго не могли найти виновных. Когда же их обнаружили, то оказалось, что систематически портили тормоза кондукторы и тормозильщики вагонов.

В те годы Закавказская дорога пыталась ввести у себя полукустарные, несовершенные автотормоза. Среди железнодорожников разнесся слух, что в связи с этим начнутся большие сокращения. И вот, началась массовая поломка тормозов.

Об этом случае рассказав в 1919 году с трибуны один из делегатов съезда кредитной кооперации Оренбург-Тургайского края.

В зале, где происходил съезд, закашляли люди, закрипели стулья. Оратор говорил о чем-то странном, что никак не могло иметь отношения к кредитной кооперации оренбургцев. И, как бы отвечая на невысказанные вопросы, делегат сказал:

— Я знаю, товарищи, вы недоумеваете. Чего, мол, чудак-человек, говорит о каких-то событиях на Закавказской дороге. А говорит он вот почему. Тормоза, которые портили на Закавказской дороге, действительно, могли только ухудшить положение рабочих. Поэтому они принимали нововведение так близко к сердцу. Правда, несколько своеобразно...

И мы теперь принимаем близко к сердцу все то новое, что может иметь значение для нашей Республики. Только воспринимаем по-другому — с радостью.

Я хочу коротко рассказать вам о новых тормозах, которые могут дать нам много миллионов экономии, поднять наш транспорт, укрепить Республику...

Зал притих. Слышно было, как где-то над окном журчал вентилятор — тихо, тихо.

Делегат съезда кооператоров Казанцев рассказывал, как он нашел выход из мышеловки «Вестингауза». В своем тормозе он ввел добавочный провод, который постоянно питал тормоз воздухом. Получились две двери. Из одной при торможении воздух выходил, в другую входил новый запас. Кооператоры вынесли резолюцию: просить правительство оказать все возможное содействие делу, ценному для Республики. В начале 1921 года первые тормоза системы машиниста Казанцева были испытаны, а затем началось массовое производство.

Казанцев продолжал работать над усовершенствованием своего изобретения. Он отказался от второго воздухопровода и ввел вместо этого камеру постоянного давления. Проще говоря, — это была «проходная комната». Из одного клапана этой

камеры воздух вытекал, сквозь другой клапан пополнял камеру. Давление оставалось равномерным. Тормоз действовал бесперебойно.

Теперь все это кажется простым и понятным. Так же проста всякая задача, когда помотришь ответ.

До последних дней своей жизни Казанцев работал над новыми и новыми изобретениями и усовершенствованиями на транспорте. В последние годы его жизни в этом ему помогли сыновья, получившие образование, ставшие инженерами.

Машинист Флорентий Казанцев был первым рабочим-изобретателем в СССР, получившим от правительства орден Трудового Красного Знамени. Имя Казанцева стало широко известным.

Когда Казанцев приехал за границу в научную командировку, представители фирмы тормозов устроили ему пышную встречу. И тут повторилось нечто похожее на разговор Трегера с иностранными инженерами. Представители заграничной фирмы предложили Казанцеву объединить его работу с работой фирмы, обещая за это огромные барыши.

— Что ж, — сказал Казанцев. — Мы не против технического сотрудничества. Обратитесь в НКПС, и, я думаю, там найдут форму для совместной работы.

В газете «Гудок» была помещена карикатура: Казанцева, наряженного в платье невесты, осаждают закордонные женихи. Но он, отсылая их в НКПС, говорит:

— Переговорите раньше с палашей.

Наши первые автотормоза были выпущены в годы, когда на Дальнем Востоке еще не закончилась гражданская война. За несколько лет до этого в заграничных вагонах мы ввозили в Россию не только тормозные приборы, но и сукно, ботинки, бумагу. Ввозили и булавки для скальвания бумаг, наконецники для шнурков от ботинок, мазь для обуви, стружку для упаковки яиц.

И вдруг, тормоза — лучшие, чем знаменитые вестингаузовские, и свои, советские. — без иностранных букв.

Когда были выпущены наши первые тормоза, рабочие-железнодорожники на сцену своего клуба внесли Флорентия Казанцева на руках. От волнения Казанцев долго не мог начать говорить.

— В продолжение долгих лет, — сказал он. — мое изобретение приносило мне только огорчения. Я работал не для себя и не для денег. Моей задачей было принести пользу нашей стране.

Работа была трудной. И если все же успех мною достигнут, то только благодаря огромной поддержке, которую мне оказывали партия, правительство и все вы — рабочие-железнодорожники...

Казанцев остановился. Он вспомнил случай на Закавказской железной дороге в 1914 году, во время введения автоматических тормозов. Хотел сказать об этом, но не сказал. Не хотелось омрачать праздник.

¹ Флорентий Казанцев умер в конце 1940 года.

12. ОДИН ИЗ ТЫСЯЧИ

Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет...

Ломоносов

Отец и сын Филипповы работали машинистами в депо Москва-Курская. Филиппов-младший все свободное от поездок время отдавал учебе.

— Константин правильно делает, — говорил о сыне Иван Павлович. — Не поучась, и сапожной колодки не сделаешь. Это он знает отлично. А машинист — не колодочник. Машинист должен знать душу машины.

Константин Филиппов изучал устройство паровоза, как медик изучает анатомию человека. Вода и огонь в паровозе как бы перемешаются. Внутри будки машиниста выдается огневая коробка паровоза, или, проще говоря, топка, в которой сжигаются уголь, дрова или нефть. Огромный паровозный котел, наполненный водой, пронизан множеством узких труб. Так же самовар пронизан одной трубой, которая подогревает воду. В паровозе труб много. Горячие отходящие газы, которые образуются при горении в топке, пропускаются по этим трубам через воду. Трубы соприкасаются с водой и передают ей свое тепло. Вода, закипая, дает пар, движущий поршни машины. Охлажденные газы собираются в передней части паровоза — в дымовой коробке. Отсюда они через дымовую трубу уносятся в воздух.

Паровоз как будто бы прост, но в то же время и требователен. Это отлично знали Филипповы. Делевская стенгазета писала: «Равняйся по машинисту-коммунисту Филиппову-младшему. Молодого Филиппова, как лучшего машиниста, выдвинули мастером, а затем — в 1928 году — заместителем начальника участка паровозной службы.

В том же году паровозная служба установила в депо новый прибор. Металлические детали для паровозов, вызывавшие подозрения, проверялись этим прибором, и, если в них была малейшая трещина, прибор точно ее определял. Назывался прибор дефектоскопом. В числе других деталей с его помощью проверяли питательные трубы паровоза.

В день, когда в депо установили дефектоскоп, Константин Иванович Филиппов ушел домой позже обычного. Уже светало, и дворники мели площадь перед Курским вокзалом. Проверая все новые и новые детали, Филиппов вспоминал Уфу, питательные трубы паровозов, сваленные в кучу, фронт. О новом приборе хотелось узнать все, что возможно. Наш дефектоскоп оказался лучше зарубежных — удобнее, портативнее, практичнее. Изобрел его машинист Омской железной дороги, коммунист Федор Маркович Карпов. С первыми своими схематическими чертежами прибора — с его идеей — Карпов пошел за помощью в свой партийный комитет. Партком поручил инженерам-коммунистам помочь рабочему-изобретателю. Так был создан дефектоскоп.

Идея дефектоскопа родилась у Карпова во время работы в мастерской. Карпов

обратил внимание на странное явление. В одном месте намагниченного металлического стержня железные опилки собрались в тесный хоровод. Карпов смахнул опилки и продолжал работать. Но как только включил ток, опилки снова начали плясать и собирались у того же места на стержне. Карпов вооружился лупой и заметил, что стержень как раз в том месте, где опилки странно ведут себя, имеет не различаемую простым глазом трещину.

Используя свойство пляшущих опилок, Карпов создал свой дефектоскоп, или, проще, искатель трещин в металле. Огромное значение нового прибора для транспорта оценил Л. М. Каганович. Талантливому изобретателю-самоучке были созданы все условия для учебы. И теперь тысячи дефектоскопов Карпова, установленных в вагоне, на тележке или на велосипеде путеобходчика, безошибочно разыскивают малейший дефект в рельсах, претотвращают крушения.

С работой наших дефектоскопных установок приезжают знакомиться из тех стран, которые не так давно ввозили в Россию наконечники для шнурков от ботинок и опилки для упаковки яиц. А ведь дефектоскоп Карпова — это далеко не последнее достижение советской техники. Физический институт при Ленинградском университете соорудил прибор, отмечающий изгиб в одну миллионную долю миллиметра. Достаточно чуть-чуть прикоснуться пальцем к железнодорожному рельсу, и прибор показывает изгиб.

Новая техника требовала людей, овладевших техникой. И тысяча лучших рабочих-коммунистов была послана партией учиться в высшие технические учебные заведения. В числе этой тысячи был Константин Иванович Филиппов. Отсылая в институт учетную карточку Константина Филиппова, секретарь партийного комитета депо завел новую карточку. С уходом на учебу Филиппова-младшего число коммунистов в депо Москва I не уменьшилось. В коммунистическую партию вступил Филиппов-старший.

13. НАРКОМ ЗВОНИТ В ДЕПО

Бывает и так, что новые пути науки и техники прокладывают иногда не общеизвестные в науке люди, а совершенно неизвестные в научном мире люди, простые люди, практики, новаторы дела.

(Сталин. Речь на приеме в Кремле работников высшей школы, 1938 г., стр. 6.)

Однажды поздно вечером в депо Москва I раздался телефонный звонок. К аппарату подошел недавно назначенный начальником депо Константин Иванович Филиппов. Разговор продолжался минут десять. В заключение Филиппов сказал:

— Будет выполнено, Лазарь Моисеевич. Соберу все материалы и подробно доложу вам обо всем, что вас интересует. Слушаю. Завтра буду у вас.

Что же так интересовало наркома в ра-

боте паровозного депо, каких сотни на наших железных дорогах?

Чтобы рассказать об этом, надо вернуться несколько назад — к тому времени, когда Константин Иванович Филиппов, окончив институт, получил путевку Центрального Комитета партии. Константина Ивановича посылали руководить депо Москва I, в котором с детства работали он, его отец и дед.

Когда Константин Филиппов говорит о годах, которые он провел в Институте транспорта, лицо его становится как бы светлее. Только наслаждением можно назвать чувство, испытанное от учебы, которое ежедневно поднимало перед ним новую завесу, расшифровывало новые тайны. И не просто тайны, а то засекреченное темное, что всю жизнь стояло у него на пути, ограничивало, заставляло отступать назад. И чем больше нового открывали перед Константином Ивановичем книги, тем яснее видел он бездонную глубину науки.

Совершенно ясно было одно: до сих пор и он, и его отец, и дед работали так, словно кулаком забивали гвоздь в стенку. Такая работа мучительна, проку от нее на грош. А ведь можно забить гвозди с помощью молотка. Таким молотком была наука.

В депо Москва I наука была представлена молодым химиком, Риммой Александровной Урбанович... Машинисты называли Римму Александровну чародейкой. Дело в том, что Римма Александровна ходила по депо с двумя бюретками (высокие, узкие колбы), в которые брала пробу воды из котла. Она проделывала с водой несколько таинственных манипуляций, похожих на те, что фокусники показывают на арене цирка. Однажды Римма Александровна появилась у паровозного стойла, сгибаясь под тяжестью ведра с мутной жидкостью.

— Я должна залить это в тендер¹, — заявила Римма Александровна старому машинисту.

— Только всего? — буркнул машинист.

— Да, только всего. Но от этого у вас котел не будет зарастать накипью. Работать будет легче. Поняли?

— А может быть, барышня, подарить вам на серги золотник с паровоза?

— Бросьте шутки.

— Я, барышня, не шучу. Забирайте ваше ведро и поворачивайте от моего паровоза. Я вам не дам всякую гадость в котел лить.

Беседа закончилась в кабинете начальника депо Филиппова. Машинист вышел из кабинета потный и красный, словно только что он простоял час у открытой топки.

Ведро антинакипина было залито в тендер паровоза.

В эти дни по московским улицам растекались весенние ручьи. Солнце пригревало все сильнее. Уже за городом побурел снег и мутными потоками устремился в ложбины.

— Римма Александровна, — спросил

¹ Из тендера вода для питания паровоза перекачивается в котел.

Филиппов. — Вы со всех паровозов брали пробу воды?

Урбанович утвердительно кивнула головой. Вот уже вторые сутки она работала без отдыха. Ее халат был в пятнах от антинакипина, ногти почернели от химикалий. Филиппов взял одну из бюреток, взболтал ее и, поднеся к окну, разглядывал на свет. За окном дворники сгребали почерневший снег. В бюретке мелкими хлопьями падал на дно осадок. Филиппов повернулся к Римме Александровне: — Знаете, я никогда не видел такой грязной воды... Но вам нужен отдых. Так нельзя. Мы найдем еще людей. Мы будем брать пробы не только из паровозных котлов, но и из колонок. Вода ведь очень жесткая. Это все потому, что зимой было слишком много снега и сразу пришла весна.

Весна в том году была действительно скоропалительная. Все реки, озера и пруды в половодье сильно загрязнились илом, песком и глиной. Эти примеси отлагались в котле, загрязняя его. Но это было только половиной бед: часть примесей всплывала наверх, на так называемое зеркало испарения воды. Вода вспенивалась и булькала, словно кипящее варенье. Пена вместе с паром устремлялась в машину, нарушая нормальную работу.

Машинисты знали, что с весенней водой всегда мука. И топлива уходит больше, и котел портится, и даже может случиться взрыв котла. Но на это смотрели как в прошлом веке на укусы бродячей собаки. Может случиться несчастье, а как с ним бороться — шут его знает.

Две бюретки Риммы Александровны Урбанович были первым оборудованием первой в Советском Союзе деповской лаборатории, созданной начальником депо Москва I Филипповым. Теперь таких лабораторий сотни.

14. СТРАШНИН ПОПАЛ ВПРОСАК

В наши дни есть тысячи энтузиастов деповских лабораторий. Даже не мыслится как-то работа депо без лаборатории. В самом деле — нужно же проверять воду, заливать антинакипин, проверять твердость металла, дефектоскопом просматривать металлические детали. А исследование качества угля, а смазка! Ведь лаборатория — это культура!

Так говорят железнодорожники в наши дни. А пять лет тому назад Филиппову и Урбанович говорили:

— Вонь только разводите в депо. Сто лет без лабораторий жили, и ничего ужасного не случилось. И за границей так живут. Транспорту химия не нужна. Это не аптека.

На столе у начальника депо Москва I Филиппова лежали две стопки книг: одна — по технике транспорта, другая — с трудами Ленина, Сталина. «Капиталом», резолюциями партийных съездов.

Работники депо иногда спрашивали Филиппова, показывая на книги:

— Дома, небось, не бываешь? Приходится тут изучать?

Но это было не так. В кабинете депо Филиппов не занимался, а работал. И все

книги, которые лежали на столе, помогали ему в работе. Доказывая необходимость лаборатории, воюя с маловеерами и скептиками, Филиппов приводил не только цифры о работе депо, но только научные доказательства, но и резолюции съездов партии, и прямые и четкие формулировки.

XVII съезд прямо записал: «Съезд указывает на необходимость широчайшего развертывания работы научно-исследовательских институтов и в особенности заводских лабораторий».

Но комментаторы и толкователи упирали на то, что в этой резолюции сказано о заводских лабораториях, а у нас, дескать, не завод, а депо. Машинист Страшинин заявил, что не даст портить свой паровоз антинакипином, что от всех этих новшества у него вода заливает золотники, и вообще все несчастья от мудрствований. Без них и проще и спокойнее.

— Хорошо, — соглашался Филиппов, — езжай без антинакипина.

Поехал Страшинин и, вернувшись из поездки, пришел к Филиппову улыбающийся:

— Лучше, товарищ начальник. Не mnoho, а все же лучше.

— Отлично, — сказал Филиппов. — Следа повнимательнее за машиной и докладырай мне.

На следующий день, вернувшись из поездки, Страшинин вбежал в кабинет Филиппова и еще с порога закричал:

— Вот теперь отлично! Ни тебе вцепивания, ни течи, ни выпучин. Никогда машина такой не была, как теперь, когда отделался от этой гадости. Спасибо, товарищ начальник!

— Не на чем, товарищ Страшинин. Правда, трудновато было ночью, как ты домой уходишь, заливать твою машину. Да ничего — для общего дела старались. Полную порцию антинакипина вливали... Теперь убедился, какой в нем прок.

— Ай да Страшинин, — говорили на следующий день в депо, — не устрасил. Обвели парня.

Римму Александровну величали теперь по имени и по отчеству. Над вагоном, снятым со скатов, где стояли колбы и пробирки, прибили вывеску «Лаборатория».

15. АНТИНАКИПИН И АНТИНИКОТИН

На вскрытии трупа врач всегда может определить — курил или не курил человек при жизни. Это во многих случаях помогает в работе судебно-медицинских экспертов; у курильщика в области легких есть небольшой серый налет от никотина. С ним борются антиникотином: различными фильтрами, которые вставляются в мундштуки папирос.

Так же, как легкие покрываются слоем никотина, зарастает накипью чайник. Хорошие хозяйки испокон веков очищали накипь соляной кислотой или шелухой от картошки. Машинисты паровозов этим не занимались. А если потери от накипи в чайнике измеряются минутами или граммами керосина в примусе, то в огромном паровозном котле потери увеличиваются в тысячу раз. От скверной воды паровоз-

ные котлы зарастали накипью, как старое дупло мхом. Стенки у дымогарных труб утолщались иногда в полтора—два раза. Это съедало до 5 процентов тепла, проходящего сквозь трубы.

5 процентов — кажется мелочью. Так ли это на самом деле?

Потеря тепла — это потеря топлива. В 1934 году, когда Константин Иванович Филиппов начал борьбу за культуру в работе депо, железные дороги нашей страны истратили на топливо больше 500 миллионов рублей. Значит, экономия на топливе только в 1 процент сохраняла 5 миллионов рублей.

Но если говорить о деньгах, депоовские лаборатории сэкономили не миллионы, а миллиарды рублей. И вот как это случилось.

16. 3 600 и 30 000

Старики говорят, что человека постигает не то несчастье, которого он ждет, а то, о котором он не знает.

Машинист Фесин, получив новый паровоз, был, вероятно, настроен отлично. Неприятности можно было ждать от старой машины, а новая, известное дело, должна работать отлично. Возможно, Фесин насвистывал от удовольствия, располагаясь в будке нового паровоза. Машинисты всегда найдут тут место для любимого портрета, ящик для инструмента, прилапят по-своему, обживут помещение. Откуда было знать Фесину, что в металле дышла нового паровоза была чуть заметная трещина.

Филиппова-младшего в это время в депо уже не было. Нарком, подробно расспросив его, какие методы культурной научной работы применяются в депо Москва I, решил, что лучше всего помножить эти методы на масштабы всех депо наших дорог. Через несколько дней после разговора с наркомом Константин Иванович Филиппов работал уже в наркомате, в отделе ремонта паровозов.

А в депо тем временем шла начатая им работа. Молодой теплотехник Соловьев испробовал сотни великих вод из колонок на пути следования паровозов. Затем он разработал специальную шкалу — при какой воде, какие давать антинакипины. Римма Александровна, прикрыв свои золотистые волосы кепкой, которая пузырьком вздувалась на голове, отправлялась в поездку на паровозе, испытывая в дороге, как действуют антинакипины, как горят различные угли, как ведет себя смазка.

Лаборатория заставляла машинистов ко всему относиться по-новому. Скажем — вода. Что такое вода? Это так просто, что, казалось, и слов для объяснения подобрать нельзя. Нет, — лаборатория депо Москва I подобрала к воде такие слова: «Воду следует рассматривать как сырье, которое путем соответствующих химических технологических процессов может быть переработано в питательную жидкость для паровозных котлов».

Сначала это казалось смешным.

— Вода — есть вода, — возражали Римме Александровне машинисты. — Как ни называй воду — она от того не изменит-

ся. И чего вообще хочет от нас лаборант-рия?

Этот вопрос задавали машинисты все чаще и чаще. Некоторым из них лаборатория причиняла большие неприятности. Издавна был у машинистов козел отпущения — уголь. Опоздает ли машинист, застрянет ли в пути, — все уголь виноват. Теперь эти ссылки стали невозможными. Появлялась Римма Александровна, брала пробу, и через полчаса была готова подробная характеристика угля. И становилось точно известным, при каких условиях уголь мог спекаться, провалилось ли топливо в зольник, какаля была температура нагрева, — все как на ладони.

И на вопрос машинистов: чего хочет от нас лаборатория? — работники лаборатории дали точный ответ:

— Нам нужно добиться увеличения межпробных пробегов.

Существует норма времени, которое должен каждый дорядочный паровоз провести в пробегах. Затем паровоз идет в дом отдыха — на промывку. Но у плохих машинистов котел загрязнялся быстрее, чем ему полагалось. И получалось, что паровоз мало работал, много лечился и отдыхал. Когда в депо Москва I была организована лаборатория, от промывки до промывки паровозы совершали пробег в 3 600 километров. Работники лаборатории заявили, что при правильном, или, иначе говоря, культурном, уходе за паровозом пробег между промывками можно довести до 30 000 километров.

3 600 и 30 000.

— Этого никогда не будет, — говорили скептики.

Насколько они были правы или неправы, увидим дальше. Пока что лаборатория работала. И если читатель еще сам не догадался, сообщим ему, что в числе будничных работ лаборатории была проверка дышла на новом паровозе машиниста Фесина. Это спасло Фесина от крушения. Дышло нового паровоза было признано лабораторией подозрительным. Дефектоскоп Карпова помог найти в нем трещину.

Трижды орденосец Карпов стал одним из самых популярных изобретателей на транспорте. И транспортники сложили о нем песенку:

Легенду знает стар и мал:
Блоху однажды подковал
Кузнец из Тулы идеально.
А Карпов обновил эффект:
В подкове той любой дефект
Он обнаружит моментально.

17. ЛАБОРАТОРИЯ В ДЕЙСТВИИ

Стахановское движение это такое движение рабочих и работников, которое войдет в историю нашего социалистического строительства, как одна из самых славных ее страниц.

(И. Сталин. Речь на Первом Всесоюзном совещании стахановцев.)

На трибуну Большого зала Кремлевского дворца поднялся молодой вихрастый

парень в форме железнодорожника — Петр Кривонос.

— Товарищи! — сказал Кривонос, — разрешите мне рассказать вам, а также всем членам правительства и товарищу Сталину, как я достиг тех показателей в своей работе, которые помогли в деле подъема нашего транспорта.

Кривонос рассказал делегатам Первого Всесоюзного совещания стахановцев о «секретах» своей работы. «Америки я в своей работе не открывал», — предупредил он в начале своей речи. И в самом деле, какое же это открытие Америки — тщательный уход за котлом, регулярное применение антинакипинов, правильное использование угля и смазки. Петр Кривонос первый применил в работе своего паровоза химию, новейшую технику. К этому он прибавил рабочую смекалку.

— Есть у железнодорожников специальное средство, — рассказывал о своей работе Кривонос, — называется оно антинакипин. В воду для котла примешивается тончайший графитовый порошок или специальная жидкость. Накипь обволакивает каждую графитовую пылинку и грязью оседает на дно. Эта грязь вместе со всеми кусочками накипи вымывается на промывках.

То, о чем рассказывал Кривонос, пропагандировали деповские лаборатории. Но Кривонос дополнил это. Он на большом ходу через грязевые краны выпускал часть котловой воды, которая благодаря примеси антинакипина увлекала за собой осадок. В депо Славянск, где работал Кривонос, работникам лаборатории не приходилось его увещевать. Кривонос с жадностью изучал и пробовал все новое, что могло помочь ему в работе. И в результате с самых первых шагов работы по-новому он добился скорости 47 километров, вместо 23.

В дни Первого Всесоюзного совещания стахановцев Константин Иванович Филиппов был в командировке. Он слушал, как радиорупор передавал информацию о совещании, о выступлении Сталина, Кагановича. Вернувшись в Москву, позвонил Римме Александровне:

— Конец, — кричал он в трубку, — конец всем тормозильщикам. Смотрите, что делается...

— А у нас, а у нас, — перебила его Урбанович. — Нас теперь трое, а еле справляемся. Все хотят ездить по-научному. Машинисты химию изучают. Не депо — университет.

18. НОЧЬ В НАРКОМАТЕ

Веселый старичок с холщевой сумкой рано утром приносил в депо Москва I пачку газет. Часть газет раскупали до работы, но старичок не уходил, ждал обеденного перерыва, когда у него забирали оставшиеся газеты. Утром 27 декабря 1935 года старичок пришел, как обычно, и стал у перил лесенки, которая спускалась в депо.

— Что ж ты проходишь? — спросил он молодого рабочего в онем комбинезоне. — Деньги придержишь до обеденного?

— Хочу, чтоб проценты выросли, — сказал парнишка.

— Есть «Гудок», есть «Гудок», — монотонно выкрикивал старик.

Когда до начала работы осталось 15 минут, у старика взяли первую газету и вслед за тем произошло нечто небывалое. Рабочие сбегались со всех концов депо, требуя газеты. Холщевая сумка опустела в две минуты. Последним прибежал парнишка в синем комбинезоне.

— Нету газет, — сказал старик. — Держи свои проценты...

Вернемся немного назад. В декабре 1935 года закончился пленум ЦК ВКП(б), который вынес постановление: «Вопросы промышленности и транспорта в связи со стахановским движением».

Когда было опубликовано постановление пленума, Филиппов позвонил жене и попросил не ждать его домой.

— Ночью приедешь? — спросила Анна Андреевна. Она привыкла к приездам мужа с работы ночью. Так было, когда Филиппов ездил на паровозе и так же осталось, когда он перешел работать в наркомат.

— Нет, — сказал Филиппов, — сегодня совсем не жди меня. Большие дела.

— Мне звонил твой отец. — Анна Андреевна несколько мгновений помолчала. — Я не знаю, можно ли тебе говорить, раз ты так занят. У них там в депо не все гладко. Паровозы простывают. Пана волнуется.

— Знаю, — сказал Филиппов, — поэтому я не приду сегодня. Если отец позвонит, скажи, чтоб не волновался.

Константин Иванович положил трубку и затем вызвал депо Люблино. Он попросил приехать к нему в наркомат старшего машиниста паровоза ФД — комсомольца Вишневецкого. Молодой машинист, войдя в кабинет Филиппова, сразу же начал взволнованно говорить:

— Вы же машинист, товарищ Филиппов, вы же должны понять. Меньше ездим — больше стоим. Это же сплошное безобразие...

Вишневецкий рассказал Филиппову об одном из случаев, которые волновали тогда тысячи железнодорожников. Вишневецкий ездил на паровозе ФД. Пробежав 2600 километров, паровоз через каждые восемь с половиной суток останавливался на промывку. Когда же Вишневецкий стал ездить по-кривонесовски, 2600 километров он наезжал вдвое скорее — за четверо суток.

На пятые сутки паровоз Вишневецкого поставили промываться.

— Как так? — возмущился машинист. — Мне еще четыре дня положено ездить.

— Нет, — заявили в депо. — Не в днях дело, а в километрах. Вы свое наездили — отдохните.

Возник спор. И таких споров в те дни были тысячи. В туалете паровоза есть так называемая холодная промывка. Уходило на это умывание паровоза 45—50 часов. За такое же время слесаря и токаря ремонтировали машину. Начав работать по-стахановски, слесаря и токаря стали ремонтировать паровоз втрое быстрее. Но норма холодной промывки осталась та же,

и отремонтированные паровозы зря простояли в депо.

На все была норма: на скорость, на сроки смены поршневых колец, на пробег между двумя ремонтами. Кажется, простое дело: с началом работы по-стахановски изменить нормы. Но это оказалось не таким простым. Взять хотя бы ту же холодную промывку. Слесаря и токаря работали быстрее, а паровоз остывал так же медленно. От этого получался разрыв.

Как рады были этим «защепочкам» вошедшие в историю знаменитые транспортные предельщики. Они утверждали, что нормы менять нельзя, что техника неизблема и вообще «тише едешь — дальше будешь».

Пленум ЦК подробно и внимательно обсудил создавшееся положение. Надо было снять все преграды для людей, которые начали работать по-новому...

Из кабинета на Ново-Басманной Филиппов соединялся с депо и станциями, близкими и дальними, вызывал к аппарату машинистов, кочегаров, ремонтных рабочих. Утром, как только пришла на работу Римма Александровна, Филиппов позвонил и ей.

— Мне нужны точные цифры, — сказал он. — Поршневые кольца в наших депо менялись после пробега 7000 километров. А как с этим делом теперь у вас в депо?

— Мы меняем после 50000 километров. — Подробнее.

Римма Александровна рада была рассказать об успехах своей лаборатории. В паровозных цилиндрах есть так называемые поршневые и золотниковые кольца. До создания деповских лабораторий никто не удосуживался испытывать твердость металла цилиндров и колец. А вслепую поршневым кольцам нельзя было давать нагрузку больше, чем на 7000 километров пробега. Когда металл начали испытывать в деповских лабораториях, кольца стали служить сверхсрочно в 5—6 раз дольше, чем им полагалось по штату. И, надо сказать, служить отлично.

Филиппов собирал информацию о работе деповских лабораторий, радуясь их успехам, как садовник радуется первым плодам посаженного им дерева. Счастливая ночь была у Константина Ивановича. Не хотелось спать, и казалось, совсем не было усталости. Всего лишь полгода тому назад он дрался за создание лаборатории в отдаленном депо, и вот в эту ночь ему уже сообщили, что в этой лаборатории нашли способ охлаждать паровоз не в 50, а в 7 часов. В это же, примерно, время слесаря-стахановцы успевали отремонтировать машину.

19. СТАТЬЯ В «ГУДКЕ»

Но вернемся к старику-газетчику. Окончательно расторговавшись, старик подошел к рабочему, который читал вслух статью в газете «Гудок». Статья занимала почти половину газетного листа. Она называлась: «До конца разгромить «предельческие» нормы в паровозном хозяйстве». В этой статье инженер Филиппов

отвечал на все каверзные вопросы предельщиков.

— Увеличить норму пробега паровоза между промывками нельзя, — говорили предельщики. — Котел обязательно зарастет накипью.

— Можно, — заявил в своей статье Филиппов, — все дело лишь в том, чтобы деповские лаборатории систематически анализировали котловую воду и следили за правильной дозировкой антيناкипина.

Такая же история была с холодной промывкой. Филиппов писал о том, что паровоз можно охлаждать не за 50, а за 7 часов. Он требовал, чтобы проверялись цилиндры паровоза и только потом подбирались по ним кольца. Тогда эти кольца смогут служить в десять раз больше.

— У нас сейчас творятся прямо-таки дикие вещи, — писал Филиппов.

В самом деле, дикие вещи творились, например, с обточкой паровозных колес. Чтобы понять эту историю, вернемся к устройству паровоза. Сила тяги паровоза была бы незначительной, если бы он имел только одну пару ведущих колес, работающих непосредственно от паровой машины. Поэтому в большинстве случаев паровоз имеет несколько пар соединенных между собой колес, отчего сила сцепления их с рельсами повышается в несколько раз. У паровозов бывает обычно 3—4 пары ведущих колес, а остальные колеса вращаются свободно и называются поддерживающими.

Было такое правило, по которому через определенный промежуток времени из-под паровоза выкатывали все колеса, хотя некоторые из них срабатывались медленнее. И, что самое смешное, — все их ремонтировали, или, говоря по-железнодорожному, обтачивали. Если бы по такому принципу работали сапожники, то с набойками всегда бы точали и подметки, хотя бы эти подметки еще и не сносились.

— Нет, конечно, возможности, — писал Филиппов, — рассказать в одной статье о всей той «предельческой» рутине, которую ежедневно, ежечасно вскрывает в паровозном хозяйстве кривоносовское движение.

— Надо работать по-новому!

— Этого требует решение пленума Центрального комитета нашей партии.

Статью инженера Филиппова перепечатали сотни дорожных и деповских газет. Миллионы железнодорожников встретили ее с радостью. В депо и в мастерских работа шла по-новому. Машинисты заботились о паровозе, используя все возможности, которые давала им новая техника.

Но нашлись малoverы и скептики. — Человек, — говорили они, — может работать дольше, быстрее, лучше, а машина, металл, поршень имеют одну точную норму. Машина двойных нагрузок не выдержит. Слишком молод инженер Филиппов, чтобы поучать. Зря он писал статью. Опозорится.

20. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО

25 декабря 1940 года. Ровно пять лет с того дня, когда инженер Филиппов писал свою знаменитую статью для газеты «Гу-

док». Развернем газету «Правда» за 25 декабря 1940 года. В передовой статье в разделе на темы дня написано:

«Сила Лунинского движения в его массовости. Уже около 7 тысяч паровозных бригад переняли метод Лунина: улучшили уход за локомотивом, увеличили объем служебного ремонта...

Метод товарища Лунина дает разительные результаты».

Что же это за лунинское движение? Машинист Лунин сделал простую вещь. Он тщательно и добросовестно следил за своим паровозом, используя новую технику до дна. И вот, в результате его паровоз простаивал на промывке почти вдвое меньше положенного.

В той же статье «Правда» писала:

«Большая и благородная задача стоит нынче перед лунинцами Московского узла — участниками социалистического соревнования с ленинградскими железнодорожниками».

В декабре 1940 года железнодорожники начали соревноваться за лучшие показатели в работе к XVIII партийной конференции. В эти дни из редакции позвонили в депо Москва I. К телефону подошел начальник депо Соловьев. Между ним и сотрудником редакции произошел такой разговор:

— Скажите, — спросил журналист, — какого пробега между промывками добились машинисты в вашем депо?

— Запишите. Машинисты Титовы добились межпромывочного пробега в 30 тысяч километров.

— Почему Титовы? Они что, братья?

— Нет, однофамильцы!

— Понятно, — сказал журналист. — А скажите, когда у вас была создана лаборатория, один теплотехник выработал нормы по антيناкипинам. И он же вместе с коллективом лаборатории утверждал, что межпромывочный пробег можно увеличить. Какую он тогда называл цифру?

— Эту самую. 30 тысяч километров.

— А вы не припомните фамилию этого теплотехника?

— Как же, — сказал начальник депо. — Отлично помню: Соловьев.

— Ваш однофамилец?

— Нет, это я сам...

Не будем испытывать терпения читателя. Скажем сразу: почти все, за малым исключением, чего требовал в своей статье инженер Филиппов, было достигнуто за эти пять лет.

Машинисты Папавин, Лунин и тысячи их последователей промывают паровозы не раньше чем после 8 тысяч километров пробега. И промывают их вдвое быстрее, чем это делали раньше.

Поршневые кольца меняются не после пробега в 7 тысяч километров, а после 50 тысяч.

Между обточками паровозы проходят 65 тысяч километров. Ровно столько, сколько требовал в своей статье инженер Филиппов.

Римма Александровна имеет теперь двух помощниц. Ее лаборатория размещена в специальном пристройке. В 1940 году в новое здание лаборатории принесли письмо, напечатанное на большом и красивом бланке:

«Строительство Дворца Советов, — было написано в письме, — крайне нуждается в применении антинакипинов для внутренней очистки воды в паровых котлах кранов и экскаваторов.

Поэтому строительство Дворца Советов обращается к вам с просьбой (как к организации, имеющей большой опыт в этой области) принять обслуживающие вашей лабораторией нашего строительства».

Римма Александровна не удивилась письму.

— Правильно пишут, — сказала она своей помощнице. — Надо помочь. — Она сняла трубку и сообщила о новой работе дежурному по депо Ивану Павловичу Филипову.

За несколько дней до этого Ивана Павловича пригласили в радиостудию выступить перед микрофоном для учащегося ремесленных училищ.

— В этом году, — сказал Иван Павлович в своем выступлении, — наше правительство создало ремесленные училища. Читал я в газете об этом Указ, подписанный Михаилом Ивановичем Калининным. Вспомнил Михаила Ивановича, как он вручал мне медаль «За трудовую доблесть» и поздравлял с наградой. На обороте медали выгравированы сталинские слова: «Труд в СССР дело чести».

— Я горжусь своей профессией и стараюсь с честью оправдать почетное звание механика локомотива.

А ведь в наши дни любому молодому человеку предоставлены все условия для учения в школе, которое дает ему ремесло. Пройдет несколько лет, и такой юноша сможет сказать с гордостью — я квалифицированный слесарь, токарь или помощник машиниста. Он будет обеспечен мастерством, профессией, тем, о чем столько мечтал я и мои сверстники. Наши юноши достигнут этого в условиях заботы о них школы, правительства, партии. А мы достигали этого ценой непосильного труда и унижения. Но и при этих условиях далеко не всем удавалось в конце концов получить ремесло...

Все у нас теперь по-другому. На смену старым Овечкам (паровоз серии «О»), Щукам («Щ») и маневровым Ченкам («ЧН») пришли мощные красивые паровозы: «Иосиф Сталин» и «Феликс Дзержинский». Наши новейшие паровозы весят меньше большинства заграничных локомотивов. Этого удалось добиться конструкторам благодаря применению всех достижений новой техники.

Иван Павлович подробно рассказал об увлекательной профессии паровозного машиниста. Закончил он свое выступление так:

— Мне сейчас за 60. Закон наш советский, сталинский, говорит, что я заслужил право на отдых. Мне положили пенсию и сказали: «Иди, старик, домой, Отдыхай. Ты честно поработал». В Кремле мне вручили медаль.

Я пошел домой. Но с отдыхом ничего не вышло. В первые же дни стало тоскливо, одиноко. Я скучал без машины, как можно скучать без лучшего друга или близкого человека. Шутка сказать, 50 лет изо дня в день мы были неразлуч-

но вдвоем. Я вернулся в депо, где проработал больше полувека, и вот, работаю опять, теперь уже дежурным по депо.

Мне, как коммунисту, часто приходится проводить беседы с нашими комсомольцами в депо. Смотрю я на жизнь молодежи, оглядываюсь назад и жалею, что не родился на 50 лет позже. Не пришлось бы мне тогда пережить столько унижений, мытарств. Но отратно сознавать, что моим детям живется иначе.

Мой старший сын Константин учился так же, как и я, в ремесленном училище. Но не будь революции, дальше паровозного машиниста семафор ему был бы закрыт. Сейчас Константин — инженер. Он руководит большой интересной работой. Работу у нас ценят и отмечают. Моего Константина правительство наградило орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Это большая честь.

И я еще собираюсь поработать не один год. Некоторые считают, что 67 лет — это много. По-моему — мало. Много еще хорошего предстоит впереди...

21. 20 РАЗ ВОКРУГ СВЕТА

На станции Новосибирск, у телеграфного аппарата, где тридцать лет тому назад сидел Даниил Трегер, молодой безусый парень выступил телеграмму: «Москва, Наркомпуть ПЖ¹ Филипову тчк Новосибирский обком ВКП(б) заслушал доклад кандидата партии машиниста Лунина о его новом методе ухода за паровозом тчк».

В этот же день Константину Ивановичу позвонили из депо Всполье, Ярославской железной дороги.

— Скажите, — спросил Филипов начальника депо, — как идет отправка паровозов в заводской ремонт?

— Туго идет отправка, товарищ Филипов. План отправки выполнен на одну треть.

Филипов не смог скрыть своей радости:

— Отлично, — сказал он, — очень хорошо!

Это был редкий случай, когда можно было радоваться невыполнению плана.

12 лет машинист Алексей Петрович Папавин ездил на одном и том же паровозе и так оберегал машину, что за все время ее ни разу не ставили в капитальный ремонт. Машинист Папавин был инициатором длительных пробегов паровозов без капитального ремонта. Первыми по его пути пошли машинисты депо Всполье, и за один только 1940 год сэкономили государству три четверти миллиона рублей. Но план отправки паровозов в ремонт был составлен раньше, и получилось, что с началом папавинского движения все меньше и меньше паровозов отправлялось в ремонт.

К концу 1940 года машинисты-папавинцы были на всех дорогах нашей страны. Развернулось широкое движение за продление сроков службы паровозов, вагонов, рельсов.

¹ ПЖ — по-железнодорожному — заместитель наркома путей сообщения.

Вот чему радовался Константин Иванович Филиппов.

Если сложить все километры, наезженные Папавиным на одном паровозе без ремонта, то получится расстояние большее, чем экватор. В стихах, которые поместила газета «Гудок», о рекорде Папавина написано так:

Везде стремительный Папавин
Пробегая большими славен.
Он начал двадцать первый рейс,
Объехав двадцать раз вокруг света.
Он мчался бы еще быстрее,
Да вот беда — мала планета!

Поэт не преувеличил. Папавин проехал без ремонта на одном паровозе 803 000 километров, то есть расстояние, равное двадцати протяжениям экватора. Цифры его рекорда были поистине астрономическими.

В конце сорокового года на транспорте началось лунинское движение. С Луниным мы встретились в одной из предыдущих глав, где шла речь о статье в разделе «На темы дня» в газете «Правда» от 25 декабря 1940 года.

Трудно подыскать сравнение, чтобы охарактеризовать принцип работы Лунина и его уход за локомотивом. Так мать, хорошая мать, заботится о своем ребенке. Лунин изучил все повадки своей машины. Малейший неполадок он устранял сам, не ожидая очередного ремонта. А когда уже дело доходило до ремонта, он давал максимум 3—4 заявки с просьбой исправить то, что требовало приспособлений и самому было не под силу. Но и тут он не покидал свой паровоз. Засучив рукава, Лунин работал вместе с ремонтной бригадой.

Такая искренняя любовь не может быть без взаимности. Паровоз Лунина никогда не подводил своего хозяина. Он работал лучше других локомотивов, отлично вел себя в поездках и быстрее всех заканчивал всякие ремонтные операции. В последние дни 1940 года имя машиниста Лунина, его трудовые подвиги стали известны всей стране.

Он сам — и машинист и слесарь.
Чуть паровоз сбавляет ход —
Ремонта опытный профессор
На месте помощь подает.

Таким четверостишием поздравили железнодорожники с новым 1941 годом своего знаменитого коллегу. И не только железнодорожники прислали приветствия Лунину. В день нового года, который совпал с днями его рекордов, знатный машинист депо Новосибирск получил десят-

ки поздравлений от, формально говоря, чужих людей. Чужих только потому, что они никогда не видели Лунина, не были с ним лично знакомы. Эти люди — из Керчи, Одессы, Хабаровска и Сухуми писали Лунину о своей радости и гордости за его, лунинские, успехи.

Пленум лучших коммунистов Новосибирска собрался выслушать доклад машиниста Лунина в областном комитете партии. Профессора, колхозники, рабочие, красноармейцы — люди самых различных профессий, но объединенные одной партией, с волнением слушали слова машиниста. Он говорил о простых и будничных делах — о любви к труду, из которого вырастает огромное и великое...

Коммунисты Трегер, Карпов, Филипповы, Лунин — простые люди, люди из народа — достигли огромных результатов в своей работе с помощью партии, которая воспитала Стаханова и стахановцев, Кривоноса и кривонососцев, Лунина и лунинцев. Эти люди работали так, как учил Сталин — сочетали свой опыт практиков с изучением теории.

Работая в наркомате, Константин Иванович Филиппов не оставлял паровоза. Будучи практиком, он стремился к теории, чтобы подкрепить свои знания, а теперь, став инженером, он во всех сложных вопросах обращался к практической работе, проверяя на ней свои теоретические расчеты.

В 1938 году, в одну из его поездок на паровозе, к нему подошел представитель иностранной делегации. Работник английского профсоюза машинистов хотел увидеть своими глазами, как русские машинисты достигают невиданных до сих пор рекордов.

Филиппову предстояло в этой поездке проверить новый режим скорости на большом подъеме.

Когда испытание было закончено, англичанин сказал:

— Это непостижимо. Вы в стране лопатей и самоваров управляетесь с новыми машинами лучше, чем за границей. Неужели это правда, что большинство ваших машинистов работают так хорошо?

— Да, — сказал Филиппов, — это так.

Англичанин нагнулся к уху Константина Ивановича и сказал:

— А может быть, это не совсем так? Может быть, вам, машинистам, только рассказывают об этом ваши руководители?

Филиппов улыбнулся:

— Мы сами работаем и сами же руководим. Вот я, машинист, и я же заместитель наркома путей сообщения. Вы меня поняли?

Ф. М. Достоевский

К шестидесятилетию со дня смерти (1881—1941)

«Идея, ставшая персонажем,
лучше доступна разумению».

Бальзак.

1

Кажется, ни один из писателей прошлого не испытал такой превратной судьбы — прижизненной и посмертной, — как Достоевский. Его вступление в литературу было настолько триумфальным, что в памяти возникает лишь сравнение с Байроном, который, по рассказу биографов, «в одно прекрасное утро проснулся знаменитостью».

В апреле 1845 года после неоднократной переделки рукопись первого произведения начинающего автора «Бедные люди», наконец, завершена. Достоевский передает ее своему другу и сожителю по квартире Григоровичу. Некрасов и Григорович читают рукопись ночью. В четыре часа утра они ворвались к Достоевскому, чтобы сказать о том, как они были потрясены его произведением. На следующий день рукопись была передана Белинскому, который дал восторженную оценку повести нового автора.

«Бедные люди» обнаруживают великий талант, автор пойдет дальше Гоголя», — говорил Белинский, — «народившийся гений со временем убьет своими произведениями всю настоящую и прошедшую литературу». Вскоре произошла знаменательная встреча Достоевского с Белинским. Об этом событии через много лет расскажет сам Достоевский. Каждое мгновение первого свидания запечатлелось на всю жизнь. По словам Достоевского, Белинский «встретил его важно и сдержанно. Но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось... Он заговорил пламенно, с горящими глазами... «Да вы понимаете ли сами-то, — повторял он несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что это Вы такое написали?.. Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли Вы сами-то всю эту страшную правду, на которую Вы нам указали? Не может быть, чтобы Вы в Ваши двадцать лет уж это понимали».

Белинский продолжал: — «Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное ра-

зом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтобы оцупать можно было рукой, чтоб самому не рассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возведена, как художнику, досталась как дар, цените же Ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем».

Через много лет, уже перед смертью, с восторгом вспоминал Достоевский свое впечатление от этого свидания: «Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих (А я был тогда страшный мечтатель). «И неужели вправду я так велик? — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. — О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди!»

«Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом».

За высокой оценкой Белинского — авторитетнейшего ценителя литературы — последовало и признание значительного большинства современников.

Князь В. Ф. Одоевский, граф В. А. Соллогуб, приехавший тогда из Парижа И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов и многие другие из руководящих литераторов готовы были согласиться с Белинским, что именно Достоевский — тот новый писатель, который так насущно был необходим русской литературе. Но вскоре, как известно, новые друзья изменили только что открытому гению. Иван Тургенев совместно с Некрасовым сочиняют эпиграммы, по городу распространяются разные неблыбцы про Достоевского, а сам Белинский

склонен признать свою первоначальную восторженную оценку глубокой ошибкой. Он пишет Анненкову, что «повесть «Хозяйка» — ерунда страшная!», что Достоевский «еще кое-что написал после того, но каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о «Бедных людях». Я трепещу, — продолжает Белинский, — при мысли перечитать их, так легко читаются они. Надуйсь же вы, друг мой, с Достоевским-гением! О Тургеневе не говорю — он тут был самым собою, а уж обо мне, старом чорте, без палки нечего и толковать. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате».

Столь же противоречивыми, как и суждения Белинского, так и умершего с уверенностью, что «этот молодец» их надул, были и оценки других людей, входивших с Достоевским в близкое соприкосновение. Так его друг и единомышленник, его соратник и будущий биограф Н. Н. Страхов после смерти Достоевского в интимном письме ко Льву Толстому скажет, что при воспоминании о Достоевском его охватывает отвращение, которое он не может в себе подавить. Страхов, у которого, как это мы узнаем из его писем к Достоевскому¹, дружеское чувство к нему перешло уже в нежность, сейчас дает исключительно несправедливую, даже злобную оценку своего бывшего друга. Страхов пишет Толстому, что лица, наиболее похожие на Достоевского, — это герои «Записок из подполья», Свидригайлов — в «Преступлении и наказании» и Ставрогин — в «Бесах»... «В сущности, впрочем, — заключит свою характеристику Страхов, — все романы Достоевского составляют самое правдливое, доказывают, что в человеке могут ужиться всякие мерзости»².

Лев Толстой, к которому Страхов адресовал свое письмо, в своих суждениях о Достоевском сам был столь же противоречив. В течение всей своей жизни он ни разу не встретился с Достоевским и после смерти последнего чрезвычайно об этом скорбел. Но Толстой считал долгом своим написать Страхову о том впечатлении, которое на него произвело чтение «Мертвого дома». Толстой писал, что он не знает «лучше книги из всей новой литературы, включая Пушкина. Не тон, — писал Толстой, — а точка зрения удивительно искренняя, естественная и христианская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю»³.

Достоевский, которому Страхов показал письмо, гордится этой оценкой. Он просит

оставить ему листок из письма и с радостью рассказывает друзьям о похвале Толстого. Когда Достоевский умер, то Толстой его смерть переживает как личную потерю. Он пишет: «Я никогда не видел этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек... Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше... Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг за обедом — я один обедал. оновдал — читаю умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу. На-днях, до его смерти, я прочитал «Униженные и оскорбленные» и умилился»⁴.

Но вскоре эти суждения будут сменены иными. Незадолго до смерти Толстой в дневнике своем запишет: «Перечитывал Достоевского, но то»².

Толстой будет удивляться художественной неряшливости Достоевского, его искусственности, выдуманности, невозможным, совершенно неестественным разговорам. И многие, многие принципиальные суждения Достоевского, этого «друга», этого «самого близкого, дорогого, нужного человека» вызывают возмущения, даже протест.

Разные оценки Достоевского мы можем найти и у А. М. Горького. В 1905 году он пишет: «Толстой и Достоевский — два величайших гения, силою своих талантов они потрясли весь мир, они обратили на Россию изумленное внимание всей Европы, и оба встали, как равные, в великие ряды людей, чьи имена — Шекспир, Данте, Сервантес и Гете»³. Но про этого же человека он напишет в неопубликованном письме от 1 мая 1925 года: «Не кажется ли Вам, что он всю жизнь считал себя моральным участником убийства отца своего? Я в этом уверен и не только потому, что он никогда не чувствует себя — на каторге и после — политическим преступником, а уголовным. В Смердякове автор вложил не мало от себя и кроме эпилепсии... Не люблю этого человека». Сделав такое признание, Горький говорит об искажении русского языка Достоевским и заключает: «Отчаянно!.. даже небрежнейший А. Ф. Писемский не искажал так русский язык»⁴.

Отмеченные нами разные оценки творческого наследия Достоевского и самой личности писателя характерны не только для многих русских авторов, но и для писателей зарубежных стран.

¹ Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., М.—Л., 1934, т. 63, стр. 43.

² Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., М.—Л., 1934, т. 58, стр. 15.

³ А. М. Горький. «Заметки о мешанстве». Статьи 1905—1916 гг., изд. Парус. 1918, стр. 5.

⁴ Письмо к В. Лутохину. Архив Института литературы Академии наук СССР.

¹ См. переписку Ф. М. Достоевского и Н. Н. Страхова, сб. «Шестидесятые годы», изд. Академии наук СССР. М.—Л., стр. 238 и далее.

² Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, СПб., 1913, стр. 307—308.

³ Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., М.—Л., 1934, т. 63, стр. 24.

В Германии «Бедные люди» были переведены еще в 1850 году. «Записки из мертвого дома» — в 1864 году, а около 1890 года почти весь Достоевский вышел в немецком переводе. Во Франции тоже весь Достоевский стал известен к 90-м годам прошлого века. В Англии гениального русского писателя узнали лишь после 1880 года, но до появления в переводе в 1912 году «Братьев Карамазовых» его читали очень мало. Полный перевод сочинений Достоевского в Англии сделан лишь в 1921 году. Через Англию Достоевский проник в Америку. За это время в Европе возникла целая литература вокруг Достоевского. Преклонение — с одной стороны и отвержение — с другой, стремление осмыслить Достоевского со стороны литературных, философских и психологических основ — вот что характерно для европейской литературы, посвященной русскому писателю. С 70—80-х годов прошлого столетия начинается в Европе та широкая дискуссия о Достоевском, которая не завершилась и по наш день. Достоевский в европейской критике интерпретируется не только как писатель, журналист, политик, человек, но и как «пророк», через творчество которого представляется возможность познать как грядущие судьбы России, так и человечества в целом. Современные немецкие исследователи усматривают громадный рост влияния Достоевского на всю литературу нового времени. Мейер-Грефе даже утверждает, что «влияние Достоевского в духовной жизни Германии является наиболее сильным со времени Лютера»¹.

Английский биограф Достоевского Карр говорит, что «все самые выдающиеся романисты, которые появились в Англии, Франции и Германии за последние двадцать лет, несомненно возникли под влиянием Достоевского»².

Распространение популярности нашего писателя и дискуссии вокруг его идей порождены той остротой, с которой Достоевский, начиная со своих первых произведений, сумел поставить и запечатлеть насущные проблемы современности. Достоевский — писатель, порожденный уже не феодально-крепостнической Россией, а Россией, ломающей устои прошлого, эпохи борьбы старого с новым. По характеру своего творчества, по направленности ряда произведений Достоевский оказался выразителем настроений классов, переживавших глубокий экономический кризис, который влечет за собой кризис идеологический. Его творчество, в особенности второго периода — после возвращения с каторги, — отражает именно такой идеологический кризис. Поскольку Европа 60—70—80-х годов переживает расцвет промышленного капитализма, постольку ей в значительной доле чужд Достоевский как выразитель кризиса идеологии и психологии. По мере того как буржуазия пе-

реходит от кратковременного этапа расцвета к упадку, закату, значительно изменяется ее идеологическая настроенность. Искание новых путей происходит не только в области идеологии, но и в формальных особенностях литературных произведений. Канонизированные жанровые особенности романа и повести, достигшие своего высшего развития в романах Бальзака, Флобера, Толстого и Золя, в эпоху декаданса нуждаются в переоценке. Новое содержание времени ставит настоятельный вопрос о новых повествовательных жанрах. И вот мы присутствуем при распаде старых форм, видим поиски нового типа литературного произведения.

Социальные потрясения XX века и первая империалистическая война вскрывают всю глубину разложения, охватившего буржуазное общество. Тот кризис, который нашел свое яркое воплощение в творчестве Достоевского, приобретает в это время особое значение для всей европейской интеллигенции. Отсюда и новый подъем глубокого интереса к Достоевскому именно в эпоху империализма, — эпоху войн и пролетарских революций. Отсюда углубление влияния Достоевского на все явления современной литературы.

Фридрих Ницше признается, что открытие Достоевского было величайшим событием в его жизни. На произведениях Достоевского, как мы уже отмечали, учатся многие и многие писатели Европы. Достоевский предопределяет расцвет жанра психологического романа во всей Европе. Достоевский имеет существеннейшее значение и в развитии философии и эстетики как зарубежного, так и русского символизма. Современник понимает, что Достоевский исключительно ярко отразил в художественных образах острейшие противоречия нового времени. Он видит, что в многоголосом полифоническом романе Достоевского сочетаются самые различные голоса. Реакционеры как в России, так и зарубежные, искажая Достоевского, пытаются провозгласить его своим учителем. С другой стороны, прогрессивные круги европейской интеллигенции, которые в итоге первой империалистической войны пришли к сознанию необходимости переоценки ценностей, воспринимают Достоевского как своего современника.

Но рядом с обращением к Достоевскому, как к учителю, рядом с апологией его творчества в европейской критике намечается тенденция дискредитации его как художника и мыслителя. Многие европейские критики рассматривают творчество Достоевского под углом психопатологии — эпилепсии, ненормальностей в половой сфере и т. д. Здесь мы найдем те же положения, что и у отмеченных нами ранее русских писателей. «В образе Смердякова Достоевский мог дать выход своим большим импульсивным чувствам», — пишет американский биограф Достоевского Ярмолинский¹. Также рядом с утверждением плодотворного влияния Достоевского на все духовное развитие Европы XX столетия следует и попытка объявить это вли-

¹ Julius Meier-Grafe, «Dostojewski der Dichter», Berlin, 1926, s. 4^o1.

² E. H. Carr, «Dostojewski», New Biography. Boston and New-York.

¹ A. Jarmolinsky, «Dostojewsky», New-York, 1934.

яние тлетворным. Немецкие критики Турнейзен, Лукка, Нетцель говорят о Достоевском, как о воплощении «варварского азиатского начала», с которым ничего общего не может быть у «просвещенных» европейцев¹. Против культа Достоевского тогда выдвигается «национальный культ Гете». В 1925 году в Германии под псевдонимом Sir Galahad был опубликован памфлет против Достоевского под вызывающим заголовком: «Idiotenführer durch die russische»². В Чехии в 1929 году публицист St. Nikolau печатает статью «Trocha kacírsi», также направленную против культа русского писателя. В 1932 году в сборнике «Числа» там же выступает Гр. Ландау с «Тезисами против Достоевского»³. Голоса против Достоевского раздаются и у нас. В ряде учебных пособий и в критических статьях, связанных с именем Достоевского, писатель трактуется как реакционер, обскурант, «друг Победоносцева», «певец царства Карамзовых» и прочее. Для подтверждения этих положений вульгарные социологи или тенденциозно освещают отдельные моменты из биографии Достоевского, или обычно прибегают к отрицательным свидетельствам многих писателей и критиков, которые сегодня отрицали Достоевского для того, чтобы завтра преклониться перед ним.

Кто же такой Достоевский? Враг он или друг передового человечества? Революция он или реакция? Чему может поучиться у него современник? Имеет ли право Достоевский считаться классиком мировой литературы, гордостью литературы нашей родины?

Чтобы ответить на поставленные нами вопросы, надо обратиться непосредственно к анализу жизненного и творческого развития этого писателя⁴.

III

Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября 1821 года, на окраине Москвы, во флигеле Марининской больницы для бедных. Его отец, штаб-лекарь, получал ничтожное жалованье и был вынужден заниматься частной практикой. Мать, урожденная Нечаева, происходила из московского купечества. Материальная необеспеченность большой семьи (всех детей было семь. Федор — второй сын), угрюмый, тяжелый, подозрительный характер отца — все это оставило тяжелый след на сознании ребенка — будущего писателя.

В 1837 году Федор Достоевский вместе со своим братом Михаилом переезжает в Петербург. Он поступает в Главное инженерное училище, где наряду с занятиями

¹ Turneyzen, «Dostojewski», Kaiser Verlag. München, 1921, Emil Lucka, «Dostojewski», St. und Berlin, 1924, Karl Nötzel, «Dostojewski und Wir», München, 1920.

² См. T. Kampann, «Dostojewski in Deutschland», Münster, 1931, s. 140—11.

³ Сб. «Числа», кн. VI, 1932, стр. 145—163.

⁴ Из-за ограниченности размера статьи я остановлюсь преимущественно на повестях Достоевского.

военными науками и математикой находят время для увлечения Бальзаком. В. Гюго и Гофманом.

В 1839 году в маленьком имении Тульской губернии (в 150 верстах от Москвы) крепостные убили ненавистного помещика, отца будущего писателя. Михаил Андреевич Достоевский в год своей смерти был вдов. Он заливал вином тоску по умершей жене и терзался мыслями о явном разорении, к которому шло имение. Михаил Андреевич вымещал на окружающих все свои невзгоды. Крепостные, не выдержав издевательств, расправились с помещиком, задушили его в июне 1839 года.

Эта расправа не была единственным явлением в тогдашней России. Первая половина XIX века, время, когда родился и вырос Ф. М. Достоевский и когда сложилось его мировоззрение, характеризуется ломкой феодально-крепостнических отношений и вторжением капитализма в хозяйственную жизнь страны. В эти годы со всей наглядностью вскрылись противоречия феодальной действительности. Крестьянские волнения следуют одно за другим. В 1838 году за жестокое обращение с крестьянами было убито семь помещиков и один управитель. За девять только лет, с 1835 года по 1843 год, было послано за убийство помещиков 416 крестьян.

Несмотря на попечение богатых родственников матери Достоевского, оставшиеся сироты испытали на своей жизненной судьбе все тяготы и лишения, связанные с нуждой и зависимостью. Особенно тяжелым было положение двух сыновей Достоевского — Федора и Михаила, юность которых проходит под знаком глубокой нужды. В 1843 году Федор Михайлович кончает инженерное училище, но ему ненавистна военная служба. Он мечтает о другой деятельности — литературной. Произведения Шиллера, Жорж Санд, Эжена Сю и других писателей открывают перед Достоевским новый мир и возбуждают целую сумму вопросов, требующих своего разрешения. Эти вопросы связаны с положением личности в современном обществе. Особенно захватывает молодого Достоевского Бальзак.

В героях романов французского писателя Достоевский узнает самого себя и находит тех людей, которые его окружают. В 1838 году он сообщает своему брату, что прочел почти всего Бальзака, и тут же дает такой восторженный о нем отзыв: «Бальзак велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготавливали бореньем своим такую развязку в душе человека!»

В декабре 1848 года, захваченный чтением «Евгении Гранде», Достоевский приступает к переводу этой повести Бальзака.

Наравне с западными писателями Достоевский увлечен и русской литературой. Образы «Скупого рыцаря», Германа из «Пиковой дамы», Моцарта и Сальери будут потом переосмыслены как в юношеских повестях Достоевского, так и в его романах зрелой поры.

Рядом с Пушкиным Гоголь и Грибоедов оставляют свой след в творчестве Достоев-

ского. Он использует изречения из «Горе от ума» в своих художественных произведениях, письмах и статьях. Более того, образ Чацкого станет для Достоевского неким символом русского человека декабристского периода. «Чацкие» будут для него собирательным понятием, и к ним он будет возвращаться и в «Униженных и оскорбленных», и в «Зимних заметках о летних впечатлениях», и в «Идиоте», и в «Бесах» и в «Дневнике писателя».

Гоголь с галлереи своих образов, запечатленных в «Петербургских повестях» и в «Мертвых душах», непосредственно связан со всем творчеством Достоевского.

Влияние «Шинели» легко обнаружить и в стиле, и в сюжете, и в отдельных композиционных частях первой повести Достоевского — «Бедные люди», Петербургская поэма «Двойник» неразрывно связана с повестью Гоголя «Нос». Достоевский явно подражает гоголевскому стилю, но, пародируя новеллу-гротеск Гоголя, Достоевский в своей фантастической истории стремится гоголевскую тему осмыслить не только в фантастическом плане, но и в реальном, как трагедия раздвоенного сознания в современности. Эта тема, как мы увидим, станет большой темой Достоевского.

Гоголевская традиция может быть прослежена в повести «Хозяйка», в «Господине Прохарчине» и в «Романе в девяти письмах». Гоголь пародируется Достоевским так же в «Селе Степанчикове»¹. Мы уже отмечали существенное значение европейской литературных традиций для оформления миросозерцания молодого писателя. Так мечтателей и фантазеров, которых мы найдем в повестях Достоевского, изображали и немецкие романтики. В письме к брату от 1838 года Достоевский сообщает, что им прочитан «Весь Гофман русский и немецкий», а в письме от 1840 года, рассказывая о своей встрече с другом Шидловским, восклицает: «О, как провели мы этот вечер! Вспомнили напу зимнюю жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане, о котором столько мы говорили, столько читали».

Характерно, что раздвоение личности является одним из любимых мотивов Гофмана. Для него, как отмечает Брандес, «я» — только маска, надета на другую маску, и он забавляется тем, что срывает эти маски.

Искусство вводит читателя в область подсознательного, освещая глубины человеческой личности Достоевский мог воспринять именно у Гофмана, того писателя, который поразил его еще в юности.

Существенное влияние на оформление миросозерцания молодого Достоевского имел Шиллер. «Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им», — признается юноша, — «ния Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний». Тема «шиллеровского протеста» будет воспринята Достоевским в связи с тем же конфликтом личности и

среды. Так «Разбойников», которыми Достоевский увлеклся в отрочестве, он вспомнит во время своей работы над «Братьями Карамазовыми».

Центральная тема этого романа, связанная с соперничеством братьев и отцеубийством, будет своеобразным развитием той же темы «Разбойников».

Вне учета этих литературных симпатий молодого Достоевского, которые не ограничиваются перечисленными нами именами, а идут значительно шире, — ибо они связаны с увлечением и английским и французским романом приключений, и французским классицизмом, и зарубежным бульварным романом, и современными романиками, — нельзя понять Достоевского, который воспринял все эти традиции как классической, так и современной ему литературы и развил их в своей литературной деятельности, придав им новые качества. С этой стороны большой интерес представляет то, как начинающий писатель в 1845 году, во время работы над «Бедными людьми», подошел к теме бедного чиновника. Это была очень распространенная тема в литературе того времени¹. Шевырев писал в «Москвитяине» в 1846 году, что чиновники «доставляют литературе почти единственный материал для водевилей, комедий, повестей, сатирических сцен и пр.». Многие обозреватели современной литературы так же удивлялись, что чиновник — «самое непотопическое существо в мире — является излюбленным героем». Согласно установившейся традиции чиновник обычно трактовался в сатирическом плане, как сугубо комическое лицо. Во вторую половину 40-х годов правительственными сферами было обращено внимание на чрезмерное развитие сатирического отношения к русской жизни на так называемую «натуральную школу», и в циркуляре от 5 июня 1847 года по СПб цензурному комитету граф Уваров поставил на вид цензорам, что «с некоторых пор оригинальные издания, вроде повестей и романов, наполнены выходками против чиновников, представляя этот класс в самых гнусных и смешных видах», и на этом основании предписывает «неослабно наблюдать, чтобы подобные изображения не выходили из пределов благопристойности и вкуса и были вообще допускаемы тогда только, когда цензура убедится в чистоте намерения сочинителя и его беспристрастии»².

Пушкин в «Станционном смотрителе» и Гоголь в «Шинели» разрешили эту тему в ином плане. Пафос их произведений заключен в той высокой гуманности, под углом которой и осмыслена самая тема. Именно эти традиции были органически восприняты молодым Достоевским. Влияние Пушкина и Гоголя легко обнаружить и в стиле и в сюжете «Бедных людей». И вместе с тем в повести были свои особые качества, благодаря которым она и прозвучала с особенной силой. Спустя пятнадцать лет после выхода повести, в

¹ См. Ю. Тынянов, «Достоевский и Гоголь» (К теории пародии). «Архивы и новаторы». Прибой, Л., 1929.

¹ См. А. Цейтлин, «Повести о бедном чиновнике Достоевского». М., 1928.

² А. М. Скабичевский, «Очерки истории цензуры». СПб., 1892, стр. 340.

1861 году, Добролюбов скажет, что Достоевский в «Бедных людях» со всею энергией и свежестью молодого таланта принялся за анализ поразивших его аномалий нашей бедной действительности и в этом анализе умел выразить свой высокогуманный идеал.

Но не следует предполагать, что критика была единодушна в своих восторгах. Когда повесть была опубликована, то в современных литературно-общественных кругах поднялась оживленная дискуссия. Славянофильская критика враждебно встретила произведение молодого автора. В этом романе ее возмущало отсутствие «примиряющей красоты» (Шевырев). Сам писатель, касаясь «Бедных людей», сообщал брату: «Ну, брат! Какую ожесточенную брань встретили их веде! В иллюстрации я читал не критику, а ругательство. В Северной пчеле было чорт знает, что такое. Debats пошли ужаснейшие. Ругают, ругают, а все-таки читают». Эти споры, этот успех вызваны теми особенностями «Бедных людей», которые и выделили повесть из круга всей современной литературы, посвященной маленькому человеку и его страданиям.

Оценки Велинского помогут нам понять и причину этого успеха повести и той полемики, которая развернулась вокруг нее. Мы должны вспомнить, что Велинский оценивал «Бедных людей» как социальный роман, причем подчеркивал, что Достоевскому свойственно понимание трагической стороны жизни. Достоевский действительно показал тот трагический конфликт между личностью и средой, который явился в итоге социальных противоречий времени. Находясь во многом в пределах традиции натуральной школы, возобновив угасающие к этому времени традиции сентиментализма, Достоевский сумел в своем произведении наметить новое разрешение темы, показать бунт бедняка, протест личности против социальной несправедливости. Бедность трактовалась им уже как нечто угнетающее и принижающее и человеческую личность и человеческое достоинство. Макар Алексеевич при всей своей робости и заботности находится уже на грани бунта. «Отчего это так все случается, что вот хороший-то человек в запустении находится, а к другому кому счастье само напрашивается?» — спрашивает он Вареньку и сам ловит себя на том, что это «вольномышляк».

Несмотря на ссылки на «волю Божию», на «промисел творца небесного», мы видим, что сомнения закрались в робкую душу Девушкина. «Слишком вольная мысль» нет-нет и прорвется у него, и ему придется оправдываться в своем вольномышльстве: «эта мысль иногда бывает, иногда приходит, и тогда поневоле из сердца горячим словом выбивается». Так или иначе вопрос поставлен, и он требует своего разрешения. Высокая гуманность, реабилитация маленького человека — таков замысел, целевая направленность образа Макара Девушкина. Ведь из него «чуть ли не бранное слово сделали, до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры всей добрались,—говорит Девуш-

кин,—все не по ним, все переделать нужно». Нет, говорит Достоевский, истинные характеры, подлинные человеческие чувства, бескорыстие, чистота сердца и возвышенность мечты скрыты именно у людей, обитающих там, в городских углах и лагугах. Эта идея направленность первой повести Достоевского и была оценена Белинским, а впоследствии Добролюбовым.

Если в «Бедных людях» Достоевский следовал традиционной форме сентиментально-мещанского романа (переписка любовников), причем внес в этот роман новое содержание, связанное с теми основными социальными вопросами, которые были выдвинуты современностью, то в «Белых ночах» писатель продолжил начатую им работу. Действие этого «сентиментального романа» происходит в Петербурге, в городе, ставшем фоном для большинства произведений Достоевского. Герой повести — мечтатель. Он живет в уединенном петербургском углу и здесь силой душевного порыва отрешается от урюмой, холодной и сердитой действительности и уходит в свой вымышленный мир, который и населяет прекрасными людьми, живущими гармонической жизнью. «Полубольной горожанин, чуть не задохнувшийся в городских стенах», предпочитает ночь дню. У него почти нет действительной жизни, ибо из своего вымысла он сделал некую вторую реальность. Эта другая жизнь совсем не похожа на ту, которая возле него кипит, она, как признается герой, такая, «которая может быть в тридцатом неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время». Жизнь мечтателя есть «смесь чего-то фантастического, — горячие идеалы, и вместе с тем тускло прозаично и обыкновенно, чтоб не сказать: до невероятности пошло», — пишет Достоевский. Прозаичность и пошлость — результат восприятия реальности, которая, несмотря на благородные порывы мечтателя, все же проникает в его бытие. Хотя он и утверждает, что нет ему никакого дела до действительности, все же ему приходится признать всю безнадежность своего порыва. Настенька, которую любит мечтатель, выходит замуж за другого. Все мечты о счастье, о любви развеяны. Фантазия истощается, и мечтателю приходится теперь довольствоваться лишь воспоминанием о счастьем своим мечтательстве.

Вслед за «Белыми ночами» почти во всех последующих произведениях Достоевского предстанут перед читателем мечтатели-фантазеры. Этот же персонаж явится центральным в повести «Неточка Незванова».

В этой повести Достоевский раскрывает тему «золотого детства». Детство, которое показывает Достоевский, особого рода, это не детство, изображенное Л. Толстым в трилогии, — перед нами история жизненных катастроф, рассказ об их отражении на формирующейся личности. Именно эта тема впоследствии станет одной из важнейших тем Достоевского. Через много времени, в 70-е годы, уже после каторги и солдатчины, он специально вернется к этому вопросу в романе «Подросток».

В черновых материалах к своему роману Достоевский так определяет его общий замысел: «Вообще это поэма о том, как вступил подросток в свет. Это история его исканий, надежд, разочарований, горечи, возрождения, науки, — история самого милого, самого симпатичного существа». «И жизнь сама учит, но именно его, подростка, потому что другого не научила бы». «Вообще весь роман, через лицо подростка, ищущего правды жизненной (Жиль Блаз и Дон-Кихот), может быть очень симпатичен»¹.

После всех жизненных испытаний у подростка, по замыслу писателя, отразившемся в тех же черновых материалах, должна была явиться «грустная, торжественная мысль». «Вступай в жизнь!» «Подросток теперь знает, он теперь, — как пишет Достоевский, — нашел, чего искал, что добро и зло». И от открывшейся правды он уже никогда не уклонится.

Мы нарочно обратились к черновым материалам, характеризующим работу над романом «Подросток», чтобы показать, как одни и те же темы будут выдвигаться Достоевским в самые различные периоды его жизни. И мы сейчас видим, что, собственно говоря, первое повествование о подростке, вступающем в жизнь, история исканий и надежд, разочарований, горечи и возрождения, история «самого милого и самого симпатичного существа» дана еще в 1849 году в «Неточке Незвановой»².

Повесть задумана в двух планах: действие должно было протекать в петербургских углах и в княжеском дворце, в роскоши и богатстве великосветского быта. Здесь ставится та же тема неравенства, что и в «Бедных людях». У Неточки, чудесно перенесенной в тот дом, окна которого наглухо закрыты красными, как пурпур, гардинами, дом, за стенами которого протекала какая-то неведомая, чудесная жизнь (мечта о ней томила Неточку еще в детстве), является сознание социального неравенства, критика общественной неправды.

Героиня повести, подобно будущему Подростку, настойчиво ищет правды; это лицо очень симпатичное, — среди самых ужасающих условий бедной жизни она сохраняет поэзию воображения и прелесть непосредственности. Неточка живет в жалком углу, «где никогда не смеются, никогда не радуются, где вечное, нестерпимое горе». И вместе с тем среди чада беспорядочной жизни люди, окружающие Неточку, не теряют высокие чувств и надежд. Жизнь гонит музыканта Ефимова на дно, но его не покидает мечта вырваться из засасывающей тины бедности и ни-

чтожества и достичь высот подлинного искусства.

Подобно Гоголю, который в повести «Портрет» ставит вопрос об уничтожающей искусстве власти денег, Достоевский в «Неточке Незвановой» стремится показать трагедию художника-бедняка в современной жизни. Ефимов никак не может приспособиться к окружающей среде. Вот-вот, кажется, он сумеет утвердить себя, но нет, все снова идет прахом, и мы снова видим гениального музыканта оборванным и жалким, на дне жизни. В чем же дело? В том ли, что над Ефимовым тяготеев некий трагический рок, персонафицированный в романтическом образе его друга, итальянца-капельмейстера, обладателя чудесной скрипки, или здесь причина иная? После прочтения повести читатель ясно сознает, что трагедия Ефимова закономерна, истоки ее — односторонность. Ефимов задыхается в оркестре помешика-мецената, и отсюда бунт его. Он чувствует себя столь же одиноком и в оркестре, куда его пристроил его друг Б. Ефимову некому да и негде поведать о том мире, который переполняет его воображение, и скрипка его не случайно будет положена на дно сундука жены.

Эта повесть задумана вовсе не с целью противопоставления трудолюбивого и усидчивого скромного художника Б. порывистому, стремительному и нетерпеливому русскому музыканту, как это предполагал О. Миллер («Русские писатели после Гоголя»). О. Миллер пишет, что Ефимов, пожалуй, и достиг бы известности, если бы он был способен к упорному труду, но он хочет добиться известности сразу и, не достигая ее, решает, что его не хотят признать. Трагедия заключена вовсе не в этом. Достоевскому был внутренне близок именно образ вдохновенного музыканта-неудачника, а не добропорядочного и упорного труженика Б. В этом незаконченном произведении Достоевский говорит о трагическом положении подлинного художника в современной жизни. Вот Ефимов с Неточкой уходят, наконец, из своего бедного жилища. Но что их ожидает? «Мы сошли с лестницы; полусонный дворник отворил нам ворота, подозрительно поглядывая на нас, и батюшка, словно боясь его вопроса, выбежал из ворот первый, так что я едва догнала его. Мы прошли нашу улицу и вышли на набережную канала. За ночь на камнях мостовой выпал снег и шел теперь мелкими хлопьями. Было холодно; я дрогла до костей и бежала за батюшкой, судорожно уцепившись за полы его фрака. Скрипка была у него под мышкой, и он поминутно останавливался, чтоб придержать под мышкой футляр». Куда же идти Ефимову? Мечта столкнулась со страшным миром, с «пошлой» реальностью, душевные силы растрачены, впереди лишь прорубь, смерть.

В этом трагическом истолковании современности — то новое, что внес Достоевский в литературу своего времени. Сам писатель понимал, что, начиная с «Бедных людей», им устанавливаются новые традиции в русской литературе. Незаром в период работы над «Неточкой Незвановой» в письме к брату от 17 декабря

¹ Черновые материалы романа «Подросток» подготовлены к печати для изд. Академии наук СССР А. С. Долининым, который их любезно представил мне для ознакомления.

² Конечно, в «Неточке Незвановой» лишь намечена тема романа «Подросток». В романе, прямо полемизирующем с трилогией Льва Толстого, Достоевский поставил целый комплекс социально-философских тем.

1846 года, обращаясь к повести «Двойник», он писал: «Мне все кажется, что я завед процесс со всею нашею литературою, журналами и критиками, и тремя частями романа моего в «Отечественных Записках» я устанавливаю и за этот год мое первенство на зло недоброжелателям моим».

В чем же заключался этот «процесс со всею литературою, журналами и критиками», — только ли в связи с постановкой темы бунта, с трагическим разрешением современности, или здесь были принципиально новые приемы литературного мастерства? Чтобы ответить на этот вопрос, надо специально обратиться к одному из наиболее сложных, загадочных и вместе с тем основных произведений Достоевского, к его «Двойнику».

IV

Повесть «Двойник», написанная вслед за «Бедными людьми», не была понята современниками, не нашла она положительной оценки и у Белинского. В «Обзоре русской литературы за 1846 год» Белинский упрекал Достоевского за фантастический колорит повести. «Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, — писал Белинский, — и находится в завывании врачей, а не поэтов». Правда, Белинский говорит, что в «Двойнике» автор обнаружил огромную силу творчества, характер героя концентрирован глубоко и смело, ума и истины в этом произведении много, художественного мастерства тоже; но вместе с этим тут видно страшное неумение владеть и распоряжаться экономически избытком сил». К этому суждению Белинского присоединилось большинство рецензентов. Так Н. В. Анненков считал, что Достоевский в «Дневнике» занимается исключительно «психологической историей помешательства». «Финский вестник» писал, что «Двойник», по грешному уразумению нашему, сочинение патологическое, терапевтическое, но несколько не литературное: это — история сумасшествия, рационализированного, правда, до крайности, но, тем не менее, отвратительного как труп». Вместе с тем сам Достоевский придавал этой повести исключительное значение. Еще во время работы над произведением он писал брату, что «это будет мой chef d'oeuvre, писал, что «Голядкин в 10 раз выше «Бедных людей». Наши говорят, что после «Мертвых душ» на Руси не было ничего подобного, что это произведение гениальное». И Достоевский не считал такую оценку преувеличенной, он говорит, что, действительно, «Голядкин удался мне до нельзя». И много лет спустя, несмотря на отрицательные отзывы прессы, он снова и снова возвращается к своему «Двойнику».

После выхода из каторги писатель не хочет эту повесть включить в собрание своих сочинений, а издать ее отдельно, правда, после переделки. Достоевский надеется, что ему удастся убедить современников в глубине тех проблем, которые были затронуты в повести. «Поверь, брат, — пишет сейчас Достоевский, — что

это исправление, снабженное предисловием, будет стоить нового романа. Они увидят, наконец, что такое «Двойник»! Я надеюсь слишком даже заинтересовать. Одним словом, я вызываю всех на бой». Достоевский боится потерять «превосходную идею, величайший тип по своей социальной важности, который я первый открыл, и которого я был превозвестником». Спустя тридцать лет после выхода в свет своего непризнанного «Двойника», в 1877 году, в «Дневнике писателя» Достоевский снова возвращается к идее, развитой в этой повести. Он теперь, правда, считает, что повесть ему не удалась, но что идея ее «была довольно светлая и серьезней этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил».

Что же это была за идея, которая преследовала Достоевского в течение всей его жизни? Центральная идея «Двойника» действительно является одной из самых высоких социально-философских идей современности. Человек эпохи социальных противоречий и кризисов, эпохи крушения старого и рождения нового социального правопорядка не был целостным человеком. Он только мог мечтать о целостном сознании и в мечтах своих обращался или к прошлому (тогда он создавал миф о гармонической личности в эпоху первобытного общества) или — в грядущее. Но, не владея теорией научного социализма при взгляде в завтрашний день, этот мечтатель рисовал себе такой же вымышленный мир. Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте» в 1848 году писали, что буржуазия «превратила в меновую стоимость личное достоинство человека». Под знаком протеста против этого уничтожения личности и написан ряд литературных произведений того времени. Человек потерял самого себя, честное, возвышенное «я» безжалостно вытеснено «двойником», успешно действующим и приспособляющимся в жизни. Мое же «я» ждет или безумие, или смерть.

Достоевский с исключительной глубиной понимал, что в основе трагического конфликта личности в современности лежит именно отсутствие целостного сознания. Отсюда и возникает трагедия борьбы различных сил и тенденций внутри самого сознания. Обращаясь к Толстому, Достоевский считал, что Толстой творит миф о жизни, а задача писателя-реалиста заключается не в сглаживании противоречий жизни, но в обнажении их. Отсюда и исходило положение Достоевского о принципиальном отличии его творчества от эпического творчества Толстого, сказывающееся как в форме его романов, совмещающих в себе самые различные тенденции и качества, так и в методе раскрытия психологии отдельных героев.

С показом противоречий жизни связана и тема двойничества, проходящая через все творчество Достоевского в целом. Немецкий исследователь Достоевского Лука утверждает, что «проблема двойника наиболее глубокая и наиболее субъективная проблема Достоевского». «Трактовка этой темы, — пишет Лука, — проходит красной нитью через все творчество писателя. Начиная с его юношеской работы.

с Голядкина, двойник фигурирует все в новых и самых таинственных превращениях». В «Преступлении и наказании», которое Лукка считает «кульминационной точкой его творчества, его психологии и его мировоззрения», двойником Раскольникова является Свидригайлов. «Петр Верховенский — двойник Ставрогина», «лакей Смердяков — двойник возвышенным духом Ивана Карамазова; но и этого ему мало, — пишет Лукка. — Иванау в его галлюцинациях является прообраз двойника — чорт и своими полутривиальными, полунасмешливыми словами приводит к безумию». «Великий инквизитор — это двойник Христа — дьявол»¹.

Но тема двойничества трактуется Достоевским не только в плане раздвоения самого образа, но и внутри образа как такового. Так во время работы над романом «Подросток» и обдумывания образа «хищного типа» Достоевский записывает: «Можно так: две деятельности в одно и то же время: в одной (с одними людьми) деятельности он великий праведник, от всего сердца возвышается духом и радуется своей деятельности в бесконечном умилении. В другой деятельности — страшный преступник, глуп и развратник (с другими людьми). Один же с собой на то и другое смотрит с высокомерием и унынием, отдалает решение, махая рукой. Увлечен страстно. Здесь страсть, с которой не может и не хочет бороться. Там — идеал, его очищающий, и подвиг умиления, и умирительной деятельности»². И эта мысль о раздвоении, о двойничестве преследует Достоевского в течение всей жизни.

Во время работы над Карамазовыми, 11 апреля 1880 года, Достоевский пишет Е. Ю. Юнге — художнице и общественной деятельнице, дочери вице-президента Академии художеств Ф. Ф. Толстого:

«Что Вы пишете о Вашей двойственности? — спрашивает Достоевский свою корреспондентку. — Но эта самая обыкновенная черта у людей.. не совсем, впрочем, обыкновенная. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у Вас. Вот и поэтому Вы мне родная, потому, что это раздвоение в Вас точь в точь, как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение: это — сильное сознание, потребность самоотчета и присутствие в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы Вы не очень развиты умом, были бы ограниченнее, то были бы и менее совестливы и не было бы этой двойственности. Напротив, родилось бы великое сомнение. Но все-таки эта двойственность большая мука».

Эта тема двойничества становится одной из ведущих тем Достоевского.

В романах «Подросток», «Бесы», «Братья Карамазовы» Достоевский выдвигает проблему двойника со всей остротой. Именно в плане двойничества должен быть осмыслен «бес» Ставрогина. Ставрогин сам говорит: «Я опять видел его... Сначала здесь в углу, вот тут у самого шкафа, а потом он сидел все рядом со мной, всю ночь, да и после моего выхода из дому». «Теперь начинается ряд его посещения. Вчера он был глуп и дерзок. Это тупой семинарист, самодовольство шестидесятих годов, лакейство мысли, лакейство среды, души, развития с полным убеждением в непобедимость своей красоты... ничего не смогло быть гаже. Я злился, что мой собственный бес мог явиться в такой дрянной маске... я, впрочем, все молчал, нарочно; я не только молчал, я был неподвижен. Он за это ужасно злился и я очень рад, что он злится...» «Я в него не верю... Пока еще не верю. Я знаю, что это я сам в разных видах двоюсь и говорю сам с собою. Но, все-таки, он очень злился; ему ужасно хочется быть самостоятельным бесом и чтоб я в него уверовал в самом деле...»

Но «бес» Ставрогина не остается только в плоскости галлюцинации, он живет и в окружающем мире. Ставрогинский бес пребывает и в Кириллове, и в Фельке Катормном и, наконец, в Петре Верховенском, который только «обезьяна» Ставрогина. Ставрогину наделен большим душевным богатством, но оно разбросано и рассыпано. Чтобы воссоздать целостный образ того, кто скрыт за маской Ставрогина, надо воссоединить весь этот мир «бесов». В том же обличии, в котором пребывает Ставрогин, он лишь Самозванец, а не Иван-царевич. Так человек в современной жизненной раздробленности, разрушенности потерял самого себя. Уйдя от своей родины в далекую Швейцарию, став гражданином кантона Ури, потеряв связь с родной землей, он, по мысли Достоевского, и опустошил свою личность, раздробясь на многие частицы.

Эта же тема опустошения и раздробленности поставлена Достоевским в «Братьях Карамазовых». Семья Карамазовых — это тот же мир бесов в самых различных обличиях. Отдельные представители семьи ощущают тоже раздвоение. В сценах встречи Ивана со Смердяковым и с чортом выступают лишь двойники Ивана. Касаясь вопроса двойничества в романах Достоевского, мы должны указать, что эта тема писателем осмыслилась реакционно. Достоевский показывает, что и Ставрогин и Иван Карамазов как типы оказались возможными лишь на почве развития идей универсальной философии рационализма. Современная философия жизни, современная эстетика, современные этические теории, — утверждает Достоевский, — противоречат самим законам жизни. Все, что вы проповедуете, вымышленно и, как мираж, ваша проповедь истает, как бесы, она будет изгнана. Подлинная жизнь, настоящая правда не здесь, а в народе. Но если Ставрогин, если Карамазовы являются своеобразными выразителями того рационализма, которым заражено современное общество, то родоначальник этих «ге-

¹ E. Lucka, Dostojewski. Stuttgart und Berlin. 1924.

² Разрядка Ф. М. Достоевского.

роев» Голядкин является своеобразным порождением того николаевского общества, той государственной бюрократической организации, против которой также протестовал Достоевский. Голядкин — порождение этого общества и вместе с тем — его жертва. Если Ставрогина и Ивана Карамазова разлагает рационализм изнутри, то Голядкина — извне.

Куда же звал Достоевский от этого рационализма? Протестуя против идей Толстого, он сам звал к столь же мифической свободе человека, обретшего свою силу от слияния с жизнью, с природой, с богом. Подметив характерные черты человека капиталистической действительности, Достоевский в своей положительной программе оказался столь же немощным, как Толстой. Он был силен в анализе и критике и беспомощен в утверждении. Вспоминая ленинские оценки Толстого, следует сказать, что Достоевский — горячий протестант, страстный обличитель, великий критик — обнаружил, вместе с тем, в своих присуждениях полное непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса.

Учение Достоевского так же, как учение Толстого, «...безусловно утопично и, по своему содержанию, реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова». Эти слова Ленина¹ целиком приложимы к Достоевскому.

V

При постановке вопроса о тех влияниях, которые определили литературные позиции молодого Достоевского, надо особое место уделить Белинскому. Сам Достоевский в своих воспоминаниях о Белинском, в «Дневнике писателя» за 1873 год, заявил: «Я страстно принял тогда все учение его». «Учение» же Белинского в то время, по свидетельству Достоевского, состояло в социализме и атеизме. «Я застал его, — говорит Достоевский, — страстным социалистом и он прямо начал со мной с атеизма».

В другом месте того же «Дневника», говоря о петрашевцах, Достоевский вспоминает: «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма... Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными, и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до Парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю правду этого грядущего «обновленного мира» и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским».

В свете этого, отмеченного самим Достоевским влияния вполне закономерным следует считать переход Достоевского из кружка Белинского в кружок Петрашевского. Собрания в доме фюрериста Бутащевича-Петрашевского имели непосредственную связь с социальным движением современной Европы. В феврале 1848 го-

да парижские пролетарии вышли на улицу, демонстрируя свое недовольство правительством Луи-Филиппа. Вскоре различные демонстрации перешли в вооруженное столкновение с полицией. Началась революция. Февральские события всколыхнули русское общество, освежили душную атмосферу николаевской реакции. В Петербурге и других городах страны возникли кружки, в которых обсуждались вопросы переустройства общества на новых началах. Рядом с кружком Петрашевского существовал кружок Дурова, в организации которого принимал непосредственное участие Достоевский. Здесь ставились вопросы, связанные с пропагандой в войсках, и обсуждалась подготовка народа к восстанию. Достоевский принимал активное участие в работе этого кружка. Царскому правительству через провокаторов и сыщиков стало известно о петербургских собраниях. По непосредственному предписанию Николая I члены собраний были арестованы. Восемь месяцев тянулось следствие. За «участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства посредством домашней литографии» отставной поручик Достоевский был лишен всех прав состояния и приговорен к 4 годам каторги и 5 годам дисциплинарной военной службы. Такое же наказание постигло других участников кружка Петрашевского.

Согласно приговору, Достоевский был закован в кандалы и отправлен из Петербурга в Сибирь. После окончания срока каторжных работ он был определен рядовым в Сибирский линейный № 7 батальон.

«Это был ад, тьма кромешная», — так вспоминал Достоевский свою каторгу. Он говорит, что эти четыре года был живо похоронен и зарыт в гробу, говорит, что «примириться с этой жизнью было невозможно». «Это было страдание невыразимое, бесконечное, потому что всякий час, всякая минута тяготела, как камень, у меня на душе. Во все четыре года не было мгновения, в которое бы я не чувствовал, что я на каторге».

Каждодневное общение со страшными убийцами, с палачами, со всем этим миром отверженных не только потрясло сознание Достоевского, но и обогатило его проникновение в самые различные состояния души человеческой. Он неожиданно для себя открывал в этих людях большие душевные ценности. В 1861 году Достоевский скажет: «Эти люди, может быть, вовсе не до такой степени хуже тех остальных, которые остались там за острогом». Каторга приблизил Достоевского — этого городского интеллигента — к простому люду.

«Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними, и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всего черного, горемычного быта. На целые томы достанет. Что за чудный

¹ См. В. И. Ленин. Соч., т. XV, стр.102.

народ», — так писал Достоевский своему брату Михаилу 22 февраля 1854 года, через неделю после окончания срока каторги.

Но к литературному оформлению своих впечатлений Достоевский обращается не сразу. 1856—1857 годы проходят в работе сначала над большим романом, от которого Достоевский вынужден отказаться, а затем над повестями «Село Степанчиково» и «Дядюшкин сон». Только через шесть лет после отбытия каторги оформляется замысел «Записок из мертвого дома», и Достоевский вплотную приступает к работе над этим произведением.

В 1859 году Достоевский возвращается в Петербург. Через два года он выпускает роман «Униженные и оскорбленные», где продолжает те гуманистические традиции, которые были утверждены им еще в «Бедных людях».

Появление в 1861—1862 году «Записок из мертвого дома» сызнова утвердило репутацию Достоевского как писателя-гуманиста. Но мы должны отметить, что «Мертвый дом», несмотря на реалистический показ быта отверженных, не является произведением обличительным. Недаром роман прошел без особых цензурных затруднений. Отвлеченные идеи гуманизма, проникнутые христианским духом, — вот что является пафосом произведения.

Вместе с тем резонанс «Мертвого дома» в общественном смысле был огромен, и, помимо воли Достоевского, произведение современниками воспринималось именно как обличительное.

В своих воспоминаниях об эпохе 60-х годов Боборыкин говорит: «Мертвый дом» явился небывалым документом русской каторги, а то, что в нем уже находилось мистического и благонамеренного, еще не было всеми понято как должно, и тогдашний Достоевский считался чуть ли не революционером».

Благодаря «Униженным и оскорбленным» и «Запискам из мертвого дома» Достоевский снова занял в русской литературе то положение, которое было утрачено им вскоре после выхода в свет «Бедных людей».

В 1862 году Достоевский осуществляет свою давнишнюю мечту и впервые уезжает за границу. Та действительность, которая раскрылась перед писателем после возвращения из Сибири в столицу Российской империи и в особенности после посещения Европы, снова всколыхнула в нем старые воспоминания. Социальные противоречия, связанные с капиталистическим развитием Европы, в это время были еще более остро обнажены. Особенно поразила Достоевского Лондон, куда он приехал из Парижа в июне 1862 года. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» писатель поведал о своих чувствах и впечатлениях, возникших при столкновении с этим страшным миром. Перед Достоевским встал мир нищеты — с одной стороны, и безумия богатства — с другой. Он протестует против этой капиталистической цивилизации. Он мучительно ищет выхода из тех противоречий, в которых погрязло современное человечество. Именно в это время Достоевский

снова и снова будет возвращаться к своему юношескому «Двойнику». Он видел, что глубина проблем, затронутых в повести, именно сейчас может дойти до современника. По мнению Достоевского, задача писателя-реалиста заключается не в сглаживании противоречий жизни, а в обнажении их. Достоевский считает, что Толстой, Тургенев и другие современные писатели скрывают эти противоречия. «О, выписавшиеся помещики!» — восклицает Достоевский по поводу прочитанного «Степного короля Мира» Тургенева. Прочитав статью Страхова о Тургеневе, Достоевский пишет: «А знаете, ведь это все — помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). — Но это в высшей степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего помещичье, еще не было, да и некогда. (Решетниковы ничего не сказали, но все-таки Решетниковы выражают мысль необходимости чего-то нового в художественном слове, уже не помещичье — хотя выражают в безобразном виде».)

Так Достоевский оценивал современную литературу. Он хочет себя противопоставить ей и установить в своих романах новые традиции.

Достоевский, в противовес «средневысшему кругу», который изображали Толстой, Гончаров и Тургенев, своих героев находит не в великосветских салонах и помещичьих усадьбах, а в комнатах, сдаваемых внаем в многоэтажных доходных домах. В противоположность тому «благообразию», которое свойственно героям Толстого, Достоевский хочет обнажить мучительную расколотость сознания современного человека. Так в 1864 году создается Достоевским его «Записки из подполья». Спустя несколько лет, во время работы над романом «Подросток», Достоевский в неопубликованных черновиках к этому роману запишет: «Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского большеинства, и впервые разоблачил его уродливую трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости... Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни. В сознании лучшего и в невозможности достичь его, и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, и, стало быть, не стоит и исправляться».

Но борясь против «благообразия» героев Толстого и Тургенева, утверждая, что эти герои не типические, Достоевский вместе с тем сам совершил существеннейшую ошибку, ибо обобщил в теме «подполья» не типическое, а случайное.

Человек из подполья — это уродливое порождение капиталистического общества — не может в назидательном смысле быть противопоставлен «благообразию». Данный персонаж можно обличить, а не воспеть. Достоевский же, увлеченный тонкостями психологических переживаний сего индивидуалиста, залюбовался глубиной его «самоказни» и в итоге не разоблачил уродливой стороны его внутреннего мира, а воспел его трагизм. Где же

выход? — спрашивал себя писатель. — В крестьянине Марее, полном христианского смирения и любви, в «искреннем принятии заупения и заплевания», — как советовал Тихон Ставровину в романе «Бесы». И в итоге Достоевский в поисках выхода, подобно Толстому, пришел к отвлеченному идеалу «народа», почвенничеству. Но в то время как Толстой поврал со своим классом и органически связал себя с многомиллионным русским крестьянством и здесь нашел силу, оплодотворившую его творчество на новом этапе, Достоевский остался в пределах им же отвергнутого подполья.

Вместе с тем гениальный художник-психолог с такой яркостью и глубиной показал изнанку современного общества, с такой силой запечатлел тех персонажей, которые рождены дикой и гнусной действительностью, что у читателя, вопреки воле писателя, рождались чувства протеста и неприятия этого мира. Таким образом сила произведений Достоевского заключена именно в обнажении и отвержении мира капитализма. С наибольшей яркостью эта сторона творчества Достоевского сказалась в опубликованном в 1866 году «Преступлении и наказании». Здесь впервые Достоевский выступает перед читателем как зрелый реалист. Капиталистическая действительность обнажена им с предельной остротой. Герой романа, Раскольников, бросает вызов этому обществу, этой среде. Его преступление — идейный поступок, явившийся в итоге столкновения со страшным миром.

Роман в современности прозвучал как подлинно злободневный; рост преступности являлся одним из самых острых вопросов текущего дня. Но, осудив Раскольникова, Достоевский вместе с тем хотел нанести удар не только по тем социальным условиям, которые делали человека преступником, он выступал здесь и против современной молодежи, против передовых ее исканий. В итоге прогрессивная критика встретила роман «Преступление и наказание» резко отрицательно. Она увидела в этом произведении открытую измену передовому течению русской общественной мысли, которое ранее связывалось с именем Достоевского.

Такова же была судьба романа «Бесы» (1871—1872). Произведение это было воспринято как памфлет против революционного движения, хотя по существу роман повествовал не о революции, а о нечаевском анархистско-авантюристическом заговоре. Объективно образ революционера в романе извращен. Отсюда — по сути реакционное значение этого произведения.

Но снова подчеркиваем, что, несмотря на реакционный замысел ряда произведений Достоевского, они помимо воли писателя часто звучали как приговор современному обществу в целом. Это мы должны отметить по отношению ряда романов и повестей писателя. Так в романе «Идиот» (1868) Достоевский ставит своей задачей изобразить «положительно прекрасного человека». Князь Мышкин, этот человек большой душевной чистоты и правдивости, входит в соприкосновение с реальным миром, и этот мир разоблачается в свете

чистой совести блаженного и вместе с тем прекрасного правдоискателя. Мир, с которым он сталкивается, это мир низменных страстей, мир корысти, рогожинский денежный мир.

VI

Тема обличения мира, где все зиждется на денежных отношениях, является центральной в творчестве Достоевского. И это было закономерно, ибо чистоган в это время действительно царствовал над всем. Деньги — вот что было движущей силой времени. Маркс в 1844 году в рукописи, известной под именем «Политическая экономия и философия» или «Подготовительные работы к св. семейству», так характеризовал психологию денег: «Сколь велика сила денег, столь велика и моя сила. Свойства денег — это мои, их владельца, свойства и сущностные силы. То, что я емь и что я в состоянии сделать, следовательно определено отнюдь не моей индивидуальностью. Я — урод, но я могу купить себе красивейшую женщину. Стало быть я не урод, ибо действително уродства, его отпугивающая сила, уничтожено деньгами. Я — по своей индивидуальности хромо й, но деньги добывают мне две дюжины ног; я стало быть не хромо й; я нечестный, бессовестный, пошлый человек, но деньгам оказан почет, стало быть, также и их владельцу».

Маркс говорит об извращающей власти денег, претворяющей верность в неверность, любовь в ненависть; ненависть в любовь, добродетель в порок, порок в добродетель, раба в господина, господина в раба, слабоумие в рассудок, рассудок в слабоумие. Эта тема, связанная с всемогущей властью денег в капиталистическом обществе, и трактуется в романах и повестях Достоевского. Она станет центральной в «Преступлении и наказании», «Игроке», «Подростке» и в «Идиоте».

Тема денег особенно сильно владела Достоевским и благодаря обстоятельствам его личной жизни. Как мы знаем, нужда преследовала писателя, начиная с ранних лет почти до самой смерти. Она заставляла его возлагать на себя немислимые по трудности литературные обязательства. Она заставляла его бежать от кредиторов из России за границу. Нужда бросала его к картам и рулетке, в надежде на внезапное обогащение. Путешествуя за границей в 1863 году, он проигрался по собственному признанию «весь, совершенно до тла». В итоге писатель вынужден был заложить как свои вещи, так и своей спутницы А. П. Сусловой. Спустя несколько лет в 1871 году Достоевский в письме к жене скажет: «Надо мной великое дело совершилось, исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти с 10 лет. Десять лет или лучше с смерти брата, когда я был вдруг подавлен долгами, я все мечтал выиграть. Мечтал серьезно, страстно».

О силе этой «гнусной фантазии», о власти и психологии денег Достоевский рассказал в своей замечательной повести

«Игрок» (1866), одном из самых лучших своих произведений.

Повесть «Игрок» была записана с живого слова писателя, ее стенографировала будущая жена Достоевского А. Г. Сниткина. В противоположность «Бедным людям», повесть создана с поразительной легкостью, как бы единым дыханием. Если носле пяти редакций «Бедных людей» в письме к брату Достоевский писал о том, что этот роман, от которого «никак не может отказаться, задал ему такую работу, что если бы знал, так не начинал бы его совсем», то сейчас повесть в 10 печатных листов была написана в 26 дней, причем быстрота работы не только не снизила качества произведения, но, наоборот, придала ему острую напряженность и целеустремленность.

Следуя теме «Пиковой дамы», Достоевский в своем произведении говорит об искушении мечты внезапно разбогатеть путем игры. Его произведение связано не только с «Пиковой дамой», но и с пушкинским «Скупым рыцарем». Герою повести Достоевского владеет та же идея утверждения своего могущества силой денег. Бедность уничтожает человеческое достоинство, губит личность, деньги дают власть и могущество, деньги завоюют любимую женщину, — разве не могут деньги налагать любые узы? Именно деньги могут исправить несправедливость судьбы, и я попытаюсь овладеть этой силой. Если я пойду по жизненному пути Ротшильда — тогда возникнет образ Подрутка, если я решусь на преступление — тогда пред нами предстанет Раскольников, если же буду рассчитывать на фортуна, на случай, на счастье, тогда встанет образ игрока — Алексея Ивановича.

Герой «Игрока» такой же фантазер, как и другие персонажи Достоевского. Им со всей силой владеет «гнусная фантазия». Достоевский рассказывает, как герой «самоотравляется» этой фантазией: «Да, иногда самая дикая мысль, самая с виду невозможная мысль до того сильно укрепляется в голове, что ее принимаешь, наконец, за что-то осуществимое... Мало того: если идея соединяется с сильным, страстным желанием, то, пожалуй, иной раз примешь ее, наконец, за нечто фатальное, необходимое, предназначенное, за нечто такое, что уж не может не быть и не случиться. Может быть тут есть что-нибудь, какая-нибудь комбинация, самоотравление собственной фантазии или еще что-нибудь — не знаю».

Алексея Ивановича, подневольного домашнего учителя, тайно влюбленного в девушку, общественно стоящую неизмеримо выше его, охватывает мечта овладеть любимой именно силой денег.

Достоевский показывает, как в игре раскрывается внутренняя суть человека: игра старухи, тетки генерала. — игра русского, широкого и безудержного человека, игра бедняка-учителя — игра с жизнью фаталиста, игра за жизнь и во имя ее.

Но деньги, как говорил Маркс, не только налагают узы, но они являются и всеобщим средством разлучения. Приобретенные деньги не соединяют Алексея Ивановича с Полиной, а разлу-

чают его с ней. Подлинная страсть и подлинные чувства оказываются сильнее власти денег, и даже более — деньги оскорбляют настоящее чувство: Полина бросает пачку денег в лицо своему возлюбленно-му игроку.

Как видим, Достоевский в своей повести по-новому разрешает мысль Пушкина, сказанную им в «Пиковой даме»: «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место». Идея денег и идея любви не могут существовать вместе в одно и то же время.

Но если вначале идея денег вытеснила идею любви, то потом сама идея денег будет вытеснена страстью к игре как таковой.

Алексей Иванович уже не дорожит деньгами и свой огромный выигрыш растратит в несколько недель со случайной спутницей *m-lle Blanche*. И это расточительство не волнует игрока, ибо он надеется потом снова выиграть при помощи рулетки. Алексей Иванович окончательно отравлен «гнусной фантазией».

Как видим, Достоевский в своих произведениях отразил существеннейшие социально-политические и философские вопросы своего времени, ибо для него современная социальная действительность была предметом напряженного внимания и раздумий. Но писатель, не сознавая ведущих сил эпохи и не видя перспектив развития этих сил, многие вопросы, связанные с современностью, как мы указывали, часто истолковывал реакционно, в особенности в своих публицистических статьях. Но, с другой стороны, гениальный художник эти же самые вопросы с исключительной силой и глубиной ставил в ряде своих художественных произведений. С этой стороны особый интерес представляют те небольшие повести, в конце концов самостоятельные художественные произведения, которые вкраплены в ткань «Дневника писателя».

VII

В «Дневнике писателя» за 1876 год Достоевский писал:

«А знаете ли вы, — вдруг сказал мне мой собеседник, видимо давно уже и глубоко пораженный своей идеей, — знаете ли, что, что бы вы ни написали, что бы ни вывели, что бы ни отметили в художественном произведении, — никогда вы не сравняетесь с действительностью. Что бы вы ни изобразили — все выйдет слабее, чем в действительности. Вы вот думаете, что достигли в произведении самого комического в известном явлении жизни, поймали самую уродливую его сторону, — ничуть! Действительность тотчас же представит вам в этом же роде такой фазис, какой вы еще и не предполагали, и превышающий все, что могло создать ваше собственное наблюдение и воображение!..» И писатель признавался, что он еще с 46 года, когда начал писать, а может и раньше, знал этот факт, он поражал его настолько, что возникал вопрос о полезности искусства при таком види-

мом его бессилии. «Действительно, — говорит Достоевский, — проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира».

Это признание писателя, сделанное уже в конце жизни, дает возможность понять многое в его творчестве.

Одной из основных задач, которые Достоевский ставил перед собой, было проникнуть в глубину жизни и показать страшные и трагические ее стороны. Достоевский сам определял свой реализм как «фантастический». Рассказ «Кроткая», опубликованный в «Дневнике писателя» за 1876 год, и назван писателем «фантастическим».

Но фантастическое вовсе не воспринимается Достоевским как уход от реально-го, — понятие «фантастическое» для него означает поэтический вымысел на реальной теме. В обращении к читателю, предваряющем рассказ, Достоевский пишет: «Я озаглавил его «фантастическим», тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа».

Еще в 1869 году, в письме к Страхову из Флоренции, Достоевский так говорил об этом: «У меня свой особенный взгляд об этом: действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив. В каждом номере газет вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимают ими; а между тем они действительность, потому что факты. Кто же будет их замечать, их разъянять и записывать? Они минутны и ежедневны, а не исключительны... Мы всю действительность пропустим этак мимо носу. Кто ж будет отмечать факты и углубляться в них?»

Достоевский боролся с поверхностным, натуралистическим описанием фактов, он стремился обобщать отдельные явления жизни и создать типические образы. С этой стороны большой интерес представляет повесть «Кроткая», подлинный шедевр русской классической литературы. Современная критика не случайно выделила этот рассказ. Она писала, что «истинный талант проявился в умении в самой обыденной жизни, в сферах низменного существования выбрать что-нибудь, представляющее живой интерес для читателя»¹. «Русский мир» писал, что автор сумел соединить «простоту и свободу вымысла» с «богатством содержания»².

Критика отмечала, что эта глава из «Дневника писателя» вызвала восторг и с

эстетической точки зрения признана бы шедевром»¹.

Непосредственным толчком для создания рассказа «Кроткая» явились факты из современной жизни. В предверии вести в том же «Дневнике писателя» за 1876 год напечатан очерк под заголовком «Два самоубийства». Достоевский задался над сообщением одного из своих корреспондентов с странного и неразгаданного самоубийства, о котором писатель говорит, что в нем все и снаружи и внутри — загадка. «Эту загадку, по свойству человеческой природы, — писал Достоевский, — я, конечно, постарался как-нибудь разгадать, чтоб на чем-нибудь остановиться и успокоиться». Первый факт, привлекший внимание писателя, было самоубийство Лизы Герцен, дочери крупнейшего русского революционера и писателя-эмигранта.

Другой факт, заставивший задуматься Достоевского, был связан с появившимся в петербургских газетах сообщением, в несколько коротеньких строчек мелким прифтом, как пишет Достоевский, о самоубийстве молодой девушки, «потому что никак не могла прискать себе для пропитания работы». Как отмечает Достоевский, в сообщении прибавлялось, что девушка выбросилась и упала на землю, держа в руках образ. Образ в руках, — говорит писатель, — странная и неслыханная еще в самоубийстве черта. Это уже какое-то кроткое, смиренное самоубийство. Достоевский признается, что «кроткая, истребившая себя душа невольной мучает его мысль», и самоубийство бедной девушки им связывается с самоубийством дочери Герцена. Писатель говорит: «Но какие же, однако, два разные создания, точно обе с двух разных планет, и какие две разные смерти. А которая из этих двух душ больше мучилась на земле, если только приличен и позволителен такой праздный вопрос?»

Итак, факты, почерпнутые из непосредственной жизни, из современной газетной хроники, привлекают внимание Достоевского. Перед взором писателя воочию предстали два противоположных образа. Но Достоевскому были близки оба. В своих романах и повестях он показал женщин типа Лизы Герцен, — властных до жестокости, взыбаломных, но обаятельных. Это Пелина в «Игроке», Настасья Филипповна в «Идиоте», Грушенька в «Братьях Карамазовых». И с другой стороны, Достоевский создал целую галерею образов кротких женщин. Мы встречаем их в «Маленьком герое» и в «Неточке Незвановой», в «Подростке» и в «Преступлении и наказании», встречаем и в «Братьях Карамазовых». Это страдальцы, — существа, обреченные быть мученицами. Их предназначение — жертвовать собой. И вместе с тем эти существа большой силы воли, органической целостности характера, способные на высокую жертву, на подвиг. В «фантастическом рассказе» «Кроткая» Достоевский и ставит задачей вскрыть истоки трагедии кроткого сознания. Трагический конфликт

¹ «Московское обозрение», 1876, № 12. За две недели. «Кроткая» — фантастический рассказ Ф. М. Достоевского.

² «Русский мир», 1876, № 300.

¹ «Одесский вестник», 1876, № 277.

в рассказе создается в итоге столкновения не силы и слабости, а двух сильных натур, каждой в своем роде.

Герои Достоевского обычно многообразны по сочетанию тех чувств и качеств, которые в них заключены. Смирненность часто соединяется с чувством бунта, христианство — с богоборчеством, целомудрие — со сластолюбием и проч. Все эти на первый взгляд немислимые сочетания часто объединяются писателем в одном и том же лице. И с этой стороны чрезвычайно характерны образы героев «Кроткой». Повествователь-ростовщик, человек со сложной биографией, выходец из дворянской среды, бывший офицер, — приходит к своей позорной и низкой деятельности с целью мести обществу, своей среде. Он сам говорит, что «мрачное прошлое, навеки испорченная репутация его чести» томили его каждый час, каждую ночь. Этот «идейный» ростовщик наделен высокой культурой и в разговоре даже цитирует Гёте. Он любит свою жену — Кроткую, и вместе с тем безжалостен к ней и фактически доводит ее до гибели.

Столь же многообразен и многопланен образ героини. Она не только смиренна, — она сильный человек, борющийся за утверждение своей личности, она готова даже на убийство своего мужа. В конце концов ее самоубийство не акт малодушия, а тоже своеобразное проявление душевной силы. Отношения этих двух людей во многом напоминают отношения между Полиной и Алексеем Ивановичем, героями повести «Игрок». Полина любит Алексея Ивановича, но вместе с тем третирует, как лакея. В каждой подробности ее отношения к игроку сквозит, как пишет Достоевский, что-то «презрительное, ненавистное». В свою очередь и Алексей Иванович до конца не осознает, действительно ли он любит Полину, или им владеет не любовь, а ненависть. Достоевский заставляет своего героя задать себе вопрос: «Люблю ли я ее?» «И еще раз, — пишет Достоевский, — он не сумел на него ответить, то есть, лучше сказать, признается он: — я опять, в сотый раз, ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты... что я отдал бы пол-жизни, чтоб задуть ее! Клянусь, если бы возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлагенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением. Я знал это».

Художественные произведения Достоевского в целом так же многоплановы, многообразны по своему содержанию. Замысел «Кроткой» связан не только с показом трагической судьбы женского смирения и здесь не только рассказ о том, как при господствовавших условиях принимались, угнетались в гибели те хорошие, высокие душевные натуры, которые не хотели и не умели бороться. Писатель ставит своей задачей поставить и разрешить в этой повести ту же тему денег. Герой покупает свою любовь. Он надеется именно на

власть денег. И вместе с тем он наделен чертами не только пушкинского скудца, ощущающего сладострастие от отвлеченного сознания той силы, которой он располагает через деньги. Герой покупает душу человеческую и испытывает ту же силу сладострастия. И раба своего, не желающего смириться, бунтующего раба, он приводит к гибели, но в итоге гибнет сам, ибо деньги не только соединяют, но и разлучают людей.

VIII

Как мы видели, Достоевского в течение всей его литературной деятельности занимали одни и те же вопросы. Поставленные писателем проблемы были по сути одними и теми же на протяжении всей жизни Достоевского, ибо это были существеннейшие вопросы, поставленные временем. Но в различное время, в зависимости от социально-политической обстановки в данный момент и от ряда обстоятельств, связанных с обстоятельствами жизни писателя, эти вопросы разрешаются им по-разному. И с этой стороны пора расстаться с распространённым мнением о двух резко отличных во всем Достоевских: до и после каторжного времени. Вопросы морали, гуманности, добра и зла, идеи христианства и социализма, идеи народа и народности — все эти вопросы ставятся Достоевским от 1845 до 1881 года включительно. Так в «Бедных людях» Достоевский выдвигает проблемы бедности и нищеты, и эти же самые вопросы да и те же герои предстанут перед нами и в «Униженных и оскорбленных» и в «Преступлении и наказании». Недаром в черновых материалах к последнему роману Достоевский записывает «Чиновник. Бедность, да не порок. Бедность ничего, но нищета. Мил. Госуд. — нищета — порок. За нищету в полицию тащат, за нищету вас последняя шельма презирает и право имеет, потому что за нищету я сам себя презираю».

Хотя Достоевский связал себя на закате своих дней с реакцией, он вместе с тем не терял надежды на возможность социального переустройства мира. С этой стороны небольшой рассказ «Сон смешного человека», опубликованный в «Дневнике писателя» за 1877 год, представляет громадный интерес. Он лишний раз показывает, что идеи социализма, в круг которых был вовлечен Достоевский еще в пору своей молодости, не были оставлены им до конца его жизни.

Если в 40-х годах он размышлял над произведениями Каба, Оуэна, Фурье, Сен-Симона, Прудона и ряда других утопистов, то и сейчас эти вопросы вовсе не сняты писателем, а, наоборот, являются центральными среди выдвигаемых им проблем, ибо сама жизнь сейчас требует разрешения данных вопросов. Недаром в черновых материалах, связанных с работой над романом «Подросток» и относящихся к середине 70-х годов, мы находим следующие записи: «У нас совсем не знают социализма, но социальные идеи везде носят».

«Подросток» спрашивает: «Вы раз го-

Жорили про женеvские идеи, я не понял. — Женеvские идеи — это добродетель без Христа, — теперешние французские идеи или, лучше сказать, идеи всей теперешней цивилизации». В данных словах, относящихся, по всей вероятности, к Версилову, заключено и личное отношение писателя к социальным проблемам. Для него это также добродетель, но добродетель без надежды на осуществление, ибо она не освещена именем Христа. И к этим идеям, относящимся к социальному переустройству общества, Достоевский обращается беспрестанно, что особо отчетливо видно по повести «Сон смешного человека». Обращаясь к этому «фантастическому рассказу», мы прежде всего должны возразить против той интерпретации, которую дал ему Л. Гроссман в статье «Достоевский и правительственные круги 70-х годов»¹.

Гроссман пишет, что здесь одна из последних попыток Достоевского развенчать «утопистов», — «теоретиков всеобщего счастья», «устроителей человечества». Он утверждает, что рассказ направлен против социализма как утопии, как губительной мечты, с провозглашением необходимости для человечества объединиться единственно на основе евангельской этики. Отсюда и следует вывод, что центральная глава рассказа является новой сатирой Достоевского на утопический социализм. Но на самом деле произведение Достоевского значительно глубже и противоречивее. В этой повести Достоевский возвращается к теме фантастического рассказа И. Тургенева «Призраки». Тургеневская повесть была опубликована в журнале Достоевского «Эпоха» в 1864 году. В письме к Тургеневу Достоевский так оценивал это произведение. «По-моему в «Призраках» слишком много реального. Это реальное — есть тоска развитого и скучающего существа, живущего в наше время, уловленная тоска. Этой тоской наполнены все «Призраки». В письме к брату Достоевский вместе с тем отмечал, что в тургеневской повести «что-то гаденькое, больное, старческое, неверующее от бессилия, одним словом весь Тургенев с его убеждениями». Это разращение Тургеневым большой темы тоски современного человека Достоевский спародирует в «Бесах» (*Mepis*), но самую тему Достоевский не оставит и много лет спустя вернется к ней в своем «Сне смешного человека».

В противоположность Тургеневу, его герой не праздный помещик, занимающийся «глупостями с вертящимися столами», а маленький, несчастный человек, индивидуалист, замкнувшийся в свой интимный мирок и пришедший к отрицанию жизни и самого себя. Этот персонаж вовсе не «герой» писателя, а ненавистное порождение столь же ненавистного современного мира. Выведенный Достоевским человек из подполья отталкивает от себя детское страдание, в то время когда писатель никогда не мог пройти и не проходил мимо него, и вот для героя

единственный исход, исход закономерный — самоубийство. Смерть в грязном номере, в пошлой обстановке, среди пошлых, ничтожных людей. Но вдруг, неожиданно во сне ему раскрывается мир невиданной красоты, этот мир — та же наша земля, «совершенно такая же несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагоприятных, даже детях своих, как и наша». И здесь во сне пред сознанием несчастного человечка снова мелькает образ бедной девочки, которую он обидел, — образ человеческого горя. Но сейчас угидал он человеческого счастья, человеческого любовь, увидал новых людей и понял их сердцем своим, хотя и трудно было ему, «гнусному петербуржцу», отрешиться от старого мира и старых чувств. Новые люди, представшие пред ним, были переполнены любовью, гармонией, счастьем. Но современный человек не мог принести счастья, — он развратил их; как «скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства», так заразил он счастливую безгрешную новую землю. Он научил их лгать, он принес сладострастие, породившее ревность, а ревность принесла жестокость. Люди разъединились, обособились, началась борьба за мое-твое, явилось рабство, неравенство, войны, — явилось все то, что составляло суть реальной жизни XIX века. Но «гнусного петербуржца» не охватывает радость Мефистофеля при взгляде на то разорение, те несчастья, которые он принес. Он жалеет людей, потерявших счастье свое, он простирает к ним руки в отчаянии и обвиняет, презирает и проклинает себя. Он умоляет, чтобы они распяли его на кресте, и учит, как сделать крест. Он полон такого отчаяния, что готов принять смерть, но... здесь он проснулся. И, когда он вернулся снова на свою несчастную, но любимую землю, он понял, что приобрел к истине. Пусть не будет сейчас земного рая, говорит он сам себе, но я все-таки буду говорить о том золотом сне, который предстал передо мной. И он отыскал оскорбленную им девочку, он понял свой долг перед людьми.

Спросим себя — неужели фантастический рассказ Достоевского направлен на развенчание мечты утопистов? Да, мечта утопистов ведь оставалась лишь мечтой. Достоевский понимает, что не суждено утвердить новый день «гнусному петербуржцу», — должны притти новые люди с новыми чувствами, новыми идеями.

Но кто эти люди? — вот вопрос, на который Достоевский не сумел дать правильного ответа. Он видел, что мечта утопистов оказалась развенчанной, что в современности победили не социальные идеи Фурье, Сен-Симона и Оуэна, а грубая сила Тьера и Галифе. Он понимал, что оказалась опровергнутой утопическая теория. Ведь Фурье утверждал, что ценой мучений и страданий, рабства и угнетения достигается настолько высокий уровень индустрии, что может быть уничтожена бедность и осуществлена гармония. Но что же? — Уничтожена ли сейчас бедность, достигнута ли гармония? Нет и нет! В мире все врозь, — отвечает До-

¹ «Литературное наследство», 1934, № 15, стр. 96—97.

стовский, — а положение большинства человечества не только не улучшилось, а, наоборот, ухудшилось.

Достоевский не видел перспектив дальнейшего революционного движения масс, путей достижения золотого сна человечества. Он не видел, что в современности, в том же пыльном, грязном и преступном Петербурге уже оформился тот класс, на который история возложила героическую задачу привести человечество к воплощению высокого идеала. Торжество буржуазии, пошлого и жестокого филлистера, не дало возможности увидеть нового человека, вовсе не чистенького, не отмеченного святостью Зосимы и прекраснородишим Алешей, но вместе с тем подлинного преобразователя судеб человечества. Спустя сорок лет Ленин, приведший трудовые массы к реальному осуществлению великой мечты, скажет: «Старые социалисты-утописты воображали... что они сначала воспитают хороших, чистеньких, прекрасно обученных людей и будут строить из них социализм. Мы всегда смеялись и говорили, что это кукольная игра, что это забава кисейных барышень от социализма, но не серьезная политика. Мы хотим построить социализм из тех людей, которые воспитаны капитализмом, им испорчены, разращены, но зато им и закалены к борьбе... Мы хотим строить социализм немедленно из того материала, который нам оставил капитализм со вчера на сегодня, теперь же, а не из тех людей, которые в парниках будут приготовлены...»¹

Но этот человек, испорченный капитализмом, был не тем «гнусным петербуржцем», которого наблюдал вокруг себя Достоевский, — он был не только испорчен, но и закален к борьбе. И политическая трагедия Достоевского, в особенности в последнее десятилетие его жизни, заключалась именно в том, что хотя он и не оставил своей мечты, пронесенной через всю жизнь, но не видел реальных путей ее осуществления. Гениальный художник-мыслитель, он еще в годы юности видел беспочвенность идеалов утопистов. Достоевский оттолкнулся от ненавистной буржуазной действительности, но он не разобрался в классовых взаимоотношениях современности, и стал утверждать отвлеченные, по сути реакционные утопические взгляды. В итоге Достоевский весь в борении и в утверждении самых противоречивых взглядов. Зло и добро, сострадание и жестокость, реакция и революция — все это жило в сознании этого человека. В посмертном романе «Братья Карамазовы» эти противоречия обнажены с исключительной силой. На протяжении всего романа перед читателем проходит дискуссия по острейшим проблемам философии и морали.

Лев Толстой с большой глубиной вскрыл эту типическую сторону Достоевского. Он говорил, что Достоевский «трагичен, интересен, но поставить на па-

мятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба». Но если нельзя поставить Достоевского в поучение потомству, то вместе с тем нельзя умалять философской и социальной глубины его творчества. Достоевский сумел актуальные философские идеи воплотить в конкретные живые личности, которые стали жить полной жизнью на страницах его романов, увлекательных по своей завязке, трагических по насыщению конфликтами.

А. М. Горького привлекло к Достоевскому то отрицание феодальной действительности, которым проникнуты его произведения. «Вспомните ту же Салтычиху, генерала Измайлова, помещика Кашкарова и всех этих людей, которые прижигали крепостных каленым железом, вырывали у женщин груди, и поролы, поролы, поролы, — писал Горький.

Должен был явиться человек, который воплотил бы в своей душе память о всех этих муках людских и отразил эту страшную память — этот человек Достоевский»¹.

Но не только крепостнический, феодальный мир заклеил и отверг Достоевский.

Достоевский был кровно связан со своей эпохой, и противоречия этого капиталистического времени он с поразительной глубиной и яркостью отразил в художественных образах своих романов и повестей.

Он не сглаживал противоречий современной жизни, а в большистве произведений обнажал их с потрясающей, подлинно рембрандтовской суровостью и шекспировской силой. В 1878 году Достоевский сам писал: «Я убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это. А ведь многим существам только и надо, чтоб их убаюкали»².

Достоевский умер в 1881 году, накануне 1 марта — дня казни Александра II. Выйдя в 1854 году из сибирского мертвого дома, Достоевский в конце своей жизни сам вернулся в мертвый дом реакции.

Несмотря на все ошибки, все срывы, которые были свойственны Достоевскому, несмотря на то, что «голос зла» был в нем часто сильнее «голоса добра», наша социалистическая эпоха не может не отдать дань гениальному писателю. Вспомним, что за подписью В. И. Ленина 2 августа 1918 года в «Известиях» был опубликован «Список лиц, коим предложено поставить монументы в г. Москве и других городах Российской Федеративной Советской Республики». На первом месте этого списка в разделе «Писателей и поэтов» было имя Льва Толстого, а на втором — Федора Достоевского.

¹ М. Горький. «История русской литературы». Гос. изд. «Художественная литература», М., 1939, стр. 251.

² Письмо Л. А. Ожигиной от 28 февраля 1878 года.

¹ Ленин. Собр. соч., т. XXIV, стр. 64—65.

Заметки о современной поэзии

1

Перед советской поэзией стоит задача более сложная, чем изображение тех человеческих переживаний, которые были столь богато разработаны в лирике прошлого.

Маркс писал в свое время о том, что «класс имущих и класс пролетариата одинаково представляют собой человеческое самоотчуждение. Но первый класс чувствует себя в этом самоотчуждении удовлетворенным и утвержденным, в отчуждении видит свидетельство своего могущества и в нем обладает видимостью человеческого существования. Второй же класс чувствует себя в этом отчуждении уничтоженным, видит в нем свое бессилие и действительность нечеловеческого существования» (Собр. соч., т. III, стр. 55). Выход из этого положения может дать лишь коммунизм, в нем — «истинное решение спора между человеком и природой и человеком и человеком». Лишь коммунизм может создать «человеческого человека» (там же, стр. 622).

Эти мысли Маркса следует поставить в связь с известным его указанием на то, что искусство не может полностью развиваться в капиталистическом обществе: «Капиталистическое производство враждебно некоторым отраслям духовного производства, каковы искусство и поэзия» (Маркс и Энгельс, «Об искусстве», изд. «Искусство», стр. 89).

Эта ограниченность искусства, и в частности литературы, в условиях капиталистического развития является необходимым следствием ограниченности человека в этих же условиях. «Материалом художественной литературы, — писал Горький, — служит человек со всем разнообразием его стремлений, деяний, человек в процессе его роста или разрушения» («О литературе», 1937 г., стр. 343).

Характер изображения человека в искусстве определяется, естественно, положением человека в обществе. «Нечеловеческое существование», на которое обречен был человек в прошлом, диктовало писателю выбор тем, сюжетов, характеров. В своем стремлении к целостному изображению человека он сталкивался с жизнью, в которой искажалась подлинная

благородная сущность человека. Отсюда основная магистраль искусства в прошлом — магистраль критического реализма. Отстаивая подлинного человека, художник рисовал падение, до которого доводило человека капиталистическое общество. Мистер Домби Диккенса, Гобсек Бальзака, Плюшкин или Собакевич Гоголя — эти образы с достаточной яркостью говорят о том, какое содержание диктовала жизнь великим художникам прошлого. Понятно, что к этому кругу образов нельзя свести литературу прошлого, она умела находить в человеке своего времени подлинные человеческие черты, создавая образы такой немеркнувшей красоты, как образ Татьяны в «Евгении Онегине», как «Мцыри» и другие, но на этих образах чаще всего лежит печать или трагизма (как на Татьяне), или отрыва от реальности, мечты, противопоставленной жизни (как в «Мцыри»). Это не было, конечно, виной художников прошлого, это их беда, определявшаяся всем характером общественного развития.

Возникновение социалистического общества явилось новой эрой развития человечества, ибо на месте «нечеловеческого человека» в жизнь пришел «человеческий человек». В корне менялось и содержание социалистического искусства, ибо в его основу легли такие формы общественных взаимоотношений, которым уже нельзя найти аналогии в прошлом. Это не значит, что советское искусство оторвано от искусства прошлого. Советское искусство развивается на основе гуманистических традиций великого классического искусства, но имеет возможность реализовать эту традицию на новом человеческом материале, в новых общественных условиях, определяющих новизну его содержания и формы.

Советское искусство — это новая и высшая ступень в развитии искусства, так же как социалистическое общество есть новая и высшая ступень общественного развития. И советская лирика — новая лирика. Поэтому при своем возникновении она должна была решать совершенно новые задачи.

Советской лирике нужно было уловить новый тип человеческих переживаний, обобщить и выразить новый мир чувств

человека социалистического общества, в котором уже не имел места антагонизм между человеком и обществом, столь характерный для общества классового. Если для лирики прошлого характерно было бегство лирического героя от «страшного мира» (Блок) в замкнутый круг личных переживаний, иногда приводивших его к полному отрицанию этого мира («только грязи ком весь шар земной». — Дж. Леопарди), то лирика нашей современности должна была искать средства для выражения совершенно противоположных чувств — единства человека и мира, человека и общества, а это требовало пересмотра всего арсенала поэтических средств прошлого.

Таким образом, речь шла не только о решении новой творческой задачи, а и о создании тех средств, которые были необходимы для решения этой задачи. Поиски этих средств начались еще давно — до октября. И это понятно, конечно. Социализм не есть нечто статическое. Он представляет собою процесс борьбы за создание нового общества; и по мере того как развивалась эта борьба — развивались и элементы социалистической поэзии — поэзии социалистического реализма.

2

Понятно, что до Октября, до победы революции, эти поиски развивались, главным образом, в направлении критики старых общественных устоев, с точки зрения тех новых идеалов, которые рисовались еще вдали.

Социалистический реализм до Октября развивался прежде всего, вбирая в себя ту традицию классической литературы, которая была связана с критикой старого мира. Эпос (повествовательные жанры социалистической литературы) развивается до Октября быстрее и полновеснее, ибо он опирается на традиции критического реализма, тогда как лирике надо было гораздо резче отрываться от традиций, чтобы нащупать новые формы выражения чувств социалистического человека. Творчество Александра Блока, чрезвычайно глубоко раскрывавшего неприемлемость старого мира, (Задолго до Октября призвал Блок:

Пускай грядущего не видя,
Дням настоящим молвить — нет!)

а также и других больших поэтов — Валерия Брюсова, Андрея Белого, было не в состоянии непосредственно помочь оформлению новой лирики, а, наоборот, требовало вначале известного преодоления, глубоко полемического к себе отношения. Не случайно то обстоятельство, что ранние пролетарские поэты, пытавшиеся высказать новое, революционное отношение к миру при помощи традиционной системы выразительных средств лирики, не могли нащупать адекватных новому содержанию поэтических форм. Прав т. Владимирский, подчеркивающий ориентацию многих этих поэтов на традиционную поэтику.

«В своем развитии правдивская поэзия, конечно, испытала влияние со стороны еще господствовавшего символизма. Влияние это можно проследить на творчестве А. Маширова-Самобытника, А. Астрова, Л. Старка (Бальмонт), В. Кожевникова (Брюсов), Дм. Семеновского (Блок) и др.. Когда Самобытник описывал заводскую действительность, облакая ее в бальмонтские пеонизированные, «медленные» строки, то это ощущалось как эпитонство, как эклектическое смешение стилей, как несоответствие формы содержанию... С подъемом новой революционной волны 1914 года мы видим, что основным источником учебы остается учеба у классиков русской поэзии. На первом месте здесь стоят Пушкин и Лермонтов (особенно у Маширова, Одишова, Бердникова) и Некрасов. Известное влияние оказал Языков» (Г. Владимирский, «Поэзия эпохи «Звезды» и «Правды», сб. «Пролетарские поэты», т. II, изд. «Сов. писатель», 1936 г., стр. XX).

В самом деле, в стихотворении Н. Бердникова «С работы» несомненно наличие элементов нового, которые могли бы выйти за пределы той лирической традиции, которая господствовала в поэзии. Но в нем настолько очевидна подчиненность этой традиции, что это новое полностью растворяется в ней.

Н. Бердников. «С работы» (сонет).

Уж гаснет в небесах закат зари багровой,
Темнее день в эфире голубом.
А он, бедняк, измученный трудом,
Бредет, как тень, к семье с нуждой суровой.
Над ним, кружась, гремит корабль
воздушный,
Под ним гранит и грязных улиц пыль,
А там, вдали, листово равнодушной
Шумит зеленый бор и шепчется ковыль.

Но шум лесной.. всю жизнь родной природы
Он променял невольно на заводы,
На бедный кров.. и все же счастья нет.
Но верит он, что тяжкий труд недолог,
Что с каждым днем редет ночи полог,
Что шум растет.. и близится рассвет.

(Сб. «Пролетарские поэты», т. II, стр. 176.)

Для того, чтобы понять всю неприемлемость старой поэтической традиции для новой лирики на первых порах ее развития (именно на первых, позднее мы к этому вернемся), нужно отчетливо представить себе то взаимодействие формы и содержания, которое характерно для лирики.

В отличие от драматических и повествовательных жанров (романа, поэмы), лирик не дает изображения жизни в процессуальной, так сказать, форме, он рисует лишь отдельные переживания, возникающие и заканчивающиеся тут же — на глазах читателя. Потенция справедливо замечал, что эпос всегда написан как бы в прошедшем времени, рассказывает о том, что уже было, и о чем автор как

бы вспоминает для читателя, тогда как лирика всегда написана в настоящем времени, автор ставит читателя лицом к лицу с непосредственным человеческим переживанием, вызванным теми или иными обстоятельствами жизни, и поэтому позволяющим судить об этой жизни.

Лирик не располагает возможностями последовательного развития характеров, напряженностью сюжета и рядом других средств, благодаря которым эпические и драматические произведения придают тому, о чем они рассказывают, жизненно-убедительную форму, заставляющую читателя ощущать художественное произведение в момент его восприятия, как непосредственно волнующий жизненный факт.

Лирик достигает этой непосредственной жизненной убедительности, без которой произведение искусства не может достигнуть художественной завершенности, иным путем. Он должен воплотить данное переживание в такую словесную форму, которая по своей эмоциональной окраске, по лексике, по интонации, по ритму, по всем особенностям живой, индивидуальной речи отвечала бы этому переживанию и, тем самым, как бы превращала его в непосредственный жизненный факт, волнующий читателя, вводящий его в тот художественный мир, который создан поэтом.

Новому типу переживаний и надо было найти новые речевые формы, отвечавшие им по своей эмоциональной выразительности, так как вне этих форм самое новое содержание не имело возможности проявить себя. Для того чтобы стать богатым и развитым содержанием, оно должно было найти отвечающую себе форму. Маяковский так остро ощущал неприемлемость старой поэтической формы, потому что она не давала проявиться новому содержанию.

В этом объяснение его временной связи с футуристами, выступавшими против старой поэтической формы. Но у футуристов протест против старой формы был результатом бедности содержания, которое и искало для себя примитивных форм выражения и поэтому тяготилось старой, но ко многому обязывавшей поэтической традицией. В творчестве футуристов — Бурлюка, Крученых, в значительной мере и Хлебникова — человек сведен к своим простейшим проявлениям, возвращен к первобытности. Русский футуризм в своей основе был продуктом распада буржуазной культуры, его мнимая утонченность прикрывала глубокую внутреннюю опустошенность. Но в то же время в его нигилистическом отношении к старой поэтике была и известная объективная значимость: ощущение необходимости каких-то перемен, каких-то сдвигов. Футуризм был ценен тем, что он ставил очень существенные вопросы, хотя и не был в состоянии эти вопросы решить. Именно поэтому мог примкнуть к футуризму Маяковский. Он сам четко определил потом то, что его отличало от футуристов: «У Давида — гнев обогнавшего современников мастера, у меня — пафос социалиста,

знающего неизбежность крушения старого» («Я сам», т. 1, стр. 18). Это различие совершенно отчетливо: у Бурлюка ~~пафос~~ вольство существующим — формальство Маяковского оно вытекает из нового отношения к действительности.

Ощущая неприемлемость старой поэтической традиции, Маяковский исходил из совершенно других предпосылок, чем футуристы, ибо у него уже было то новое содержание, которое требовало для своего полного проявления новой разработанной формы.

Это новое содержание было подсказано Маяковскому не теми узкими, чисто литературными связями с футуристами, в которые чаще всего указывают. Оно было подсказано ему теми общественными настроениями, которых он не мог как большой художник не чувствовать. Болотного — это новое содержание было развито Горьким, давшим в ряде произведений, и прежде всего в романе «Мать», на фоне широкого критического изображения эпохи и новый тип отношений к жизни человека-революционера.

Но у Горького этот человек был дан эпически, т. е. в событиях, в поступках, в объективно показанной системе действия, в которой он проявлял себя в жизни. Маяковский же должен был показать этого нового человека лирически, т. е. отразить действительность через внутренний мир человека, по-своему воспринимающего мир, несущего в него социалистические идеалы. К осуществлению этой задачи Маяковский, естественно, приближался постепенно, с трудом нащупывая основные черты своего поэтического образа и новые средства его поэтического выражения (подробнее об этом пути Маяковского см. в моей работе «Поэтика Маяковского» «Сов. писатель», 1940 г.).

Основное в поэтике Маяковского еще до Октября — это тот пафос человека, который отличает его буквально от всех поэтических направлений тех лет.

Футуризм, как уже говорилось, не в состоянии был вообще подняться до сколько-нибудь полновесного образа человека. Акмеисты — при всем их стремлении к патетике сильной человеческой личности, к прославлению «конкистадора в панцире железном», «мореплавателя и стрелка» — не могли осуществить этой задачи, ибо их идеал человека, по сути, античеловечен, — это образ угнетателя. Акмеизм — это вспышка агрессии тех чувств, которые историей уже обречены на гибель. Поэтому-то в творчестве акмеистов все время прорываются упадочные, мистические, безнадёжные ноты:

Я, что мог быть лучшей из поэм,
Дивной скрипкой или розой белою,
В этом мире сделался ничем —
Вот живу и ничего не делаю.

(Гумилев).

Наконец, Блок — лирик исключительной теплоты, искренности и человечности с его мечтой о гармоническом человеко-артисте, не мог все же осуществить ее в своем творчестве. Он писал:

О, я хочу безумно жить!
Все сущее увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхалось в этом сне,
Быть может юнопа веселый
В грядущем скажет обо мне.

Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

Но все его творчество говорило о том, что он не был в состоянии преодолеть свое «угрюмство». С огромной силой показав страдания человека в «страшном мире», ненавидя этот мир, Блок не видел все же человека — строителя нового мира. Лирический образ его поэзии — это человек, жертва, но не борец. Именно у Маяковского, при всем трагизме, характерном для раннего периода его творчества, создается новый в русской — да и в мировой — поэзии лирический образ человека — строителя нового мира, который «держит в своей пятерне миров приводные ремни», человека, «идущего через горы времени, которого не видит никто».

Послеоктябрьский период творчества Маяковского, возглавляющего развитие советской поэзии, и представляет собой все более многомерное, многопланное раскрытие лирического характера советского человека.

20—30-е годы в истории советской лирики — это годы утверждения основных решающих черт этого характера — человека борца и строителя.

Его интимный мир в этот период отодвинут на задний план. Традиционные лирические темы вызывают опасение возврата к индивидуализму. Поэт готов совсем отказаться от своей индивидуальности, как это делает Маяковский в «150.000.000». Известные слова Маяковского о том, что он «себя смирял, становясь на горло собственной песни», как раз и говорили о том, что поэт должен раскрывать себя лирически, именно в общественном плане, что строй человеческих чувств, более частных, может помещать выражению основного, ведущего в человеке. Это было естественным принципом, выражавшим основные тенденции советской лирики, необходимым этапом ее развития; но чем отчетливее утверждался этот принцип, тем в большей мере он освобождал и те частные лирические темы, которые первоначально как бы вытеснял из лирического кругозора.

Накопив уже большой опыт в разрешении проблемы личного и общего по-новому, в ее наиболее важных общественных проявлениях, советский поэт должен был, исходя из этого накопленного лирического опыта, обратиться и к частной лирической теме. Если раньше она, в известной мере, пугала возвратом к индивидуалистической позиции поэта по отношению к миру, то теперь он обладал уже достаточной силой для того, чтобы разобрат-

ся и в этом строе чувств. И в то же время этот строй чувств все более отчетливо требовал своего выражения. Советскому человеку открыт весь мир, во всем его богатстве и сложности, поэтому все то, что волнует и радует человека, от самого простого до самого сложного, должно быть достойным советской лирики. Дело ведь не в том, что социалистическому человеку чужды все чувства, которые испытывал человек прошлого. Они присущи в известной мере и ему, — конечно, дело в новом качестве этих чувств, вытекающем из иного отношения человека к обществу.

И не случайно поэтому, что в последнее время у нас появились поэты, в творчестве которых с особенной отчетливостью начала звучать эта частная тема, ибо она дополняет лирику более общего порядка, расширяет диапазон тех чувств и мыслей, с которыми мы обращаемся к миру. Здесь нет чего-то принципиально противоположного традициям советской лирики, наоборот, — это закономерное их расширение и, прежде всего, расширение традиций лирики Маяковского. Современность и человечность — эти основные начала его творчества — сейчас могут быть раскрыты на жизненном материале новых человеческих взаимоотношений, который раньше не был столь определенным. Включение этого материала в поэтический кругозор представляет собой реализацию той же творческой традиции, но в новых условиях, на новом материале, и поэтому — в новых формах.

3

Недавно вышла книжка С. Щипачева «Стихи» (изд. «Сов. писатель», М. 1940). В центре ее темы, которые на первый взгляд могут показаться старинными: любовь, природа, надвигающаяся старость, мысли о смерти. Но в то же время у читателя возникает ощущение глубокого родства этих тем с основными темами советской поэзии. Это чувство возникает потому, что свои личные темы Щипачев решает не только для себя, — в его «Я» все время живет «мы», и это придает его лучшим стихам ту высокую человечность, которая и является основным признаком социалистической поэзии, с какой бы внешней темой она ни была связана. У могилы бойца Щипачев ощущает значительность своей песни, которая сохранит погибшего для жизни:

Затих печальный звон лопат.
Земную не оспоришь силу.
Засыплют листья у Карпат
Красноармейскую могилу.
Она осядет от дождей,
От снега в ледяные ночи,
Зеленоватую на ней
Стальную каску ржа поточит.
А если это так — должна
Хоть песня с временем поспорить,
Как боевой клинок в ножнах,
Как эта синева предгорий, —

и наоборот: он также полно чувствует, чем он обязан погибшему:

Светят звезды. Город сном повит.
Ты влюблен, ты обо всем забыл.
Но, быть может, счастлив ты в любви,
Потому, что он — не долюбил.

Самое предчувствие старости у Щипачева не отрывает его от жизни:

Ну что ж, мы были в жарком деле.
Пройдут года — заговорят,
Как мы под тридцать лет седели
И не старели в шестьдесят.

И тема смерти звучит у Щипачева без той пессимистической окраски, к которой приучили нас лирики прошлого (почти без исключения), потому что чувство жизни настолько полно и, главное, ощущение единства с жизнью окружающей человека настолько отчетливо, что не остается места этому пессимизму:

Мне кажется порой, что я
Вот так и буду жить и жить на свете.
Как тронет смерть, когда кругом друзья,
Когда трава, и облака, и ветер —
Все до пылинки—это жизнь моя. (стр. 44).

И тема смерти, оставаясь, естественно, трагической, разрешается все же оптимистически, ибо трагедия действительно может быть оптимистической тогда, когда она понята не изолированно, а в целом, в движении. Трагична гибель человека. Но если эта гибель привела к счастью других людей, если человек, погибая во имя этой цели, поднялся на вершины подлинного человеческого духа, — эта трагедия возвышает. И если человек мыслит свою жизнь как часть большого целого, если сумел понять себя в каком-то целостном движении, то и его отношение к необходимости смерти получает в какой-то мере оттенок свободы. Трагизм этого переживания теряет свой неукротимо мрачный характер. И это дает именно социалистическое отношение к миру, которое сумел конкретизировать в своих стихах Щипачев в применении к личной теме:

Начало пятого, но мне не спится.
Мутнеет вьюга. Ночь летит в рассвет.
Земля, как заведенная, вертится...
Пройдет и сто, и десять тысяч лет,
И Дальний век (мы и о нем мечтали)
Все так же станет вьюгами трубить.
В той, даже мыслям недоступной, дали
Хотел бы я хотя б снежинкой быть,
Чтоб, над землею с ветром пролетая,
На жизнь тогдашнюю хоть раз взглянуть,
Пушинкою над тополом порхнуть
И у ребенка на щеке растаять. (стр. 29).

Этот глубокий оптимизм, это радостное чувство жизни, покоряющее неистребимый страх смерти, — характерная черта социалистической лирики.

С. Щипачев сумел конкретизировать их применительно к простым чувствам простого советского человека, — и в этом его заслуга, его своеобразное новаторство, ибо оно состоит прежде всего в том, что поэт дает читателю образы, расширяющие его жизненный опыт, заставляющие ощутить то, чего он до сих пор не видел, над чем не думал. Блок в свое время

говорил, что его стихи о Прекрасной даме можно рассматривать как «Роман в стихах».

И надо сказать, что в том облике поэта, который возникает после прочтения последней книжки стихов Щипачева, несомненные элементы (не будем пока говорить о большем) типичности.

Представление о социалистическом человеке стало у нас благодаря стихам С. Щипачева в чем-то глубже и содержательнее, потому что он не побоялся подойти к старым — на первый взгляд — темам и показал, что дело не только в самой теме, но и в том, какое содержание сумел поэт в ней раскрыть.

4

А. Твардовский — поэт, во многом непохожий на С. Щипачева. Он — прежде всего — поэт эпической складки. Он предпочитает больше говорить о других людях, чем о себе; в его стихах все время сталкиваешься с развернутым изображением характеров, с сюжетными ситуациями. И дед Данила, и Матрена, и Фролова с дочерью («Мать и дочь»), и Поля Казакова — все эти персонажи из «Сельской хроники» — четко очерченные люди, каждый со своей определенной индивидуальностью. Но в центре внимания читателя — прежде всего лирический образ поэта, того, кто показывает ему в жизни именно этих людей, именно эти, а не иные их чувства. И вот здесь и ощущается творческая переключка между Щипачевым и Твардовским.

Твардовский ищет новое в рядовом советском человеке, в самых простых жизненных ситуациях и умеет это новое находить.

Его «Сельская хроника» заставляет ощутить, как глубоко проникли социалистические чувства в сознание людей советской деревни. В стихотворении «Семья кузнеца» говорится о переезде кузнеца на Дальний Восток. Заканчивается стихотворение чрезвычайно ярким штрихом: уезжая, старик отказывается от древнего обычая:

Дедовский край покидая,
Не брал он на память щепотку земли —
своя она вся и родная.

Вот это коренное изменение в сознании человека и составляет основное содержание лирики Твардовского. Лирический образ поэта, им созданный, — это образ человека, бережно ищущего в людях, взятых в их обыденной, будничной обстановке, — основного: социалистического отношения к жизни. В «Рассказе Матрены» победительница в соревновании стремится прежде всего к тому, чтобы научить свою соперницу работать так же хорошо, как и она сама:

Всю как есть мою науку,
Может каждый перенять:
Ей бы только-только руку
Хорошо свою понять.

Деревенский гармонист приходит на свадьбу девушки, к которой он «три года

ходил», в которую «три года был влюблен»:

Но вот прервался шум и звон.
Мелькнула тень в окне,
Открылась дверь — и входит он
С гармонью на ремне.

Ситуация — угрожающая, но люди уже иные, и столкновение гармониста с женихом разрешилось совсем в ином плане, чем ожидали присутствующие, — в состязании танцора-жениха с гармонистом:

И, утирая честный пот,
Я на кругу стою.
И он мне руку подает,
А я ему свою.

И целый ряд людей и ситуаций, любовно и мягко раскрытых Твардовским, показывает с необходимой художественной убедительностью, как меняется старый строй чувств и создается новый, подлинно человеческий, в самых простых жизненных отношениях; и в этом основном выводе, к которому Твардовский приводит читателя, опять-таки есть подлинная творческая новизна.

5

В последнее время у нас встал вопрос о творческих направлениях. Богатство содержания социалистической литературы естественно и необходимо определяет богатство и разнообразие форм выражения этого содержания. В отличие от прошлого, эти направления уже не вступают в борьбу друг с другом, не исключают остальные направления, наоборот, задача их в том, чтобы дополнить друг друга, суметь подойти к жизни с такой ее стороны, которую еще не осветили другие.

У нас нет еще определенных творческих направлений, но мы вправе говорить об известных творческих тенденциях в советской литературе.

Мы здесь выделили творчество Твардовского и Шипачева, потому что в них намечаются весьма здоровые тенденции, расширяющие границы современной жизни, позволяющие полнее показать человека современности.

Это расширение состоит в том, что в поле их поэтического зрения вошли темы, которые мало привлекали к себе внимание других наших поэтов, темы, связанные с изображением простых, будничных, традиционных, если угодно, человеческих чувств. И на этих темах с неожиданной отчетливостью обнаруживается новое содержание этих традиционных чувств. Не отменяя и не отстраняя других творческих путей советской лирики, эти тенденции, думается, доказывают свою плодотворность и закономерность.

Не случайно, что Шипачев и Твардовский не боятся упреков и в традиционности внешней стихотворной формы. Их ритмы и интонации близки к уже привычным формам классической поэзии. Нет ли здесь просто «повторения пройденного», дурной «архаизации»? Надо сказать, что вопрос об архаизации поэтической формы впоследствии привлекает к се-

бе внимание и поэтов и критиков. Различны и формы ее и причины, но так ли следует уж ее бояться, так ли уж ультра-современность ритма и рифм свидетельствует о новаторстве и современности содержания?

Для того чтобы кратко ответить на этот вопрос, нужно представить себе, в чем суть стихотворной формы, в чем необходимость обращения поэта к стиху. Думается, что в основе ее лежит прежде всего то, что можно назвать типизацией эмоциональной речи. Рисуя человеческие переживания, поэт конкретизирует их при помощи речи, отвечающей своим строем этим переживаниям, т. е. речи, прежде всего эмоциональной.

Но как образ представляет собой наиболее сосредоточенное, сгущенное изображение жизни, отбрасывающее случайное, выделяющее главное, так и поэтическая речь стремится к этой же концентрированности, сгущенности, к отбору наиболее острых, эмоционально окрашенных элементов речи. Отсюда — напряженность ее интонаций, краткость синтаксиса, ощутимость каждого слова, как самостоятельного весомого элемента речи, подчеркнутость ритма.

Стих и есть концентрированное эмоционально-речевое выражение определенного строя человеческих переживаний. Это прекрасно понимал Маяковский. Он говорил в 1924 году: «Месяц тому назад во время работы, когда Брик начал читать «Евгения Онегина», которого я знаю наизусть, я не мог оторваться и слушал до конца и два дня ходил под обаянием четверостишия:

Я знаю: век уж мой измерен,
Но, чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Конечно, мы сотни раз будем возвращаться к таким художественным произведениям... тысячи раз учиться этим максимально добросовестным творческим приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли» (Собр. соч., т. XII, 1937, стр. 74).

Эти слова Маяковского лучше всего раскрывают смысл стиха как «верной формулировки... чувствуемой мысли», превращения ее в интонацию, ритм — в живую речь.

Понятно, что различие переживаний — этих «чувствуемых мыслей» — определит и различие тех форм их речевой конкретизации, которые для них необходимы.

В свое время поэты-классики создали весьма разработанную систему ритмов и интонаций, обобщивших, типизировавших различные формы эмоциональной речи.

Маяковский пришел в литературу с совершенно новым строем переживаний, поэтому ему необходимо было создать новые формы типизации речи — речи, как мы говорили вначале, исключительной эмоциональной напряженности. Это необычайно расширило возможности стиха, насытило его новыми формами эмоцио-

нальной речи, не известными нашей классической поэзии. Но он вовсе не отрицал, не исключал то, что было найдено этой поэзией, а дополнял ее, расширял, открывал то, что не было открыто ею.

Поэтому-то система стиха Маяковского не исключает классический стих, но лишь ограничивает его применением, показывая, что о многом можно говорить более точно и сильно, чем говорилось раньше. Но в целом ряде случаев те принципы типизации речи, которые были известны классической поэзии, сохраняют свою силу и сейчас, поэтому-то мы и наблюдаем живучесть ее форм.

И целый ряд переживаний, рисуемых современным поэтом, если они не требуют той эмоциональной напряженности, которая доступна только поэтической систе-

ме Маяковского, может быть в достаточной мере полно выражен и при помощи тех принципов типизации эмоциональной речи, которые были найдены классиками.

«Архаический» ритм, таким образом, может иногда звучать весьма убедительно в связи с современным переживанием, и «современный» ритм не поможет поэту, если в его произведении нет действительно близкого современности переживания.

«На вооружении» советской поэзии должны состоять оба эти рода оружия: и стих Пушкина и стих Маяковского, ибо они не исключают друг друга, а дополняются друг другом. Думается, что, учтя это, советская поэзия не обеднит, а обогатит арсенал своих выразительных средств.

Новогодние стихи

Новогодняя ночь как бы ложится рубежом времен между прошедшим и будущим. Человек в эту ночь стоит на пороге нового времени в раздумьи о пройденном пути, в мечтах о предстоящей дороге.

Все люди Страны Советов хотят прожить наступающий год еще достойнее, счастливее и прекрасней, чем минувший, мечтают сделать на благо своей родины больше и лучше, чем в прошлом году.

Большие мысли и большие чувства встречают советского гражданина на пороге нового года, мысли, овеянные пафосом борьбы и побед.

Минувший 1940 год был годом боевых испытаний, годом огромных сдвигов, радостей и свершений для советского народа, народа-освободителя. Озаренный заревом войны, охватившей крупнейшие страны капиталистической Европы, — значительную часть восточного полушария, — и грозящей захлестнуть западное, встает 1941 новый год.

Какие новые битвы, труды и победы принесет он? Человек, выросший в делах сорокового года так, как не растут за иные десятилетия, охвачен серьезным раздумьем. Он думает о больших подлинно новых делах и явлениях, он мечтает о будущем Родины и своем. Каким станет завтра их новое лицо?

Мы вправе ожидать поэтому, что те советские поэты, которые поднимут в эту ночь свой стих за новый год, ответят в какой-то мере на раздумье читателя: силой своего поэтического видения приоткроют перед ним завесу будущего и в свете этого будущего покажут достижения и недостатки миновавшего.

К сожалению, далеко не все поэты, выступившие в новогодних номерах крупнейших газет, оправдали возлагавшиеся на них надежды. Нельзя сказать, чтобы новогодние стихи были плохи, нет, большинство из них хорошо, добротнo сделанные рядовые стихи, которые в обычное время приятно было бы прочесть, — и только.

В новогоднем номере «Известий» помещена хорошая лирическая картинка Твардовского — молодые бойцы финского фронта на отдыхе в землянке. Здесь есть

серьезная мысль, здесь звучит мотив роста человека:

Как все расти у нас спешили!
Вот были дети, вот бойцы
Идут, воюют, как большие,
Как воевали их отцы.

Хорошее, ясное стихотворение, но к новому году оно имеет самое косвенное отношение.

Ближе к теме подходит Людас Гира в стихотворении «Итог», опубликованном в «Правде» от 1 января 1941 года. В стихотворении этом, написанном под несомненным влиянием Маяковского и несколько напоминающем ранние советские стихи Владимира Владимировича, Людас Гира предъясвляет счет старому миру. Обращаясь к «бухгалтерам и счетоводам в ведомствах капиталистического строя», он требует у них «баланс тысяча девятьсот сорокового года».

..что дал миру
Гений великих европейских наций,
Сколько тысяч тонн снарядов
и разных бомб
Взорвалось
во славу
культуры и цивилизации.

«Жалко весь ваш баланс», — резюмирует поэт. Грядущий год принесет народу новое счастье

Лишь тогда,
когда
старому году
Подсчет станут делать
работники
Сталинской эры.

В стихотворении Гира есть мысль, связанная с рубежом двух лет, но эмоциональное наполнение строк стихотворения (по крайней мере в переводе) недостаточно сильно, стихотворение произнесено как бы слегка приглушенным голосом, неполным дыханием, а то, что формально оно находится в большой зависимости, делает его менее самостоятельным, менее новым. Новизна — это то, чего недостает большинству новогодних стихов, а как раз новизны-то, в самом точном и подлинном смысле этого слова, и хотелось бы от поэтических произведений, повествующих о но-

вом годе нового мира. Новизны и полноты мысли, чувства и их выражения вправе ожидать читатель.

Пожалуй, стихотворение Лебедева-Кумача «Хорошо шагать нам, родина, с тобою!» выгодно отличается от других небольших новогодних стихов, именно полнотой мысли и ее выражения. Это стихотворение — одно из лучших у Лебедева-Кумача, и удача его напоминает удачу его же песни о родине. Это специфическая удача именно Лебедева-Кумача, основанная на умении своевременно сформулировать мысли и чувства, которые возникли и живут в народе. Очень простые, казалось бы, но, тем не менее, большие и общие для всех. В своем новогоднем стихотворении Лебедев-Кумач сумел охватить то основное, о чем мы раздумываем на рубеже нового года, огромные перспективы, заложенные в итогах пройденного пути.

Можно землю повернуть с таким народом,
Солнце выплавить с такой страной, как
наша!

Стихотворение Лебедева-Кумача, как и стихотворение Бажана, помещенное 31 января в «Правде» — хорошие новогодние тосты, с которыми не стыдно выступить перед советским народом.

Ответственность поэта, выступающего перед лицом нового с поэмой, само собою разумеется, значительно повышается. Поэма — не новогодний спич, здесь мало риторики и пафоса, здесь не отделаешься лирической картинкой. Поэма требует развернутого нового образа подлинно нового человека. В поэме советский читатель хочет увидеть лицо героя своего времени, хочет увидеть характер, обогащенный испытаниями и радостью прошедшего, серьезно мыслящего, готового к новым великим делам. Маляр Мякин из поэмы Семьицина, помещенной в новомодном номере «Литературной газеты», выдается читателю за такого героя нашего времени, типического героя советской эпохи. Маляр Мякин как будто бы действительно новый человек. Он любит свой труд, как художник. Он не понимает, как могут люди жить в праздности.

Дураки, залушки в тепле,
Первой радости не знают на земле.

Сам он, Федя, не взял бы и десяти миллионов, если бы взамен их у него потребовали бы отказа от любимого труда.

Мякин, по замыслу Семьицина, гармоничный человек социалистической эпохи. Он интересуется наукой, в каких-то целях держит целый подопытный зверинец домашних животных. Мало того, Федя еще и поэт. Даже идя на работу, он сочиняет стихи для ребятишек. Казалось бы, чего же еще? — образ гармонического человека налицо. Но, к сожалению, в поэзии не все так просто, как кажется. Мало придумать правильную схему, план, надо еще облечь этот план плотью и кровью. И далеко не все равно, какая это будет плоть и кровь.

Посмотрим, как изображен Федя Мякин? Вот его наружность:

Борода у Феди — божья,
Накрывает весь лоток.
На руках у Феди кожа,
Как на пятках — молоток.

Эта внешность — внешность дореволюционного мастерового, возможно, придана гармоническому Мякину лишь для колорита. Посмотрим, как работает Мякин. Работает он с увлечением и при этом еще размышляет о радостях труда, но работает Федя один, вне коллектива. Коллектив даже бы представляется ему некоей препоной в труде. Вот он приходит на работу раньше всех, он переживает великолепный трудовой порыв.

Надо всю бы подождать бригаду,
Да намылить шею малярам, —
Штукатуры третью смеяну краду
Проскочили наперед вчера.

Очевидно, Федя покажет сейчас образец ударного труда и подтянет за собой отстающих. Ничего подобного.

Но пока сойдутся маляры,
Тут вся кровь сгорит до той поры.

Федя лезет на леса и, увлекшись работой, забывает о бригаде. Забывает о ней и сам автор. Не только злополучной бригады, но и вообще людей в поэме не будет (исключая эпизодических сталеваров и дамочки из Казани из вставной новеллы об отдыхе Феди на курорте). Федя пройдет через всю поэму как человек одинокий в своем труде, творчестве, отдыхе и мечтах. И в этом он напоминает какого-либо дореволюционного мастерового мечтателя, непонятого и одинокого в своих лучших стремлениях.

Рассмотрим «научную» деятельность гармонического человека. Семьицин не пожалел ярких красок, чтобы размалевать под лубок научные опыты Феди, которые в конечном счете свел к простому чудачеству малограмотного человека. Мякин содержит в амбаре во дворе зверинец. Здесь живет пес Яков, «вор, обжора, обормот, даже водку, дьявол, пьет». Якова спасла от беспризорной жизни лишь статья в газете о рефлексах у собак. Вдохновившись этой статьей, Федя решил проверять на Яшке теорию рефлексов.

И утрами по часам,
Помахав звонком три раза,
Стал кормить собаку сам,
Как отмечено рассказом.
Но, науке вопреки,
Сколько Мякин ни старался,
Пес чихал на все звонки...

Ворон Фрол, взятый Мякиным «для проверки долголетия», был подобран на дороге «без ноги, едва живой» и сейчас ковыляет на деревяжке. Читателю ясно, что объект для научных наблюдений выбран Федей не совсем удачно, и, надо думать, выводы из этих наблюдений также окажутся малоудовлетворительными. Но наименее полезным для науки является третий и последний обитатель мякинского зверинца, «длинноухий кролик Митя».

С этим был особый план:
Поселить его с совою,

Чтоб у той инстинкты зла
Заглушились доброю.

Нам думается, что никто не усомнится в неизбежности мрачного конца для злополучного кролика, но к счастью для Мити:

....до сей поры, увы,
Не сыскал маляр совы.

Итак, практические опыты Мякина не привели ни к чему, но, может быть, наш мыслитель силен теоретически. Он читает Брэма и мечтает о приручении на благо человеку и самому зверю еще не прирученных диких животных.

Мякин мечтает разрешить «проблему» очеловечения обезьяны:

Эти звери, если постараться,
Если к ним научно подойти,
Может, явят миру чудо чуд.
Может, в люди выйдут через труд!

Трудно сказать, над кем потешается здесь автор. Над своим героем, или над всеми теми людьми (а их очень много, и это для них-то и написаны новогодние стихи и поэмы), которые верят в великую силу труда.

Поэтические упражнения Феди сводятся к сочинению сказок, нелепость которых совершенно очевидна. Сказка о знаменитом маляре—зайце Кузьме повествует о том, как талантливый заяц Кузьма превратил в «гречневую кашу» всех лесных хищников (капиталистов), намастевав на башне двух охотников. Устраивившись этого произведения искусства, волки и медведи бросились бежать, сорвались с обрыва и разбились насмерть, после чего наступила заячья «свобода». Сомнительная по своему содержанию и лубочная по выполнению, сказка эта содержит в себе туманные намеки, призванные не то возвеличить заячью природу, не то снизить природу гения:

Заяц был Кузьма —
Опытный весьма:
Глаз имел, как ватерпас,
И пройди он должный класс,
Да живи на легком хлебе,
Из него бы, может, Репин
Выбился, как раз.

Мы позволяем себе думать, что ни при какой легкости жизни Репин не «выбился» бы из зайца, равно тому, как и из Мякина явно не «выбился» Пушкин. Сказка столь же бессмысленна, сколь и безвкусна.

А сюрпризом тем богатым
Ты, мон шер, служил для гадов.

От кошмарного испуга,
Возопив, давя друг друга,
Банда вся свалилась в ров, и т. д.,
и т. п.

Гармонический маляр выступает в ней как типичный юродствующий графоман. Если бы образ Мякина относился к далекому прошлому, то его вирши могли бы продемонстрировать талант, задавленный бескультурьем. В 1940 году мякинские способности, надо думать, могли бы быть со-

ответствующим образом направлены и развиты.

Впрочем, быт московских рабочих 1940 года изображается Семьиным в виде малопривлекательного дореволюционного жителя расейского «простого люда». Этот быт Семьиный, если не извратил вовсе, то в лучшем случае увидел и показал в нем главным образом то, что еще осталось от старого:

Во дворах и палисадах,
От клопов сбежав пузатых,
Спят, как в поле косари,
Всех цехов мастеровые:
Хлебопеки, кузнецы,
Слесаря, ткачи, портные,
Все великие спецы,
Многодетные отцы.

В этом «колоритном» быту люди живут по-старинке: чудачат, пьют.

Сам Федя Мякин начинает свой трудовой день:

Пробудясь в дому всех раньше —
(Тышь, заря плывет, плеча) —
Белой выкушав стаканчик
Для здоровья — натошак.

Всякое движение творческой мысли в этом мрачном разобщенном быту показано Семьиным иронически-снижительно. Вот еще один дилетант:

Закопченный, меднорукий,
Как медведь — всегда здоров,
Спит борец с огнем Орлов —
Тоже верный друг науки.

Орлов в течение трех лет скрепчивает арбуз с тыквой, и теперь он достиг успеха:

Дело шло: стеклом прикрыт
У пожарника послушно,
Как на старте шар воздушный,
Пух страшный плод-гибрид.

Если прибавить к этому колоритному изображению быта расейских мастеровых старых времен еще федин «картуз старинный, до лоска вытертый по швам», в котором маляр гуляет по улице Горького, — картина будет полна — характер закончен. Желая написать «сочный» портрет нового человека, Петр Семьиный украсил его всеми средствами псевдонародной поэзии, долженствующими отобразить «первобытную», «черноземную», «нетронутую» натуру русского человека, хранящего якобы незбылемые устои якобы «народной» жизни, — и написал вместо передового человека советской эпохи мастерового конца прошлого века. Некритическое благоговение перед всем «исконным» помогло Семьиному незаконно перенести темный быт прежней России в социализм, не растеряв ни одного клопа по дороге. Неудачную поэму не спасли хорошие и по-настоящему колоритные заключительные ее строки. Они хороши, но они не отсюда.

Другое дело — поэма Семена Кирсанова «Ночь под новым веком» («Комсомольская правда» 31 декабря 1940 года).

В этом произведении есть мысль и новизна, новизна мысли, образа, стихового

приема. Это не поэтическое упражнение, а произведение искусства, хорошо задуманное, исполненное искреннего чувства, добротное, крепко сделанное. В «Ночи под новым веком» нет нарочитой и ложной яркости «поэмы о маляре», она написана точно, может быть, несколько скуповато. В ней отчетливая мысль выражена отточенным четким словом. Образ нового человека, нового человечества ярко вырисовывается перед читателем, хотя автор поэмы и не вдаётся в детальное описание отдельных героев. Он говорит о встрече нового года в 1999 году, о последних минутах последнего года двадцатого века. Счастливого, освобожденное человечество собралось на елку встречать наступающий двухтысячный год. И это действительно новое человечество, по-новому встречающее новый век. Это впечатление новизны происходит не от описания технических чудес — искусственного летнего пляжа, устроенного рядом с зимним катком и озаряемого искусственным солнцем, или самопечатни, заменяющей труд множества людей, это впечатление производят самые люди, их подлинно новая психология. Люди приходят на елку. Елка украшена подарками, но подарки каждый в отдельности человек не получает, он их дает, в этом счастье человека, мастера, коллективиста — дарить свое произведение окружающим, всем, человечеству.

Здесь и в будень —
душевная ширь:
целый год
люди делают людям
от души
массу разнообразных подарков:
то — одежда и обувь,
дома и тома,
то — мосты с полукружьями арок,
то — байдарки под ними,
корабли с дарусами цветными.
Каждый — каждому
строит подарки,
не думая: «кто их получит?»
Просто ставит на видное место
чудеса —
из железа, из шерсти, из теста,
из чисел, из мыслей.
Люди мыслят:
— Какой бы получше,
прочнее, душистей —
выдумать, выковать, вышить
в Коммуне
кому-нибудь
свой ежедневный подарок.

Такая «душевная ширь» возможна только на основе творческого любовного отношения коллективиста к труду. То, что в наши дни свойственно лучшим передовым людям, становится всеобщим при коммунизме.

То,
что тут
называется «труд»,
как цветы подбирают любимым,
как невеста кисет жениху,
как ребенку — имя,
как поэт.
потрясающий душу повтор.

Душевная ширь коммунистического человека — это не широкая натура дилетанта-тетушкиного маляра, бесполезно рассеивающего свои силы, а творческое горение человека, для которого жизнь и общепольный труд неразделимы.

Есть у нас фантастические романы, показывающие будущий золотой век, которые делают особый акцент на «праве на лень». В фантастическом изображении будущего авторы вывели утонченных изящных лодырей, которые — о, счастье! — могут работать только 2 часа в сутки, отдавая остальное время роскошному ничегонеделанию или занятию искусствами. Искусство здесь отделено от труда. Труд — проклятие, искусство — наслаждение. Семен Кирсанов не вдаётся в размышления о том, сколько будут работать при коммунизме — 2 или 5 часов. Он изображает нам психологию человека, свободного от двойственности, порожденной веками предистории человечества. Там, где «хлеб пекут, как первую скрипку выгибал Страдиварий, платье шьют, как фантастику Гофман», нет нужды выкраивать для человеческой свободы каждый лишний час, ибо труд при коммунизме — свободен, труд — это искусство, труд — наслаждение, творчество, жизнь.

На елке, устроенной человечеством под новый век, есть лишь один печальный человек, это тот, кто временно лишен возможности трудиться.

Понимаете муку
Фидия,
если отнят резец
и к паросскому мрамору
прикасть запрещается руку?
Или ноты, перо и роуль
Отнять у Шопена?
Или сердцу стучать запретить?
Или птице — привычное пенье?

Наказанный страшной карой безделья человек лишен и счастья дарить. Все дарят на елке, один он лишен дара дарить! С. Кирсанов, показав внутреннюю трудовую гармонию характера нового человека, не сделал, однако, еще одной ошибки, свойственной авторам ряда фантастических повествований о будущем обществе. Он не показал человека будущего, как некое, почти загадочное в своем совершенстве, существо, психология которого и достоинства которого оторваны от нашего будничного сегодня. Наоборот, Кирсанов показал читателю, что душевная ширь нового человека выросла на основе мыслей и дел обыкновенных людей трудного и прекрасного 1940 года. Люди сорокового года имели бы полное право принести свои дары на елку будущего. Дед — старший среди собравшихся — перечисляет те, может быть и не всегда красивые и радостные, но необходимые вещи, которые приносили в дар человечеству люди сороковых годов:

Я украсил бы ветку
сумками военных врачей,
с их ланцетами, шилами, пилами,
что над нами
под гул орудийных ночей

наклонялись и оперировали
в надетых на шубы халатах.

Я принес бы
— Верните на фронт! —
раненых просьбы!

Дед показывает записку семнадцатилетне-
го комсомольца:

Прошу друзей,
если буду убит — записку мою
найдите в бою,
отправьте в музей
как письмо для потомков
от отдавшего жизнь
за коммунизм! —
простого советского человека.
Жизнь —
за вас!
и прочтите за час
до начала нового века.

Под карельской елью, сжимая винтовку,
обжигаемый морозом, человек ждет приго-
вора потомков, от них хочет он получить
оправдание своей жизни и деятельности.
И потомок почтительно встает перед пре-
красным подвигом простого человека:

Далекий товарищ,
раненый друг,
разведчик лыжного батальона,
я чувствую:

Я — это ты,
продолженный дальше,
продленный
до полного мира,
до крайней мечты,
до нового века,
где счастьем, как снегом,
засыпаны все рубежи.
Я жив —
это значит
ты жив!

И вот в лице старейшего из присутствую-
щих — деда, «снятого труженика
звезд», первым повесившего на новогоднюю
елку вновь открытую им золотую
планету, — люди узнают черты автора
письма — комсомольца, рядового бойца,
простого человека 1940 года.

Это он, советский простой человек, от-
крыл золотую планету будущего и подари-
л ее человечеству! Его радость, кровь
и труд оправданы и признаны потомками.
«Ночь под новый век» — произведение
лирическое. Поднимая новогодний тост за
счастье всего человечества, искренний че-
ловек не может не думать и о своей ин-
дивидуальной доле этого счастья. И он
говорит о самой заветной своей мечте. В
своей новогодней поэме Кирсанов мечтает
о «Поэме поэма», которая была бы досто-
йной нового века.

Стих мой,
как бы тебе дорости
до такой озаренности слов,
до такой неожиданности и новизны?
О, души ремесло,
как тебя довести
до такой открытости и прямизны?
Как тебя донести
до звучаний «поэмы поэма»?

И Кирсанов описывает «Поэму поэма», при-
несенную в дар человечеству поэтом бу-
дущего.

В ней поэт
наконец
развязался с рифмой
и по строчке вбежал
в удивительную жизнь —
как мечтал его предок...

Поэт раскрыл «наши души живые» — вот
где его сила, уже не форма, не рифма за-
нимает его, для него самое важное «за-
глянуть в душу душ молодого народа». Форма у автора «Поэмы поэма» подчинена
раскрытию образа, и раскрыв этот образ,
душу нового человека, «новый век он
считает с далекого года», — еще раз при-
знание потомками заслуг простых людей,
отдавших жизнь за коммунизм. Для Се-
мена Кирсанова, еще и в этой поэме не
освободившегося полностью от порой по-
ти беспредметной игры словом, от фор-
мальных трючков (см. описание украше-
ний елки), декларированное им признание
примата содержания над чисто формаль-
ными задачами, — это еще один существ-
ственный сдвиг в сторону Маяковского, к
социалистическому реализму.

В «Ночи под новый век» Семен Кирсанов сам «развязался с рифмой», отка-
зался от подчинения мысли форме. Он от-
брасывает рифму всякий раз, когда она
мешает ему наиболее точно выразить
мысль, ее тончайший оттенок. Кирсанов,
поэт, всегда находившийся в большой за-
висимости от формы, здесь свободно ме-
няет размеры, нарочито подчеркивая по-
этическую мысль нерифмованными, нару-
шающими размер, строчками. Но там, где
мысль, требует плавности, напевности,
четкого звучания рифмы, стих становится
певучим и плавным, рифма скапливается,
причудливо переплетается, образуя ритм,
подобный, неизвестному европейской поэ-
зии ритму, «жельдырме» (слово, обозна-
чающее скачку лошади), — ритм, которым
казахские акыны слагают строфы импро-
визаций, требующие особого эмоциональ-
ного напряжения.

«Поэзия — вся езда в неизвестное», —
сказал Владимир Владимирович Маяков-
ский. Для подлинного поэтического про-
изведения необходима новизна содержа-
ния и формы, идей и изобразительных
средств. Удача Кирсанова в значительной
мере обусловлена наличием в его произ-
ведении единства нового содержания с
новой поэтической формой.

Вопрос о новогодних стихах — это по су-
ти дела вопрос о газетных стихах вообще.
Если газета, наиболее гибкий, наиболее
злободневный, наиболее острый орган пе-
чати, помещает на своих страницах
стихи, то к стихам этим должны предъ-
являться повышенные требования. Просто
хорошее стихотворение может иной раз
быть плохим газетным стихотворением.
Ведь газету читает значительно, во много
раз большее количество людей, чем са-
мую популярную книгу. Уже это одно
обязывает поэта с максимальной широтой
охватить запросы читательских масс, с
наивозможной точностью ответить на них.

У нас существует два ошибочных мнения в отношении специфики газетных стихов. Некоторые поэты полагают, что этой специфике не существует вовсе и всякое хорошее стихотворение может быть напечатано в газете.

Другие, если судить по их практике, считают, что специфика газетного стихотворения исключает необходимость индивидуального лирического преломления темы, а требует лишь рифмованного изложения фактов поэтического сегодня и самых общих по поводу их мыслей. И то и другое мнение неверно, доказательством чему служат газетные стихи Маяковского, остро злободневные, с одной стороны, достигающие высокого эмоционально-лирического напряжения и абсолютной оригинальности—с другой. Специфика газетного стихотворения несомненно требует впер-

вую очередь острой политической злободневности, но этим отнюдь не исчерпываются требования, предъявляемые поэту газетой. Это специфически газетное требование не исключает требований, предъявляемых ко всей советской поэзии вообще, а лишь увеличивает и усиливает их. В газетном стихотворении поэт должен по своему поэтически осмыслить политический момент, должен увидеть в нем не только злобу сегодняшнего дня, но и перспективу завтрашнего, раскрыть в художественном образе идейно-философское содержание события. Только соединение в стихах острой политической злободневности с оригинальным раскрытием художественного образа в свете передовой революционной мысли дает этим стихам высокое право быть напечатанными в газете.

СТАЛИН В ТУРУХАНСКОЙ ССЫЛКЕ

Небольшая книга старого большевика В. Швейцер, «Сталин в Туруханской ссылке»¹, рассказывает о последних годах сибирской ссылки и забываемых встречах с товарищем Сталиным. При чтении этой книги в памяти встает выгравированный с такой огромной любовью писателем Анри Барбюсом образ вождя народов: «История его жизни — это непрерывный ряд побед над непрерывным рядом чудовищных трудностей... Это железный человек. Фамилия дает нам его образ: Сталин — сталь. Он негибает и гибок, как сталь».

Этот необыкновенный человек встречал на своем пути гигантские трудности, и требовались нечеловеческие усилия для преодоления их. Его жизнь, его неустанная борьба дают неисчерпаемый творческий материал писателям и поэтам.

Автор рецензируемой книги — не профессиональный писатель. В этой книге старый большевик рассказывает о своих непосредственных впечатлениях, о лично пережитом. И в этом большое достоинство книги. Воспоминания т. Швейцер написаны спустя несколько десятков лет после описываемых событий. Но как оживают под взволнованным авторским пером эти давно прошедшие события!

Живо, ярко встает перед нами прошлое. За скупыми строками чувствуется сдерживаемое волнение человека, в памяти которого пережитое навсегда запечатлено.

Не раз читатель подсадует на автора за то, что он так сжато описывает факты, о которых хотелось бы знать больше.

Безыскусственный и простой рассказ т. Швейцер о ссылке, о забываемых встречах с любимым Сталиным возбуждает удивление и восхищение перед стойкостью и отвагой сосланных в безлюдную ледяную пустыню большевиков.

Вот два коротеньких отрывка.

«Ссылки долго не имели писем от Ленина.

Тайком от стражников, зимой, мы вместе с Суреном Спандарьяном² поехали в Курейку к Сталину. Нужно было разрешить ряд вопросов, связанных с происходившим тогда судом над думской

фракцией большевиков и с внутривнутрипартийными делами.

Это были дни, слитые с ночами в одну бесконечную полярную ночь, пронизанную жестокими морозами. Мы мчались на собаках по Енисею, без остановки, через безлюдное пространство, отделявшее село Монастырское от Курейки пролетом в 200 километров. Мчались под несмолкаемый вой волков» (стр. 20—21).

Этот небольшой отрывок переносит нас в то далекое прошлое, когда родина для людей труда была злой мачехой, когда народы обширнейшей Российской империи жили под железной пятой самодержавия и капитала, когда одна шестая планеты была тюрьмой народов. Большевики упорно готовили силы и ковали оружие для свержения ненавистного строя.

Весной 1913 года после упорной слежки петербургской охранке удалось арестовать товарища Сталина. Департамент царской полиции решил на этот раз лишить всяких возможностей побегов неутомного и неустранимого большевика. (Шесть раз царские власти уже ссылали товарища Сталина!) И товарищ Сталин был сослан в Заполярье, заточен в деревушке Курейке.

Там, в Курейке, зима длится три четверти года, ночи тянутся круглые сутки. непроходимые леса полны дикими зверями. Департамент полиции рассчитывал, что в таких условиях, на самом «краю земли», за полярным кругом, узник, доставлявший столько хлопот, будет обессилен. Наконец-то он будет наглухо и накрепко изолирован от внешнего мира, от Ленина, от связей с товарищами.

Расчеты жандармов и на этот раз потерпели крушение.

Тов. Швейцер рассказывает, как Сталин из Курейки завязывает связь с Лениным, с товарищами, с центрами революционного движения.

У товарища Сталина за плечами огромный опыт подпольной работы. С первого ареста — 5 апреля 1902 года — после известной Батумской демонстрации, на протяжении пятнадцати лет, вплоть до Февральской революции 1917 года, суровая жизнь борца, тюрьмы, этапы, ссылка, с шестью смелыми побегими из цепких жандармских лап. И вырванные у врага короткие дни передышек, и время, проведенное в тюрьмах и ссылке, отдаются неутомимой работе, большой партийной деятельностью.

Во имя партийной работы товарищ

¹ В. Швейцер, «Сталин в Туруханской ссылке» (изд-во «Молодая гвардия»), 1940 г.

² Сурен Спандарьян — видный работник большевистской партии.

Сталин многократно «снимается» из ссылки. Каждый побег был чреват чрезвычайными опасностями, и все же один побег следовал за другим, ибо интересы партии этого требовали. Товарищ Сталин был всегда там, где его присутствие было особенно нужно. «Мне остается шесть месяцев, — так писал Сталин Ленину из Сольвычегодской ссылки. — По окончании срока я весь к услугам. Если нужда в работниках в самом деле острая, то я могу сняться немедленно».

С добродушным юмором вспоминает товарищ Сталин об одном из своих очередных побегов из Сибири:

«Я находился в распоряжении исправника. Это был человек крутого нрава, заслуживший ненависть не только ссылных, но и всего населения, особенно возчиков. Возчики, как известно, играли в суровых условиях Севера, с перегонами в сотни верст, немаловажную роль. Эти люди, выдавшие виды, были буквально терроризированы исправником. Задумав бегство, я решил сыграть на этой ненависти.

«Я хочу подать жалобу на исправника. У меня есть связь в Зимней», — сказал я одному из возчиков.

А Зимняя была ближайшая железнодорожная станция, до которой надо было ехать несколько дней. Возчик охотно согласился везти меня туда, выговорив себе, помимо платы, по «аршину» водки на больших остановках и по «поларшина» на малых.

Подгоняемый ненавистью к самодуру-исправнику, возчик вез меня отлично. На остановках для него кабатчики выстраивали за мой счет «аршины» и «полуаршины» рюмок с водкой.

Морозы стояли сорокаградусные. Я был закутан в шубу. Возчик погонял лошадей, распахнув свою шубенку и открывая чуть ли не голый живот жестокому морозному ветру. Тело его, видно, было хорошо проспиртовано. Здоровый народ! Так мне удалось бежать!»

Рассказ о последних трех годах ссылки товарища Сталина в далекой заполярной деревушке, почти никому неведомой тогда, оставляет незабываемое впечатление.

Курейка! Далекая, на «краю земли», она теперь известна всему миру: в ней жил товарищ Сталин.

В небольшом деревянном доме, погребенном под сугробами снега, на берегу широкого и бурного Енисея неутомимо работал товарищ Сталин.

«Я рассматривал комнату, в которой жил Иосиф Виссарионович. В самой обстановке комнаты чувствовалось, как напряженно он работал. Стол был завален книгами и большими пачками газет.

Томы гениального творения Карла Маркса были все испещрены карандашом. Сталин работал в это время над «Капиталом». К работе над этим произведением Сталин возвращался не раз» (стр. 25).

«На столе лежала книга Розы Люксембург на немецком языке, которую Иосиф

Виссарионович читал и переводил на русский. В ссылке Сталин продолжал работать над второй частью своей книги «Марксизм и национальный вопрос», первую часть которой он написал за границей, живя у Владимира Ильича Ленина.

Книга эта была издана в 1913 году. Владимир Ильич очень высоко оценил работу товарища Сталина и считал его выдающимся знатоком национального вопроса» (стр. 25—26).

Мы видим, как напряженно работал товарищ Сталин в Курейке. Казалось бы, что условия этой дикой местности могли породить мысль о бесплодности и безнадежности здесь всякой борьбы. Но воля товарища Сталина несгибаема.

И когда товарищам из села Монастырского, отстоявшего в двухстах верстах от Курейки, удавалось приезжать к Иосифу Виссарионовичу, они чувствовали его бодрящее влияние.

«Товарищ Сталин, — пишет т. Швейцер, — вселял в нас веру, что будущее принадлежит нам, что за партией большевиков пойдут миллионы» (стр. 31).

Однажды товарищ Сталин решает вместе с тт. Суреном Спандарьяном и В. Швейцер нелегально уехать в село Монастырское:

«Нам предстояло преодолеть снежную пустыню. Выхали из Курейки. Я села управлять собаками. Наши нарты были окутаны брезентом. Это спасало нас от жестокого холода в пустынной тундре.

Мы мчались вверх по Енисею. Морозно. Казалось, морозом скован воздух. Трудно дышать. Недалеко над нами вспыхнуло северное сияние, озарившее нам путь.

Тундра была покрыта снегом. Кое-где маячили верхушки занесенных снегом деревьев. Мы преодолеваем пространство. Мои спутники ведут себя весело и шумно. О чем-то громко разговаривают. Вдруг неожиданно Сталин затягивает песню. Сурен вторит. Радостно слышать знакомые мелодии шесен, уносящихся вдаль и утопающих где-то в беспредельности снежной равнины. Хорошо в эти минуты мечтать, вспоминать, думать» (стр. 31).

Днями огромной радости для Иосифа Виссарионовича были те дни, когда удавалось получить письма и материалы от любимого Владимира Ильича.

«Он использовал все возможности, какие только имел, для того, чтобы не прерывать связи с Лениным. Он получал письма от Ленина, разъяснял ленинские установки товарищам по ссылке» (стр. 32).

Автор книги не раз отмечает глубокую любовь Сталина к Ленину и его горячее стремление «держаться с ним всегда совет». Когда в конце 1914 года Иосиф Виссарионович получил от Н. К. Крупской письмо с тезисами В. И. Ленина о войне, радость его была огромна.

«Нужно было видеть товарища Сталина в тот момент. Это было огромным событием, большой радостью для него и для всех нас, большевиков, находившихся в ссылке, отрезанных от мира. Взяв тезисы Ильича, Иосиф Виссарионович стал читать их вслух. Мы слушали внимательно. Он

¹ Из книги «Встречи с товарищем Сталиным», стр. 157.

читал медленно и часто восклицал: «Правильно!».

Тезисы Ленина о войне показали, что товарищ Сталин безошибочно стал на правильную ленинскую позицию в оценке сложного исторического момента. Они показали его полное единомыслие с Лениным. Сталин был необычайно рад, когда увидел, что тезисы Ленина подтвердили его установку по вопросу о войне» (стр. 20).

Когда летом 1915 года в Туруханскую ссылку прибыла осужденная царским судом «думская пятерка», перед ссыльными-большевиками встал вопрос о роли думской фракции в разоблачении грабительской империалистической войны. Как раз в это время из Курейки в село Монастырское приехал товарищ Сталин. Еще до приезда думской пятерки в ссылку Иосиф Виссарионович дал уничтожающую характеристику предательскому поведению Каменева на царском суде:

«Когда Сурен рассказывал товарищу Сталину подробности о суде над думской фракцией и о предательстве Каменева, товарищ Сталин ответил Сурену:

— Этому человеку нельзя доверять — Каменев способен предать революцию» (стр. 23).

В селе Монастырском состоялось историческое заседание русской группы ЦК партии совместно с активом — большевиками-ссыльными и участниками судебного процесса над думской пятеркой.

И на этом заседании Каменев, заявлявший перед царским судом, что он не согласен с линией Ленина, с линией большевистской партии, пытался оправдать свое предательское поведение на суде. Речь его была встречена большевиками с возмущением.

«Товарищ Сталин в своем выступлении на этом заседании указал, что процесс над фракцией большевиков, осужденных за открытое выступление с думской трибуны против войны, имел огромное значение для революционной мобилизации масс. Сталин заклеил позором гнусное поведение Каменева и подчеркнул, что Каменев и после процесса продолжает стоять на антибольшевистских позициях.

Четкая сталинская оценка легла в основу резолюции, принятой на заседании. Позднее, когда мы получили номер «Социал-демократа» со статьей Ленина «Что доказал суд над РСДРП фракцией», мы увидели, что товарищ Сталин дал именно ленинскую оценку событиям» (стр. 38).

Бодрость, энергия, напряженная трудоспособность, внимательность к людям вызвали со стороны окружающих большое уважение и любовь к товарищу Сталину. Они сохраняют эти чувства к нему на всю жизнь.

Дочитываются последние страницы этой волнующей книги. Она пробуждает в читателе большие мысли и чувства. Книга эта не забудется.

Л. Майрановский

I

Органическое единство национальной формы стиха и его социалистического содержания предстает в творчестве Тычины с непререкаемой ясностью. Вот почему переводчикам-ремесленникам, всем тем, кто привык механически раздвигать форму и содержание, не следует и близко подходить к работе над Тычиной. Тычину можно перевести только творчески! Трудное и ответственное дело такого перевода дает подлинному художнику не только эстетическое наслаждение, но и приближает его к украинскому народному поэтическому мышлению, открывая перед работником стиха новые горизонты, обогащая его собственную палитру. Именно это обстоятельство отмечал Н. Н. Асеев, переводя стихи Тычины и восхищаясь ими.

«Этот замечательнейший поэт владеет языком, как виртуоз-летчик — аэропланом. Все сложнейшие фигуры высшего пилотажа знакомы ему», — писал мастер русского стиха, знакомясь с подлинниками своего украинского собрата по перу. — «...из народного говора, из тончайших оттенков многого множества синонимов, пестроты оттенков взволнованной, только что рожденной речи, он выбирает наилучшие, самые нежные, самые живые. И читатель задумывается над страницей, осветленной еще невиданной игрой света, еще неслышанной переключкой звуков, полных острого смысла, яркости, новизны».

Как передать на другом языке эту переключку звуков, их смысл, яркость, новизну? Этот вопрос не раз вставал перед переводчиками Тычины. Переводя Тычину, ведь нельзя ограничиться точностью передачи отдельных слов или внешним копированием его ритмов. Нужно уловить, сохранить и раскрыть тот насыщенный большими мыслями и чувствами лирический подтекст, который ощущается буквально в каждой экспрессивной, предельно-сжатой строке украинских подлинников Тычины. Мы знаем: сила поэтического стиля Тычины в оттенках, в тончайшей игре звуков и красок, — секрет его мастерства в том самом «чуть-чуть», с которого, по знаменитому выражению Брюллова, и начинается искусство. И все же тот ничего не поймет в Тычине, кто воспримет эти оттенки, эту игру звуков и красок как нечто самодевулюющее. Сила Тычины в том, что он насыщает звуки и краски своих песен и поэм огромной политической целеустремленностью. Мощь его поэтического мышления — в народности его ритмов и лексики, в том «чувстве нового», которое присуще каждому произведению автора книги «Партия веде», ставшего признанным мастером политической поэзии. Великолепно владея многообразными жанрами и формами — будь то дума или частушка, триолет или кантата, свободно и уверенно распоряжаясь разнообразными размерами от ямба до гекзаметра, — Тычина в своих формальных исканиях является не кем иным, как вер-

ным, последовательным, внимательным учеником народа-языкостворца. Вот почему переводчик, восхищающийся только формальными достижениями поэта и в то же время не учитывающий глубоко народных корней его новаторства, — бессилён передать своеобразие Тычины русскому читателю. Чтобы правильно перевести Тычину, надо показать, как филигранная работа над словом замечательного украинского поэта выражает высокие чувства единой семьи советских народов, надо осознать, что для Тычины поэтический язык это —

...не просто звуки,
Не слов блуждающие льдины.
В них слышен труд и пот, и муки,
Живой союз семьи единой.
В них шум лесов, цветенье поля
И волны радости народной.
В них разум класса, кровь и воля
От давних дней и посегодня...

(П. Тычина. «Чувство семьи единой»,
перевод Н. Брауна.)

2

В 1940 году в Гослитиздате вышла книга избранных стихов Тычины в переводе на русский язык. Переводили Тычину такие признанные мастера стиха, как Асеев, Маршак, Пастернак, Ушаков, Прокофьев и ряд других поэтов. Достоинно сожаления то обстоятельство, что книга этих переводов до сих пор не стала предметом оживленного обсуждения критиков и рецензентов. Она наглядно показывает, что наконец-то ответственная работа по ознакомлению русского читателя с Тычиной двинулась вперед. Тычина переводился на русский язык довольно часто. И все же то, что делалось до сих пор в этом направлении, было явно неудовлетворительно. Достаточно хотя бы сравнить последний сборник с книгой русских переводов из Тычины, выпущенной тем же Гослитиздатом в 1934 году.

Коротенький сборник стихов Тычины на русском языке, вышедший в 1934 году под редакцией В. Тарнса, был весь усеян курьезами. Трудно даже себе представить, как могло в таком маленьком сборнике (размером в 44 страницы) уместиться столько несусветных искажений текстов Тычины. Эти искажения прежде всего свидетельствовали о лености мысли тогдашних переводчиков Тычины, об их нерадивости. Переверилось все, вплоть до заглавий. Знаменитое стихотворение украинского поэта «Повітряний флот» переведено как «флот ветровой». Воздушный флот для переводчиков оказался ветровым. Героиня поэмы «Сковорода» восклицает: «Женіть його!», что означает по-русски: «гоните его!» Переводчик же (Г. Шенгели), даже не потрудившись взглянуть в словарь, перевел это слово буквально: «Жените его!» Переводчик и не задумался над тем, как странно прозвучит это восклицание в общем контексте поэмы. В том же отрывке из «Сковороды» герой Тычины замахивается; у переводчика он «примеривается». В другом месте у Тычины «ударил революционер», у переводчиков «глянул революционер». У

Тычины — люперкалии (речь шла о римских празднествах), у переводчика появляется какая-то неведомая женщина Луперка. У Тычины сказано: «На восток и на запад»; переводчики переводят: «на рассвете».

Что ж сказать об отдельных оттенках стихов Тычины? Тычина восклицает: «Всех панов загоним в яму!» («Партия ведет»); переводчик (А. Чачиков) переводит: «Всех панов увидим в яме!», т. е. активное настроение, выраженное в знаменитом стихотворении поэта, передается как пассивное. Впрочем, искажения отдельных оттенков поэзии Тычины (если это можно назвать оттенками) бывают не только курьезными, но и политически вредными. Так, например, Тычина в своем «Космическом оркестре» призывает к новому, т. е. к мировому Октябрю, а у переводчиков (А. Тарковского и А. Штейнберга) вместо слов «новый Октябрь» сказано: «другой Октябрь», — т. е., вопреки тексту Тычины, они противопоставляют наш Великий Октябрь какому-то другому октябрю. Впрочем, не хватит ли примеров? Их можно было бы продолжить без конца. О таких более чем халтурных переводах из Тычины хочется сказать теми же словами, какие когда-то употребил Добролюбов, назвавший переводы из Гейне, сделанные Генслером, явным злодеянием.

3

К счастью, разобранный выше сборник переводов из Тычины не является типичным. В новых переводах нет и следа подобного рода вредных ляпсусов, этих наглядных примеров небрежного обращения с текстами поэта. Напротив! Новый сборник отчетливо показывает, как внимательно и добросовестно стали изучать русские советские поэты своего замечательного украинского собрата. Правда, и в этом сборнике есть очень много спорного. Но тем-то он и интересен, что как удачные, так и неудачные переводы, помешанные в нем, дают основание и для плодотворной дискуссии о принципах перевода украинской поэзии и для серьезных размышлений о художественном своеобразии Тычины. Во всяком случае они зовут читателя к непосредственному ознакомлению с Тычиной в оригинале.

Когда-то Валерий Брюсов в предисловии к своим переводам из Верлена писал: «Мне хочется надеяться, что мои переводы позволят внимательным и вдумчивым читателям угадать, как много они теряют, не ознакомившись с поэзией Верлена в подлиннике». Примерно то же хочется сказать, когда читаешь последний сборник Тычины на русском языке. Как ни спорны в нем отдельные переводы, сделанные советскими поэтами, они во всяком случае позволяют угадать и почувствовать значительность поэтического облика Тычины.

Начнем, однако, с анализа отдельных неудачных переводов. Эти неудачи в основном обусловлены двумя обстоятельствами. Одни поэты, в погоне за гладкостью стиха, не сумели передать диалектику образов Тычины; другие, передавая

Тычину, стремились больше всего к сохранению своих индивидуальных особенностей, а потому отдалялись от текстов Тычины. Так случилось, например, с переводом стихотворения «На Майдане» А. Прокофьевым. Это классическое революционное стихотворение Тычины, переведшееся на русский язык десятки раз, Прокофьев решил передать по-своему, сделав его несколько заливчатым. «Помутились матери», у Прокофьева: «матери стоят гурьбой». Поэт не только не передал мелодичности строки Тычины, ее внутренних аллитераций, он даже искажил ее смысл, сделав ее в манере партизанских песен самого Прокофьева. У Тычины: «пыль спадает»; у Прокофьева даже пыль получается этаким «бодряческой», она «струится». Что же касается последних двух строк Тычины:

Вечір.
Ніч, —

которые по-русски обычно так и переводятся:

Вечер.
Ночь, —

а у Прокофьева они зазвучали непросто и невыразительно:

Сутемки.
Темно.

Не удался и перевод другого классического революционного стихотворения «Кожем'яка», сделанный некогда Иваном Рукавишниковым и почему-то перепечатанный в сборнике.

Вспомним изумительную строфу у Тычины:

Найшов на Микиту гнів —
голови не підвів,
дванадцять кож під його руками
трись! трись!

Прочитываем перевод И. Рукавишникова, и мы увидим, что в русском тексте от украинского подлинника остался только размер, ритм и... больше ничего:

Нашел на Никиту пыл —
ничего не открыл,
двенадцать кож под его руками:
тресь! тресь!

Вместо «гнева» у Рукавишникова — «пыл». Пылким, однако, может быть не только гнев, но и восторг. Нет и приближенности (не говоря уже о точности) в русском переводе этой исключительно эмоциональной и образной строфы Тычины. Достаточно указать на замечательную строку «голови не підвів» — этот предельно сильный в своей сжатости образ, где гнев выражается не столько в открытом жесте возмущения, сколько в мускульном напряжении лица. Что же осталось от нее? Только три абсолютно ничего не значущих слова: «ничего не открыл».

«Поэт не терпит слов пустых», — говорил когда-то Сулейман Стальский. Это — прекрасные слова, целиком применимые к Тычине. У него нигде нет пустых слов. Каждое слово, даже предлог, этого лирика полны значения. Тем труднее переводить Тычину и тем обиднее, когда талант-

ливый переводчик, не справляясь со своей работой, пытается искусственно заманить неподдающуюся ему строку пустыми, ничего не значущими словами!

4

Надо отметить, что таких «пустых слов» в последней книге русских переводов из Тычины не так уж много. Мы имеем возможность констатировать и ряд ярких, удачных переводов. Такова «Первая песня трактористки» (перевод Н. Асеева). «Ивасик-Телесик» (перевод С. Маршака). «Плач Ярославны» (перевод М. Комиссаровой). «Монолог Сквороды» — перевод Н. Ушакова, сумевшего с замечательной внутренней силой выразить энергичный монолог Сквороды:

Пусть золотом — я так хочу — заблещет энергия восставших бедняков!

Пусть золотом — я так хочу — заблещет и труд! и гнев! восстанье и борьба!

Вы слышите? (Борьба.) — Бушуют бури!

Буруны бурь! — Нагрянули. Летят. Нагрянули. Летят... и брызг игра — игранные брызг, играют брызги граем! Багряный бой, и с ним багряный крик, багряный гул!..

К сожалению, не во всех своих переводах из Тычины такой мастер стиха, как Н. Ушаков, сумел зафиксировать формальные особенности поэтического стиля Тычины. Так, например, в первой строфе стихотворения «В космичном оркестре» у Н. Ушакова исчез замечательный консонанс Тычины («цікль» и «монскль»). Исчезли многие аллитерации. Исключительно удачным кажется нам перевод Б. Пастернаком стихотворения «Первое знакомство» (о Михаиле Коцюбинском). Такие строки, как —

Желтою кошною, —
странницами чужого лексикона —
расшелестелся ясеня надо мной, —

прекрасно передают образность языка Тычины средствами русского поэтического языка. И только в конце стихотворения перевод испорчен отсебятинами Пастернака:

...Еще и пот
трудящихся, с той славою мозолям,
которую поет им Глинка.

Эти строки не только неудачны, но они ничего общего не имеют с текстом Тычины. У Тычины в данном случае речь идет об «Интермеццо» Коцюбинского, а вовсе не о Глинке...

Неточным, а местами искаженным, оказался и перевод декларативного стихотворения Тычины «Чувство семьи единой», сделанный редактором сборника поэтом Н. Брауном. В переводе Н. Брауна слово сравнивается с «упругой подковой». Но у Тычины эпитета «упругая» в применении к подкове не было и быть не могло. Н. Браун неправильно перевел и последнюю строчку:

И вносишь ты чужое слово
в язык прекрасный и богатый.
А это входит все в основу
победы пролетариата.

Получается, что чужое слово входит «в основу победы пролетариата», то есть явная чушь. Между тем, у Тычины вообще нет эпитета «чужое» в данном контексте. Такой эпитет противоречит и предыдущим двум строфам стихотворения, где поэт говорит о «живом союзе семьи единой».

Как ни чувствительны эти отдельные шероховатости в переводах, они не способны ослабить общего положительного впечатления, которое остается от сборника. Он свидетельствует: соревнование мастеров стиха, участвовавших в переводе Тычины, начинает давать свои первые плоды. Этот сборник (Павло Тычина. «Избранные стихи». Гослитиздат, 1940 г.), как и русские переводы из Рыльского, как и «Антология украинской поэзии» в русских переводах, создает серьезную базу для обмена творческим опытом между украинскими и русскими поэтами, а это, в свою очередь, содействует дальнейшим успехам социалистической литературы, одним из ярких представителей которой является Павло Григорьевич Тычина.

А. Лейтес

ПОЭТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА АРМЯНСКОГО НАРОДА

Вышла из печати «Антология армянской поэзии»¹. Ее инициатором был Максим Горький. Издание антологии армянской поэзии, как и аналогичных других братских народов, — событие большой важности в литературной жизни нашей страны. Подобные издания являются показателем расцвета многонациональной советской литературы и содействуют сближению и взаимному обогащению национальных литератур.

Настоящая антология, в которую вошли многие переводы из Брюсовской «Поэзии Армении», составлена в общем хорошо и отличается полнотой. В ней представлены многие новые авторы, в том числе революционный демократ поэт Микаэл Налбандян и пролетарский поэт Акоп Акопян, которые не имели места в старых антологиях. Кроме этого, большой раздел посвящен советской армянской поэзии — устной и письменной. Таким образом, настоящая антология дает представление об истории и путях развития богатой армянской поэзии, начиная от древнейших времен и до наших дней. Благодаря этому изданию высокая поэтическая культура армянского народа становится достоянием всех народов Советского Союза.

Антология открывается произведениями народного творчества. В народном творчестве особое место занимает разнообразная и многогранная лирика. Поэтичность, эмоциональная и социальная насыщенность являются ее характерной чертой. Наряду с любовно-бытовыми и обря-

довыми песнями народ создал и замечательные военные песни, песни тоскующей по родине Хароба и социально-трудовые.

Если в военных песнях восхваляется храбрость бойцов и их высокий патриотизм, то в социально-трудовых песнях воспевается честный труд. Гнев обрушивается на богача, порабитителя, который

Сумел чужим трудом добиться земли
и власти,
Но счастья другим не дает и самой
ничтожной части.

Но творческая мощь народа достигает своего высшего выражения в героическом эпосе «Давид Сасунский», где рассказано о четырех поколениях армянских богатырей. Гениальный эпос представляет собой энциклопедию жизни армянского народа прошлых веков. В нем яркими красками отражен рост сознания народа; мифологические элементы эпоса своеобразно сочетаются с реалистическим показом жизни и быта народа. Народная мудрость получила в нем сгущенное выражение. Будучи энциклопедией народной жизни и мудрости, «Давид Сасунский» вместе с тем является и воплощением лучших черт и стремлений народа. Храбрость, честность, героическая преданность родине и глубокая любовь к труду характеризуют армянских богатырей. Если в центральном персонаже эпоса в Давиде Сасунском народ олицетворял свою силу и высокий патриотизм, то в сыне Давида — Мгеремладшем — он воплотил свою мудрость. «Давид Сасунский» принадлежит к величайшим творениям мировой эпической поэзии. Эпос представлен избранными отрывками.

Другой поэтический мир представляет средневековая армянская лирика. В противовес религиозно-церковной поэзии и средневековой армянской поэзии, с X века появляются светские мотивы и в дальнейшем углубляются и становятся ведущими. Этот поворот, вызванный новыми событиями и изменениями в общественной жизни народа, выражался в том, что поэты стали страстно воспевать земную жизнь, плотскую любовь. Особое место занимала в их творчестве борьба плоти и духа, борьба светского и религиозного начал. Перелом этот характерен и тем, что язык поэзии, склад поэтического мышления сближается в значительной мере с народным, демократизируется. Средневековая армянская светская лирика потрясла основы религии и противостояла реакционным догмам церкви. В ней ярко выражались мотивы европейского Возрождения.

Средневековая лирика имела замечательных представителей: Г. Нарекаци, Шноргали, Фрик, Константин и Ованес Ерзынканди, Мкртич Нагац, Ов. Теуранци, Г. Ахтамареци, Наапет Кучак, Нагап Авнатан и др. Среди них особо выделяются — Фрик и Наапет Кучак. У лучших представителей этой лирики мотивы Возрождения получают большую выразительность. Фрик — поэт XIII века — не только гневно обрушивается на иноземных порабитителей и социальное неравенство, но

¹ «Антология армянской поэзии, с древнейших времен до наших дней», под редакцией С. С. Арутюняна и В. Я. Кирпичникова, Гослитиздат, Москва, 1940 г.

восстает против бога, берет под сомнение справедливость его «правосудия».

Доколе будем мы страдать?
Доколе в рабстве изнывать?
И как, о боже, терпишь все!
Где ж пресвятая благодать?

Князей поставил ты, господь,
Чтобы терзать людскую плоть.

Скажи, под солнцем счастье где?
Где человек, что не в беде?
Хоть проищи я десять лет,
Не повстречаю их нигде, —

говорит он в своих «Жалобах».

В творчестве Фрика сознание народных низов, их гнев и протест получают высшее выражение. Для лирика Наапета Кучака (XV век) любовь — основное начало жизни.

Средневековая армянская поэзия — показатель высокого развития поэтической культуры народа, его духовного богатства. Будучи совершенно своеобразной и самобытной, она была глубокой по содержанию, новой по форме и блистательной по мастерству техники. Как правильно заметил Брюсов, «средневековая армянская лирика есть одна из замечательнейших побед человеческого духа, какую только знает летопись всего мира».

Не менее богата ашугская поэзия. Гениальный представитель ее Саят-Нова (XVIII век) своими дивными песнями поднимает армянскую лирику на новую ступень. Его творчество является как бы итогом, высшим завершением всего того, что было сделано до него в армянской поэзии. Воспевая любовь с большой поэтической силой, Саят-Нова называет себя «службой народа» и становится выразителем его настроений; любовные мотивы у него своеобразно сливаются с социальными.

Традиции Саят-Новы продолжали многочисленные народные певцы-ашуги, среди которых выделяются Ширин и Дживани. Последний, вдохновленный революцией 1905 года (он умер в 1909 году), воспел «Гнев народа».

Новая поэзия — поэзия XIX и начала XX века — складывалась в иных исторических условиях. Переход Армении в состав русского государства в начале XIX века открывает новую страницу в истории народа и его духовной культуре. Армянский народ общается с передовой культурой великого русского народа и через нее — с европейской культурой. Под непосредственным влиянием передовой русской мысли и литературы складывается самая замечательная часть армянской поэзии — поэзия русских армян.

Такие крупные представители армянской литературы и общественной мысли, как революционный демократ Микаэл Налбандян, великий армянский поэт Аванес Туманян, основоположник пролетарской поэзии Акоп Акопян и многие другие питались соками русской передовой и революционной литературы. Историческую необходимость такого общения с русским народом и его культурой для армян предвидел Хочатур Абовян, который пред-

ставлен в антологии лирическими четверостишиями, называемыми «Баяти». Налбандян представлен двумя характерными для революционного просветителя стихами. Они наполнены гражданским пафосом.

В других исторических условиях и культурной атмосфере развивалась поэзия западных армян. Национальный гнет султанской Турции определил идейный характер этой поэзии, которая имела талантливых представителей (Пешикталшян, Дурьян, Сиаманто, Варужан и др.). Поэзия эта окрашена националистическим романтизмом. Но наряду с показом ужасов национального бесправия, в поэзии такого поэта, как Рубен Севак, получили талантливое выражение социальные противоречия, настроение трудящихся масс. Дурьян и Мецаренц — субъективные лирики. Все они представлены в антологии.

Вершиной армянской поэзии XIX и начала XX века является творчество Ов. Туманяна и Аветика Исаакяна, которые справедливо занимают видное место в антологии. Много сделал для обогащения армянской поэзии и В. Терьян — последний крупный представитель ее классики.

Великая Октябрьская социалистическая революция дала выход творческим силам народа. Представленные образцы советского армянского народного творчества, включая сюда и творчество ашугов, показывают расцвет народного творчества в советской Армении. Возрожденный народ радостно поет о своей счастливой жизни. Его творчество наполнено глубоким чувством любви к великим вождям революции — Ленину и Сталину. Любовь к родине, к советской власти, к большевистской партии, к вождю народов характерна для советского армянского фольклора и для армянской советской поэзии. Основоположник ее, Акоп Акопян, еще задолго до победы революции в своей мужественной поэзии призывал народ к борьбе против капитализма и самодержавия. Революционные стихи поэтессы Ш. Кургиян также отражали подъем народных масс, вызванный революцией 1905 года.

После установления советской власти в Армении А. Акопян — один из старейших пролетарских поэтов в Советском Союзе — с новой силой воспекает социалистическое строительство. В антологии его поэзия хорошо представлена.

Крупнейшими представителями современной советской армянской поэзии являются Н. Зарьян, Г. Сарян и Азат Вштуни. Зарьян — поэт большого диапазона и эпической силы. Его поэзия проникнута духом современности, и сильнее всего слышится в ней биение пульса советской жизни. В армянской поэзии он впервые с большим пафосом воспел любовь народа к великому вождю. Он поэт революционного вдохновения. Г. Сарян — уточненный лирик. Восточные поэмы Саряна — большое поэтическое достижение.

Азат Вштуни — поэт талантливый и оригинальный. В его поэзии лиризм сочетается с эпическим рассказом, революционный романтизм — с реалистическим показом действительности. Воспевая пробуждающийся Восток, он с особой любовью говорит о своей великой родине:

Издание Юбилейного комитета Алишера Навои. Ташкент. Издательство Узбекского филиала Академии наук, 1940 г.

В тысяча девятьсот сорок первом году исполнится пятьсот лет со дня рождения величайшего узбекского поэта и философа, создателя узбекского литературного языка, Алишера Навои, одного из интереснейших людей эпохи тимуридов — «эпохи возрождения» Средней Азии. До сих пор, однако, на русском языке, кроме переводов некоторых поэем Навои, ничего не было опубликовано, и русский читатель не осведомлен о жизни и творчестве самого поэта. Записки султана Бабуря, современника Навои, основателя империи великих моголов, записки гератских живописцев того времени, — различные мемуары о Навои были переведены лишь на французский и английский языки.

Юбилейный комитет издал впервые на русском языке сборник биографических материалов о великом поэте и философе. Сборник дает возможность познакомиться с редчайшими материалами, находящимися в лондонском восточном музее, в частности с рукописью «книги благородных качеств» историка Хандемира — современника и биографа Навои. Перевод этой рукописи сделан по фотокопиям. В рукописи приводятся образцы хронограмм и логогрифов — стихотворных загадок, написанных самим Навои по различным поводам (жанр этот был очень модный в то время). Она проливает свет на отношения Навои, визиря при дворе султана Гуссейна, с министрами, полководцами и самим султаном, выявляет мудрый облик великого Навои, «не имеющего себе равного по образованности, тонкости чувств и глубине мысли, любви к истине».

Известно, как идеилчески до последнего времени объясняли уход Навои от государственной деятельности и ссору с султаном Гуссейном, ссылаясь на суфистские воззрения Навои, на то, что он «дервиш по природе» и т. д. В узбекском настольном календаре писалось: «В силу того, что Алишер был поклонником науки и человеком чрезвычайно простым, дервишем по природе, он не мог найти никакого удовольствия в пышных дворцах и украшенных садах, с их гуриями и вином. В одиночестве заперался он в келье, погрузившись в море фантазии, пил вино вдохновения и был занят нанизыванием жемчужных слов. Поскольку молодой государь Хусейн-Мурза был также человеком поэтическим, он прекрасно понимал любимого друга и освободил Алишера, по его собственному желанию, от дел государственных и дал ему возможность работать так, как он хотел».

Наивная идеализация дружбы Навои с султаном Гуссейном, как и представления о безмятежности и отвлеченности Навои от светного мира, канонизировались буржуазным востоковедением. Помимо того, дореволюционное востоковедение в России (академик Крымский и до последнего времени академик Бартольд) считало Навои поэтом «большим, но подражатель-

В свежих полях нежных ростков, ярких
цветов смех шелестит.
В наших садах бархат кустов, зрелых
плодов сладостный вид.
Розы долин алые рты тянут к ручью...
Песня звенит...
Полная роз, щебета звезд, родина...
Нет равной тебе.
Много племен вольно живет, песни поет
в долах, в горах.
Сталину песнь, славу вождю стали на
всех петь языках,
Имя его — пламенный стяг нам на
путях в разных краях.
Светлый маяк наших надежд — родина,
Нет равной тебе!

Молодое поколение советских поэтов занимает особое место в антологии. Творчество Сармена, Граши, Ов. Шираза, В. Григоряна и других показывает их поэтический рост.

Антология — большое явление в литературной жизни нашей страны. Нужно отметить большую заслугу поэтов-переводчиков — В. Пастернака, Антокольского, Лозинского, Кочеткова, Липскерова, Шервинского, Звягинцевой, Державина и других, помогших создать этот замечательный труд.

Есть в антологии и недостатки. Недочеты можно отметить и в отборе материала (в частности, односторонне представлена дореволюционная поэзия Исаакяна, отсутствуют стихотворения, выражающие социальный протест масс, и неудачно выбраны образцы творчества молодых авторов Капутикяна и Х. Даштенца), и в переводах (переводы «Свободы» Набалдына и «Слезы Аракса» Паткаляна — неудовлетворительны).

Предисловие весьма поверхностно, в нем есть противоречивые и ошибочные утверждения. Примеры: «Основная идея «Давида Сасунского», по предисловию, заключается в «стремлении народа к правде и справедливой жизни» (стр. 12). Такое абстрактное указание не дает правильного представления о патриотической сущности эпоса. Описанные в эпосе события и герои отождествляются с реальными историческими событиями и лицами. Исходя из такого «понимания» эпоса, авторы предисловия объявляют Давида «вождем страны, народа и государства, основанного дедами Санасаром и Багдасаром» (стр. 11). Это уже вульгаризация. Плохо обстоит дело и с освещением творчества великого армянского поэта Туманяна. «Первая особенность поэзии Туманяна — народность», — читаем в предисловии. — Вторая особенность поэзии Туманяна — органическая связь с национальной и социальной историей своего народа» (стр. 28). Из этих глубокомысленных утверждений следует, что понятие «народность» не включает в себя «органической связи» с исторической судьбой народа.

Досадно, конечно, видеть в предисловии такие недостатки и ошибки, но они никак не могут снизить большой ценности замечательной книги. При переиздании эти недочеты легко устранить.

А. Воскерчян

ным» и рассматривали его творчество как «позднейшую и обогащенную вариацию» мотивов и тем Низами, исходя из общих, бытующих на Востоке сюжетов и одинаковых названий некоторых произведений («Лейла и Меджнун», «Фархад и Ширин» и др.).

По словам популярного французского ориенталиста Эдуарда Блоде, сочинения Навои «ограничиваются пассивным подражанием великим поэтам, имена коих были прославлены в анналах персидской литературы». Между тем изучение творчества Навои имеет уже свою историю, и, хотя бы по тому, как узбекский народ издавна относился к своему поэту, западные историки и филологи могли бы усомниться в правильности своих утверждений о его подражательности персидским образцам. Известны словари по произведениям Навои, вышедшие в XVI веке, — «Беда-аль-Улугат» («Редкости словаря») и «Улугат и Навои» («Словарь Навои»). Борьба Навои за свой родной язык уже исключает какое-либо пассивное подражание, и словари эти свидетельствуют о тех новых, народных, часто философских понятиях, которые внес Навои в узбекский язык.

Трудно переоценить значение выпущенного узбекским филиалом Академии наук сборника, так как в нем дается документальный ответ на все эти вопросы, без разрешения которых не мыслится современное изучение жизни и творчества Навои.

О борьбе Навои за право писать на узбекском языке (в то время литературным языком считался персидский) рассказывает А. Усманов в статье о книге Навои «Суждение о двух языках», бывшей своего рода литературным манифестом. Автор статьи разбирает конкретные художественные достоинства узбекского языка, разработанного Навои, указывает, что создание национального государства в XV веке выдвигало проблему языка (для узбеков), и сравнивает Навои в создании узбекского лит. языка с основоположниками итальянского — Данте и Галилея и французского — Дьо-Белле.

Единственное, в чем надо упрекать автора статьи, — это в недостаточном анализе элементов народной речи до Навои (поэта Ясави и др.) и в некотором игнорировании взаимного влияния узбекского и персидского языков в творчестве Навои, прозванного, как известно, «двуязыким» и очень ценившего богатства персидского языка. В действительности, Навои был основоположником узбекского языка. Проф. Бертольд указывал на характерную особенность литератур среднеазиатских народов того времени, — полное устранение в них местных языков и господство арабского. Махмуд Кашгарский когда-то писал: «Ислам и мусульманская культура имели настолько сильное влияние на народы, что можно было бы предвидеть угрозу слияния тюркских народностей с арабами, — как это, например, произошло с галлами в результате римского завоевания, — и отсюда потерю языков»¹. Академик Марр называл араб-

ский язык матерью мусульманского литературного языка. Угрозу, таким образом, молодому узбекскому, «местному» в то время, языку трудно недооценить, особенно если учесть влияние на него монгольского языка, вследствие монгольских завоеваний на Востоке, не говоря о канонизировании персидской речи тогдашней аристократией.

Статья Х. Зарифова о поэтике Навои также многое раскрывает в этой борьбе поэта за свой родной язык. Как известно, форма стиха «круба» и позднее «батамак», «кошук» (четверостишия, имеющее самостоятельный законченный смысл и слоговой ритм) вошли в сегодняшние традиции народного узбекского эпоса.

В статье о мировоззрении Навои Юнус Латыф пробует показать моральный облик поэта и объяснить роль суфистских идей в общей системе его взглядов и в поведении.

О противоречивости жизни своей писал сам Навои: «От юности до глубокой старости я испытывал долгое время трудности от событий века, бедствий, неиспсланных всевышним, двурушничества, занимался всяким делом и шел разными путями, сохраняя радость и любопытствуя к причинам всего, будучи хитрым и добрым, подчас одиноким и непонятым, но всегда самим собой».

Юнус Латыф, как и автор другой статьи в сборнике, тов. Боровков, не сумели, вероятно, из-за недостатка материалов полностью развить свою тему. Однако отношения Навои к муфти, к духовенству, роль Навои как сатирика тов. Юнус Латыф удалось показать. Навои всегда выступал против мулл-угнетателей, против чиновников. Он писал: «Ремесло царя — кровопролитие; царь, министры, ишаны, суфи сыты только благодаря труду поработенных крестьян». Относительно муфтий Навои говорит: «... они за грош превращают ложь в тысячу истин».

В сборнике Юбилейного комитета интересны также статьи Уигуна, профессора Семенова, Молчанова и других об эпохе Навои, о налоговой системе в Герате, о гератской музыке и живописи. В этом комплексном подходе к изучению творчества Навои и его эпохи — безусловная заслуга составителей сборника. Не ограничивая тему сборника только новыми материалами о поэте, а давая читателю общее представление об экономике, географии и истории его времени, составители сборника содействуют более глубокой популяризации Навои. Сборник во многом восполняет наши, ограниченные до сих пор, знания о Навои и имеет крупное значение для советского востоковедения.

Б. Вадецкий

НОВЫЙ РОМАН Д. БЕРГЕЛЬСОНА¹

Роман Д. Бергельсона «На Днепре», написанный на еврейском языке, относится

¹ Д. Бергельсон. «На Днепре», Изд. «Дер Эмес». 1940 г. Москва.

¹ Махмуд Кашгари, т. I, стр. 290—291.

к разряду социально-эпических произведений, столь характерных для советской прозы в целом. Новая книга Бергельсона подтверждает тезис Максима Горького о советской литературе, как о всесоюзной литературе, создаваемой творческими усилиями писателей всех народов СССР. И по своему идейному значению и по своим художественным достоинствам роман Бергельсона должен быть расценен, как одно из положительнейших литературных явлений минувшего года.

Как всякий значительный эпический роман, «На Днепре» Бергельсона широко, подробно и полно воспроизводит среду и эпоху, в которых действуют его герои. Со страниц книги перед читателем встает большой торгово-промышленный и культурный город, расположенный на Днепре. Жизнь еврейского населения этого города тесно переплетается с жизнью русских и украинцев. Бергельсон рисует бедные окраины, жалкие трущобы, где жутится голая и беднота. Таков двор на Жуковской, кривой, закоптелый, густо населенный, оглушительно-шумный, как целый город. Двор этот играет очень большую роль в романе. Но вместе с тем автор рассказывает и о нарядной жизни верхней части города, он вводит читателя в великолепные квартиры крупных капиталистов и в более скромные жилища средней и мелкой буржуазии.

Бергельсон пишет о классовом разделении и классовой борьбе в еврейской среде, об эксплуататорах и тружениках. Он показывает также интеллигентов, как тех, что верой и правдой служили своим хозяевам-капиталистам, так и тех, кто навсегда соединил свою судьбу с судьбами народных масс. Бергельсон считает ценным и способным к дальнейшему положительному развитию лишь того, кто сохранил в той или иной форме органические связи с социальными низами. Самовлюбленный индивидуалист, самоизолирующийся от общества, от обязанностей перед ним, погрязший в своем мелком эгоизме, морально и социально разлагается и оказывается способным на всякую гадость. «Юношей в коммерческом училище, — рассказывает жандармскому офицеру Вельтман, один из персонажей романа, — я некоторое время увлекался социал-демократическими идеями. В последние же годы мне хочется жить собственными идеями, а не чужими. Почему это я обязан заботиться обо всем мире?» «Благопристойными» этими словами о «независимости» индивидуального мышления, сходными с некоторыми рассуждениями Клима Самгина, Вельтман сформулировал свое согласие стать жандармским шпиоком и провокатором.

Вельтман, по прозвищу Виолет, только второстепенный персонаж книги. Однако его история, как отрицательный пример, оттеняет положительные черты жизни главного героя романа — Пенэка. Пенэк родился в старозаветной буржуазной семье, состояние которой все более клонилось к упадку. Он был нелюбимым ребенком, брошенным на попечение прислуги. Пенэк отдалился от родных, с которыми он был связан узами крови. Постоянное общение с простыми людьми возрасти-

ло в пытливом и одаренном мальчике прочные демократические симпатии. Однако одним симпатий было еще мало для того, чтобы ориентироваться в сложном мире социальной борьбы и национальных противоречий и занять в нем определенное место. История Пенэка объясняет, как симпатии к народу постепенно превращаются у него в осознанный принцип жизненного поведения.

Действие романа происходит в самом начале нынешнего века, в период, когда выходила ленинская «Искра» и создавалась большевистская партия. Описание деятельности подпольной искровской организации проходит через всю книгу. «На Днепре» — роман, в значительной степени посвященный истории нашей партии. В романе действует социал-демократический комитет, возглавляемый искровским работником Климом, под руководством которого изживается кустарщина в революционном движении и пролетарская борьба в городе принимает все более и более централизованный характер. Бергельсон дал замечательное по убедительности и теплоте описание подпольной большевистской типографии, история которой является не вставным эпизодом, а необходимым звеном повествования. Дейателями подпольной типографии являются персонажи, проходящие через весь роман от начала и до конца. Кроме Пенэка, все главные положительные герои романа — члены искровской социал-демократической организации.

Собирание зреющих сил революции и их борьба с реакцией образует эпическую основу романа. В городе под руководством искровцев ведется подготовка первой в его истории всеобщей забастовки и первомайской демонстрации, а губернские власти, чтобы дезориентировать социальные низы, чтобы сорвать грозное революционное выступление рабочего класса, организуют еврейский погром и ритуальный процесс.

Под влиянием всех этих событий формируется Пенэк и как человек и как художник. Пенэк наделен недюжинным дарованием писателя. Он стал писать еще до того, как определился его жизненный путь, когда он колебался, искал. Буржуазно-националистические интеллигенты, тип которых гриведен в романе в образе Кадисона, старались направить талант Пенэка в желательную для них сторону. Кадисон говорил Пенэку, что, как выходец из состоятельной среды, он не должен писать о бедняках. Меж тем Пенэка неудержимо тянуло рассказать о дворе на Жуковской, о его страдающих обитателях, которым он сочувствовал всеми силами своей души. Однако, сколько Пенэк ни сочувствовал людям, о которых и ради которых писал, он не мог создать цельного произведения: написанное рассыпалось на отдельные «тетради», на отдельные фрагментарные зарисовки. По мере того как Пенэк стал приобретать доверие бедноты, он стал замечать, что на дворе на Жуковской, кроме обычной, наружной жизни, идет какая-то другая, тайная, еще неведомая ему жизнь — зреют силы борьбы, протеста, умело организуемые невидимой, но настойчивой рукой.

Однажды закройщик Лапидус дал Пенэку изрядно потрепанную брошюру.

«— Возьми, — говорит он. — Здесь найдешь кой-какой ответ. — Немало таких брошюр получил уже из рук Лапидуса Пенэк, и все прочел, вдумчиво вникая в их содержание. Собственно говоря, он почти во всем был согласен с тем, что в них было написано. И все-таки он расстался с ними не совсем удовлетворенный.

— У социал-демократов, — высказал он однажды свое сомнение Лапидусу, — на все вопросы есть один ответ: во всех бедах и во всякой несправедливости виновата буржуазия и капитализм... Это суживает вопрос...

Медлительный Лапидус как раз в эту минуту положил на стол новую кожу и начал высчитывать на-глаз, с какой стороны выгоднее вырезать первые заготовки.

— Что же, — не переставая вымерять кожу, без всякой горячности, тихо спросил он Пенэка, — ты из тех, стало быть, привередников, которым для каждой несправедливости нужна особая причина. Так ты дорожишь, что ли, каждой несправедливостью?»

Сомнения Пенэка шли от неопытности, от незнания. Сочувствие обездоленным и страдающим направляют по верному пути и его разум и его талант художника.

«В одно морозное солнечное утро Пенэк, как обычно пришел в квартиру к Лапидусу, чтобы заняться своими тетрадками, и застал там нескольких гостей, сидевших вокруг стола: девушку из Красильни, что здесь же «во дворе», русско-го парня из пекарни, грузчика Киву, метранпажа Матосова, рабочего с бойни Якова Забудко.

Был праздничный день. На предприятиях не работали.

Все сразу замолчали, словно на прерванном заседании. Это дало повод Пенэку сразу догадаться:

— Очевидно, это и есть «товарищи», ведущие работу во «дворе».

И вот она жизнь во «дворе» на Жуковской, внешне изуродованная, искалеченная, предстала перед ним как внутренне глубоко дружная и сложная.

Пенэк тут же убрался из квартиры Лапидуса.

Счастье свалилось на него, самая ценная находка попалась ему! Он, конечно, переработает все, что до сих пор написал в своих тетрадях о «дворе» на Жуковской. Хватит этих разрозненных картинок из жизни большой «трущобы». Все будет объединено вокруг одного стержня — товарищей, ведущих работу во «дворе». Должно выйти хорошо. На этот раз он сможет прочесть свои тетради Иоселю, Ольге. От радости он говорит вслух самому себе:

— Должно выйти хорошо!»

Пенэк стал многое понимать разумом и инстинктом правдолюбца и художника. Понял он, где надо искать истинных друзей, бесправных и обездоленных евреев. Он видел, как те же власти, которые готовили резню еврейской бедноты, услужливо усиливали полицейские посты у

дверей богатых еврейских домов, он видел, как равнодушны и жестокосердны были еврейские капиталисты к страданиям еврейских же рабочих. Он увидел, что узы дружбы и братства связывают между собой еврейских, украинских и русских рабочих. Пенэк по достоинству оценил крикливость и ложь националистической агитации, и, когда ему поручили передать оружие дружинникам-националистам, он, после некоторых колебаний, решил отнести его во двор на Жуковской: «Там оно попадет в надежные руки». Пенэк еще не стал от этого искровцем, но он во всяком случае усвоил, что только искровцы являются истинными защитниками равноправия и дружбы народов.

Каждый раз, когда господствующие классы начинали осознавать неизбежность крушения своей власти и своего богатства, они хватались за антисемитизм, как за громоотвод, при помощи которого они надеялись отвести от себя ярость народных масс. Это простое объяснение, подтвержденное каждодневными фактами, оказалось для Пенэка неизмеримо более убедительным, чем туманные разглагольствования Кадисонов и К°. Не в националистическом человеконенавистническом бреде, а в братстве и дружбе народов открылась ему перспектива освобождения родного народа. Роман Бергельсона наполнен глубоким уважением к русскому рабочему классу, к передовой русской культуре, к русскому народу, к большевистской партии, как единственной представительнице и защитнице интересов народных масс и национального равноправия.

Повествование Бергельсона — произведение гуманистическое и оптимистическое. Бергельсон верит в человека, в его достоинство, в его положительные качества, в его светлое будущее. Большевики, «искровцы», являются у него истинными представителями гуманизма в наше время. Гуманизм большевиков не имеет ничего общего со слашавой сентиментальной жалостливостью. Герои Бергельсона знают, что счастье отдельного человека зависит от всеобщего освобождения. Они ведут непримиримую борьбу против угнетателей и эксплуататоров. Именно поэтому они превосходные товарищи, самоотверженные друзья, безусловно честные и деятельно добрые по отношению к окружающим. Таковы «тетка» и ее муж «грек», Матосов, Лапидус, Кива и многие другие персонажи романа.

Эпический интерес к социальному процессу в целом не мешает Бергельсону любовно, с лирическим воодушевлением, с доброжелательным искрящимся юмором рисовать индивидуальные особенности своих героев. Как и большинство советских писателей, Бергельсон не ограничивается изображением «частной» жизни человека. Он выявляет индивидуальность героя, рисуя его общественное поведение. Среди многочисленных положительных персонажей романа только Клим, искровский рабочий, приехавший в город на Днепре по поручению Ленина, изображен слишком рационалистическими чертами. Остальные положительные герои, парти-

ные и беспартийные, уже нашедшие определенный ориентир в жизни или только ищущие его, написаны Бергельсоном строго реалистически, без «нажима». Однако при изображении отрицательных персонажей, представителей господствующих классов, царской администрации и мелкобуржуазных партий автор прибегает нередко к сатирико-гротескному показу некоторых их черт, он как бы спешит выявить свое отношение к ним, видимо, опасаясь, что читатель своевременно не разберется в роли и значении описываемых им лиц. Это опасение излишне, и в некоторых случаях оно приводит к нарушению художественной объективности повествования.

Разбираемая книга является второй частью романа «На Днепре». В ней больше 500 страниц текста. Однако автор слишком медленно движет события, лежащие в основе романа. Так, не находит завершения в этой книге романа описание подготовки ритуального процесса. Для читателя остается неясным, какое завершение получают взаимоотношения Пенэка и Мани, очень трогательные, очень целомудренные и имеющие очень важное значение для окончательной характеристики Пенэка: Пенэк рвет со своими имущими родственниками, он отряхает от своих ног прах буржуазного существования, Маня, наоборот, находится под сильным влиянием своего дяди Кадисона. Ее манит иллюзия добропорядочной мелкобуржуазной обеспеченности. Читатель, естественно, интересуется, как разовьется роман Пенэка и закончился ли процесс его колебаний и блужданий. Затяжка действия грозит сделать роман в целом слишком громоздким, что является, конечно, нежелательным.

Однако то, что уже написано Бергельсоном, является верным и художественно полноценным воспроизведением одного из самых решающих подготовительных периодов к революции 1905 года. Бергельсон создал книгу, в которой он ведет читателя через сложный лабиринт человеческих взаимоотношений, ни на минуту не оставляя его в сомнении, где ложь и несправедливость и где правда, истина, где путь к освобождению.

В. Кирпотин

„ЖИЗНЬ ЕСТЬ ДЕЯНИЕ“

Книжка Никулина «Жизнь есть деяние» — собрание очерков о Ленине, Сталине, Горьком, Маяковском, Луначарском, Блоке, Войкове, Абри Барбюсе, Поль Вайяне Кутюрье. Очерки построены, как мемуары, но в основу которых автор имеет явную тенденцию положить свои встречи с описываемыми людьми. Ленинка Никулин видел в июле 1920 года, на II Конгрессе Коминтерна. Сталина — однажды у Горького, однажды на съезде...

Нужно ли говорить о нетерпеливом ожидании, с которым читатель берется за

чтение этих очерков; к сожалению, кроме общих фраз, многочисленных, хороших, но достаточно известных цитат, он почти ничего в этих очерках не находит.

Барбюса Никулин видел в Москве и за рубежом «два или три раза вблизи, почти рядом». Никулин «радовался тому, что в его летописи есть встречи и длительные разговор с большим человеком нашего времени» (стр. 145). Эта личная радость автора очерка могла бы стать радостью и для читателей, если бы он обогатил свою «летопись» интересными наблюдениями и мыслями. Но этого не случилось.

То же следует сказать и об очерках, посвященных Луначарскому, Блоку, Вайяну Кутюрье. Войкова Никулин видел один раз случайно, в вагоне поезда. С таким же успехом он мог бы написать, например, о Воровском, которого никогда не видел. Греха в этом, разумеется, никакого нет. Академик Тарле написал, например, интересную книгу о Наполеоне, вряд ли будущи с ним знаком лично. Но тогда меняется самый жанр литературного произведения: написанное на основе изучения материалов, оно не может иметь мемуарного характера. Начав с воспоминаний и охотно к ним, при первой возможности, возвращаясь, Никулин, собственно, очень быстро и часто вынужден был обращаться к другим источникам, помимо собственной памяти и впечатлений. Беда только в том, что в итоге всех этих комбинированных усилий очерки вышли весьма поверхностными, отрывочными и почти ничего не прибавляющими к хорошо уже известному.

Совершенно иного характера очерки о Горьком и Маяковском. Наиболее содержательно и интересно написал Никулин об Алексее Максимовиче. Здесь есть интересные наблюдения, любопытные детали, некоторые новые документы (письма Горького), которые отдельными черточками дополняют дорогой портрет и дают возможность снова ощутить обаяние Горького, его чуткость человека и борца, его постоянное чувство человека общественного в самом чистом смысле этого слова: всегда думающего об интересах общества, народа, понимающего литературу как великое служение народу.

В приведенных отрывках из неопубликованных до сих пор писем Горького хорошо отметить лишний раз значение, придаваемое Горьким ясности и прозрачности литературного языка и его интерес к жанру романа приключений. Горький полагал, что только в условиях советской литературы можно создать так называемый «авантюрный» роман как подлинно художественное произведение и что к такому роману следует относиться как к «художественной задаче, которая совершенно чужда Пьерам Бенуа Европы».

Интересна деталь, говорящая об исключительном внимании Горького к современности, к политическим событиям, его забота о том, чтобы немедленно быть в курсе политической злобы дня во всем мире. Горький начинал свой рабочий день с

чтения газет и только что доставленные газеты читал первым.

«Жизнь есть деяние» — эти слова великого народного художника и борца ощущаются с новой, волнующей остротой, когда узнаешь о следующем:

«Незадолго до смерти Горький спросил у профессора С. много ли ему осталось жить. С. ответил: «Три года».

И тогда Горький сказал, что ему нужно вдвое больше для того, чтобы написать все, что он задумал».

Не менее интересно сообщение о зависимости настроения Горького от... литературных героев, над которыми он только что работал. «Чудесная восприимчивость была у этого человека. Временами мы замечали странные, необъяснимые перемены в настроении Горького. Он появлялся среди нас суровый и как будто угрюмый. Надежда Алексеевна Пешкова рассказывала, что в дни, когда Алексей Максимович описывал жестокие поступки людей (он работал над Климом Самгиным), то еще долго был под впечатлением написанного».

Тут не только восприимчивость. Это отражение великой искренности писателя, его страстности художника, переживающего с необычайной остротой человеческую драму и с огромной силой ощущающего общественное зло.

Имея возможность некоторое время быть вблизи Горького, Никулин сделал ряд интересных наблюдений. Он не только передает жемчужины некоторых горьковских мыслей и слов, но в известной степени помогает воссоздать замечательный горьковский облик. Очерк Никулина дает возможность почувствовать прекрасное добродушие Горького, увидеть его «легкую, почти неслышную походку», простое изящество горьковской манеры держать себя. Кажется, впервые в нашей мемуарной литературе сказано у Никулина, не в случайном упоминании, а специально, о Максиме Пешкове, сыне Горького, его друге и помощнике. Сказано тепло, хотя отрывисто и далеко не полно, как о «человеке больших пространств, воздуха, ветра и движения».

И все же остается впечатление, что Никулин многого не «донес». От опытного литератора, каким является автор книжки, ждешь по крайней мере большего количества наблюдений, большей точности характеристик. Как много интересного может, например, дать наблюдение встречи Горького с Ромэн Ролланом и Уэллсом. Никулин рассказывает об этих встречах в скудной, почти хроникерской записи, без свежей мысли и без единой интересно подмеченной черточки.

Маяковскому посвящен в книжке второй по значительности очерк. С Маяковским автор неоднократно встречался в Москве и за рубежом. Забавен эпизод о столкновении с анархистами в 1918 году, в кафе поэтов, где Маяковский проявил революционную выдержку и смелость. Не лишены интереса разговоры о Северянине и

Блоке. Отношение Маяковского к Северянину, который «серенький, чирикал как перепел» — известно. По сообщению Никулина, у Маяковского, «видимо, была тайная мысль, говоря словами самого Северянина, «растолкать его для жизни как-нибудь...», сделать умнее этого одаренного, но неразумного поэта».

Очень любопытен эпизод, в котором Маяковский «арифметически» иллюстрировал, насколько он ценит Блока («У меня из десяти стихотворений — пять хороших, три средних, два плохих. У Блока из десяти стихотворений — восемь плохих и два хороших, но таких хороших, пожалуй, мне не написать»). Об этом, однако, уже сообщалось в печати.

Неплохо рассказал Никулин о Маяковском в Париже, о его любви к этому городу и чувстве бездомности в нем, и хорошо о минутах сомнения Маяковского в самом себе, о трагическом в Маяковском. Но Никулин не прав, когда пишет: «во всей страстной и неутомимой жизни Владимира Маяковского самое прекрасное и самое трагическое — это борьба с собственной песней, ежечасное убийство миллиона любящих и любовью, борьба с обессиливающей и обеспокоивающей нотой. «Я хочу быть понятой моей страной, а не буду понятой, что ж... ..Проклятое, терзающее сердце сомнение в смысле нечеловеческой борьбы поэта лирического с поэтом политическим, — поэта, превосходно владевшего тайной прямого лирического воздействия и отказавшегося от приемов лирика-гипнотизера».

Откуда это, по меньшей мере, странное, противопоставление поэта лирического поэту политическому? Противопоставление в десять раз более неверное в отношении Маяковского, который с такой изумительной силой пронизывал лирическим ощущением самые политически значимые произведения (например, поэма о Ленине), и, казалось бы, узко лирическую тему сумел поднять на высоты страстного общественного пафоса («Про это»).

Неверно и недопустимо изображать самое основное в Маяковском как «ежечасное убийство миллиона любящих и любовью». Такое понимание известной строки Маяковского о том, что он себя смирял, «становясь на горло собственной песне», противоречит всему Маяковскому, всему его творчеству, всем ста томам партийных книжек. Оно противоречит и тому, что говорит о Маяковском сам Никулин, нашедший настоящие слова об общественном темпераменте «агитатора, горлана-главаря», о его чувстве связи с массами, о том, что он «действовал как дезинфекционная камера, уничтожающая микробы пошлости, бактерии самодовольства...»

Попадись фраза Никулина о «ежечасном убийстве» в эту камеру, — не сдобровать бы ей. Пожалуй, и автору ее досталось бы...

М. Чарный

(Печаталось в «Пионерской правде»
в 1940 г.)

В детях огромная жажда подвига и нескончаемая энергия, которая ищет себе исхода; поэтому детская игра часто героична. Мы помним, как отражались в ней и гражданская война, и хасановские и финляндские бои. Но в играх этих всегда есть трудный момент. Никто не хочет быть белым офицером, самураем, диверсантом или шпионом, ибо ребенку даже в шутку, даже в игре, не хочется быть низким. Здесь возмущается его инстинктивная душевная чистоплотность.

Жажда героики заставляла ребят убежать в Красную Армию, но что делать, если «крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказали гнать оттуда нашего брата по шее», как говорят ребята в «Тимуре и его команде» Гайдара.

Эта чудесная книга показывает выход. Пионер Тимур организует детей дачного поселка для тайной помощи семьям красноармейцев. Ребята играют в романтическую тайную организацию, у них есть и свое военное устройство и позывные сигналы и сборные пункты, но помощь их реальна и жизненна. Они складывают дрова, качают воду, пасут коз, заботятся о малышам в домах, объявленных под их защитой.

Такие дома они отмечают красной звездой, иногда с черной траурной каемкой, — если ушедший отсюда красноармеец убит.

В этой игре нет нужды разделяться на белых и красных, ибо здесь есть один фронт — помощи Красной Армии. Враги на этом фронте — хулиганствующие ребята из шайки Квакина, которые воруют яблоки в садах красноармейцев.

Любопытна форма борьбы команды Тимура с шайкой Квакина и внутренняя предпосылка этой борьбы. Тимур и его товарищи твердо знают, что время и общество за них и против квакинцев. Даже попав к ним в плен, послы Тимура и его команды говорят: «Нет, теперь по-вашему никогда и ничего не выйдем».

Борьба начинается ультиматумом Квакину и его «гнусно прославленному» помощнику Фигуре. «Ввиду того, что вы по ночам совершаете налеты на сады мирных жителей, не сходя и тех домов, на которых стоит наш знак — красная звезда, и даже тех, на которых звезда с черной траурной каймой, вам, трусливым негодяям, приказываем...» и т. д.

Квакин не соглашается сдаться. Интересно, что «атаман» Квакин зовет Тимура «комиссаром». Тимур подлинно детский «комиссар», то есть организатор и представитель духа советской общности и порядка, основанного на новой, социалистической этике.

Квакин же — это прежде всего анархия, несознательность, бездумность. С большим тактом Гайдар показывает его не мерзавцем, а именно недодумавшим. Квакин ворует яблоки, не задумываясь о

том, кто хозяева этих яблок. И ему неприятно, стыдно, когда он узнает, что его первый помощник, Фигура, воровал в саду, принадлежащем семье убитого командира. Здесь он инстинктивно чувствует, что его дело неправое.

Любопытна надпись на плакате над базарной будкой, где залепты побежденные квакинцы: «Здесь сидят люди, которые трусливы, по ночам, обирают сады мирных жителей». Выявляется новая детская точка зрения. Для ребят эти ночные разбойничьи экскурсии уже не молодечество, а трусость, то есть самое позорное для всякого мало-мальски уважающего себя мальчишки. Дети стали другими.

В повести Гайдара есть еще момент большой психологической значительности. Это сцена, когда взрослые подозревают Тимура в сообщничестве с Квакиным, а он, чтобы сохранить тайну своей организации и просто из какого-то душевного целомудрия, молчит, несмотря на всю го-речь такого подозрения.

Только тогда, когда от этого зависит возможность помощи девочке, он раскрывает взрослым смысл своего дела и подлинную свою роль среди ребят.

При глубокой серьезности поднятых вопросов, повесть Гайдара читается необыкновенно легко, с захватывающим интересом. Невольно возникают ассоциации с «Приключениями Тома Сойера» и «Приключениями Гекльберри Фина».

Журбина в своей статье «Деятельная романтика» («Известия» № 251) говорит: «Гайдару не удалось еще создать образы, которые противостояли бы по своей силе образам Тома Сойера, Гека Фина и Гавроша. Его героям не хватает той абсолютной реалистической весомости, которая делает образ классическим, но они сильны своей особой лирической силой».

В героях повести Гайдара есть нечто большее, чем «лирическая сила». Том и Фин — образы лучших детей старого мира. Но они дети своей среды, хотя в лучших своих проявлениях они в конфликте со средой. Так, освобождая негра, они идут наперекор рабовладельческому укладу жизни, но и в самом освобождении негра для них больше заботливой игры, чем самого дела. Негр для них не совсем еще человек.

Для Тимура же и его товарищей не дело становится игрой, а игра становится делом, и объекты этой игры-дела всегда для них живые люди, а не куклы.

Когда Тимур оставляет на попечении Коли маленькую спящую девочку, он говорит: «Ты отвечаешь за нее перед нашей командой». И это реальная ответственность, несмотря на то, что Коля при этом играет: «постоял, поднял палку и, держа ее наперевес, как ружье, обошел вокруг ярко освещенной дачи».

Тимур и его команда — дети с новым мироощущением, изображение их — огромная заслуга Гайдара.

Можно говорить об отдельных недочетах книги, о том, что параллельная «взрослая»

линия разработана слабо и даже претенциозно (маскировка дядюшки, влюбленность его в старшую сестру Жени); к тому же, все это композиционно не нужно. Неудачно описание дачного праздника; тяжелы остроты: «Ты с собакой пришел, артистов напугаешь», или: «Вот, бас не возражает, и ты, тенор, не возражай».

Гайдар так живо и естественно передает детские разговоры (у него все ребя-

та говорят по-разному, но в то же время мы чувствуем общий современный детский язык), что обидно читать эти вялые «взрослые слова».

Повесть Гайдара не велика по размеру, и хочется потребовать от автора чеканки каждого слова. Ведь десятки тысяч наших детей будут читать и любить «Тимура и его команду».

Н. Павлов

К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА „ОКТЯБРЬ“

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Просим Вас сообщать свое мнение о произведениях, напечатанных в нашем журнале, а также свои пожелания.

Письма, с указанием фамилии, возраста, профессии и, желательно, адреса, просьба адресовать: Москва, ул. Горького, 15. Редакция журнала «Октябрь».

Содержание

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ

Неопубликованные произведения А. М. ГОРЬКОГО	3
М. ГОРЬКИЙ—Степан Разин, <i>киносценарий</i>	6
М. ГОРЬКИЙ—Ход коня, <i>киносценарий</i>	23
М. ГОРЬКИЙ—Яков Богомолов, <i>пьеса</i>	43
М. ПРИШВИН—Дедушкин валенок, <i>рассказы</i>	64
МУЛЬК РЕДЖ АНАНД—Кули, <i>роман</i> (перевод с английского В. Станевич)	72
Марк ГРОССМАН—Ночь перед боем, <i>стихи</i>	117
Н. ГРИБАЧЕВ—Батальон идет в атаку, <i>стихи</i>	118
Александр ЯШИН—Детство, <i>стихи</i>	119
В. ЗАЙЦЕВ—***, Девушка из комеомола	120
Состязание акына Джамбула из рода Шапрашты с акыном Сарбасом из рода Дулат-Каскарау, имевшее место в городе Верном в 1895 г., <i>стихи</i> (перевод И. Сельвинского)	121
А. ГАТОВ—Басни	127

ПУБЛИЦИСТИКА

С. ПЕРСОВ—Генерал Смущкевич (перевод М. А. Шамбадала)	128
Марк ЕФЕТОВ—Пути-дороги, <i>очерк</i>	155

КРИТИКА

Орест ЦЕХНОВИЦЕР—Ф. М. Достоевский (к шестидесятилетию со дня смерти)	171
Л. ТИМОФЕЕВ—Заметки о современной поэзии	188
З. КЕДРИНА—Новогодние стихи	195

БИБЛИОГРАФИЯ

Л. МАЙРАНОВСКИЙ—Сталин в Туруханской ссылке	201
А. ЛЕЙТЕС—Тычина в русских переводах	203
А. ВОСКРЕЧЯН—Поэтическая культура армянского народа	206
Б. ВАДЕЦКИЙ—Родоначальник узбекской лите атуры	208
В. КИРПОТИН—Новый роман Д. Бергельсона	209
М. ЧАРНЫЙ—„Жизнь есть делние“	212
Н. ПАВЛОВИЧ—„Тимур и его команда“ Гайдара	214

Отв. секретарь — **И. В. ШАМОРИКОВ**

Редакция: В. ИЛЬЕНКОВ, П. ПАВЛЕНКО, Ф. ПАНФЕРОВ, И. ШАМОРИКОВ,
С. ЩИПАЧЕВ, М. ЮНОВИЧ

Адрес редакции: Москва, ул. Горького, 15 Телефон: К-5-42-40.

17-й год издания. Тираж 30 000 экз. Подписано к печати 7/III 1941 г. А 35755.
Печ. листов 13,5. Авт. листов 28,8. В печ. листе 85 400 зн Цена 5 руб. Зак. 177.

6-я типография ОГИЗа треста «Полиграфкнига». Москва, 1-й Самотечный пер., 17.